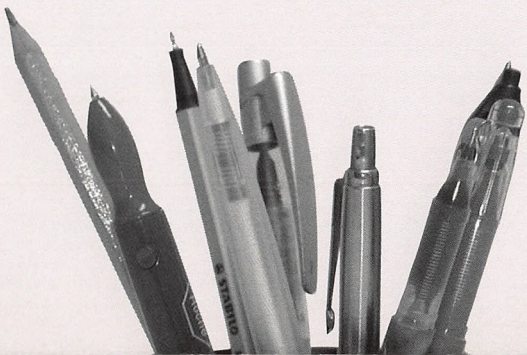
5

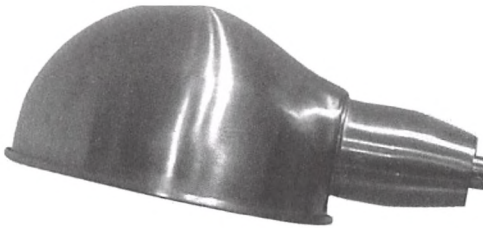
Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 5 ОКТЯБРЬ 2004 • ИЕРУСАЛИМ

- Л. ВЕРШИНИН. Приговоренные к власти
- Ю. АГРАЧЕВА. Назову себя Сарой
- Б. ФАЛЬКОВ. ИСКУШЕНИЯ РАБА о. СИМЕОНА О.
- Б. ПАРАМОНОВ. ДЕВОЧКИ и МАЛЬЧИКИ ДОСТОЕВСКОГО
- «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: Русские евреи в Германии
- А. МЕЛИХОВ. Устами младенца по либеральному катехизису
- Б. САРНОВ. Огонь с неба
- Г. БАКЛАНОВ. Кумир

Nota Bene • 2004 • 5





Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№5

ОКТЯБРЬ 2004
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

3 **Лев Вершинин.** Приговоренные к власти
61 **Юдит Аграчева.** Назову себя Сарой
81 **Борис Фальков.** ИСКУШЕНИЯ РАБА о. СИМЕОНА О.
91 **Семен Ринский.** Дао чижа

НАД ТЕКСТОМ...

111 **Борис Парамонов.** ДЕВОЧКИ и МАЛЬЧИКИ ДОСТОЕВСКОГО

128 «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: РУССКИЕ ЕВРЕИ В ГЕРМАНИИ
О. Юрьев, Д. Хмельницкий, Л. Гиршович, В. Перельмутер, М. Блюменкранц, И. Мильштейн, И. Лейн, Н. Мишнаевская

НЕЯВНЫЕ СМЫСЛЫ

173 **Александр Мелихов.** Устами младенца по либеральному катехизису
179 **Сергей Кургинян.** Предупреждение, которое не услышали

* * *

204 **Алексей Цветков.** Было третье сентября...

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

205 **Юрий Колкер.** Как и отчего умер Сент-Экзюпери
213 **В. Барзас.** «Ужель та самая Татьяна?»

ИНОЙ РАКУРС

217 **Михаэль Дорфман.** Еврейские фрагменты жития святителя Никиты
236 **Александр Кустарев.** Этого не могло быть

МЕМУАРЫ

249 **Бенедикт Сарнов.** Огонь с неба *(окончание)*
281 **Григорий Бакланов.** Кумир

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

307 **Борис Хазанов.** Запах звезд
334 **Товарищ У.** Октябрь уж наступил
337 **Федор Шелов-Коведяев.** Мегапроект для Леванта: эскиз модели урегулирования
343 **Михаил Блюменкранц.** Общество мертвых велосипедистов
348 **Григорий Померанц.** Через эпохи безумия

ISSN 1565-5318

Лев Вершинин

ПРИГОВОРЕННЫЕ К ВЛАСТИ*

Роман-хроника

Книга первая

ЛИХОЛЕТЬЕ ОЙКУМЕНЫ

…О событиях, происшедших после безвременной смерти в Вавилоне царя царей Александра, сына хромого Филиппа из Македонии, прозванного в Азии Зулькарнайном, что означает Двурогий, а в Европе признанного Божественным, но все равно не дожившего и до тридцати четырех.

…О том, как непросто решить, что же такое, в сущности, справедливость. О политике, которой лучше всего не заниматься вообще, а если уж занялся, то изволь не пенять на испачканные сандалии. О том, как никто не хотел воевать, но куда же денешься, если Ойкумена одна на всех.

…О друзьях, переставших находить общий язык.

…О мальчике с вершин, которого пока еще никто не принимает всерьез, а зря.

…И о многом другом, случившемся на просторах от Эпира до Месопотамии между годом 460-м и годом 466-м от начала Игр в Олимпии, за три века до рожде-

* Отрывок из романа «Лихолетье Ойкумены» – составной части трилогии «Приговоренные к власти». Романы «Лихолетье Ойкумены» и «Время царей» выйдут в свет в конце с. г. в издательстве «Азбука» (СПб.).

Лев Вершинин – доктор исторических наук, политолог, член Союза писателей РФ и Международной ассоциации русскоязычных писателей, автор 11 книг (романы, повести, рассказы, стихи). Живет в Израиле.

ния в Бейт-Лахме Галилейском Иешуа-плотника, сына Йосефа и Марьям, умевшего ходить по воде, и за девять с лишним веков до того, как в одну из полнолунных ночей Мухаммеду, второму мужу купчихи Хадиджи, открылась истина...

ВТОРОЙ СВИТОК

Эписодий 4
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ РАСТЕТ

Иллирия. Окрестности Скодры.
Начало осени года 463-го от начала Игр в Олимпии

– Хватит! – с едва заметной насмешкой пробасил сребroголовый великан, полулежащий, подперев голову локтем, на широком, расстеленном прямо на траве плаще, и уже погромче, с несколько преувеличенной суровостью повторил:

– Хватит, я сказал!

Куда там! Мальчишки замерли на месте лишь на мгновение и снова бросились друг на дружку, словно молодые, задиристые и очень непослушные петушки. Скорее даже не петушки, а цыплята, полагающие себя петушками.

Игрушечные мечи в тонких ручонках трещали при слишком яростных ударах, и время от времени после особо точного выпада на обнаженных, словно в гимнасии, плечах бойцов вспухали багровые отметины.

Наступал, как всегда, Пирр. Яростно, безоглядно. Леоннат оборонялся, не позволяя себе забывать уроки гопломаха*. Он был, как всегда, осмотрителен и осторожен. Но редкие выпады его деревянного меча оказывались на удивление точными и болезненными.

Раз за разом Пирр налетал на Леонната, получал свое – отскакивал, посрамленный, злобно шипя и вновь кидаясь в атаку. Любой заглянувший сейчас в бешеные серо-синие глаза сражающегося малыша вряд ли пожелал бы снисходительно улыбнуться. Не было там ничего детского! Была только вполне созревшая жажда победы – во что бы то ни стало! Готовая вот-вот перерасти в стремление отбросить дурацкую деревяшку и впиться зубами в глотку уже становящегося ненавистным соперника.

Выпад!

Ого! Отдыхающий на траве спрятал добродушную ухмылку.

Увесистая струганая палка с крестовиной на диво уверенно для столь юной руки описала в воздухе прихотливую параболу и, казалось бы, лишь слегка задев Леонната, швырнула его наземь. И тотчас же Пирр, как огненная кошка, торжествующе взвизгнув, кинулся на беззащитную жертву...

– Довольно! – взревел сидящий.

---

* Гопломах – преподаватель боевых искусств.

Не слышит! Или слышит, но смеет делать вид, что оглушен битвой!

Ну что ж, бешенство в бою – это даже неплохо, но лишь для того, кто сумеет в совершенстве владеть этим обоюдоострым оружием...

Быстрый, прикидывающий расстояние взгляд.

Короткое, почти незаметное движение кисти.

Увесистый камешек, безошибочно нашедший цель, ударил точно в локтевой сгиб, и деревяшка, нелепо крутясь в воздухе, сгинула в колючем кустарнике, а обезоруженный Пирр, приплясывая от боли, ухватился за ушибленное место. На глаза его немедленно навернулись слезы, но мальчуган не нарушил благодать осенней тишины постыдным воплем, присущим разве что какому-нибудь македонцу или хаону.

Но не молоссу.

Даже умирая, молоссы смеются. И Пирр рассмеялся. Сперва с некоторой натугой, превозмогая нещадную боль. Затем вполне искренне.

– Твоя ошибка в том, господин мой, что ты забыл: необузданная ярость приносит воину в битве скорее вред, чем серьезную пользу! – поучающе пробасил седовласый, вновь расслабляясь на теплой подстилке. – Особенно в единоборстве, когда рядом нет щитоносца и сзади никто не подстрахует копьем. Не обучившись владеть собой, вступающий в поединок может заранее прощаться с жизнью. А вот тобой, Леоннат, я вполне доволен. Разве что выпад сверху вниз стоило бы подработать...

Чернокудрый мальчонка счастливо улыбнулся.

– Я так и сделаю, учитель!

Вот теперь рыжий не сумел скрыть слез.

– Но ведь я тоже стараюсь, Аэроп...

– Не спорю, господин мой, конечно, стараешься. Иди-ка сюда! И ты тоже, Леоннат, будет тебе гордиться! Боги завистливы...

Широко, словно горный орел крылья, раскинув мускулистые руки, седовласый великан обхватил за плечи обоих, и прихрамывающего Леонната, и нянчащего онемевшую руку Пирра, ласково и настойчиво прижал к себе.

– Вы оба стараетесь, мальчики мои. Вы очень стараетесь! Я горжусь вами...

Мало кто, глядя на малоподвижное лицо сидящего на плаще, мог бы представить себе, что голос этого человека может быть так нежен.

– Но попробуйте понять: стараться тоже нужно правильно. Сразу это не получится...

Отпустив плечи воспитанников, Аэроп оплел пальцы, покрытые буграми мозолей, вокруг поджатых колен. Тяжелый, подбористо-массивный, он казался сейчас такой же неотъемлемой, извечной частью нависшей над побережьем поляны, как и начинающие багроветь дубовые кряжи, густящиеся неподалеку. Глаза, полуукрытые густыми, непостижимым образом напрочь лишенными проблесками седины бровями, пристально всматривались в морскую даль, подернутую на линии окоема кисеей зыбкого, колышущегося тумана...

Мальчики, прижавшись к теплому боку великана, смотрели на него. В отличие от Аэропа, они были почти обнажены, как и подобает поедин-

щикам. Наготу слегка прикрывали лишь набедренные повязки из некрашеной домотканины. Уже позабыв о недавней нешуточной битве, они крепко держались за руки. Пирр и Леоннат. Погодки. Друзья. По правде говоря, больше, чем друзья! Почти братья!

Не особо и вслушиваясь, Аэроп привычно различал сопение Пирра и спокойное, равномерное дыхание Леонната...

Какие же они все-таки разные!

Пирр – широкоскул, узкоглаз; ни мгновения не способен усидеть в неподвижности. Когда размышляет, сердится или радуется, прищуривает глаза, а на виске начинает мелко подрагивать, не скоро успокаиваясь, тонкая голубая жилка. Горяч. Резок. Нравом пошел не в отца, Эакида, скорее в дядьку – Александра Молосского. Или, упаси Дуб, в тетку?!

Впрочем, ласковая россыпь золотистых веснушек, густо усеивающих не только лицо, но и шею по самые плечи, смягчает впечатление, напоминая, что это пока еще – всего лишь дитя и не стоит судить его взрослой мерой...

Леоннат, сын Клеоника, намного тоньше в кости. Он поджар, осмотителен, редко забывает взвесить последствия поступков и, как правило, пытается отговорить заводилу Пирра от совершения бесчинств. Однако, не преуспев, всегда следует за другом. До конца. Недавний набег на пасеку старого Бирка стоил порванной псами задницы именно Леоннату, а не Пирру, успевшему перелететь через забор. В ходе разбирательств пытается выгораживать рыжего, вызывая наказание на себя. Впрочем, Пирр полагает такую привычку личным оскорблением и в свою очередь выгораживает Леонната...

Будь жив Клеоник, он был бы рад видеть такого сына.

Смуглого. Темнокудрого. Обладающего совершенно не присущими мужчинам огромными глазами, яркая чернь которых сделала бы честь любой девице на выданье, но, по меньшей мере, неуместна на лице будущего воина и советника...

– Леоннат, ты почистил Урагана?

– Он блестит, как море в полдень, наставник!

– Это хорошо, – улыбнулся Аэроп. – Значит, вы заслужили еще одну сказку, которая вовсе и не сказка. Видите, дети мои, дымку на горизонте? Ну-ка, напомните мне, как называется земля, укрывшаяся за нею?

– Италия! – в один голос подсказали мальчишки и весело прыснули.

– Да, Италия...

Аэроп покивал, не отводя взгляда от морских волн, бегущих с запада к иллирийским берегам.

– Только не спрашивайте меня в тысячный раз, кем был Итал, первый базилевс* этой страны, я все равно не сумею ответить. Люди, живущие там, называют себя самнитами и луканами, и бруттиями, и осками; они не очень сведущи в науках, но отважны и вольнолюбивы...

– Как иллирийцы! – звонко выкрикнул Пирр.

---

* Базилевс – царь.

– И как молоссы! – тихо и веско добавил Леоннат.

– Да, как иллирийцы. До молоссов им, пожалуй, далековато. Вот. И я там был, – Аэроп оторвался наконец от созерцания мерного бега белопенных волн и неторопливо перевел взгляд на мальчиков. – Это вы слышали, и не раз. Я рассказал вам, дети мои, что видел в той стране, о чудесном и о непристойном. О том, как тамошние люди пришли к воротам эллинских городов и сказали: платите нам дань или уплывайте, откуда приплыли, пока живы. Как эллины Италии, живущие там издавна, прислали в Додону послов-просителей и как великий Дуб повелел моему побратиму и царю Александру не отказать единокровным в военной помощи...

– Аэроп, а почему мой отец остался в Додоне? – воспользовавшись паузой, спросил Пирр.

Аэроп улыбнулся.

– Потому что царством кто-то должен управлять! Понятно?

– Ага! То есть, нет. Вот скажи: если я – здесь, а мой брат Неоптолем, который в Додоне, дурачок, хоть и взрослый, так кто же правит царством сейчас?..

Великан натужно закашлялся.

– Послушай, сынок, я отвечу потом, ладно?.. Вы знаете уже, как плыли мы через море, как вздымались вокруг волны и как страшно было нам, когда глаза перестали различать землю. И о том, как Александр, мой побратим и царь, а твой родной дядя, Пирр, разбил луканов, а потом бруттиев, что пришли луканам на выручку, и о том, как взяли мы главный город луканов и сожгли дотла храмы темных луканских богов. Я рассказал вам все, кроме того, о чем не положено упоминать, говоря с людьми вашего возраста. И о том, как луканские колдуны заманили нас в земли самнитов, самых доблестных воинов из всех италийцев, а проводники, будь они прокляты, указали путь не к спасению, а к гибели. К месту, где ждала засада...

– Как мой отец – македонцев? – сверкая тенью глаз, перебил Леоннат.

Аэроп возмущенно крякнул.

– Не кощунствуй, мальчишка! Твой отважный отец, а мой друг отдал жизнь на благо Молоссии, а мерзкие проводники-луканы завели нас в ловушку. Но боги справедливы! Ни один из негодяев не ушел живым!

И хотя седой воин завершил фразу тоном уже не жестким, а спокойным, как повторяют многократно произнесенное и отболевшее, в голосе его явственно прозвучала скрытая горечь.

Мальчики слушают приоткрыв рты. Правда, с недавних пор они начали задавать дурацкие вопросы, на которые десяток умных взрослых не сразу найдет ответ, но все равно: то, о чем рассказывает Аэроп, для них всего лишь волшебная сказка о далекой стране и храбрых молосских воинах, не устрашившихся раскрашенных заморских колдунов.

Но для него...

Аэроп помнит – о, слишком хорошо помнит! – как ворвался в полупустой лагерь вестник беды на взмыленном коне, подняв с одра болезни его, царского побратима, истерзанного лихорадкой, как спешил он, качаясь в

седле и не позволяя себе упасть, на подмогу – и опоздал; конный строй вспорол толпу самнитов и луканов, обратил их в бегство, но царь Александр, побратим и друг, лежал бездыханный на окровавленной траве, пораженный в грудь семью дротиками...

А вокруг догорала битва, и он бросился в гущу кровопролития, чтобы умереть здесь же, но – не вышло, он остался жив, хотя вокруг один за другим падали воины царской этерии, отражая последние, отчаянные наскоки раскрашенных в зеленые и синие узоры самнитов...

Ради чего?

– Я хотел рассказать вам сказку, дети. Но вы, видно, считаете себя взрослыми, если задаете вопросы. Раз так, то и я задам вам вопрос – тебе, Пирр, и тебе, Леоннат. Вы и впрямь уже большие, вам по семь лет. Когда мне было столько, я убил своего первого врага, пристрелив его из засады. Так вот, взрослые мои дети, я хочу спросить вас: для чего мы пошли тогда в Италию?..

– Чтобы наказать колдунов! – тут же откликается Леоннат.

– Чтобы всех-всех победить! – не соглашается с другом Пирр.

Аэроп вздыхает. Ерошит черные локоны, прижавшиеся к левому плечу. Треплет жесткие рыжие вихры, прильнувшие к правому.

Все-таки – дети. Слишком еще несмышленые и наивные...

Возможно, он и совершает ошибку, беседуя с ними как с равными.

Но в его времена семилетних уже брали в походы – подавать стрелы, чистить коней, а если придется, то и поддерживать воинов, швыряя в противника камни. Дни нынешние страшнее минувших, они не позволяют расти медленно. Все зыбко, изменчиво, невесть куда исчезла благородная простота нравов. И царевичу следует подрастать быстрее, если он хочет быть царем.

Живым царем.

– Подумайте-ка еще, – мягко просит Аэроп. Дети послушно размышляют. Размышляет о своем, глядя на их сосредоточенные рожицы, и гигант.

Они подросли, что бы кто ни говорил. Они уже многое могут. Не так давно ухитрились выследить и заполевать камышового кота. Конечно, не обошлось без ран и крови, но дело было славное, и царский певец сложил об этой охоте песню. Однако все это пока только искорки, которым лишь предстоит разгореться в пламя.

Если, конечно, опекуны не позволят врагам погасить ростки грядущего зарева…

– Ну же! – подбадривает воспитатель смущенных малышей. – Что приуныли?

Пирр, как всегда, решается первым:

– Чтобы помочь грекам?!

– Повелитель, как всегда, вник в самую суть, – очень серьезно и уважительно кивает Аэроп. – Для того, чтобы помочь грекам...

– А зачем?

Нелегкий вопрос. У этого уверенного в себе, умудренного жизнью великана нет на него четкого ответа…

Мальчик и вправду растет, быстро, словно замешенное на дрожжах тесто. Нужно быть справедливым: его вопросы вовсе не дурацкие, просто ответы на них Аэропу, увы, неведомы.

Зато меч и кинжал в руки Пирру впервые вложил именно он, Аэроп. И преподал первые уроки высокого искусства подчинять себе острое железо, не скрыв ни одного из приемов, прославивших непобедимого в поединках царского побратима во всех краях от эллинской Амбракии до паравейских перевалов. Царевич еще мал, и тяжесть боевого меча ему пока непосильна, но навыки следует вкладывать в юную душу с самого начала пути, чтобы она сроднилась с оружием раньше, чем тело. Тогда и в немощной старости искусный боец сумеет постоять за себя. Годы и упражнения укрепят мышцы, и однажды – Аэроп предвидит это и бестрепетно ждет этого нескорого, но неизбежного дня – ученик выбьет клинок из руки учителя.

Вот тогда можно спокойно уйти к побратимам.

Но не раньше.

Да, одолевать в схватке, смеяться над болью, подчинять своей воле низших – всему этому Аэроп способен обучить воспитанника.

И не больше того. Но разве этого мало?!

– Зачем же?! – громко повторил Пирр, уже начиная сердиться.

И Леоннат, как всегда, поддерживает его:

– Зачем?

Аэроп неопределенно, но внушительно кивает. Расчесывает густую бороду клешнястой пятерней.

– Ответ на этот вопрос знают лишь цари...

Ярко-рыжие брови наместника молосской диадемы, потомка Ахилламирмидонянина, высоко подпрыгивают.

– Но ведь царь – это я, Аэроп. А я не знаю ответа. Почему так?

Час от часу не легче! Милосердные боги, подскажите, как быть!

– Почему первого молосса породил орел? – вопросом на вопрос отвечает седоголовый воин, и голос его исполнен раздражения. – Почему предок иллирийцев – вепрь, а фракийцев – горный волк, а македонцы ведут свой род от медведя? Я не знаю. И никто не знает. Просто всем известно, что это – так, а не иначе. Вам ясно?

Дети притихли.

Еще бы! Если голос наставника становится сипловатым, а брови сходятся к переносице, ему лучше не докучать. Проверено многократно. Как и то, что рука у Аэропа бывает ничуть не легче нрава.

– Зачем мы ходили в Италию? Зачем македонцы шагали на восток, пока не забрались на самый край Ойкумены? Для чего тебя, Пирр, хотели украсть два года назад? Впрочем, ты этого не помнишь...

– Помню, – не соглашается Пирр.

Он и впрямь не забыл ту ночь. Смутно, в полусне: звон, стук, мечущиеся тени, обрывки факельного света, крики, грохот и топот... Плачущий от страха Леоннат, тесно прижавшийся к плечу. Ему же, Пирру, совсем не страшно, ну

разве что самую малость... черные пятна прыгают через окно... визг... и снова крики, хрипло ухающие, словно из лесу прилетела огромная сова... на миг становится больно от цепкой хватки чужих злых ручищ, в лицо бьет густой вонью... и тотчас возникает в дверном проеме фигура, кажущаяся черной... и в алых отсветах вспыхнувшего фонаря скалится на полу гнусная рожа ночного демона, бородатая, кровавоглазая, плюющаяся... а потом вдруг, резко и нежданно – сильные руки приемного отца, Главкия, притискивают их обоих, и Пирра, и Леонната, к груди, а ночной гость уже совсем не страшен – его вяжут и тащат прочь, заломив руки, а он жалобно скулит и уже не плюется... и в самое ухо гудит гулкий, родной, привычный шепот Аэропа: «Спи, сынок, спи, это был сон... плохой сон... все будет хорошо, не бойся... спи спокойно, сынок...»

А потом, при свете дня, демон оказался вовсе не страшным и даже никаким не демоном. Он сидел на высоком толстом колу посреди царского подворья и трудно дышал, никак не умирая; глаза его были выпучены, а по густой бороде текла струйка крови, и он вовсе не был похож на то страшилище, каким показался спросонок, а выглядел точь-в-точь, как самый обычный пират или лесной разбойник, которых не так уж редко ловит и наказывает Главкий.

– Я помню, – упрямо повторил Пирр.

– И я тоже! – торопливо, спеша не отстать от друга, вставил словечко Леоннат.

Соврал, конечно. Где ему помнить ту ночь? Он ведь на целых полгода моложе...

– Но все-таки я хочу знать: зачем? И почему? И для чего?

Целая россыпь вопросов, на которые никак не ответить. И это начинает не на шутку злить гиганта.

– Спроси у грека! – резче, чем следовало бы в беседе с ребенком, отвечает воспитатель. – Он-то, небось, все знает!

– Да, – бесхитростно соглашается малыш. – Киней знает все...

– Все-все! – спеша поддержать названого брата, звонко восклицает Леоннат.

Аэроп морщится, словно куснув дикое яблоко. Отчего-то он невзлюбил грека с самого начала, а сейчас уже не очень способен скрыть неприязнь. Хотя нельзя оспорить: ученый эллин, несмотря на молодость, муж знающий, мудрый и бывалый. Он повидал всякие чудеса и – главное! – искренне привязан к Пирру. За это ему можно простить многое.

Но что, в сущности, прощать?

Молоссы ведь редко прибегают ко лжи. И тем более никогда не лгут сами себе. «Следует честно признать: я просто ревную, – думает Аэроп. – Что там Киней? Ревную даже к Главкию. Но Главкий все-таки царь. Хоть и варварский. Даже к царице. Но она, куда ни кинь, заменила Пирру родную мать, а ребенку негоже расти без женской ласки... А этот эллин! Разве способен он по-настоящему любить маленького молосса?!

Да. Способен. И это – больнее всего».

Мягко оттолкнувшись от земли, Аэроп вскакивает. Аккуратно затягивает завязки легкой безрукавки.

– Пора. Будет обидно, если всего барашка съедят за ужином, не дождавшись нас.

– Не бойся, Аэроп! Уж матушка-то оставит нам с Леоннатом что-нибудь, непременно оставит! – произнес Пирр тоном капризного домашнего божка, свято уверенного, что кого-кого, а уж его-то никто не посмеет обделить. – А мы поделимся с тобой. Правда, Щегленок?

– Мама оставит! – столь же уверенно подтвердил Леоннат, натягивая тунику. – А мы поделимся!

– Довольно спорить!

Медлительной на первый взгляд походкой, которую фракийцы почему-то называют «кабаньей», а люди, хоть сколько-то понимающие, именуют «волчьей», Аэроп двинулся вниз по тропе, краем глаза приглядывая за скачущими, словно горные козлята, питомцами.

Внизу к ним уже подводили расстреноженных и взнузданных коней коренастые хмуроглазые иллирийцы-прислужники, неразговорчивые горцы из числа личных стражников Главкия.

Проходя мимо чалого, с яркой звездочкой во лбу мерина, Аэроп слегка провел пальцем по лоснящемуся конскому боку и удовлетворенно хмыкнул.

Очень славно! Конь вычищен на совесть. Хотя и пришлось заставлять Леонната, проявившего беспечность, уделить внимание Урагану дважды.

А буланого Ветерка можно и не проверять. О ком, о ком, но о коне Пирр точно позаботится раньше, чем о себе самом. Этого у него не отнимешь! В свои семь с небольшим лет мальчуган назубок вызубрил, каковы обязанности воина и мужчины, не желающего быть последним.

– А ты молодец, Леоннат! – Аэроп милостиво кивнул, и смуглые щеки Щегленка налились краской. – Ураган явно доволен тобой. Видишь, он улыбается! И я надеюсь, впредь тебе не придется выполнять эту работу дважды. Конь – это же не просто конь, не так ли?

– Конь – это друг и брат! – звонко откликнулся сын Клеоника.

И сын Эакида подтвердил хрипловатым, самую чуточку простуженным голосом:

– Конь – это судьба...

Одобрительно улыбнувшись, гигант потрепал гриву крупной соловой кобылицы. Проверил, крепко ли затянута подпруга, не сбился ли чепрак. Легко вспрыгнул в седло. Сжал коленями мерно вздымающиеся бока. Гикнул.

Маленькая кавалькада неспешно тронулась с места. Куда спешить? До окраин Скодра отсюда – рукой подать. Аэроп ехал, как должно старшему, впереди, и юные спутники не отставали, удерживая застоявшихся коней ровно в полукорпусе от кобылицы наставника.

Аэроп улыбался в усы.

Как бы там ни было, но кое-чему, без чего не прожить в этом мире, мальцов обучил именно он. И пусть гречишка куда как горазд читать наизусть длинные и, на вкус старого молосса, невнятные стихи – то

ли дело красивые, благородно-протяжные песни горских аэдов? – но кто посмеет сказать, что словесная наука нужнее, чем уроки настоящего воина?!

Аэроп твердо уверен, и никто не переубедит его, знающего жизнь в лицо, а не понаслышке: властителям необязательно знать назубок буквенную премудрость, коль скоро на свете достаточно наемных грамотеев, хотя бы среди тех же эллинов. Еще могучий Арриба, дед Пирра, не мог разобрать ни единого писаного слова и ставил под письмами отпечаток большого пальца, но это никак не помешало ему поставить на колени хаонов и привести в порядок законы. А вот не ладить с оружием, не уметь вырастить и обучить доброго боевого волкодава, скверно чистить коня – это непозволительно подрастающему царю.

Тем более царю молоссов.

Конечно, Главкию виднее. Он хоть и варвар, но, бесспорно, великий вождь. Раз уж он счел необходимым выписать для мальчишек педагога-эллина, да еще именно этого, а не иного, – значит, так тому и быть. Видимо, Аэроп просто перестал что-то понимать в жизни.

Но о чем это спрашивает Пирр?

– ...или Эпаминонд?

– О чем ты, господин?

– Я спросил, Аэроп: кто, на твой взгляд, более велик – Александр или Эпаминонд?

Аэроп на миг задумался.

– Мой царь и побратим Александр, павший в Италии, – величайший из царей, малыш! Что же до Эпаминонда... Я знавал трех людей с таким именем. Двое ничем не отличались от остальных, а третий был лучшим коновалом Молоссии. Но он давно умер...

Пирр весело смеется. И это почему-то обидно.

– Ах, Аэроп! Эпаминонд – величайший из воителей Эллады, а вовсе не коновал! Это знают все. Он был первым, кто сумел победить спартанцев. И Александр ведь тоже не один. Я говорю не о дяде, а о теткином сыне, что победил персов и покорил Ойкумену...

Всеблагие боги! Чем забита голова мальчика!

Аэроп не из вспыльчивых. Но сейчас даже ему нелегко сдерживаться.

– Не было и не будет в Ойкумене воителя славнее моего павшего побратима, а твоего родного дяди Александра Молосса, запомни это накрепко! И мальчишка, сын царевны Мирто, недостоин был даже завязывать ему эндромиды! А Эпаминонд? Не так уж, видно, он велик, если я о нем не слыхал! Чему только учит вас этот глупый грек?..

– Киней не глупый! – обиженно выкрикивает в спину Аэропу Леоннат. А затем звучит напряженный голос Пирра:

– А ведь ты не любишь Кинея, Аэроп! За что?

Тонкий мальчишеский голосок, еще даже не начавший ломаться. И все же – неожиданно взрослый. Хлесткий и до боли знакомый...

Нет, Аэроп не оглянулся. Но вздрогнул. Ибо почудилось на краткий миг,

что там, позади, на полкорпуса отставая, рысит вслед за ним на буланом незабвенный, давно павший и оплаканный царь Эакид.

Или? Ведь Эакид не умел так, наотмашь, бить простыми словами. Такое удавалось лишь одному из всех, с кем сводила Аэропа долгая и богатая на встречи жизнь.

Неужели?

И великан обернулся, обернулся, веря и не веря, вопреки собственному желанию. И, как и следовало ожидать, убедился лишь в том, что слух обманул его.

Не было, да и не могло быть там, за спиною, дорогого побратима, давно упокоившегося в теплой италийской земле. А были безмолвные и бесстрастные иллирийцы, нахохлившийся Леоннат и Пирр, гневно насупивший тонкие, золотистые, высоко изогнутые брови.

– Люби Кинея, Аэроп! Я так хочу!

Что это? На детском лице – новый, неузнаваемый взгляд, совсем не ребячий. Не гневный, не возмущенный, просто незнакомый доселе. Да, этот холодный, пугающий прищур когда-нибудь заставит многих недругов пасть на колени и униженно скулить, ибо в нем – тяжкая, неведомо откуда появившаяся, давящая воля, спокойная надменность и непреклонная уверенность в своем неотъемлемом праве повелевать...

Взгляд базилевса. Сына и внука царей. Потомка Ахилла-мирмидонянина, схватившегося под крепкостенной Троей с самим Агамемноном, владыкой златообильных Микен, города Львиных ворот.

Ни отшутиться, ни, тем более, прикрикнуть, как бывало, Аэроп не посмел. С теми, кто умеет глядеть так, нельзя спорить. Следует лишь промолчать и придержать повод, пропуская мальчишку вперед, во главу кавалькады.

– Люби Кинея, Аэроп!

– Повинуюсь, царь-отец!

Крепко стиснув коленями конские бока, седогривый великан склонил голову, церемонно прижав ладонь к сердцу. Как делал это в Италии, принимая приказы незабвенного царя-побратима.

Скодра. Поздняя осень того же года

Ливень.

Который день из распахнутых настежь хлябей небесных низвергаются потоки – тяжелые, непроглядные, гулко гудящие, чмокающие крупными холодными каплями по размытой грязи узеньких немощеных улочек.

Пусто и уныло.

Почти лишенные листьев ветви деревьев, насквозь пропитавшись влагой, согнулись почти к земле, заваленной пожухшей, утратившей золотой осенний отсвет листвой. Ударят морозы, хлестнет с гор стылым ветром, и кроны станут звонко ломаться, обрушивая легкую на вид, но неимоверно тяжелую на самом деле наледь...

Глухая пора.

Предзимье.

Лучшее, что можно придумать в это шершавое время, это просто присесть, оставив заботы, у жарко дышащего очага, закутаться в пушистую, хорошо выделанную меховую накидку, поджать ноги и слушать сквозь полудрему неторопливый говорок бывалого человека, слово за словом пропуская через сеть воображения веселую пыль неведомых дорог, звонкие отблески умных бесед у костра с причудливо разодетыми попутчиками и славные деяния давно отживших свой век, но не умирающих в памяти потомков героев...

– ...вот так и одолел Ахилл могучего Гектора, и судьба Трои была решена, – завершил повествование Киней и, негромко прокашлявшись, отхлебнул из неглубокого деревянного ковша изрядный глоток горьковато-терпкого, чуть хмельного взвара, как ничто иное полезного простуженной глотке. – Вопросы есть, дети?

Вопросы, естественно, были.

– Вот скажи, – узкие глаза Пирра, как всегда, если нечто заинтересовало его сверх обычного, замерцали. – Это ведь был поединок, а, Киней?

– Разумеется, поединок.

– Значит, один на один? – прозвучало уже настойчивее, и Киней насторожился. Воспитанников своих он знал слишком хорошо, и если уж Пирр заговорил таким подозрительно-несмелым голосом, то вполне можно ожидать подвоха...

– Конечно. Раз поединок, значит, один на один.

Пирр прищурился почти до отказа.

– А тогда почему славный Ахилл поступил с Гектором не по чести?

Рука афинянина дрогнула на пути к устам, едва не плеснув горячим питьем через край чаши прямо на разостланную у ног медвежью шкуру.

– Хор-роший вопрос, – буркнул Киней.

И задумался.

Отыскать ответ следовало побыстрее. Пирр любознателен, и это хорошо, а вот терпения ему боги не дали. Нельзя подрывать веру ученика во всезнание учителя.

Однако же, ну и вопросик!

Мальчишка угодил в самую точку. Странно даже, как это раньше не приходило в голову? Два героя, ахейский и троянский, выходят на честный бой, сговорившись по всем правилам. Бой назначен не до первой крови, а до смерти. Троянец защищает свой город. Ахеец намерен сей город разорить. Троянец – опора и надежда соотечественников. Ахеец – ночной ужас осажденных.

Конечно, Гектор симпатичнее Ахилла, тут спору нет, это и Гомер не отрицает.

Зато Ахилл – сильнее: он-то, в отличие от Гектора, полубог! Сходятся. Бьются. И Гектор одолевает! На хрипе, на ненависти, на последнем рывке, но – одолевает. Выбивает у Ахилла копье. У непобедимого полубога! Ахейцы в шоке. Троянцы ликуют на стенах. И тут-то вмешиваются Олимпийцы,

отводят Гектору глаза и подают Ахиллу запасное копье, бьющее без промаха, Гефестовой работы...

Ахилл, конечно, образцово благороден, но тут уж не до таких мелочей.

Все. Конец акта.

Горе побежденным...

– Видишь ли, Пирр, – осторожно, словно ступив на лед, начал Киней, – полагаю, что у смертного Ахилл запасного копья не принял бы. Но воля богов есть воля богов. Ведь и они всего лишь выполняют предначертания Ананке-Судьбы. Судьба Гектора была пасть от руки Ахилла-мирмидонянина, мстящего за гибель возлюбленного Патрокла. Но ведь и Ахилл, не забудь, был наказан скорой гибелью...

– За то, что поступил бесчестно? – с упорством, достойным дятла, добивался царевич.

Бессмертные боги! Ну что делать с этим въедливым рыжим созданием?!

Еще два-три таких вопросика, и можно поседеть раньше срока. Вот Леоннат – дитя как дитя. Сидит себе, слушает, вопросы задает толковые, но простые, без подковырок, какие и положено задавать в неполные восемь лет.

Непобедимый Ахилл ему нравится. Просто потому, что он, а не какой-нибудь Гектор – главный герой бессмертной, как Олимпийцы, «Илиады», потому что издавна положено восхищаться именно Ахиллом, не тратя душевных сил на сочувствие троянцам.

Но попробуй-ка ответить так! «Куда положено?» – тут же спросит ехидный Пирр.

Придется, хоть это и не по нраву Кинею, применить запрещенный прием.

– Отвечу на вопрос вопросом, о любознательнейший! – наставник, улыбаясь дружелюбно и чуть-чуть, ни в коем случае не чересчур язвительно, облокотился на тугой войлочный валик, украшенный орнаментом. – Напомни-ка мне, если несложно, как звали тех людей, что по воле богов уцелели после Всевеликого Потопа?..

Задание простенькое, и Пирр отзывается мгновенно, не чая подвоха.

– Девкалион и жена его Пирра...

Прекрасная память! Великолепная реакция!

– Верно. А как звали отца Девкалиона?

– Эак!

– А сына его и Пирры?

Наследник диадемы Молоссии торжествующе скалится: чем-чем, а уж на именах его не подловить!

– Неоптолем, прозванный также и Пирром, в честь матери и за цвет волос!

– Правильно, царевич, совершенно точно. За рыжий, как и у тебя, цвет волос. А праправнуком этого самого Неоптолема-Пирра был... Кто?

– Ну, Ахилл-мирмидонянин, победитель славного Гектора. К чему это ты?

– А к тому, мой милый, – Киней, вовсе убрав язвительность из улыбки, стал сердечным, – что именно от мудрого Эака по прямой линии происходит твой род, царский род Эакидов. Через Эакова сына, Неоптолема-Пир-

ра и потомка его, несокрушимого Ахилла-мирмидонянина. Так ответь же: достойно ли почтительного потомка обсуждать, а тем более – осуждать деяния предков, воспетых величайшим из поэтов?

Пирр опускает глаза, и уши его медленно наливаются ярко-алым.

– Прости меня, Киней! Я понял. Я был неправ.

Отлично! Нехитрая уловка, но неизменно действенная: отвлечь, перевести внимание и прищемить с неожиданной стороны. Давняя, многократно проверенная методика. Не вполне, правда, по чести, как сказал бы Пирр, но что же прикажете делать? Очень часто педагог вынужден прибегать и к демагогии. Иначе с этими пострелятами нельзя...

Зато какая победа! Пирр, просящий прощения! Это нечто трудно представимое. Главкий, узнав, пожалуй, и не сразу поверит Кинею.

– Не у меня проси прощения, Пирр! Проси у предков!

Ага. Вот он и покраснел. За-ме-ча-тель-но! Впредь будет осторожнее.

Однако же следует уже сейчас продумать: как быть через годок-другой, когда этого рыжего лисенка уже нельзя будет заманить в столь простую ловушку. Впрочем, время поразмыслить над этим еще есть. Жизнь капризна, и не следует ее дразнить, заглядывая так далеко.

– Итак, дети, – не поднимаясь, Киней потянулся к очагу и простер над жаром рдеющих угольев узкие тонкопалые ладони, напрочь лишенные мозолей, – как вы полагаете, о чем мы поговорим сейчас?

– О гипербореях! – радостно взвизгнул Лоеннат. – И о Рифейских горах!

– Нет, – опроверг предложение Киней. – География у нас будет завтра. Пирр?

Рыжий крепыш задумался. Просиял.

– О том, как наши воевали с персами? Я знаю! Я выучил все! Если бы не праздники Диоскуров, спартанцы послали бы к Фермопилам подкрепление, и...

– Погоди!

Да что же это такое, в самом-то деле? Никак не проходит озноб, даже отвар, похоже, не помогает.

– Факты истории мы обсуждали с утра. Ну же, вспоминайте! Вторая попытка, время пошло!

Молчат. Хитро переглядываются. Ох, притворщики!

– Я жду!

Леоннат, вздохнув, подпер голову кулачком. Он уже все понял и смирился с неизбежностью. Пирр же, вопреки всему, пытается перехитрить саму Ананке.

– Мифология?

И, разумеется, не преуспел.

– Забыли? Оба и сразу? Досадно. Что ж, придется напомнить! – Киней таинственно подмигнул, попутно наслаждаясь наконец-то пробудившимся в недрах организма теплом, усмиряющим гадкую дрожь, и доверительным полушепотом сообщил:

– Займемся мы сейчас проблемами политики...

Лица учеников вытянулись.

– Скучно, – пожаловался Леоннат.

– Скучно, – согласился с будущим своим советником Пирр.

– Скучно, – не стал отрицать очевидного и Киней. – Но необходимо. Тот, кто собирается править государством, должен знать, как это следует делать.

– Но я-то ничем править не собираюсь! – подвижное личико Леонната выражало глубочайшее, искреннейшее облегчение. – Так, может быть...

– Разумеется, ты можешь идти, Леоннат, – позволил наставник. – Хотя каждому базилевсу необходимы знающие, толковые советники, друзья, на которых всегда можно положиться в трудный час...

– Как Патрокл?!

– Как Патрокл. Как Пилад. Как...

Продолжать не было нужды. Леоннат, мужественно скрывая огорчение, умостился поудобнее, готовый слушать. Как Патрокл – это он согласен. Чтобы всегда уметь поддержать Пирра. Даже если ради этого придется тосковать на нудном уроке политики.

Киней снова прокашлялся, с удовлетворением отметив, что рвущая боль в гортани несколько смягчилась и беседа не вызывает уже тех мучений, что грызли недавно, вызывая совершенно недопустимое в работе с детьми раздражение.

– Суть политики мы с вами уже обсуждали. Коротко говоря, это – искусство управлять людьми, учреждать должности, подбирать и назначать достойных, судить и карать порочных и заботиться о процветании государства. Но сегодня мы потолкуем об ином, более интересном.

В глазах смирно слушающих мальчишек – паре темно-карих и паре переменчивых, то серых, то синих, с легчайшим зеленоватым отливом – явственное и нескрываемое сомнение. Конечно, Киней никогда не обманывает, и если он что-то говорит, то так оно и есть.

Но что интересного может быть в политике?

– Действительно, что? – Киней, отвечая на немой вопрос, торжественно поднял указательный палец, призывая к полному сосредоточению. – А то, что ее называют искусством возможного, и это верно, но верно лишь отчасти. Это малая политика, земная и пасмурная, как небо за нашими окнами. Есть, между тем, и другой лик политической науки. Зададимся же вопросом: как достигать невозможного?

Так. Насторожились. Округлили глаза. Превосходно. Теперь внимание обеспечено.

Закрепим же интерес.

– Как указывает мудрейший Гесиод, история людей состоит из пяти эпох. Беззаботным и сладостным был Золотой век, люди жили, не ведая тягот, и, равные богам, пировали с небожителями в алмазных покоях, окруженных чудесными садами, среди медвяных ручьев и душистых млечных трав. Хищные звери доверчиво выходили из дубрав и ластились, прося у людей подачки. Зла не было тогда, и не было ни бед, ни вражды. Увы! Возгордившись со-

бой, люди нанесли божествам обиду, и Олимпийцы покарали их окончанием Золотого века. Век следующий, Серебряный, напоминал предшествовавший так же, как тусклое серебро похоже на благородное сияющее золото. Не хватало уже благ на каждого, и возникло неравенство, а отсюда и корысть, а из нее – рознь, а из розни – кровавые распри. И, восстав друг против друга, не заметили люди, как окончился Серебряный век, обернувшись Медным. Страшным было то далекое время! Источали злобу сердца людей, и злоба эта, скапливаясь, порождала чудовищ, описать которых не в силах язык...

– Ехидна?.. – сладко замирая, перебил Леоннат, и Пирр тут же несильно, но вполне чувствительно ткнул его в бок: не мешай!

– Ехидна, – подтвердил Киней. – И Гидра, и Горгона Медуза, и страшные Стимфалийские птицы, и множество иных исчадий мрака, детей трехглавой Гекаты, чье имя не следует произносить в ночи. И так жутка и бесприютна сделалась жизнь людей, что сжалились Олимпийцы. Помня обиду, не пожелали они помогать сами. Но не захотели и оставаться в стороне. Вступив в связь с земными женщинами, позволили им благонесущие боги родить от чресел своих поколение полубогов-героев, дабы оберегли могучие мужи людской мир от ужаса, порожденного людскими же пороками...

– Геракл! – на сей раз от реплики не удержался Пирр, и теперь уже Леоннат, мстительно ухмыляясь, изловчился ткнуть его локтем: не мешай!

– Да, Геракл, сын Зевса и Алкмены! – Киней одобрительно кивнул. – Он покончил с Гидрой, и с Нимфейским львом, и с меднокрылыми Стимфалидами, и со многими иными нежитями. А отважный Беллерофонт, о котором вспоминают реже, ибо и он посмел восстать против богов, сразил в честном бою Ехидну. А Персей укротил и отослал обратно в черное логово Гекаты чудовищную Медузу. А Тесей...

– Убил Минотавра! – в один голос сообщили мальчишки, безошибочно уловив разрешающую заминку.

– Верно! Но ведь герои были лишь наполовину богами, и ничто из человеческих слабостей не было им чуждо. Одолев чудовищ и усмирив разбойников, взревновали они к славе друг друга и подняли мечи в губительных междоусобицах. Ну-ка, напомните мне, где полегли полубоги?

– Троя... – зачарованно пробормотал Леоннат.

– Верно. А еще? Ответь ты, Пирр!

– Фивы...

– Правильно. И когда не стало героев на свете, – учитель помолчал, печально покосился в окно, словно пытаясь разглядеть сквозь мутную слюду неустанно низвергающиеся с небес струи злобной осенней воды, – настал век Железный, наигнуснейший. Наш век. Злобы в сердцах людских нынче не менее, чем в Серебряном веке, надежды же на рождение героев мало, и потомками Олимпийцев объявляют себя подчас наглые самозванцы. Должно ли быть так?..

– Нет! – Пирр порывисто вскочил и высоко вскинул правую руку, словно готовясь к принесению клятвы. – Вот увидишь, Киней: когда я подрасту, я верну в Ойкумену век героев!

– Вот как? – Киней кивнул, очень серьезно и понимающе, без малейшего намека на сомнения. – Отличная мысль! Позволь спросить: отчего же не Золотой?

– А? – потомок Ахилла-мирмидонянина не сразу нашелся и какое-то время сосредоточенно размышлял, кусая губу. – Ну-у, во-первых, я не знаю, как сделать эти самые... медвяные ручьи, вот! Я же все-таки не божество, а только немножечко полубог. Ведь верно, Киней?

– Что есть, то есть! – кивнул наставник.

Похвальная скромность, однако. Она украшает мужчину. А объективная самооценка – тоже дело не последнее.

– А во-вторых, тогда я тоже смогу убить какое-нибудь чудовище!

– И я с тобой! – ревнивый вопль Леонната.

– Конечно. Ты будешь подавать мне копья! – великодушничал грядущий спаситель человечества, и смуглое лицо озарилось широчайшей улыбкой.

С Пирром Щегленок готов идти даже против Гидры и Ехидны, вместе взятых!

Киней серьезен. Вернее, ничем не выдает улыбку.

– Ну что же, похвальное желание. Попробуем же понять, в чем нуждаются люди сегодня, когда ты, царевич, еще не настолько всемогущ, чтобы повергнуть вспять течение неумолимого времени...

Пирр замирает. На лице его появляется подозрительная гримаса.

Киней одергивает себя. Нельзя упускать из виду: паренек не так прост, слишком рано для своих лет он научился улавливать скрытую иронию.

– Итак, попробуем разобраться. Мне кажется бесспорным, что главнейшая нужда людей – в защите и справедливости. Ибо в Золотом веке все были равны перед богами, и каждый имел право на равную с остальными толику добра...

– А рабы?

– А что рабы?

Как он, в сущности, мал еще и наивен. Он ведь и не видел настоящих рабов и о рабстве имеет самые смутные представления. Рабы в Иллирии – почти что члены рода. Их после трех лет неволи отпускают на свободу. И все же они не равны свободным, и на лицах их лежит печать горечи. Но что бы сказал этот мальчик, столкнись он с жизнью истинных рабов, там, на юге, в эллинских полисадах?

– Что рабы, Леоннат, сын Клеоника? Невольничья колодка указывает на немилость судьбы, а судьба далеко не всегда справедлива. Ведь и твой отец, отважный Клеоник, тоже сперва был рабом, но стал другом царя. И ты, сын раба, первый из приближенных царя будущего...

В уголках темно-карих глазенок сверкают быстрые слезы. Леоннат совсем не помнит отца, но хорошо знает о нем из рассказов Аэропа и гордится родителем. И то, что Клеоник был рабом, да еще беглым, тоже не секрет для него. Однако лишь сейчас, сопоставляя известное с услышанным, он понимает и запоминает накрепко: рабство – несправедливо!

– А варвары? – спрашивает Пирр.

– А что варвары? – усмехается Киней. – Некогда мы, даже премудрый Аристотель, полагали варварами азиатов, однако ныне, повидав Восток, вынуждены признать: персы, мидяне, финикийцы – вовсе не дикари. Они просто иные, нежели мы. Ну и что же? Знавал я одного перса по имени Зопир – так он ничем не уступит любому из эллинов, а многих из них, пожалуй, и превзойдет...

Афинянин многозначительно помолчал.

Хмыкнул.

– К слову сказать, иные из эллинов по сей день считают варварами уроженцев Иллирии. И даже македонцев. И, более того, молоссов!

– Молоссов?! – Пирр явно ошеломлен.

Киней разводит руками, словно извиняясь.

– Увы, царевич!

– Мы... – губы Пирра белеют, прикушенные в тщетной попытке сдержать ярость. – Мы, молоссы... самые лучшие! Самые настоящие из эллинов! Так говорит Аэроп!

Ого! Аэроп, значит, экий авторитет...

Киней, хоть и не показывает своих чувств, терпеть не может седовласого великана, почти год глядевшего на него, словно на пустое место. С недавних пор Пирров дядька, правда, стал учтивее и даже пытается дружелюбно заговаривать при встрече, но напрасно презренный варвар-горец думает, что Киней, гражданин великих Афин, когда-нибудь забудет и простит наглое пренебрежение первых месяцев. Царь Главкий хоть и варвар, а вполне уважителен! А Пирр... он, конечно, молосс, как и Аэроп, и этим многое сказано, но, с другой стороны, он и потомок Эака, а, следовательно, к миру варваров отнесен быть не может.

– Разумеется, Аэроп прав, – ничем не выдавая неприязни к старцу, соглашается Киней. – И, значит, вопрос с варварами тоже далеко не так прост...

Еще один глоток из чаши. Горло сводит омерзительной горечью остывшего взвара, уже не годного к употреблению. Хлопком в ладоши Киней вызвал проворную рабыню, сидящую для всяких надобностей у входа в покой, и, спустя недолгое время получив новую порцию целебного напитка, с видимым удовольствием отхлебнул. Обжегся. Кляня себя за поспешность, глубоко втянул дымный воздух. И следующие глотки делал уже осторожно, не забывая подуть на исходящую паром чашу.

– Продолжим беседу. Задумаемся: если в Золотом веке все люди были подобны богам и равны в счастии, а в Серебряном и Медном веках смертных уравнивало горе, отчего же ныне – не так? Почему одни живут в роскоши и неге, а у других подчас нет и корочки хлеба? Кто пожелал и сделал так, что сильные безнаказанно наносят обиды тем, кто слаб и не способен защитить себя?..

Пауза. Длинная, умело выжданная.

Улыбка, не учительская, но почти дружеская.

– Когда вы станете постарше, мы прочтем трактат прославленного афинянина Платона. Он выстроил схему идеального государства, управлять ко-

торым призваны философы. Там будет общим все – имущество, земля и даже женщины. Никто не станет стремиться к завоеваниям ради суетной славы. Воины будут лишь отражать вражеские нападения, а рабы трудиться на общее благо. Но, дети мои, готов биться об заклад, что вы тогда спросите меня: значит, рабы все-таки есть и там? И еще спросите: каким образом философам удается заставить воинов подчиняться своей мудрости, если у воинов сила? Вы неизбежно зададите мне эти вопросы, и – открою тайну заранее...

Мальчишки замирают, превратившись в слух.

– ... у меня не найдется ответа! И потому...

Наклонившись, Киней, не глядя, поднял с пола небольшой футляр, расстегнул бронзовую застежку и продемонстрировал ученикам тугой папирусный свиток.

– ...уже сейчас нам с вами надлежит прочесть, обдумать и обсудить сочинение высокоумного Евгемера о чудесном острове Панхея!

Вступив наконец на предначертанную тропинку, Киней забывает о такой досадной мелочи, как простуда. Голос его, хотя и несколько глуховатый, взлетает и опускается, подчиняя слушателей себе, не позволяя отвлечься и на кратчайшее мгновение. Это – один из величайших секретов педагогики, да и риторики, и не так много в Ойкумене людей, в совершенстве владеющих полузабытым искусством.

Зачарованно сияющие глаза мальчишек еще больше раззадоривают наставника.

– Однажды некий наварх, угодив в жестокую бурю, направил корабль к появившемуся словно из ниоткуда острову... Там далеко-далеко, среди синих просторов теплого южного океана, – плавно льется речь, – есть остров, защищенный от неожиданных гостей штормами и водоворотами. Лишь немногим, чистым душой, защищенным молитвами домочадцев удается, преодолев смерчи и скалы, причалить к его берегам. И обитают там счастливые люди, у которых все общее. Не нуждаясь ни в чем и не завидуя никому, островитяне-панхейцы равны между собою. Нет там ни рабов, ни господ, ни надсмотрщиков, ни царей. Все люди – братья. Они не знают торговли, неотъемлемой от плутовства, не знакомы с судом присяжных, ибо не подозревают о том, что можно преступить закон. Трудятся эти счастливцы ровно столько, сколько необходимо, чтобы не нуждаться ни в пище, ни в одежде, а потому и не ведают ни бедности, ни чрезмерного богатства. Все население Панхеи делится на группы. Имеются там жрецы, есть ремесленники, есть земледельцы. Каждый обучен владеть оружием. На всякий случай: вдруг нападет враг. Но все они одинаково свободны и одинаково счастливы. И нет и никогда не было над ними никакого правителя! А теперь ответьте мне, дети: в чем, на ваш взгляд, ошибка достойнейшего Евгемера?

Молчат. Не знают.

Малы еще для цепочки умозаключений.

Что ж, подтолкнем.

– Не может быть справедливости без высшего судии, равно справедливо-

го ко всем, как не устоит на ногах человек, лишенный головы, и как распадается семья, утратившая отцовскую опеку. Нужен царь! Великий, могучий и добрый властелин, благословленный Олимпийцами на управление людьми.

Обуздать жадных и безнаказанных негодяев, усовестить оступившихся, возвысить достойных, накормить голодных и защитить беззащитных – только ему это по силам. Только в этом залог процветания. Но этого мало. Не меньше тепла и хлеба людям необходим мир. Мир же наступит лишь тогда, когда под синим небом будет простираться одна держава, а не десятки больших и малых стран, враждующих друг с дружкой по злой воле своих владык, не умеющих думать о великом. Убить войну войной, объединив Ойкумену, мечтал македонский Александр, но, увы, оказался слишком мелок для воплощения в жизнь этой великой мечты. Тщеславие и злоба источили его изнутри, и презрение к людям убило в расцвете лет. А диадохи*, наследники его – всего лишь жадные и злобные самозванцы, жаждущие только золота, только славы, только земель и рабов! Высокие думы им, низким, попросту недоступны!

Нахмурившись, Киней остро и пронзительно заглянул в глаза ученикам.

Коротко, почти мельком – в карие.

Гораздо дольше, с надеждой и убежденностью – в серо-синие, меняющие цвет.

– Понимаете, дорогие мои? Снова, в который уже раз, мечта людская растоптана и размазана в грязи. Того, кто сумеет оживить ее и воплотить в жизнь, Ойкумена запомнит навсегда, и слепые аэды воспоют его. Как Геракла. Как Персея. Как Беллерофонта. Может быть, даже почтительнее и благодарнее... Но где он? Когда придет?

И сможет ли?..

Рыжие брови вздрогнули и сдвинулись.

– Киней... а я?

Глубокий-глубокий вздох, словно перед прыжком с обрыва в ледяное горное озеро.

– Как ты думаешь... я – смогу?

О!

Леска дернулась. Поплавок подпрыгнул.

Рыбка, кажется, клюнула!..

С печальной нежностью провел Киней холеной ладонью по жестким солнечным завиткам.

– Это трудно, Пирр! Это очень трудно! Но ты и впрямь полубог по крови... Твои предки – Геракл и Ахилл-мирмидонянин! И тебе нет надобности доказывать свои права! Зло на земле существует слишком давно, чтобы не попытаться его уничтожить. Возможно, ты сумеешь, мой мальчик. Я хочу верить, что сумеешь...

---

* Диадохи – дословно: «наследники»; собирательное название полководцев, поделивших державу Александра Македонского.

– Пирр сумеет! – с необычной, совсем взрослой твердостью прозвучал в тишине голос Леонната.

Туго сжав пересохшие губы, Пирр благодарно кивнул.

– Я сумею...

Эписодий 2
МОЛОССКИЙ ОРЛЕНОК

Додона. Середина лета года 469-го от начала Игр в Олимпии

Тот, кому довелось побродить по распахнутым вширь вавилонским улицам, потолкаться в пестрой, суетливой, на ходу режущей кошельки и не верящей слезам сутолоке, неподражаемо-восхитительной, пряно-восточной, может навсегда прислонить к стене верный, окованный медью посох и отряхнуть пыль с заскорузлых сандалий. До конца жизни хватит счастливцу неспешных воспоминаний у домашнего очага.

Ему некуда больше спешить, ибо он видел Столицу Мира!

Тот, кто стоял на балюстраде Акрополя, наслаждаясь пронзительным белоснежием исступленно-ледяного мрамора, окутанного нежной зеленью весенней листвы, напоенной ароматами недалекого моря, не соблазнится уже ни поездкой в изящный Коринф, ни путешествием в загадочную Спарту, ни созерцанием достославного рынка на веселом острове Родос. Тщетно станут друзья звать его в путь.

Ему нет смысла утруждать себя, ибо он повидал сердце Эллады.

Тот, кто восходил по ступеням краснокаменного храма Живого Огня на окраине Персеполиса, невольно сжимаясь в комок под тяжелыми взглядами мужеголовых, украшенных курчавыми бородами гранитных быков, вряд ли позволит прельстить себя медовыми рассказами о чудесах Востока, не имеющих ни пределов, ни объяснений. Он лишь улыбнется тихой, необидной усмешкой и пожелает доброй дороги тем, кто не сумел усидеть на месте.

Ему нечего уже смотреть, ибо он заглянул в глаза Азии.

Так думал доныне Киней.

И все же сейчас афинянин ощущал мелкую, тянуще-сладкую, давно уже, казалось, позабытую дрожь предвкушения, словно прыщавый юнец, затаившийся в прибрежном кустарнике на месте скорого девичьего купания. Нетерпение всадника передавалось покладистому мерину, и буланый, встряхивая коротко подстриженной гривой, то и дело норовил нарушить чинное движение процессии, перейти с неторопливой трусцы на бойкую рысь и, опередив иных, вырваться на откос.

Раз за разом всадник, очнувшись от дум, сдерживал излишне понятливого конька, но рука, вопреки разуму, спустя мгновение-другое вновь забывалась и предательски приослабляла витой шнур повода.

Там, совсем уже недалеко, лежала Додона.

Город Великого Дуба.

Загадочная столица молоссов, увидеть которую воочию доводилось немногим, даже из тех, кто сменил покой на познание и не одну сотню ночей пролежал у костра, любуясь непривычной эллинскому глазу яркостью звездной россыпи в иссиня-черном вине, заполнившем чашу азиатского неба.

Город Отца Лесов ждал своего царя.

На два корпуса вырвавшись вперед, ехал впереди кавалькады Пирр. Неестественно пряма была его спина, и короткий белый плащ, не успевший еще покрыться пылью, красивыми складками ниспадал с плеч юноши, почти полностью скрыв высокую луку деревянного иллирийского седла. А справа от грека, почти касаясь голенью колена Кинея, покачивался в такт мерному, выверенному конскому шагу Аэроп, и кажущиеся сомкнутыми дремотой глаза Пиррова пестуна изредка приоткрывались, добавляя в полуденную ярь ликующие блики.

Долго, очень долго ждал великан этого дня, подчас и не веря в его приход. И нынче он пил этот день медленно, мельчайшими глотками-мгновениями, смакуя и придерживая на языке терпкий, яростный вкус свершившейся мечты.

Чуть отставая от старших, с любопытством поглядывая по сторонам, придерживал мохноногую горскую кобылку Леоннат. Право царского друга и побратима отвело ему это почетное место.

А далее, по трое в ряд, как только и позволяла ширина тропы, – шли знатные мужи Эпира, цвет гор и соль долин, ведущие родословную от птенцов, вылупившихся из яиц, принесенных в скалы Первой Орлицей. Одетые в лучшее, сообразно поводу, крепко сжимая заскорузлыми пальцами древки, увенчанные родовыми значками, они хранили строгое, торжественное молчание с того самого часа, когда на рассвете крохотный отряд всадников, перейдя вброд порубежную с иллирийскими землями речку, осадил коней у заждавшегося лагеря эпиротов.

Молчание, предписанное вековым обычаем, в этот миг спасительно для самолюбия многих, следующих за Пирром...

Это не относится к молосским вождям. Им просто ни к чему тратить лишние слова там, где пояснения не нужны. Радость молоссов столь полна и ярка, что никакие восторженные клики ничего не добавят к ликованию, начертанному на суровых, выдубленных студеными горными ветрами лицах кряжистых бородачей. Девять лет – девять! – жировали в поселках Молоссии македонские дармоеды. Нельзя сказать, чтобы они вели себя чересчур дерзко, нет, напротив, они подчеркнуто соблюдали учтивость и приносили должные жертвы духам-покровителям окрестных скал, но для молосской гордости унизительна чужая речь, по-хозяйски звучащая в родных ущельях. А еще оскорбительнее – преклонять колени в праздничные дни перед слюнявым, таращащим пустые глаза недоумком, криво нахлобучившим серебряную, с вкраплениями горного хрусталя диадему молосских владык. Ибо царь – предстатель пред богами за всю Молоссию, и непорочность разума царского и тела – залог удач, ожидающих страну. Неда-

ром же завещано предками: когда спина царя сгибается под грузом лет, ему должно уйти! Некогда ослабевших владык почтительно провожали к месту второй жизни, накинув на дряблую шею надежную, прочную ременную петлю. В нынешние просвещенные времена такой обычай отошел. Но и теперь состарившийся царь обязан прилюдно передать венец, посох и секиру, символы власти своей, юному преемнику...

И пусть из пяти владык, чье правление предшествовало лишенному разума Неоптолему, ни один не сподобился дожить до густых седин, обычай от этого не изменился. Нечего делать на престоле Молоссии дурачку, в чьих жилах течет отравленная кровь македонских варваров.

Отныне не будет больше позора и бессильного гнева!

Македонцы ушли, забрав с собою Неоптолема, и Молоссия без крови пропустила их через ущелья. Никому не нужна лишняя кровь, и пусть живет в изгнании сын Клеопатры, если кто-то, кроме кровной родни, готов кормить бесполезного.

...Круто уйдя влево, тропа вскинулась, словно изогнувший спину лесной кот, и Киней не удержал разочарованного вскрика.

Неужели это и есть Додона?

Сотня, возможно и меньше, крохотных домиков, сгрудившихся в кучку на берегу чахлого ручья, строение побольше – не царский ли дворец, Боги?! – и рассыпанные в беспорядке по зеленой лужайке груды темного, обычного для здешних мест камня, судя по всему, валунного, даже не тронутого рукой человека, привычной хоть сколько-то к теслу и резцу.

– Аэроп!.. Это... Додона?

– Да, – кажется, великан не заметил растерянности спутника; лицо его выглядело сейчас много моложе обычного, и тон грубого голоса был почти благоговейным. – Это Додона, столица моих царей...

– Но разве у молоссов нет иных городов, больших?

– Есть... – впившись взглядом в раскинувшееся под обрывом зрелище, седоголовый отвечал машинально, воспринимая краешком разума лишь внешний смысл слов. – Есть Орфа, где я увидел свет, есть Контания, есть Пассарон. Там народу больше даже, чем в Фойнике, у рыбоедов... Почти как в Амбракии...

И тут лишь, нечто осознав, развернулся едва ли не с возмущением:

– Ты что, грек, спятил?! Это же город Дуба!..

Спустя мгновение Киней увидел.

И понял.

Ибо даже издалека величие священного древа подавляло и ослепляло, заставляя дыхание трусливо замереть в груди. Ни громады вавилонских башен, вознесшихся ввысь волею и трудом человека, ни быкоголовые мужи, с тщанием и упорством изваянные умельцами Персеполиса, ни даже ослепительное сияние построек Акрополя не могли бы пойти в сравнение с этим нерукотворным чудом, последним, что осталось в Ойкумене от времен, когда боги спускались к смертным, поднимая с ними круговые чаши на пиршествах равных...

Киней готов был поклясться: эта крона раскидывалась на солнце, предоставляя отдых в тени Персею, устало опустившемуся у ручья с мешком, таящим страшную голову Горгоны. Эти узлы и наросты на изжелта-серой коре уродовали неохватный кряж еще в дни славных сражений под стенами Трои... И, как знать, не на одной ли из этих ветвей, тогда нависавших низко, а ныне вознесенных временем в неизмеримую высь, повесил посильную жертву утомленный путник, бредущий к родной Итаке, сын Лаэрта, не воспетый еще никем и даже не догадывающийся о посмертной славе, что подарит ему слепец Гомер, отдаленный от него пропастью не прошедших еще веков?..

Ускорив скок, пронеслись кони в лощину.

И замерли перед тремя старцами, преградившими путь к Дубу.

Нет сейчас дороги никому. Кроме едущего впереди.

И Аэроп, с невыразимой радостью глядящий в глаза так давно не виденному другу и побратиму Андроклиду, в ответ на почти незаметное движение бровей чуть заметно кивает.

«Вот и я».

«Я рад тебе, Аэроп».

Только глазами. Остальное – позже, за праздничным столом, когда отгремят здравицы.

Подчиняясь не раз описанному, наизусть, до мелочей вызубренному ритуалу, Пирр спрыгивает с коня и неторопливо, с неюношеской заминкой переставляя ноги, идет навстречу томурам. Лишь один из сопровождающих следует за ним.

Леоннат.

Сегодня это его право. И долг.

– Кто ты, пришелец? – ничуть не повышая голоса, спрашивает Андроклид, и эхо, неправдоподобно гулкое, разносится окрест, распугивая снующих в древесных ветвях птиц.

– Я тот, кто вернулся! – звонко раздается ответ.

– Что тебе нужно?

– То, что принадлежит мне по праву...

– Кто сможет подтвердить твое право?

– Небо и горы, вот свидетели мои!

Рассекая прозрачный воздух, из поднебесья падает тень, на мгновение почти скрывающая Пирра от сопровождающих.

А спустя миг все, не лишенные зрения, видят: на мальчишеском плече, чуть опустившемся под немалой тяжестью, восседает, горделиво склонив увенчанную лохматым гребнем голову, огромный бело-черный орел – из тех, что вечно и неустанно парят в высоких небесах Молоссии.

От Первого Орла, вестника и слуги вседержителя Зевса, от хищноклювого посланца высшего гнева, терзавшего некогда печень ослушнику Прометею, происходят эти орлы, невиданные в иных местах, и один из них, прельстившись некогда красотой смертной женщины, возлег с нею в облике человека, положив начало роду молосских владык.

Так утверждают бродячие певцы-аэды, хранящие нетленную память предков, ушедших навсегда, но не оставляющих потомство свое неусыпной заботой...

– Великий Дуб призвал названных тобою, – кивает Андроклид, – и право твое подтверждено свидетельством. Скажи мне теперь, известен ли тебе долг, налагаемый правом?..

Пирр, расправив плечи, поднимает левую руку и медленно сжимает кулак, словно забирая в горсть воздух Молоссии. Так, как делали это до него отец его, Эакид, и брат отца, Александр, и отец отца, Арриба, и дед Неоптолем, и легендарный пращур, золотоустый Фарип...

Как сделал девять лет назад недоумок Неоптолем, на плечо которого так и не опустился из-под синего покрывала горных высот посланный Зевсом орел.

– Перед светлым ликом Отца Богов, и перед листвой Великого Дуба, воплотившим его, и перед вами, святые томуры, слушающие волю его, и перед пришедшими со мною, урожденными племенами эпирской земли, я, Пирр, сын царя Эакида, клянусь!..

Чеканными словами древнего, не совсем и похожего на нынешний говора предков присягает царевич, который сегодня станет царем, быть верным предстоятелем молосского племени перед своей бессмертной родней, и в первую голову – перед Отцом Олимпийцев, снизошедшим до воплощения себя в Дубе...

– ...и, обращаясь к небожителям, никогда не обойдусь я без совета и помощи томуров Священной Рощи, и слово их станет для меня путеводной звездой! Если же нет – пусть отвернется от меня Додонский Зевс, покровитель рода моего!..

Гортанно выговаривая намертво вбитые в память фразы, дает клятву Вернувшийся, сын Ушедшего, обещая честно и непредвзято судить провинившихся, беспристрастно рассматривать тяжбы, улаживать ссоры и на справедливом суде своем не быть глухим к мнению благородных вождей, среди которых он – всего лишь первый, и не требовать от них отчета за творящееся в селениях, им подчиненных, иначе как с согласия их самих...

– ...и, праведно судя нарушивших обычаи предков, не покушусь на права старейших; не подвергну их ни каре, ни опале без согласия тех, кто им равен; если же нет – пусть откажут мне в праве судить!..

Почти не спотыкаясь на особо непривычно звучащих оборотах, клянется наследник венца Молоссии без страха и сомнений хранить и защищать священные рубежи отеческих земель, надежно оберегать поселки иных племен, исправно приносящих дань, и быть готовым в любой час обнажить меч, если встанет над границами тревожный дым...

– ...и никогда не объявлю похода, не испросив согласия вождей Молоссии; не призову добровольцев от их очагов в ополчение без их дозволения; не заключу союза с иноплеменниками – без их совета и не расторгну – без их одобрения; если же нет – пусть не окажут мне помощи в тяжкий час!

«Боги! – подумал Киней, храня на устах приличествующую случаю почтительную полуулыбку. – Что же здешние обычаи оставляют царю?!»

Клятва прозвучала вся, до последнего слова.

Стихло, отбегав свое, неправдоподобное эхо, равного которому не отыскать в Ойкумене, и орел, цепко удерживающийся на плече Пирра, встрепенувшись, пронзительно заклекотал.

– Великий Дуб, – теперь козлобородый, язвительный лик томура гораздо более почтителен, нежели ранее, – услышал тебя и счел достойным. По обычаю предков спрашиваю: привел ли ты с собою свою тень?..

– Да! – кивнул Пирр. – Тень моя со мною, и вот она!

Шагнув вперед, Андроклид пытливо вгляделся в смуглое лицо Леонната.

– Тот, кто просил и обретет, назвал тебя своей тенью. Его воля – воля Дуба. Но, как велят предки, спрашиваю тебя: готов ли ты?..

Это – единственный миг, когда еще можно отказаться.

И Леоннату известно: в час, наистрашнейший для Посвященного, боги направят предназначенный ему удар судьбы именно в того, кто, никем не принужденный, дал согласие стать тенью.

Так что же? Есть ли хоть что-то, чего не сделает ради Пирра Леоннат?!

– Я готов! – не колеблясь, откликнулся подросток, тряхнув черными, словно косское вино, кудрями.

– Тогда – идите. Отец Богов ждет вас!

Резко выбросив руку в сторону Дуба, томур выкрикнул заклинание. И тотчас у самой земли словно бы разъехалась шершавая кора, открыв узкий проход в темную сердцевину Отца Лесов. И две черные тени, две укутанные в черное фигуры, с лицами, скрытыми темной тканью остроконечных колпаков, появившись из недр Дуба, склонились в приглашающем поклоне.

Кони, встрепенувшись, заплясали на траве, и в ответ пронзительному ржанию донесся издали, со стороны додонских домишек, отзвук заполошного собачьего лая, срывающегося в тоненькие взвывы...

И снова – пронзительный крик Андроклида.

Взметнув крылья, сорвался с плеча юноши орел и пошел в небо, кругами набирая высоту.

Невесть откуда потянуло туманом, мелким и затхлым, словно сама земля выдохнула сгусток воздуха, несметное количество веков комом стоявшего в ее необъятной груди.

Всего лишь три шага навстречу черным фигурам без лиц.

Сполох, ослепивший застывших людей.

Все.

Нет юношей – ни рыжего, ни смуглого.

Только незатянувшийся узкий шрам на бугристой коре, похожий то ли на щель в скале, то ли на прорезанный вопреки природе рот, напоминал некоторое время о том, что в недра Отца Лесов только что шагнули люди.

Потом затянулся и он, и никто не сумел заметить, когда щели не стало.

А может быть, не посмел.

И наступило томительное ожидание.

При потускневшем в лохмотьях тумана свете полудня людские лица каза-

лись синюшно-сизыми, словно маски полуночных демонов, прислужников не поминаемой к заходу солнца Гекаты. Взгляды их, испуганные, потрясенные, благоговейные, метались по сторонам, избегая случайных пересечений.

Туман курился вверх, цеплялся за ветви Отца Лесов, повисал меж листьев синеватыми клочьями, раскидывая по воздуху мелкую прохладную паутину и понемногу изменяясь. Влажная затхлость сменилась свежим, напоенным голубым жаром молнии запахом. Сквозь истончившиеся струи испарений проступили низкие плотные кусты, растущие в двух десятках шагов от Великого Дуба. Вот промелькнула зелень у ног... Пышный ковер травы из свинцово-серого стал белесым, а затем вновь налился пронзительно живым цветом... Рассекая морось, цепенящую души, радостно прокричала в высокой кроне незаметная глазу птица...

И небо взревело, словно гигантский боевой рог.

Мгновенно, как и явился, сгинул в никуда туман, открывая людям невиданное зрелище, равно сжимающее сердца тех, кто сподобился видеть обряд посвящения впервые, и тех, кто был свидетелем благословения Дубом Эакида...

На широкой, негнущейся ветви, спиной к огромному, в полтора мужских роста дуплу появился томур Андроклид, лишь миг назад стоявший рядом с вождями, а плечом к плечу с клинобородым стоял молодой воин, сияющий начищенной медью кудрей. Левой рукой сжимал он высокий посох, оканчивающийся крючковатой загогулиной, а пальцы правой крепко удерживали странной формы, неудобный и чудовищно тяжелый даже на вид каменный топор, крепко примотанный к корявому сухому суку.

Толпа ахнула, приветствуя Хозяина Посоха и Секиры.

И Кинею, глядящему сквозь рассеивающиеся кольца тумана, на миг показалось, что он не стоит здесь, в диком варварском краю, у святилища знакомых по именам, но чужих и чуждых богов, а грезит у теплого очага, и в уши ему, навевая невозможные сны, вползает тихая песня аэда...

Андроклид вскинул руки, и голос его, долетающий сверху до сжавшейся, замершей толпы, был пронзительно тонок, как одинокий птичий вскрик среди пасмурного утра.

– Царь ушел, и Царь пришел! Примите Царя, о молоссы!

В воздетых руках жреца, явившись неведомо откуда, вдруг полыхнул белым огнем витой обруч из серебра, украшенного осколками горного хрусталя. Во внезапно сгустившейся тишине было отчетливо слышно, как ёкает селезенка у трудно, словно после долгого бега дышащего коня того, кто стал Царем.

Медленным движением томур опустил руки и, неслышно шевеля губами, надел обруч на рыжую голову молодого царя, сдвинув его низко-низко, почти по самые брови.

Судорога восторга сотрясла толпу.

Зародившийся шепот быстро перерос в нестройные крики, затем сгустился, потяжелел – и разрядился невыносимым грохотом. Молоссы, хаоны, феспроты, забыв о различиях, претензиях и обидах, ревели и размахивали руками, приветствуя Вернувшегося Царя. Когда шум утих, все увидели,

что козлобородый Андроклид, устало улыбаясь, стоит вместе со всеми, вернувшись на землю так же таинственно, как и уходил.

На ветви Дуба стоял молодой Царь молоссов Пирр, один среди обрывков тумана и шевелящейся беззвучной листвы, и только темное пятно тени, неотделимое от него, маячило за спиной Властелина эпирских ущелий.

Вскинув голову, он повертел ею, словно проверяя, какова тяжесть древнего Венца Молоссии.

И тень повторила движение.

Царь легко спрыгнул на землю.

И тень последовала за ним.

Двое чуть согнули ноги, удерживая равновесие, и встали рядом: Пирр, сын Эакида, Царь молоссов и потомок царей, и Леоннат, сын Клеоника, отныне и навеки неразлучная с повелителем тень...

– Я – Царь! – прогремело ясно и торжественно.

И толпа вождей дружно отозвалась:

– Ты – Царь!

– Клянитесь же мне в верности!

Тишина. Затем – негромко, нараспев:

– Ты – наш царь! Ты – наша сила! Ты – наш царь! Ты – наша надежда! Ты – наш царь! Ты – наша судьба! Звездное небо тому свидетель, серое море тому порука! Ты – наш царь!..

Один лишь раз за все царствование повелителя молоссов вожди племен, во всем равные ему, преклоняют колени перед Избранником Дуба вот так, касаясь лбами травы, словно азиаты перед суровым сатрапом, или эллинские рабы, застигнутые в миг безделья требовательным господином.

Глаза их напоены еще не рассеявшимся туманом.

Дыхание затруднено.

На щеках – нездоровый румянец.

Киней прикусывает губу, потрясенный внезапной догадкой.

Неужели?

Вот почему таким знакомым показалось ему все, что произошло у подножия Дуба. Давно уже там, на Востоке, приходилось видеть ему подобное. Служители Огня Живого, закутанные в багрово-желтые хламиды, тоже умели творить необъяснимое, и дым хаомы*, исходящий из незаметных глазу отверстий, наводил туман на разум преклонивших колена людей.

Ни за какие посулы не согласились узкобородые мудрецы открыть наставнику Эвмену свою тайну; лишь искусству уходить из-под давления чужой воли обучили они стратега и учеников его, предупредив, однако, что начавший поздно не сумеет избежать внушения вовсе, но лишь быстрее иных вырвется из колдовских пут...

В Эпире не растет хаома.

---

* Хаома – азиатская конопля, наркотик, аналогичный гашишу; применялась для изготовления возбуждающего напитка для боевых слонов, а изредка и для лошадей.

Но ведомо ли кому-либо, что растет в Эпире?!

Значит...

Афинянин вздрагивает, обожженный колючим, все замечающим и понимающим взглядом Андроклида: молчи, чужак, – предупреждает бесстрастный прищур, – бойся догадываться о том, что запретно!..

Киней отвечает поклоном.

Обидно признаваться, но еще несколько мгновений тому он едва не воспринял всерьез то, о чем нет нужды даже и писать Гиерониму...

– Свершилось, эллин! – Аэроп дружески обнимает афинянина. – Пирр – царь! Отец Зевс принял его!

Царь? На память приходят слова недавно прозвучавшей клятвы. Нет, варвар, ты ошибаешься! Мальчику еще только предстоит стать царем. Настоящим царем, а не бесправным вождем дикарей. Впрочем, этого Аэропу не понять...

– Отлично! – отзывается Киней с улыбкой.

Додона. Весна года 470-го от начала Игр в Олимпии

Промозгло-теплая, пропитанная моросью темень за окном.

Шорох ветвей.

Протяжный плач ветра.

И одуряющий, не дающий уснуть до рассвета запах только-только раскрывшихся почек...

Подрагивает огненный лепесток на фитиле, выхватывая из тьмы золотистый кружок.

Ползет по чистому папирусному полю тонко заточенный плужок-стило.

«...От Кинея-афинянина Гиерониму из Кардии: привет!»

Медленно тащится рука, от слова к слову, словно впряженный в тяжелое ярмо бык.

А ведь раньше – бежала под стать нисейскому иноходцу.

Сидящий за пюпитром замирает, склонив голову к левому плечу, прислушивается к тишине, и в страдальчески искривившихся уголках тонких губ возникают сетки морщин.

Нет. Рука подчас умнее головы. Она уже смирилась с тем, чему не желает поверить разум.

Рука знает: незачем писать, да, в общем, и некому!

От встречи, вымечтанной и, наконец, осуществившейся, осталась лишь горечь обманутых надежд.

А ведь как верилось, даже и в наитяжелейшие мгновения: нет одиночества! Где-то там, далеко, в азиатских просторах, живет человек, способный понять самые сокровенные мысли, разделить горчайшие из сомнений, поддержать в миг слабости.

Увы, Киней, найди силы признаться самому себе: ты ошибся! Да, были радость встречи, и долгие, далеко за полночь, беседы, и неспешные прогул-

ки, и ни с чем не сравнимая радость общения с равным по духу – после семи тягостных лет прозябания в кругу кичливых полуварваров, полагающих себя солью Геи!..

Все это было! Не было главного – понимания!

Киней пытался говорить о том, что его жгло и мучило и не давало уснуть все эти годы, а глаза Гиеронима наливались недоуменной скукой.

Его не терзали сомнения, ибо ему все было ясно.

Киней тяжко вздохнул.

Как ни печально, следует признать: Гиероним тяжко, неизлечимо болен.

Симптом болезни в нежелании ее осознать. А имя недугу: «деметриомания».

...Киней, поднявшись, подошел к окну, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, заставляя мысли не опережать друг дружку. Вернулся к пюпитру. Вновь обмакнул стило в чернила. Густо-густо зачеркнул строку: «От Кинея-афинянина...»

Незачем писать тому, кто не поймет.

Однако же и не писать нельзя. Делиться наболевшим с папирусом стало за эти годы необходимостью, и обойтись без этого ему уже не под силу.

Что ж. Есть все же в Ойкумене один, способный понять.

Стило прикасается к норовящему согнуться листу.

«От Кинея-афинянина Кинею-афинянину: привет!

...Прости, что тревожу, отвлекая от насущного, но необходимость изложить мучающие меня проблемы сильнее учтивости, дорогой мой Киней, и не затруднись, прочтя, высказать свои соображения по поводу изложенного мною. Полагаю, что в этом не будет вреда и для тебя, поскольку я, как ты понимаешь, вполне осведомлен о твоих трудностях! Вдвоем мы сумеем найти наилучший выход из сложившейся ситуации, и да послужит решение наше во благо тому, кого мы с тобою, да еще Судьба неизбежно приведет к власти над Ойкуменой!..»

А шелест за окном все сильнее.

Стук – сначала редкий, затем чаще и чаще, и, наконец, ровный гул надолго зарядившего дождя. Белой вспышкой прорезает темень окна зигзаг молнии, и вдогонку за ним ползет гром.

Гроза подбирается с севера.

Из тех краев, где нынче Пирр.

Из тех земель, где сейчас сражается царь молоссов.

«О людях этих пока что ведомо немногое, – сама по себе пишет рука маловажное, избегая касаться главного. – ...Даже и имя их остается загадкой. Фракийцы именуют пришельцев калайтасами. Иллирийцы, подданные Главкия, – келеттами, сами они, как известно, предпочитают называть себя кельтами. Дабы не путаться в десятках непривычно звучащих слов, стану впредь говорить о них, как повелось среди эллинов, – галаты. Не так давно явившись в Ойкумену, произвели они впечатление ужасающее даже на фракийцев и дарданов, которые и сами пользуются недоброй славой среди соседей. Чужие всем, чуждые обаянию эллинской культуры и враждебные

всем заповедям, на коих зиждется человеческое существование, они, кажется, и впрямь посланы кем-либо из разгневанных Олимпийцев, решивших покарать Элладу и сопредельные с нею земли за позор братоубийственных войн. Поостерегусь даже назвать их варварами, ибо в слово это принято вкладывать смысл совершенно определенный.

Со времен мудрейшего из мудрых Аристотеля антитеза «эллин и варвар» предполагает неразрывность двух миров.

Нет эллина без перса! И наоборот. Эти же, галаты, чужды Ойкумене вообще!

Те немногие из них, что развязывают языки, попав в плен, даже не собираются скрывать, что цель их – в испепелении всего, что встретится на пути! А идеал – беспредельные пастбища для их стад, не обремененные каменными постройками. К тому же, к пребыванию в рабстве они не способны категорически, предпочитая откусывать себе языки и таким нечеловеческим образом избегать неволи. Иными словами, в антитезе «свободный и раб» они также не находят себе места. Поскольку рабов, в понимании людей цивилизованных, у них нет. По мнению этих галатов, хороший чужой – только мертвый чужой, а жизнь воина вовсе не так уж ценна, чтобы не обменять ее на победу. Они были бы лучшими из наемников, если бы ценили золото и соглашались служить кому бы то ни было, кроме своих князьков. Увы! И этого нет! Так что пришельцам не находится места даже в последней антитезе развитого мира: «нанимающий и нанятый». Можно сказать, они – звери в облике людей, людей, отдам должное, весьма привлекательных внешне, хотя и вызывающе непривычного вида. И если в наиближайшее время близорукие властители Ойкумены не опомнятся, прекратив воевать во имя собственного честолюбия, то всех нас ждет пора испытаний тяжелейших! Когда мир перевернется, и нога человекоподобного зверя растопчет все, что дорого нам...»

Вновь: вспышка в квадрате окна. И грохот.

Быть может, это отзвуки битвы?

В этот раз галатов, скорее всего, снова отбросят от иллирийских рубежей. И хотя с каждым годом их становится все больше, и набеги их вполне можно уже назвать вторжениями, однако и старый Главкий сумел собрать немалые силы. Уж если даже обитатели Косматой Фракии, не платящие дань самому Лисимаху, прислали почти три тысячи воинов в волчьих накидках поверх мускулистых тел, то галатам не устоять.

Этой весной.

Как сложится дальше – известно лишь на Олимпе...

Иллирийцы Главкия и вольные фракийцы – это серьезно.

Да еще и молоссы.

Хотя, надо сказать, вожди горцев без восторга выслушали приказ царя прислать воинов. Их-то селения не горели еще, подпаленные галатскими факелами! Кто знает, что вынудило их подчиниться: царская ли воля или нежелание ссориться с умным и сильным, а оттого и вдвойне опасным Главкием?..

Ну вот, Киней, ты и приблизился к главному.

Беги же по глади, стило, беги!

«Не стану скрывать: приход сего народа, чуждого и опасного, рассматриваю я как знамение свыше. Пришло время от благопожеланий о единстве переходить к практике. Ойкумене необходим царь, и это ясно всякому, умеющему рассуждать! Ясно и то, кому надлежит стать владыкой мира. Нет и не может быть иного претендента, нежели Пирр, хоть мысль эта ныне может показаться смешной.

...Но к тому-то времени, когда израненная Ойкумена, испытав ко всему еще и вторжение светлоусых северных нелюдей, возопит, призывая к власти царя, угодного богам, Пирр и войдет в блаженный возраст акмэ, когда мужчине, если он твердо уверен в своем пути, нет препятствий ни в чем!..»

Сорвавшись с острия, черная капля упала на неоконченную строку.

Киней досадливо поморщился. Щелкнул пальцами.

Принял из рук бесшумно возникшего и так же беззвучно сгинувшего прислужника чашу с подогретым, более чем обычно разбавленным вином.

Сделал глоток. Присыпал песком уродливую кляксу.

Ну... далее?..

Папирус внимал, словно благодарный, неболтливый слушатель.

«Однако же для того, чтобы бороться за власть над Ойкуменой, Пирру, несомненно, надлежит достигнуть власти в своем отечестве. Ты удивлен, любезный мой Киней? Ты полагал доселе, что царский сан и царская власть неразделимы? Твоя ошибка заслуживает извинения. Слишком давно избыла Эллада басилейю – власть, основанную на отеческом праве, и очень многие, даже и посвятившие жизнь политологическим изысканиям, скверно разбираются в подобных тонкостях. Тонкости же эти надлежит понимать, коль скоро принимаешь на плечи груз воспитания того, в ком видишь спасителя не только Эллады, но и всего культурного мира.

...Пожалуй, есть смысл уточнить категории, если не будет, милый Киней, возражений с твоей стороны...»

– Не будет! – не удержавшись, афинянин сказал это в полный голос и тотчас взмахнул рукой, отсылая прочь возникшего было служителя.

«...Весьма любезно, друг мой и единомышленник! Итак. Ни для кого не секрет, что право на обретение власти может быть трояким. Путем наследования, и тогда мы назовем властителя "базилевсом". Путем захвата, и в этом случае перед нами "тиран". Наконец, путем избрания, чего в обозримые времена не случалось, а те, кто был избран некогда – базилевсы Молоссии, Македонии, Спарты, – положили начало династиям, наследующим престол первым путем. Отбросим в сторону тиранию, ибо методы ее и конечный итог известны. Но и благородная монархия, "басилейя", основана на некоем соглашении избранного с избравшими. Общеизвестно, что, скажем, в Спарте цари являются не более нежели военачальниками, и власть их ограничена до немыслимых пределов обычаями и контролем старейшин. Можно смело сказать, что у молоссов традиция эта еще более сильна.

Но может ли Пирр смириться с теми узами, какие налагает на него давно обветшавший обычай?! А с другой стороны, позволительно ли этот обычай нарушать, тем самым расторгая договор, заключенный некогда его предками с подданными?.. Вот в чем сложность проблемы! Есть ли из тупика выход, или этот Лабиринт заведомо обрекает вошедшего на гибель?..»

На устах Кинея – лукавая усмешка.

«...А ответ, недогадливый мой собеседник, между тем есть, и он, как ни странно, весьма прост...»

Да, ответ прост. Проще некуда.

Поездка в Афины была полезна, и вовсе не только ради заключения союза торопил Киней воспитанника лично принести благодарность Полиоркету. Мальчик увидел, что такое настоящая власть! Он многого не понял – что в его возрасте простительно, – но он часами бродил среди боевых машин Полиоркета, по общему признанию – лучших в мире, он до заката пропадал в слоновьих загонах, пытаясь подружиться с серыми гигантами, и он сумел оценить блеск Деметриевых войск.

Для мальчишки – любого! – властвовать означает воевать. Вести за собою блещущих доспехами всадников, среброщитных пехотинцев под пурпурными знаменами, послушных каждому слову стратега... А не толпу, закутанную в овчины, да и то собирающуюся лишь с дозволения собственных вождей.

Пирр видит в Деметрии идеал? Прекрасно! Идеалу надлежит подражать! Пирр сталкивался с галатами? Превосходно! Значит, сообразит, какое войско необходимо для серьезной войны со светлоусыми! И он будет в восторге, если у Молоссии появится настоящая, постоянная армия.

Отсюда и следует исходить...

«Отсюда и только отсюда, друг мой, – выводит слово за словом стило, соблюдая изящный наклон, – ...лежит путь. Если в мирное время власть молосского базилевса ничтожна, то война делает ее воистину всеобъемлющей. Правда, лишь до момента заключения мира! Для воина слово царя – наивысшая воля. Теперь предположим, что набрано некое число воинов, постоянно находящихся при царе, за счет его казны. Такие воины, естественно, заинтересованы в укреплении власти своего стратега, ибо его власть гарантирует их процветание. Подчеркну: в молосских селениях имеется избыток молодежи, готовой – да что там! – мечтающей о воинской службе. Старейшины позволяют юношам уходить под знамена чужеземных царей, получая часть положенной им платы. Царь же молоссов не имеет возможности нанимать собственных подданных, ибо лишен средств для их содержания. Это препятствие – единственное. Отсюда возникает новый вопрос: где можно взять такие средства? Ты скажешь: войско кормится войной. Не стану спорить. Но скажи: с кем ныне может воевать молосский царь? Галаты? Они бедны, да и сами вторгаются ради грабежа. Иллирия? Но Главкий – приемный отец Пирра и мечтает видеть его своим наследником, поскольку лишен сыновей. Жители Косматой Фракии ныне в союзе с Главкием и Пирром, да и воевать с ними не столь выгодно, сколь опасно. А значит...»

Отложив стило, Киней медленно прошелся из угла в угол.

Откуда сомнения, если все продумано многократно?

Цели ясны, задачи определены. Необходимо действовать.

Архонты* молоссов слишком возомнили о себе в годы призрачной власти ничтожного Неоптолема. Да и Эакид, нужно признать, избаловал самостоятельностью горных князьков... Что же, с вольностями пора кончать! В Эпире есть царь, а если кто-то в этом сомневается, ему лучше умолкнуть. Если вожди, пользуясь годами смут, присыпали пеплом древние законы, это не значит еще, что закон умер в священной Додоне!

Чтобы быть царем не только лишь по званию, Пирру необходима дружина.

Пусть небольшая для начала, копий в пятьсот, даже в триста. Но – своя. По примеру македонских владык, ставших истинными царями лишь после того, как обзавелись гетайрами** и пешей гвардией ипаспистов...***

Киней лукаво прищуривается.

«Забавный парадокс, друг мой: самовластие монарха может быть основано только на демократии! Ты удивлен? Не спеши, однако, недоумевать. Подумай: если объявить всех, способных держать оружие, равными перед царем как источником власти, разве не встретит это поддержку у подданных? Для хаонов и феспротов демократический закон обернется реальным соучастием в решении судеб государства и отменой унизительной дани молосским вождям. Для молоссов демократия будет означать конец самовластию старейшин, возможность покидать селения без их позволения и самим решать свою судьбу. В сущности, я предложил бы Пирру углубить реформы, проведенные его великим прадедом Фарипом Златоустым. Реформы эти по сей день памятны эпиротам, и многие сожалеют, что тупость своекорыстных вождей не дала Фарипу довести их до конца. Я утверждаю: ничего, кроме блага, не будет, если станут высшей властью в Эпире Народ и избираемый Народом Совет. Разве не оправдала себя такая политейя в Афинах? С другой стороны, подчеркнем: народ есть войско, а царь по праву крови – военачальник. Следовательно, он – единственный из эпиротов – становится выше закона! Не первым, среди которых равен любому, кроме, разумеется, царя! В конце концов, именно так поступил не столь уж давно старый Филипп, положив начало величию Македонии...»

Стило, словно споткнувшись, зависло над незавершенной строкой.

Киней медленно скомкал папирус. Поднес к фитилю. Подождал, пока займется.

И вышвырнул рдеющий комочек в заоконный шелест дождя...

Есть вещи, которые не стоит доверять никому, даже на миг, даже здесь,

---

* Архонт – старейшина или высокопоставленный сановник.

** Гетайр – воин этерии, конной гвардии царя.

*** Ипасписты – отборные воины в тяжелом вооружении, сражавшиеся коротким копьем и мечом. Не входили в фалангу, выполняя в ходе боя тактические задачи.

где на весь дворец не встретишь обученных альфабету, не считая, разумеется, его самого, Пирра, да еще Ксантиппа. Впрочем, с рыжим македонцем они понимают друг друга без лишних слов.

«Мой царь» – так с первых же дней пребывания в Додоне именует Ксантипп, военный советник, приставленный к Пирру Деметрием, юного царя молоссов.

...Да, Ксантипп будет наилучшим из возможных кандидатов на пост хилиарха* царской дружины. Если, конечно, дружина эта будет создана. А вот в этом уверенности нет. Что с того, что царь бредит ею? Закон Молоссии суров: любой указ базилевса исполняется лишь после утверждения его простатом** молоссов. И покуда простатом является тупица Аэроп, ни о каких новшествах нечего и мечтать. Он, безусловно, предан Пирру. Более того! Он любит его как сына, но его кругозор ограничен эпирскими ущельями, а из похода в Италию седой тугодум сделал единственный вывод: молосским царям нечего делать на гибельной для них чужбине...

Аэропу ничего не объяснишь, ибо ему все ясно. Царь – почтенный отец. Архонты – младшие братья царя. Молоссы – послушные дети, обязанные чтить отца и дядьев. Хаоны и феспроты – прислуга в доме. Так полагает Аэроп. И, пока он держит в своих руках посох простата, горные архонты могут спокойно спать в своих башенках из дикого камня. Никто не посмеет требовать с них дань.

И история рождения великой Македонии, окропленной жертвенной кровью непокорных династов Линкестиды, Орестиды, Тимфейи, не повторится в Эпире.

Эпир Аэропа – понятие, принадлежащее географии.

Эпир Кинея – категория политическая.

Но... пока что это всего лишь мечта...

Эписодий 6
МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ ПОДРОС

Северное порубежье Иллирии.
Весна года 467-го от начала Игр в Олимпии

...Поселок был выжжен дотла.

Это случилось совсем недавно. Еще даже не успели остыть уголья, ветер гулял по пепелищам, взвихривая смерчи теплого пепла, и в глазах убитых –

---

* Хилиарх – от греческого «хилиой» – тысяча. Высшее воинское звание, аналогичное генеральскому.

** Простат – высшее должностное лицо в окраинных греческих государствах, избираемое аристократией для контроля за действиями царя.

все больше взрослых мужчин, успевших схватиться за топоры, стариков, которых нет смысла уводить в плен, и младенцев, которые слишком обузливы в набеге, – отражалось пока что живое, обиженное недоумение, обращенное к оставшимся жить. На их безмолвный вопрос скоро ответят черные птицы, кружащие над вспугнувшими их с пиршества хмуро молчащими всадниками; пока еще они не решаются приступить к трапезе, опасаясь некстати явившихся двуногих, способных причинить ни в чем не повинной птице зло...

Те, кто жег и убивал, напали внезапно, совсем незадолго до рассвета, в томительный час последнего, самого сладкого сна. Чужаки вышли из леса, и, судя по следам, их было едва ли не вдвое больше, нежели всадников, шедших вдогонку за ними уже четвертые сутки. Они были неплохо вооружены, скорее даже очень хорошо, если не стали тратить время на сбор стрел, оставив их торчать там, куда воткнулись, – в остатках стен, в земле, в человеческих телах, распростертых среди пепла подворий. Они прекрасно владели оружием, о чем свидетельствовали раны на мертвецах, нанесенные умело и жестоко, опытными и безжалостно-меткими руками, привычными к убийству. А вот племя, к которому принадлежали вышедшие из леса, трудно было определить по внешнему виду убитых чужаков, чьи жизни, несмотря на внезапность и переполох, сумели все же взять в уплату за свои жители погибающего поселка.

Их – двое. Всего лишь двое.

Возможно, потери нападавших больше, но если так, то остальных павших они успели забрать с собою для честного захоронения. Это понятно. Никто и никогда не станет хоронить убитых врагов! И души оставленных гнить будут вечно бродить неприкаянными тенями, тревожа сон неверных друзей, бросивших их без погребения.

Двоим – не повезло. Они нашли смерть в глубоком подвале, напоровшись на вилы женщины, спасавшей своих детей. А затем горящая кровля рухнула, погребая под собою домик и лаз в подполье, и все они так и остались там. Храбрая женщина, так и не спасшая ни себя, ни малышей, задохнувшихся от дыма. И двое грабителей, только что извлеченных на белый свет.

Их не сумели отыскать и оставили, полагаясь на то, что души поймут и простят торопливость соратников и удовлетворятся вместо мщения обильными жертвами...

И вот они лежат перед теми, кто не успел спасти поселок. Оба – высокие. Несмотря на прохладу, обнаженные по пояс. Голубоглазые. У обоих – длинные, заплетенные в тонкие косицы усы, пшеничные волосы, ниспадающие ниже ключиц, на висках тоже заплетенные косы, но небрежно, крупными прядями. Тот, что на вид постарше, украшен серебряным ошейником-ожерельем, сработанным топорно и грубо, много гаже, чем способны смастерить даже и неискусные среброкузнецы Иллирии, не говоря уже об эллинских умельцах...

Странные люди. Невиданные ранее.

Во всяком случае, уж точно – не фракийцы, неприятели привычные

и издавна знакомые. Фракийцы к тому же никогда не вырезают иллирийские селения под корень, не угоняют всех подряд, ограничиваясь грабежом и уводом десятка-другого старейшин выкупа ради. Они понимают, что им с иллирийцами жить, и жить рядом. И, случись что недозволенное неписаным сводом соседских свар – люди Главкия не будут снисходительны к их семьям, когда отправятся в ежегодный набег на Фракию.

Хвала богам, у порубежных грабителей, досадных, но и привычных, есть правила, и боги обоих племен ревниво следят за тем, чтобы люди не преступали обычая...

Кто же они? Но время размышлять и разбираться наступит позже, когда будет сделано то, что следует.

А следует нагнать и покарать убийц.

Пирр почувствовал, как везущий его на луке седла Аэроп припустил поводья, посылая коня вперед. «За мной, – кричал он. – За мной!»

Несколько всадников в овчинных дубленых накидках опередили их, старик следопыт на ходу вынюхивал след, низко свесившись с седла. Пирр видел все ясно, отчетливо, хотя руки его взмокли, а к горлу подступил, мешая дышать, противный комок. Впервые в жизни увидел он столько мертвых зараз. Это некрасиво. Это страшно. И неправильно. Война не должна быть такой. Ему хочется кричать. Но кричать нельзя. Он – мужчина. Воин. А воины не плачут в своем первом походе, даже если им страшно...

Нужно показать всем, кто рядом: он достоин называться взрослым!

Ведь его взял с собой в погоню Аэроп, а Леонната, как Щегленок ни умолял, – нет!

«Господин, они уже близко...»

«За мной!»

Мягкое чавканье копыт по тропе.

Каждый скок коня, каждый рывок откликаются болью в стиснувших ремень пальцах. Ноги, неловко растопыренные, сведены судорогой, не находят опоры. Пластины Аэропова панциря колют и царапают спину: тяжелая рука наставника, крепко обхватившая Пирра, немилосердно давит на грудь, так что становится трудно дышать...

Конь ускоряет бег, сипло рыча, словно и не конь вовсе, а огромный злой пес, обросший гривой. Странно, все кони умеют рычать или только малорослые мохноногие «иллирийцы»?..

Пирр не знает. Породистые скакуны встречаются в Иллирии нечасто и доступны лишь гордым и чванливым людям, не стоящим перед расходами, если есть случай показать себя. У Главкия, хоть он и царь многих селений, от горных вершин до самого залива, нет нисейских рысаков, а покататься на своем сером в яблоках фессалийце он позволил Пирру лишь один-единственный раз.

Когда Пирр вырастет, он обязательно заимеет настоящего нисейца-чистокровку и подарит его Леоннату... Нет, Главкию... Нет, Кинею... И все же

лучше всего, пожалуй, Леоннату, чтобы Щегленок не хныкал из-за того, что Пирра взяли в поход, а его – нет!..

Деревья редеют.

Всадники вырываются из чащи на опушку. Впереди, не так уж и далеко – люди. Их много. Большинство пешие, но есть и всадники. Они движутся в арьергарде, сбивая в кучу и похлестывая плетьми вереницу связанных попарно пленников.

Над самым ухом оглушающе, в полную силу, голос Аэропа:

– За мной!

Крики сливаются в один сплошной вой.

Покрывшись пятнами, безумно взвихривается небо над головой.

Резким рывком, на скаку Аэроп вышвыривает мальчика в сторону, и Пирр умело, как делал не одну сотню раз, упражняясь, кошкой переворачивается в воздухе, приземляясь мягко, на спружинившие ноги и руки.

Совсем рядом – лязг железа, хруст дерева, храп коней.

В круговерти не сразу и различишь, кто есть кто и что происходит. Откуда-то сверху вдруг тяжко, едва не придавив, обрушивается человек, заходящийся хриплым каркающим кашлем. Пирр хорошо знает его. Это один из горцев, дружинников Главкия, но сейчас на лице его, обычно веселом, нет улыбки, а из невероятно красного горла туго хлещут, расплескивая вокруг алые брызги, две тоненькие струйки.

Крик. Лязг. Хрип.

Кровь.

Много крови.

Миг или вечность?

Рядом бьют копыта, небо опрокидывается вкось, над головой медленно-медленно проносится грязно-белое конское брюхо, мокрая слякоть плещет в лицо; совсем рядом оказывается вдруг, прыгнув из ниоткуда, светловолосая голова с усами-косичками, совсем одинокая голова, без туловища; все еще захваченная восторгом битвы, она смеется, подкатывается почти вплотную к упавшему Пирру, и ярко-голубой глаз, увидев мальчика, внезапно быстро, по-свойски подмигивает случайному соседу, а затем, вновь распахнувшись, он уже холоден и неподвижен...

Страха нет. Есть удивление.

Огромное, как небо.

– Пирр, беги! – откуда-то издали и сверху долетает истошный крик Аэропа.

Куда бежать? Зачем?

Мохнатая, нечеловеческая нога, крест-накрест перевязанная ремнями, мелькает перед глазами.

Рывок. Невидимая сила легко подхватывает мальчишку, вскидывает, отрывает от мокрой земли и затягивает на конскую спину.

Высоко. Это не иллирийская лошадка!

– Пирр-рр! – удаляясь, гаснет и никнет вопль Аэропа.

Конь взлетает и обрушивается, и снова взлетает.

Это не привычная крупная рысь «иллирийцев». Это галоп, которым горные лошадки ходить не умеют. Фессалийский скакун Главкия может, Пирр видел своими глазами, но не знал, что это так плохо и больно...

Больно! Больно же!

Он рвется из захвата и вскрикивает от резкого и злобного тычка в поясницу. Всадник ударил его! Ударил!! Его, Пирра!!! Царя молоссов!!!! Тряска внезапно исчезает, исчезает все, и хрип, и стон, и боль...

Всадник ударил Пирра!

Всадник будет наказан.

Свист. Взвизг. Конь падает – резко, мгновенно, головой вперед, словно ныряя в землю. Резкий удар, затмевающий красное белым, а белое черным, и опять – стук в ушах, сизая муть вокруг, кисловатый привкус во рту – и железный охват волосатых рук, которые смели его бить.

Под ногами нет опоры. Этот, спешенный, не уберегший коня от стрелы, держит добычу на весу, приставив к тонкой шее синеватую полоску металла. Он вращает глазами и кричит что-то непонятной никому молвью, но в толмаче и нет надобности, все понятно без слов! Он отступает к лесу, густому лесу, где непросто пройти всадникам. Из-за деревьев смутно доносится мерный рокот стремительной реки, за которой кончается Иллирия. Он скалит крупные, ослепительно белые зубы, похожие на волчьи клыки, и медового оттенка косички усов слиплись в черные сосульки запекающейся крови.

– Отпусти мальца и уходи! – кричит Аэроп, делая шаг вперед, и голос его хрипл.

Острие короткого меча впивается в кожу.

Очень больно.

По лезвию течет узенькая алая струйка.

Пирр не видит ее, но в ноздри бьет кислый запах крови.

Его крови.

Крови царя молоссов.

Крови Ахилла-мирмидонянина...

Ох, как будет наказан чужак!

Аэроп отшатывается, жестом приказывая дружинникам поступить так же.

Он не может рисковать Пирром. Он готов пойти на любое условие, которое взбредет в голову чужаку. Но косицеусый не понимает этого. Ему невдомек, кого он держит в руках, а кроме того, он, наверное, не знает законов порубежных стычек. Откуда ему знать?! Ведь он из тех людей, что превращают поселки в усыпальницы и угоняют людей навеки, а не старейшин ради достойного выкупа, как заведено в пору летних набегов предками здешних племен...

Шаря мертвенно-голубыми глазами по сторонам, чужак медленно, очень осторожно пятится к чаще, к реке, к свободе и к жизни. Он не знает еще, что сделает с мальчишкой, оказавшись на том берегу. Возможно, он отпустит пленника, но вряд ли, так не заведено в его племени. Может быть, просто зарежет и тем отомстит за убитых побратимов. Но, скорее всего, надо будет

принести щенка в жертву Мечерукому Гэзу, а рыжие волосы, снятые вместе с кожей, поднести, вернувшись домой, почтенным друидам, чтобы молились за его удачу! Чтобы Клинок Небес был благосклонен, когда он приведет сюда уже не пять десятков удальцов-сальдуриев, но две, три, четыре сотни! Ибо разве ради поживы приходили они сюда? Добыча – дело хорошее, но не главное, что нужно племени! Они приходили в разведку: есть ли где земли, удобные для поселения семей, решивших переселяться со ставших тесными родных лугов? Он вернется и скажет почтенным друидам, могучим риагам и всем, кто пожелает услышать: есть! Удобные земли лежат на юге! Богатые, тучные и беззащитные, ибо населены слабодушным народцем, хоть и умеющим сражаться, но трусливо опускающим мечи ради бесплодных попыток спасти уже почти что мертвого мальчишку.

Он жив! Так кажется ему, не знающему, что каждый, посмевший пролить кровь молосских царей, – мертвец.

Откуда ему знать?

И потому он внимательно следит за теми, вооруженными и опасными, замершими неподалеку, совсем не обращая внимания на обвисшего в руках мальца.

Косица вздрагивает.

Светловолосый презрительно выхаркивает плотный сгусток крови, смешанный с осколками зубов, в сторону преследователей. Слабаки. В его племени пленник считается мертвым с момента, когда его захватили, и возвратившийся из плена присуждается к ношению женского платья – на время, если в силах доказать, что ушел от врагов, выкупив свободу кровью, и навсегда, без срока, если доказать не способен!..

Вот, вот... уже кусты, уже первые деревья.

Он уже почти ушел.

Он в безопасности.

Он спасся!

Налетчик в восхищении визжит и, выложившись в вопле, на мгновение, всего лишь на очень короткое мгновение расслабляет захват. И это самое глупое, что он мог сделать! Но разве предупреждали его почтенные друиды, что никому, даже ему, племяннику риага, не дозволено безнаказанно проливать священную кровь молосских царей?!

Рывком протиснувшись чуть ниже, так что рука врага оказалась не поперек живота, а выше, Пирр четко, как на уроке панкратиона, рукопашного боя без правил, бьет пяткой назад. Удар приходится точно меж ног светлоглазого, и это мощный удар! Из тех, что пробивают камышовые циновки! В глотке у варвара ёкает, и он, скривившись, разжимает руки, непроизвольно хватаясь за размозженные подвески девичьей радости.

Его боль огромна, как Небесная Секира, и криклива, как мать невесты...

Но долг его роду Эакидов еще не уплачен!

И прежде, чем чужак успеет осознать, что произошло, следует еще один удар – ребром ладони выше локтя, и еще – локтем в переносицу.

А потом протяжный холод пробегает по животу, мгновенно вскипая вспышкой огня, а еще через миг боль уходит, и становится хорошо и тепло! И по-прежнему невдалеке бурчит и шелестит река, за которой – спасение. Но все это вдруг становится неважным, неинтересным...

Он лежит со вспоротым животом, слегка подергивая ногами, и ему кажется, что на самом деле ноги бегут, унося его в безопасную даль, быстро, быстрее самого резвого скакуна.

Он не ведает, что только что с него взыскали долг...

А преследователи отчего-то медлят с погоней, и не кричат больше, и не требуют вернуть мальчишку, и не обещают жизнь. Сомкнув редкий круг, они стоят на почтительном расстоянии от умирающего, и на лицах их – суровое, сосредоточенное внимание. А громадный, больше медведя, звонко-седой воин, предлагавший ему несколько мгновений назад жизнь, улыбается, опираясь на широкую двулезвийную секиру, и кивает кому-то, кого никак не в силах разглядеть истекающий кровью светлоглазый...

Варвар стонет, жалобно и в то же время – радостно.

Он видит, как приближается и наклоняется над ним светлый лик Мечерукого Гэза, покровителя удальцов. Он, отец друидов, приветствует своего храброго сальдурия, оказывая ему невиданную честь личной встречей.

Чтобы удостоиться такого, надо быть просто храбрецом! Никогда не придет встречать тебя Погонщик Стрел, если ты родился на свет обычным воином, а не племянником риага...

Но что это?

Сгустившись из ничего, спускается с небес, и приближается, и наклоняется над ним, затмевая светлый лик Мечерукого Гэза, огромная, ростом под самые облака тень, полыхающая угольями глазниц! Варвар видит льдистый клинок в сумрачных пальцах морока, клинок, который страшное видение устремило прямо на него.

Светлоглазый пытается закричать. От ужаса, а еще оттого, что боль, которой только что не было, вернулась опять! Только теперь она еще злее, она не печет, как огонь, и не студит, подобно морозному ветру! Нет, она словно бы впивается пиявкой и высасывает нечто, никак не желающее истекать из печени, волшебного сосуда, хранящего, как всякому известно, плоды жизненной силы! Эта боль сродни молчаливой тени, бесконечно близко склонившейся над ним, ни в чем не повинным сальдурием Мечерукого Гэза.

Варвар хочет пошевелиться. Ощутить руки и ноги. Может быть, тогда удастся напугать тень. Отогнать ее. Ведь может же быть так? Он ведь ничего плохого не сделал духам этого леса, ни феям, ни эльфам! Не сломал ни ветки! Не потревожил мышиной норки! Он и побратимы, которые уже мертвы, недаром учились у почтенных друидов. Они знали: Лес обижать нельзя! Поэтому они везде, где ни шли, причиняли вред только двуногим, но ведь эти двуногие не были детьми Мечерукого Гэза?! За них, полулюдей, не карают боги! Варвар старается объяснить это вслух, чтобы Тень поняла и ушла прочь... Но не может.

Ему мешает язык, ставший огромным и сухим. Больше Чистого Камня

Скарваллах Ллевелента и тверже хороший срок провисевшей на солнце рыбы эмайн о'эйра...

Он не видит уже, как сужается вокруг него людское кольцо. Что ему до двуногих?! Он следит только за Тенью, которая медлит, не тянется больше к беззащитному горлу, не вспарывает душу рдеющими в глазницах угольями... Может быть, Тень узнала его, племянника могучего риага, и устрашилась? О! Бойся, Тень, бойся! Стоит тебе причинить вред, и могучий риаг пойдет к сильным друидам, и даже к тем, что не волхвуют ни для кого, кроме ард-риага Бранноха О'Бойхха, верховного властелина настоящих людей, и они не откажут ему, имеющему заслуги перед самим ард-риагом!..

А может быть и так, что Тень смилостивилась, поняв, что он – хороший, честный, не совершивший ничего недозволенного человек?.. Да, добрая Тень? Это так?..

Варвар, приложив немалое усилие, шевелит губами и слышит свой голос, отчетливый и внятный. Тень отзывается басовитым рокотом, а откуда-то из недостижимой дали доносится ответный гул, схожий с гневным ревом огромной, взбешенной ледоходом реки...

– Ну что же ты, Господин? – спрашивает Аэроп, движением подбородка указывая на распростертого в луже крови варвара со страшной раной поперек живота. Нутро светлоглазого распахнуто настежь, словно ворота гостеприимной усадьбы, и сизо-лиловые блестящие кишки, густо окрашенные желтыми, алыми и белесыми сгустками, расползаются по траве, повествуя любопытным, что съел убийца, проснувшись нынешним утром.

Пирр знает, что надо делать.

Аэроп рассказывал об этом много раз, может быть, сто или даже больше, и рассказы его были гадки, как страшная сказка, и так притягательны. Сладкой жутью недозволенного веяло от них, и невозможно было представить, что неизбежен приход дня, когда ему, Пирру, предстоит сделать то, что совершил в свое время почти забытый отец! И мифический, словно и не бывший никогда из плоти и крови дядя, погибший далеко за морем! И сам Аэроп, да и каждый молосский мужчина! Он не верил, что сумеет, но в то же время знал, что в должный момент не дрогнет! Иначе на груди его никогда не поселится орел, такой же, как у наставника, только еще больше и увенчанный диадемой...

Пирр знал, что не отступит, когда придет этот день, вот только не думал, что он обрушится столь неожиданно.

– Ну же, царь-отец! – полупросит-полуприказывает Аэроп, и взгляд его ощутимо толкает в спину.

Пирр делает шаг вперед, к поверженному.

В глазах варвара, ставших невероятно прозрачными, словно голубизна их выцвела, плывут весенние облака. Он видит: Тень сгущается, оплетает со всех сторон. Скачком, непредставимо быстро, все вокруг делается ярким, отчетливым. И неслышным. Тень больше не Тень. Громадная птица с хищно изогнутым клювом, немножко похожая на сокола, но не более, чем похож обычный риаг на ард-риага Бранноха, топорща белый хохолок на изящно по-

ставленной голове, садится на грудь, глубоко в плоть запустив острые когти, растопыривает необъятные крылья, и сквозь войлок тишины в слабеющий разум врывается пронзительный, непередаваемо торжествующий клекот.

А спустя еще миг птица расплывается и пропадает... И, несмотря на слабость, укутавшую тело спасительной пеленой безразличия, чужак громко вскрикивает... А те, кто стоит вокруг, замечают, как вздрагивают, не сумев издать ни звука, посиневшие губы...

Мечерукий Гэз! Это же... просто мальчишка!

Пирр седлает окровавленное, трудно дышащее тело, и Аэроп властно вскидывает руку, повелевая иллирийским дружинникам удалиться. И бородачи уходят, не оглядываясь. Они догадываются, но вовсе не желают знать, что произойдет сейчас на поляне. Да и нет у них права любопытствовать. Каждое племя имеет свои обычаи, хранимые в тайне от чужих, даже если чужие – самые близкие друзья. Есть такие обряды у иллирийцев. Есть, разумеется, и у молоссов. И негоже иллирийскому глазу видеть, пусть и случайно, как молоссы исполняют древние таинства.

Кому охота иметь дело с разгневанными духами чужих предков?

– Погоди, мой царь!

Опустившись на колени, Аэроп жесткими пальцами, ломая корявые ногти, ковыряет землю, рыхля ее, прокапывая неглубокую ямку...

– Ты готов?

Пирр, крепко зажмурившись, кивает.

– Открой глаза! Именем праотца-Орла, царь-отец!

Веки распахиваются сами собой, и неведомая сила, потеснив разум, прохладной волной вливается в дрожащие руки. Глубоко вздохнув, Пирр задерживает глоток воздуха в груди, крепко сжимает обеими руками мохнатую, увенчанную козьим копытцем рукоять сизого варварского меча...

...и, стонуще выдохнув, вонзает узкое лезвие в грудь лежащего под ним человека.

Варвар обмякает мгновенно, успев ощутить напоследок нежное дуновение ветерка, коснувшегося самого донышка иссякшей души; пшеничновласая дева с голубыми глазами, суровая посланница Мечерукого Гэза, обнимает племянника, помогая встать со склизкой от крови слабенькой травки и взойти на крылатую колесницу, запряженную тремя черными гусями.

Надо спешить! Вон, далеко впереди, исчезает в синеве клин таких же колесниц, уносящих в Чертог Мечерукого славных сальдуриев, и они, оборачиваясь, зовут варвара, окликают его, подзадоривают, спрашивая: ужели ты, лучший из нас, войдешь в ворота Чертога последним?

Гони гусей побыстрее, дева!

Подбородок светлоглазого отваливается, и по некогда выбритому, а сейчас заросшему густой щетиной подбородку, скатившись со щеки, сползает крупная прозрачная слеза...

И Пирру на краткий миг грезится в прозрачных озерах пусто глядящих глаз мертвеца невероятное: распахнувшаяся в высоком поднебесье дверь и

мелькнувшая за ней тень быкоподобного воина, приставившего ко лбу длинную, беспалую, похожую на узкий обоюдоострый клинок ладонь.

Небесный великан угрожающе хмурит брови в мертвой прозрачной глубине. Пирру не страшно. Напротив! Он презрительно кривит губы, а руки, словно сами по себе, вершат положенное. Мальчик легко, словно не в первый раз, вспарывает грудь врага, просовывает в еще теплое нутро ладонь, раздвигая гибкие кости ребер, и извлекает из потайных глубин человеческого тела кровавый сгусток едва заметно трепещущего, исходящего паром мяса.

Перехватив варварское сердце, Аэроп в мгновение ока разрывает его на три почти равные части, пальцами, без помощи металла, как предписано обрядом. Одну из них торопливо, словно опасаясь обжечься о не принадлежавшее себе, бросает в приготовленную ямку и закидывает ее комьями влажной земли, заравнивает, затаптывает...

– Прими от детей своих положенное тебе, мать-Земля, и поделись с праотцем-Орлом, – слышит Пирр напевный шепот наставника. – И вы отведайте от доли, принадлежащей вам по праву, царь мой и побратим Александр, и царь мой Эакид, и царь отца моего Арриба, и царь деда моего, Неоптолем, и царь прадеда моего, Алкета, и царь прапрадеда моего, златоустый Фариб. Этот дар посылает вам верный молосским обычаям Пирр, плоть от плоти вашей, кровь от крови вашей, кость от кости вашей, продолжатель вашего бытия! Я же, ничтожный Аэроп, по праву наставника, как положено от века, преломляю с вами принадлежавшее вам и беру свою долю...

По локоть измазанная бурой жижей рука бросает в рот обрывок теплой еще вражеской плоти, тяжелые челюсти мерно движутся, разжевывая долю, положенную наставнику, и в уголках заросшего сивой бородой рта вскипают розовые пузырьки переполнявшей гортань слюны.

– Ешь, царь-отец!

Пирр замешкался.

Представились вдруг изогнутые дугой брови Кинея, презрительно сжатые губы. Что скажет он, узнав? Сомнение мелькает и исчезает, словно роса под лучами солнца.

Кто-то невидимый и неощутимый требует: не медли!

И подсказывает: Киней ничего не скажет. Потому что ничего не узнает. Никогда. Он хороший. Он умный и любимый, и всегда будет таким, как бы ни сложилась жизнь.

Но...

«Но он всего лишь мудрец!» – впервые думает мальчик неполных одиннадцати лет от роду, только что ставший взрослым мужем и воином.

«И всего-навсего грек!» – презрительно кривится мужчина, только что по древнему закону выкупивший у предков диадему молосских царей.

И Пирр, сын Эакида, внук Аррибы, правнук Неоптолема, праправнук Алкеты, прапраправнук Фариба Златоустого и потомок Ахилла-мирмидонянина, решительно вонзает зубы в теплое, жесткое, липкое, безвкусное, источающее кисловатый парок мясо.

Скодра. Весна года 468-го от начала Игр в Олимпии

Беспощадно дразнящий чуткие ноздри дух жаренного с чесноком мяса проникал в самые укромные уголки царского подворья. Густой очажный дым висел в туманном воздухе совсем низко, пристилаясь вплотную к половицам, и отблеск огня, вволю насытившись запахами, уже не скакал резвым козленком, а лениво, словно бы нехотя, ползал по закопченным бревенчатым стенам главной трапезной дворца. А сквозь настежь распахнутые, широченные, словно ворота – трех быков в ряд можно прогнать, – двери, выходящие прямо в просторный двор, видны были палатки из козьих шкур, разбитые на утоптанной площадке перед царским домом, и звериные головы, укрепленные на длинных, увитых лентами древках, казалось, тоже довольно и сыто усмехались, пресыщенные духовитым дымом и паром искусно пропеченной в гусином жиру, напитанной диким тмином и пряными горными травами плоти никем не сосчитанного числа принесенных в жертву животных.

Все обряды, издревле предписанные при встрече Праздника Весны, были совершены с надлежащим тщанием. Священная пляска исполнена. Предсказания, истолкованные слепыми жрецами из отшельничьих пещер, оказались на редкость удачными. Все нелегкие беседы, что вел царь наедине с архонтами – старейшинами кланов – со всеми вместе и с каждым в отдельности, – завершились полным взаимопониманием. Завтра князья горных родов и старшины рыбацких – а случается, что и пиратских! – поселков отправятся в обратный путь. Домой, туда, где нет опасной близости слишком проницательного Верховного Владыки, и каждый из них, в дозволенных, разумеется, пределах, сам себе царь.

Но, как повелось от пращуров и неуклонно соблюдалось потомками, разъезду предшествовало праздничное пиршество, и царская щедрость в эту последнюю ночь Праздника Весны была неизбывной. Общее блюдо и совместная чаша лучше слов скрепляют узы взаимных клятв. Изобилие яств предрекало грядущие блага. Некогда, правда, случалось и так, что трапезы завершались кровопролитием, ибо, хотя в праздник на память о старых обидах налагается запрет, но терпкие вина, малознакомые привыкшим к слабенькому домашнему пиву архонтам отдаленных колен, горячили и без того буйные головы, отгоняя осторожный рассудок и подталкивая нерассудительные пальцы к рукоятям кинжалов.

С глупыми, никому не нужными сварами, способными испортить настроение людям, собравшимся отдохнуть душой, Главкий покончил много лет назад, решительно и быстро, введя строгое правило: никто, кроме него самого и личной стражи царя, не имеет права садиться за главный стол вооруженным! Даже те, кто способен вывести в поле по зову владыки полтысячи и больше готовых к битве мужчин. Не желающие расставаться с кривыми кинжалами, разумеется, не подвергались каре. Их просто не пускали в трапезную, усаживая с надлежащими почестями за столы, вынесенные во двор рядом с простыми дружинниками и служителями царского дома. По-

добного позора пылкие вожди отдаленных селений, особенно горных, вынести, понятное дело, не могли и предпочли в конце концов, убедившись в непреклонности царской воли, смириться с повелением владыки и не затаивать зла. Тем более что копить обиду на владетеля Скодры и всея Иллирии было далеко не самым выгодным предприятием. Напротив, весьма опасным, а умудренные годами власти старейшины, при всей своей прославленной вспыльчивости, умели рассчитывать наверняка...

Яства, выставленные царским ключником, воистину стоили того, чтобы на время расстаться с оружием.

Дымящиеся бычьи, бараньи, свиные туши, целиком насаженные на огромные вертела и лишь перед самым рыком рога, возвещающего о начале пиршества, извлеченные из ям с раскаленными камнями на дне. Истекающие соком кровяные колбасы с ячменными лепешками, изжаренными в меду. И одуряюще ароматные колбасы, выкопченные на дыму можжевельника. Сыр – мягкий овечий и жесткий козий. Рассыпчатый кобылий творог. Хрустящие при малейшем прикосновении, покрытые легчайшими капельками жира птичьи тушки, от крохотных перепелиных до гигантских, принесенных с гусиных пастбищ. И десятки блюд с рыбой, нежно прожаренной форелью горных рек и привозной, доставленной в кадушках с побережья и приготовленной специально приглашенным из Амбракии поваром-рыбником во многих и многих видах, под грубыми местными и остропряными привозными соусами. Все это покоилось на столах, теряясь в изобилии иных, неперечисленных, кушаний и заедок...

И вино, вино!

Ради этих терпких, и сладких, и горьковатых на первый вкус напитков смиряются вожди колен, кланов и поселений с временной пустотой прадедовских ножен! Ибо тех, кто пирует на дворе, служители обносят, хоть и в неограниченном количестве, а все же обыкновенным, привычно-скучным пивом и медовой бузой, изготовить которую мастерица любая женщина в горах.

О глоток солнца в фиале, дар божественной лозы!

Розовое хиосское, резковатое на вкус, но освежающее гортань, подобно ветерку, густо-пурпурное лемносское, величаво наполняющее кровеносные жилы и возвышающее мысль до невероятных высот, желтое, словно солнечный блик на озерной глади спустя три часа после полудня, киосское, отсвечивающее лунным серебром кефаллонийское, убивающее утреннюю тяжесть в затылке, маслянистое, почти как летний мед, выдавленное босоногими виноградарями Фасоса и легко струящееся, водянистое, не опьяняющее, рожденное под древними каменными прессами Дулихия... О! Целый год набирает опытный ключник эти сгустки жизни, отведывая по глотку из пузатых пафосов, привозимых на пробу из портовой Амбракии и торгового Эпидамна ради того, чтобы в назначенный вечер жизнь и солнце тугими одуряющими струями ударили в фиалы почетных гостей приветливого царского дворца!..

После трех почти бессонных дней и ночей, когда в редких перерывах

между обрядами и принесением жертв удавалось склонить голову на подушку в палатке под родовым знаком часа на два-три, не более, большинство сидящих в трапезной выглядели измученными. Воспаленные покрасневшие веки, мутноватые от усталости взгляды, тяжеловатые шутки, не всегда понятные соседям, зажиточным эллинам, обосновавшимся в Скодре по приглашению Главкия, прижившимся в Иллирии и ныне, как всегда, званым на торжество.

Впрочем, эллины не понимали многого. Например, как можно пить напиток, затуманивающий разум, не разбавляя его хотя бы наполовину чистой, прозрачной, удивительно вкусной ключевой водой?! Недоумение их было огромно и искренне, почти равняясь с потрясением иллирийцев, впервые увидевших, как греки, считающиеся разумниками, портят божественные вина, разбавляя их едва ли не пополам безвкусной водичкой...

И все же гости веселились, не навязывая соседям своих взглядов на то, как именно должна радоваться душа.

В отличие от изящно вкушающих и аккуратно выпивающих эллинов, могучие иллирийские архонты, почитающие особой доблестью плясать ночь кряду после дня пешего хода по горным тропам, запив десятком добрых чаш едва ли не по половине бараньего бока и подкрепив баранинку гусем-другим, находили в себе, к ужасу и восторгу греческих соседей, силы и на более приличествующие истинным мужам забавы.

То один из иллирийских вождей, то другой, поклонившись царю, на время покидали трапезную, уединяясь в отдельных покоях с юными рабынями-фракиянками, чью девственность приберегали специально для этого дня.

Рабство в Иллирии иное, нежели у обитателей юга, оно сходно с молосским обычаем, пожалуй, даже мягче. Ни одна из этих тоненьких, гибких, не старше пятнадцати лет смуглянок не была силой принуждена услаждать плоть господских гостей. Такой обычай мудр. Много ли наслаждения способна доставить мужчине потная возня с безразличным, не желающим тебя, войлочно-обвисшим женским телом?..

Излишняя мягкость в обращении с невольниками подчас претит эллинам Скодры, убежденным, что с живой вещью лучше всего говорить языком плети! Однако в данном случае, поразмыслив, колонисты не могли не признать варварские порядки заслуживающими высокой оценки.

Накануне пира старухи, искусные в обучении любовным уловкам, собрав миловидных рабынь, разъяснили стыдливо потупившим глаза девушкам все как есть, не стесняясь называть вещи своими именами. Никто, сказали они, не будет принужден к соитиям против воли. Пусть дурочки, излишне дорожащие своим нетронутым колодцем, немедля возвращаются к прялкам, лоханям и прочим привычным делам. Разумницы же, сознающие свою выгоду, наутро после празднества станут вольными и будут с почетом и богатым приданым отправлены к родителям, невинность же их не потерпит никакого ущерба, ибо у фракийцев девица, впервые распустившая пояс перед мужчиной в Весенний Праздник, считается благословенной свыше...

Дурочкой не оказалась ни одна из избранниц.

Напротив, всю ночь из длинного домика в глубине двора, где обитали прислужницы, доносились тихие, завистливые всхлипы разумниц, на которых по причине тех или иных изъянов не соизволили обратить внимание зловредные, излишне придирчивые старухи.

Красавицы мало что умели. Им приходилось учиться на ходу, припоминая, о чем рассказывали мудрые бабушки, готовя подопечных к нелегкой ночи.

Плавно изгибаясь под переливы двойных свирелей, девушки двигались вокруг столов медленным хороводом. Они зазывно крутили округлыми бедрами, и огромные, опушенные длинными ресницами очи их мерцали загадочно и томно... Возвращающиеся после недолгого уединения с гостем присоединялись к танцующим, заступая места товарок, уходящих на зов все чаще и чаще отставляющих чаши в сторону бородачей. Похоже было, что круговорот пляски, страсти и вина увлек и самих фракиянок. Все ближе и ближе оказывались они к пирующим, позволяя уже не только оценивать себя вприглядку, выбирая, но и присаживаясь на колени, быстрыми поцелуями щекоча щетинистые щеки. Они подчас вели себя куда бесстыднее опытных гетер Эллады, но даже не догадывались об этом. Ибо были слишком невинны, чтобы знать о существовании женщин, торгующих любовью.

Невинность и распутство, сливаясь, образовывали смесь, все больше и больше распалявшую и без того возбужденных архонтов. И старухи-наставницы, терпеливо объяснившие и показавшие девчонкам, как надлежит вести себя в эту хмельную ночь, довольно потирали руки, попивая пиво за столами, стоящими во дворе, и прикидывая, сколь велика будет царская награда за премудрую науку...

С достоинством восседая по левую руку от царя, Киней с интересом разглядывал происходящее.

За несколько лет, прожитых в Скодре, праздники иллирийцев стали привычны ему и даже успели несколько приесться, хотя и к неразбавленному вину, поглощаемому в невероятных для сына Эллады дозах, и к безотказности юных соискательниц свободы, украшенной приданым, Пирров наставник не оставался равнодушен. Однако сейчас, после третьего по счету уединения, ощущая приятную опустошенность в чреслах, Киней пришел к выводу, что лишь иллирийцам под силу сверх трех раз пользоваться ожесточенно теряющими невинность фракиянками. Хотелось заняться чем-либо возвышенным. И Киней, отвечая подчеркнутой надменностью на скептические взгляды иллирийцев и с показным смущением пожимая плечами в ответ на восхищенные жесты братьев-эллинов, прикидывал, что из происходящего достойно упоминания в письме, которое следует оказией отправить Гиерониму.

Долг дружбы свят!

Уже более года минуло с того дня, когда старый, давно не виденный друг, единственный, пожалуй, кого мог бы назвать так Киней-афинянин, помимо жизнеописания своего божества Деметрия увлекся естественной историей, для каковой и просил – нет, требовал! – все новых и новых по-

дробностей из обыденной жизни варваров европейских, пусть не столь яркой, как цветастое бытие азиатов, зато не в пример хуже изученной падкими на симпатичные анекдоты, но ничего не смыслящими в высокой науке современными Геродотами. Отказать Гиерониму было немыслимо, да и не хотелось. В конце концов, приятель твердо пообещал, что архитруд свой по завершении посвятит не кому-либо иному, а именно «милому другу Кинею Афинскому, прозябающему во имя науки в мрачных, удаленных от света культуры краях», и что имя его в посвящении будет стоять сразу же после имен «наивсесправедливейшего и щедро изукрашенного скромностью, равно как и прочими добродетелями» Антигона, наместника Азии, и его сына, «богоподобного, не знающего поражений, прославленного многими аттическими дарованиями и непорочностью» Деметрия...

Панорама происходящего впечатляла безыскусной, поистине варварской дикостью. Бесспорно, ни Кинея, ни, тем более, Гиеронима не смогли бы удивить аляповатая пышность, избыток позолоты и завитушек, отсутствие вкуса и строгости линий. Всего этого эллины и упорно приравнивающие себя к ним македонцы навидались за десятилетия восточных походов. Не сразила бы их и откровенная грубость. Но в том-то и дело, что сидящие вокруг отнюдь не напоминали ни каких-нибудь мифических лапифов*, не знавших огня и закутанных в невыделанные шкуры, ни козлохвостых гипербореев, по слухам, которые Киней, в отличие от того же Гиеронима, склонен был считать вздорными, предпочитающих расхаживать вообще в наготе, невзирая на вечные снега, лежащие окрест.

«Нет, сидящие вокруг были вполне людьми, хотя речь их вовсе не была греческой, да и манеры тоже оставляли желать лучшего. Скорее всего, размышлял Киней, меланхолично обгладывая прекрасно прожаренную утиную ножку, – таковы же были и наши, эллинские прародители, прежде чем они набрались элементарной культуры и по заслугам получили прозвище "наставников Ойкумены". Если это так, то вокруг меня – наше же прошлое, давно отжившее и канувшее в небытие, и вот эту-то мысль и следует особо подчеркнуть, составляя послание Гиерониму...»

Единственное, что докучало ему сейчас, удивляло и даже вызывало смутный протест, разумеется, не высказываемый во всеуслышание, это странные гости царя Главкия, прибывшие незадолго да начала празднества и уже собиравшиеся в обратный путь, но оставшиеся до окончания торжеств по особой, небывало почтительно высказанной просьбе царя Иллирии. Двое в простых туниках, высоких сандалиях и широких дорожных поясах сидели на противоположной стороне стола, чуть наискосок от Кинея, и, не обращая внимания на происходившее вокруг, даже на ухищрения впавших в экстаз плясуний, спокойно и аккуратно насыщались, отправляя в рот то небольшие кусочки жаркого, то крохотные ломтики фаршированной по-иллирийски рыбы и тщательно, со вкусом их пережевывая. Лиц их

* Лапифы – мифический народ.

не было видно под сплошными черными капюшонами-мешками с прорезями, позволяющими наблюдать за происходящим и вкушать пищу.

Зловеще выглядели эти колпаки. Отталкивающе. И дворцовые служители, почтительно кланяясь прибывшим, принимая у них поводья, старались держаться поодаль, украдкой – Киней заметил! – растопыривая пальцы рожками, словно желая защититься от сглаза или черной порчи. Попытка обратиться к непонятным незнакомцам оказалась тщетной.

Два капюшона слегка колыхнулись, отвечая на учтивое приветствие, два глухих, явно намеренно измененных голоса пробурчали что-то невнятное.

И потом таинственные гости бесшумно проследовали в отведенную им отдаленную комнату, и спустя два часа, осторожно, словно бы даже испуганно ступая, к дальней двери прошел и, задержавшись на пороге, негромко постучал особым – тук! тук-тук! тук-тук! тук! – стуком: осведомляясь, можно ли войти, не кто иной, как сам владыка всея Иллирии Главкий.

Обиднее всего, что каждый служитель, даже раб, не говоря уж о приближенных царя, очевидно, если и не знал наверняка, то догадывался, кто эти люди, не желающие открывать лиц, откуда они и зачем им эти жутковатые колпаки. Но первый же, у кого Пирров наставник попытался хоть что-то разузнать, почтенный царский ключник, гроза всей прислуги, выслушав почтительный вопрос, сделал огромные глаза, всплеснул руками и торопливо засеменил прочь, забыв о своей всегдашней неспешной важности. Похоже, он действительно не на шутку перепугался. Царь Главкий в ответ на проявленный эллином интерес пугаться не стал, но непроницаемо улыбнулся, а верзила Аэроп, нелюбимый с давних пор, приложил руку к сердцу и покачал седой головой.

Сам-то он – и это, пожалуй, более всего бесило Кинея – встретился с капюшонами сразу после царя и провел наедине с ними весьма немалое время, а потом к незнакомцам отвели Пирра, и Киней предположил было, что уж теперь-то узнает все – слава богам, ученики никогда не имели от него секретов; вернее, почти не имели, но все равно, не вытерпев, рассказывали даже то, что хотели сохранить в тайне, – но юный молосс ничего не сказал любимому педагогу, виновато улыбаясь в ответ на расспросы, и эта улыбка показалась афинянину похожей на ничего не выражающую усмешку Главкия...

Отчего в последние месяцы малыш вновь сблизился с тупицей Аэропом? Почему меньше, чем прежде, тянется к Кинею? Неужели не понимает, что уроки любящего педагога более необходимы будущему царю, хоть и каких-то молоссов, от которого вся Ойкумена скоро станет ждать многого, нежели многочасовые скачки в грубом седле бок о бок со зверовидным, с тяжелым взглядом убийцы верзилой?..

Нет, Киней положительно не чувствовал себя вполне счастливым!

К тому времени, когда сумерки сделались почти мглою, движения веселящихся стали развязнее, слова неразборчивее, развлечения безыскуснее. То тут раздавались раскаты утробного хохота, то там вспыхивали ни с того ни с сего ссоры, тотчас, впрочем, сходившие на нет под пристальным

взглядом почти не пьющего Главкия. Царь иллирийцев, владыка гор и заливов, сидел, свободно откинувшись на застланную покрывалом спинку раскрашенной скамьи, и на коленях у него лежала бочкообразная морда любимого черного волкодава молосской породы, пачкающая царское одеяние тягучей слюной.

Когда же со двора в трапезную несмело прокрались первые ночные тени, Главкий, не вставая, поднял большую чашу из красного золота, дар прибрежных подданных, повстречавших однажды в открытом море тарентинский корабль, и, оглядев сидящих, произнес:

– Вожди моих людей! Архонты тавлантиев, пирустов и дарданов! Почтенные хозяева вершин и отважные архонты заливов, я пью за вас! Пусть Отец-Солнце и Мать-Луна всегда светят на вашем пути!

Ни единым словом не помянуты в здравице эллины, присутствующие здесь, но нет в том обиды. Ибо они лишь гости на пиршестве, и не для гостей встают над просторами иллирийской земли Вечные Светила.

Запрокинув голову, царь осушил до дна чашу густого майского меда размером с голову небольшого теленка. И тотчас старейший из присутствующих вождей, человек залива, с лицом, наискось перерезанным черной повязкой, провозгласил в ответ:

– От имени всех, кто здесь, говорю: да осветят Солнце и Луна путь лучшего из царей!

Сидящие слаженно, словно по сигналу, опрокинули серебряные кубки, до сих пор стоявшие в стороне.

– Пришел Праздник Весны, и прошел, и уйдет с последним отблеском заката, – продолжил Главкий. – Ныне надлежит нам, исполняя завещанный пращурами обряд, засеять священную почву, дабы тучные травы поднялись на наших пастбищах, и хорош был бы урожай на наших полях!

Под крышей трапезной водворилась тишина.

Прикрыв рот ладонью, Киней позволил себе понимающе усмехнуться.

Вот оно. Начинается. Сейчас будет забавно...

– По долгу и праву своему я, ваш царь, должен назвать сейчас имя того, кто совершит священный посев. Свидетельствуйте же все вы, сидящие здесь, что названный мною действительно достоин того. И пусть выскажутся те, кто видит препятствия к совершению им обряда...

Афинянин вновь заслонился ладонью.

Время пошло! В прошлом году после этих слов начались вопли и перебранка.

Никто ни с кем не соглашался, даже могучий голос царя тонул в криках, и дело мало-помалу кончилось потасовкой. В позапрошлом году, кстати, произошло то же самое...

Старый обычай, давно описанный этнографами, побывавшими на Востоке. Он не стал даже упоминать о нем в прошлом письме Гиерониму. Сейчас прозвучит имя того, кто удостоен чести, плодородия и удачи ради, прилюдно покрыть местную жрицу полей, особу, кстати сказать, немолодую и мало-

приятную. Если она останется довольна исполнителем – а следить за актом станут десятки любознательных, ни единой подробности не пропускающих глаз! – значит, и земля в этом году щедро отблагодарит детей своих.

Человек и земля. Мужчина и женщина. Самец и самка.

И похотливые приохивания, как символ единения смертных с божествами...

Фи, как грубо! Архиомерзительно!

Символы символами, но стыдно подумать, что здесь, под самым боком у Эллады, в середине просвещенного пятого века от начала игр в Олимпии, буйным цветом расцветает подобная азиатчина, отвергнутая в таком, безыскусно понимаемом виде даже и наиболее прогрессивно мыслящими жрецами Месопотамии, где, если верить Медону Эфесскому, и зародилась во время оно эта дичь...

Лишь племена, недалеко ушедшие от абсолютных троглодитов, воспринимают богов так, какими видят их эти взрослые и опасные дети, не способные осознать ту опасную истину, что Олимпийцы суть лишь обобщения, условные обозначения человеком тех надмирных движущих сил, что недоступны пока что его пониманию...

Совокупляться же с недоступным пониманию? Увольте.

Хотя, если посмотреть с другой стороны, редкая женщина в этом мире пониманию доступна. Что никак не мешает нормальному человеку в меру сил совокупляться с женщинами.

Но ведь женщины не есть надмирная сила!

Улыбнувшись забавному парадоксу, Киней припомнил, что встречал в старых, скверно сохранившихся свитках – да хотя бы и в эпитомах того же Медона! – упоминания о подобных обрядах, бытовавших некогда, задолго до Троянской войны, и у эллинов, особенно – ахейцев. Что ж, возможно, так оно и было.

Было и прошло.

Что лишний раз свидетельствует о том, что Эллада созрела и вознеслась над иными народами Ойкумены...

Припомнилось прошлогоднее. Сановитые архонты, никому не прощающие обид и важные, как фазаны, дрались, катаясь по замызганному полу, рвали у друг дружки клочья волос из бород и постыдно визжали...

Ради чего, собственно?

Какой особый почет и какая выгода в том, что бычок именно из твоего племени заставит стонать, и закатывать глаза, и дважды, трижды, четырежды обмякать без сил похотливую, специально обученную телку?

На взгляд человека разумного и просвещенного, логикой тут и не пахнет.

А вот поди ж ты...

В густой, как медовая патока, тишине царь Главкий называет заветное имя:

– Пирр, сын Эакида!

Киней не верит своим ушам. Он ослышался. Несомненно ослышался, иначе просто быть не может. Мальчику всего одиннадцать! Неужели боги

помрачили разум царю? Или мед был излишне крепок, в отличие от рассудка? Невероятно! Вот сейчас кто-нибудь из иллирийских архонтов выкрикнет что-нибудь невнятное, протестующее, грохнет по доскам столешницы каменным кулаком, намертво зажавшим тяжелую чашу, его поддержат иные, и все разъяснится, все вернется на тот путь, которым должно идти.

Вот сейчас... сейчас...

Но – тихо за столами. Ни слова. Ни звука.

Притихшие, словно разом, все как один протрезвевшие, архонты одобрительно переглядываются.

Одобрительно?!

Неужели им, этим диким людям, известно нечто такое, о чем не знает, даже не догадывается Киней?!!

А Пирр – вот он. Уже поднялся из-за стола. Уже приблизился к царской скамье. И по обеим сторонам, словно сопровождая мальчика, возвышаются над ним черные капюшоны.

– Сын мой! – обращается к преклонившему колено юнцу Главкий Иллирийский. – Благословение богов и право божественной крови облекают человека властью, и не дело смертных вмешиваться в неисповедимое. Но дитя становится мужчиной, пройдя три испытания: сразив первого врага, принеся первую клятву, познав первую женщину. Ты не перешагнул еще порога зрелости, если судить мерками счастливых дней. Однако Судьба не судила тебе долгого детства, и молосскому базилевсу приходит время расстаться с беззаботными играми. Иллирия приютила тебя в недобрые твои дни, Иллирия стала домом тебе, Иллирия никогда не забудет о сыне своем, и в этом я клянусь тебе, брат мой и добрый сосед Пирр, благородный повелитель славных молоссов. Клянись же и ты перед лицом тех, кто помнит твой младенческий лепет, что никогда не забудешь добра, виденного тобой в иллирийской земле!

– Клянусь! – Пирр медленно, вяло поднимает правую руку: указательный, средний и безымянный пальцы выпрямлены, мизинец и большой палец поджаты; голос звучит глуховато, несколько отстраненно, совсем как у тех, чьи лица скрыты колпаками.

Главкий кивает. Он удовлетворен. И остальные, сидящие за умолкнувшим столом, тоже склоняют кудлатые головы в знак того, что сказанное услышано, засвидетельствовано и клятва не изгладится из памяти.

Скользко, небрежно по лицу Кинея пробегает взгляд Аэропа, и афинянин поражается необъятности торжества, пылающего под густыми, низко нависшими глазами великана.

– Отдай же иллирийской земле частицу себя! Соверши священный посев на благо стране, приютившей тебя! – выкрикивает Главкий и в изнеможении откидывается на спинку кресла. Лицо его наливается изжелта-серой бледностью, но это заметно лишь немногим, сидящим вблизи.

Взвизгивают флейты.

Лицо Пирра каменеет, и отсверк факельного огня ложится на застыв-

шие скулы, словно расплескав жертвенную кровь по мрамору алтарного возвышения.

В темном проеме распахнутых настежь дверей возникает тоненький, расплывчатый поначалу силуэт.

Женщина с укрытым покрывалом лицом идет по залу легкой, летящей походкой, не выбирая пути, и сановные мужи Иллирии почтительно расступаются, освобождая ей дорогу. В вытянутых руках явившейся – плоская чаша, ровно по ободок наполненная густой, неестественно зеленой жидкостью.

Удивительное дело: поверхность ее ровна и недвижима, словно листва, превратившаяся в лед, и ни малейшей ряби, совсем никакой дрожи нет на ней.

Дыхание застревает в глотке у Кинея. Не было такого ни в прошлом, ни в позапрошлом году...

Едва слышно шурша, падает на пол глухое покрывало.

Это не та перезрелая жрица, которую доводилось видеть афинянину. Не та! Жрицу полей, обитавшую в Скодре, маловоспитанные иллирийские архонты встречали задорным гыканьем, а перед этой сгибаются, кланяясь едва ли не по-рабски, в пояс, иные же преклоняют колено, словно перед базилевсом или алтарем могучего божества. Огненные блики щедро подкрашивают желтым и багровым матово-смуглую, бархатистую даже на взгляд кожу, высвечивают широкие, великолепно слепленные бедра, ноги, способные ошеломить и слепца, узкий стан; забравшись в ложбинку меж тяжелых, стоящих торчком грудей, оставляют в серой кисее теней крупные, набухшие, подобно бутонам горной розы, соски...

Это тело девы, вступившей в расцвет юности.

А выше, над тонким стебельком длинной изящной шеи – лицо зрелой женщины, сознающей непреодолимую мощь и непререкаемую власть своей победоносной красоты. Лицо старше тела, оно знакомо с ухищрениями мазей и притираний, но стан, и груди, и бедра удивительным образом гармонируют с ликом, похожим на образ одной из тех, перед кем, если верить Гомеру, стоял с яблоком в руках, мучаясь неизбежностью выбора, незадачливый троянский пастушок Парис.

И возникает, расползается по трапезной, освежая тяжелый воздух, исходящий то ли от тела явившейся, то ли от чаши в руках ее, диковинный пряный аромат, на первый взгляд, неприятный, даже пугающий, как все, от чего происходит неведомое...

Киней непроизвольно сглатывает, и всхлип этот звучит неожиданно громко, почти оглушительно и откровенно непристойно, но никто и не думает оглянуться, шикнуть на эллина. Ноздри мужчин подрагивают от возбуждения, в зрачках клубится звероватая, темная, жаждущая мгла. Хриплое дыхание десятков пересохших глоток напоминает в этот миг усталое рычание пехоты, рванувшейся в атаку после долгого и утомительного марша по выжженным зноем солончакам...

Встав лицом к лицу с Пирром, женщина безмолвно протягивает ему ча-

шу. Движения ее непререкаемо-повелевающи. Будто в колдовском сне, юный молосс принимает фиал из рук в руки, и тонкие, полудетские еще пальцы его на миг замирают, соприкоснувшись с такими же тонкими, может быть, еще тоньше, пальцами явившейся из ночи. А затем соприкосновение разрывается, и она отступает от стола – назад, в неплотную, но все же паутинно-серебристую мглу, копящуюся у стены. Она изгибается всем телом, гибко опускается на невесть кем и когда постеленный коврик, закидывает руки за голову и глядит на оцепеневшего Пирра долгим, испытующим, зовущим взглядом...

Сулящий и дозволяющий все, взгляд этот глубже Океана и древнее Времени.

Никто не в силах противостоять ему, разве что евнухи из азиатских гаремов.

Даже в одиннадцать лет.

Опустошенная до дна чаша падает на пол, и липкие зеленые брызги разлетаются по сторонам. Двое в капюшонах, ухватив тунику юноши с двух сторон, разрывают ее, оставив царевича молосса совсем нагим, и вожди гор и заливов изумленно замечают, что перед ними – мужское повторение явившейся.

Мускулистое мужское тело.

Слишком мужское. На зависть иным, хвалящимся успехами на ложе. Пожалуй, даже чересчур мужское (не зеленый ли напиток тому виной?).

И голова ребенка.

Ну что ж. Священный посев, как известно, вершат не головой.

Один из безликих, тот, что слева, слегка касается Пиррова лба. Второй, который справа, приподняв подбородок избранника, заглядывает ему в глаза и неслышным шепотом произносит напутствие.

А потом Пирр, слепо вытянув руки, делает шаг.

Еще один.

Опускается на ковер, расстеленный у стены, в ждущие, нетерпеливые женские объятия.

И широкие мясистые спины столпившихся в круг иллирийцев закрывают от взора Кинея происходящее.

Он – свой, но – чужак.

Ему заповедано видеть священные таинства варваров. Он может только слышать.

И афинянин слышит:

...невнятный шорох;

...звонко-протяжный, едва ль не болезненный полувздох-полустон;

...короткое, хриплое, почти звериное рычание;

...сдавленный, глухой стон толпы.

А затем где-то во тьме раздается удар колотушки в туго натянутую кожу невидимого барабана.

Удар. Удар. Удар. Удар...

Все быстрее, быстрее, быст...

Томительный протяжный крик.
Тишина.
Урчание толпы.
Уд-дар. Уд-дар. Уд-дар...
Захлебывающийся всхлип, полный истомы.
Тишина.
Гулкое дыхание застоявшегося стада.
Удар-удар-удар-ударударударудар... удаааар!
Исступленный вой, на вдохе.
Тишина.
И вновь, и опять, и еще раз!
И еще!
Боги! Возможно ли такое?!!
Ему же всего одиннадцать, боги!
Тишина.
И тьма...

Тотчас нечто влажно-прохладное коснулось лба. Открыв глаза, Киней видит над собой лицо Главкия. А вокруг – привычные стены, стол для письма, полка со свитками, очаг, отделанный горным хрусталем.

Он в своих покоях.

И сам царь иллирийцев, уподобившись сиделке, отирает холодный пот со лба.

– Все уже позади. Не бойся, – проползают словно сквозь толстую парфянскую вату слова, произносимые намеренно внятно и подчеркнуто раздельно. – Слабость скоро пройдет. Вы, эллины, изнеженный народец. Мало кому из вас под силу выдержать встречу с посланницей Тех, Кто Выкармливает Корни. Сейчас ты уснешь, Киней. И проснешься полным сил. Но перед тем как уснуть, услышь и запомни...

Афинянин не сопротивляется. Он слышит. И запоминает.

– Ты – друг Иллирии, мой и Пирра. Поэтому тебе позволили увидеть запретное для чужих. Но лучше будет, если ты никогда и никому не расскажешь о том, что видел. Даже своему заморскому другу...

Что?! Что он сказал?!

– Я не могу приказывать тебе, Киней. Ты эллин, и ты свободный человек. Ты вправе не слушать меня. Но все же – послушай. Так будет лучше для всех...

Киней кивает, даже не думая протестовать.

Он не скажет никому ни слова.

Он понял: так будет лучше.

Сквозь плотные, тугие затычки в ушах проскальзывает искра иронии.

– В остальном – твоя воля. Пиши что угодно. О чем пожелаешь. И о ком захочешь. Но старайся все же, гость мой и друг, не угодить босой ногой в осиное гнездо. Надеюсь, ты понял, о чем я?

Тяжелые зрачки Главкия ловят глаза Кинея.

Менее всего схож этот взгляд немолодого варвара, неловко закутанного в щегольской, заморский, по последней афинской моде расшитый гиматий, со взглядом коровы, на которую напялили седло...

Скодра. Конец весны того же года

«От Кинея-афинянина Гиерониму из Кардии – привет!

...Ты просишь меня, друг, описать здешние таинства, ибо из предыдущего письма моего понял, что иные из них схожи с теми, что бытовали у нас, эллинов, в стародавние, мифические времена.

Что ж, изволь:

...Впрочем, каюсь. Не мне осуждать предков! Я и сам не свободен от склонности к преклонению перед необычными личностями, хотя ранее полагал себя стоящим выше этой страстишки! Увы, нет! Охлаждение ко мне моего воспитанника, охлаждение сугубо возрастное и преходящее, привело меня, да и приводит поныне в состояние, близкое к отчаянию. Мне ли не понимать мальчика, только-только ставшего эфебом*, хотя, на мой лично взгляд, и слишком рано? Его принимают как равного взрослые воины. Ему отведено место на пирушках. Юные рабыни от него в восторге. Более того, он уже бывал в стычках, проливал человеческую кровь, и сам был ранен, к счастью, не опасно. Где уж тут радоваться постылой необходимости возиться со свитками под присмотром придиры, никогда не державшего в руках меча?! Ныне его высший судья во всех поступках – Аэроп, тот самый, я писал тебе о нем, если помнишь. У них в последнее время появились тайны, которыми мальчик, понятное дело, со мной не считает нужным делиться. Какие-то люди, подчас более чем странные, наезжают в гости. Аэроп приводит к ним Пирра, и они беседуют подолгу, выспрашивают о чем-то, однажды даже вывели его во двор и велели бегать по кругу, словно лошади, и мальчик бежал, пока не рухнул в изнеможении! А устроители этих непостижимых разумом смотрин спокойно наблюдали за этим бегом, изредка перекидываясь непонятными словами. Когда же я попытался воспрепятствовать издевательству, напомнив, что я пока еще все-таки педагог царевича и имею право хотя бы знать, что происходит, гости не сочли нужным даже говорить со мной! Зато Пирр едва не взбесился. Вскочил на ноги, еще даже не отдышавшись, и завопил, чтобы я, гречишка, не смел лезть не в свое дело, и что мне, простолюдину, не понять высокого смысла таинств, исполняемых людьми царской крови, тем паче – молоссами!..

...В этот миг мне показалось, что нить понимания между нами разорвана навсегда, и мне стало больно. Но вечером в комнату мою явился Аэроп и пригласил последовать за ним. И что же? В комнатке, где обитает Пирр, находился он сам, мы с Аэропом, Леоннат (он, кстати, очень подрос и уже не напоми-

* Эфеб – юноша 18–20 лет.

нает недавнего Щегленка, впрочем, об этом я, кажется, уже писал) и царь Главкий. Мне было сказано, что сейчас произойдет нечто, при чем могут присутствовать лишь родня и близкие из близких! Это сказал сам Пирр, несколько смутившись, и я понял, что мальчику столь же огорчительно терпеть размолвку, сколь и мне. Мы пожали друг другу руки. Лед оттаял. А потом Пирр лег на спину, на голый пол, крестообразно раскинув руки, а верзила Аэроп нараспев произнес несколько фраз и... Я не понял сначала, что происходит. В углу стояла жаровня, как и надлежит холодной весной. Так вот, с этой жаровни Аэроп снял нечто похожее на кочергу и, ни на миг не помедлив, прижал ярко рдеющий конец раскаленного добела прута к беззащитной мальчишеской груди. Запахло паленым. У меня потемнело в глазах, мне стало дурно, как тебе в Тарсе, где я имел глупость подтрунивать над тобою, сомлевшим при виде обдирания заживо матереубийцы. Запоздало прошу о прощении...

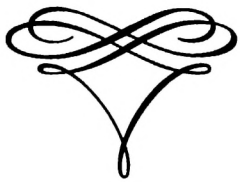
...Горела кожа, и горела плоть, только мышцы напряглись, и черты лица заострились, но он молчал, и Главкий молчал! И Аэроп, не отнимая металла от тела, молчал, и я тоже вынужден был молчать...

Но более всего поразило меня то, что в глазах Леонната, подавшегося вперед, чтобы не пропустить ничего, был не ужас, не сострадание, а – зависть. Самая настоящая зависть, и я не готов поручиться, что – детская...

А теперь все зажило, и Пирр щеголяет орлом, выжженным на груди, и, по-моему, очень горд этим! На осторожный вопрос, стоило ли подвергаться подобной пытке, коль скоро есть иные, менее мучительные и более современные методы, скажем, финикийские наколки краской, он отрезал, что его предки, молоссы, были не глупее финикийцев.

...Хвала богам, что на уроках тактики и географии он по-прежнему прилежен! Больше того! С некоторых пор, совсем неожиданно для меня и, не скрою, к немалой моей радости, он начал всерьез интересоваться политологией! Причем не щадит сил, чтобы наверстать упущенное в те дни, когда эта наука наук казалась ему никчемной и скучной тягомотиной.

...Вот и сейчас слышу я в коридоре его шаги, и вынужден прервать бег стилоса, и прерываю! Но, как и прежде, остаюсь в уверенности, что встреча наша неизбежна и ты, Гиероним, мечтаешь о ней не менее, нежели твой собрат и всегдашний доброжелатель, ныне обварварившийся, но не забывший дружбы КИНЕЙ»...



Юдит Аграчева

НАЗОВУ СЕБЯ САРОЙ

...Ну, вот я так и сидела в этих рваных перчатках, сидела и плакала, с бордовыми и опухшими пальцами и с веками, наверное, тоже бордовыми и опухшими, но я их не видела, а видела только пальцы, не все, а от косточек, ну и выше, или ниже, торчащие из этих страшных зеленых перчаток с обрезанными конечностями, про которые, про перчатки, я подумала, что они рваные, и сын их нашел на помойке, но я все равно их надела, чтобы не обижать ребенка, который меня пожалел, когда увидел, что я сижу у компьютера, но не пишу, как обычно, текст, а плачу, рассматривая свои пальцы, не гнущиеся от холода, и купил мне в какой-то лавке перчатки, на свои деньги, сэкономленные от не знаю чего, потому что я никогда не знала, на что ему деньги, да и сам он не знал, а потому не просил, но муж все равно ему вкладывал деньги в карман, а я удивлялась и спрашивала, зачем, ведь ребенок не просит, а муж, мой вечный муж, отвечал, что я никогда не была в жизни мальчиком и не знаю, что значит просить, и вот если ты просишь, то ты унижаешься, и даже потом, в том случае, если тебе дадут, то ты, может, это забудешь, в смысле, что дали, а вот унижение, ну, то, что ты для этого сделал, не забудется, и ты с ним останешься жить, и даже когда станешь старым, унижение не исчезнет, и он, муж, не хочет, чтобы эта история повторялась и повторялась с каждым, кто в этот мир является мальчиком, и поэтому он почти ничего у меня не просил – только раз, и я подчинилась, а от этого жизнь моя изменилась, – ну так вот, муж все время давал сыну деньги, а мой славный мальчик купил мне перчатки, специаль-

Юдит Аграчева – писатель, журналист, автор эссе-комментариев к библейским текстам. Живет в Израиле.

ные, чтобы подушечки пальцев были свободными для компьютерных клавиш, а я не писала свой бесконечный текст, я хотела обрубить себе пальцы, чтобы они подходили перчаткам, и я смотрела на них и представляла себе, как впускаю в себя, через эти обрубки, зелено-бордовую зиму, израильскую, и она вползала вовнутрь, замораживая и мысли и чувства, и мозг распадался на кристаллы из льда, на осколки крошились кристаллы, и даже память была схвачена холодом, и я никак не могла понять, почему я была не готова к этой первой зиме, и все пыталась чуть-чуть отступить, оглянуться назад, ну, скажем, на осень, чтобы восстановить, что происходило со мной и вокруг, ведь я должна была слышать, что зима неизбежна, и что люди, готовясь к ней, покупают обогреватели, а не тащат с помойки старые, газовые, те, которые пахнут газом, но я не умела, я никогда не умела возвращаться назад и поэтому я ненавидела психоанализ, а точнее, недоумевала, как сложно, как можно, возвращаясь, что-то понять, да ладно понять, изменить в связи с пониманием, произошедшим в связи с возвращением, и вот у тебя, допустим, о чем-то спросили, и ты что-нибудь вспомнил, ну, то есть увидел, услышал, почувствовал – эти три составляющие обязательны, – и оно, это что-нибудь, тебя удивило, и ты задумался, и доволен психоаналитик, мол, мы проникли в закрытые прежде двери-щели – возрадуйся, дщерь! – и он завершает сеанс, мол, достаточно, и тебя оставляет, чудо-юде, с открытой раной, в верху головы, в родничке, на которую, рану, ты пытаешься натянуть кожу, а она, кожа, морщится, словно ткань, которую положили не по диагонали, как положено, а прямо так, и скроили по долевой, и морщины бегут вдоль тела, по меридианам, и давит в темечке, и трещит, и звенит, там, где узел, где сфира* «кетер», источник Божественной воли и, разумеется, высшего наслаждения, в смысле, если кто может достичь седьмого, последнего уровня, ну, где скреплена эта ткань, то есть кожа, там, где сахасрара-чакра, пространство счастья, ну, все знают, наверное, ее еще изображают в виде сверкающего цветка, лотоса с тысячей лепестков, на которых начертаны все буквы, и еще знаки, ассоциирующиеся со звуками, у новорожденных это место прикрыто тонкой мембраной, а позже, как говорится теперь, по жизни, эта мембрана заменяется костной тканью, закрывается то есть, а у меня не закрылась, вот там и болит, и если не сделать надрез, то и будет болеть, и тянуть, пока не оторвется кусочек из сердцевины и не осыпятся лепестки внутри головы, как после протечки побелка от потолка, и тогда немножко отпустит, и ты припомнишь, как он тебя отпускал, психоаналитик, улыбаясь скупой улыбкой, мудрой и сдержанной, до другого сеанса, отметив в своей тетрадке, с чего следует начинать возвращаться, когда встретимся вновь, и вот мы встречаемся, и воз-

* Сфирот (ед. число – *сфира*) – фундаментальное понятие каббалы, обозначающее 10 стадий эманации, исходящей от Эйн-соф (трансцендентного Божества) и образующей систему проявления Бога в Его различных атрибутах. Все *сфирот* объединяются в *древо сфирот*, то есть динамическую систему, определяющую ритм как всего творения в целом, так и каждого его элемента.

вращаемся как будто туда, но уже совсем не туда, и он смотрит в тетрадку, смущенно, но возмущенно, а там все другое, ах, дурачина, но ведь иначе не может быть, и на то есть причина, потому что прошла неделя, полный круг, когда я успела проскочить за семь дней семь небесных миров, и в последнем, в субботнем, раствориться в безвременье, умереть и воскреснуть с новой душой, и возвращение в ту же дверь или щель происходит совсем по другим дорогам, воздушным путям и подземным ходам, совсем по другим каналам, и иная любовь меня стережет на пике самой высокой горы, и другая дружба ждет за перевалом, и я обретаю жизнь в новой своей ипостаси, ну, это же просто, представьте себе, увидьте, услышьте, почувствуйте, исчезает прежде пустынный пейзаж, и губы уже не сохнут от жажды, и не забивает горло желтый колючий песок, напротив, теперь мир тонет, весь как есть погружается в синие воды, а затем восстает, умытый и обновленный, и стерлась, ура! команда автоматической памяти, и былое некому загрузить, потому что сына нет дома, он в армии, он разрабатывает оружие, чтобы уничтожать всех тех, кого нужно, да и неизвестно, что загружать, и не будет известно, пока отсутствует мой вечный муж, а он, который все помнит в последовательности фактов, он на работе, он лечит всех искалеченных, – психоаналитику: зачем вам его имя? – и мир мой невинен, как чистый экран компьютера, где может возникнуть сейчас все что угодно, и развернется, лишь прикрою глаза, весь спектр цветов, и я поплыву, полечу, и Бог знает куда меня занесет и какие побегут берега пред очами, и что за печали будут преследовать ум, да и дверь или щель, или что там еще, лишь покажется той же самой, а я не вернусь, никогда не вернусь, я расскажу семь историй, совершенно безумных историй про Юдит, про ее жизнь, ужасную и прекрасную, я сочиню семь сказок про сокровище и чудовищ, назову себя гантенбайн, назову себя Сарой, Евой, Лилит, нет, наоборот, сначала Лилит, потом Евой, потом только Юдит, и вслед затем, я еще не уверена, может быть Сарой, я не совру ни единого слова, но я не вернусь, наверное, ни в ту первую зиму, к которой я была не готова, ни в ту осень, которую сменила зима, когда я сидела и плакала в рваных зеленых перчатках с бордовыми пальцами, в нашей первой квартире – не перебивайте меня, какой дурацкий вопрос: «что для вас, Юдит, дом?», я – не о том, не о том! – слушайте дальше, так вот, в нашей первой квартире, которую я полюбила, а вслед за тем разлюбила, безоглядно, как это было мне свойственно, когда я была Лилит, а тогда я была Лилит, и разлюбила навек, из которого, века, уже отстучало с тех пор, отсчиталось шесть лет, и квартира устала пребывать в нелюбви – психоаналитику: «комплекс оставленности»! – и съежилась вся, скукожилась, и судорогами, ну, то есть трещинами, свело ее тело, заморщило по меридианам, и побелка осыпалась с потолка, но никого это не испугало, и тогда вдруг, чтобы привлечь внимание, вырвался запах из ее недр, такой специфический запах, знаете, так всегда пахнет от брошенных стариков, а от старух – иногда, но старух и не жалко – сама виновата, что стала старухой, могла бы стать пожилой дамой, – а ста-

риков мне всегда хочется вымыть и приласкать, они ведь не виноваты, что брошены, и они не могут просить, они в детстве просили, и в юности – а мой муж попросил меня в старости, – а им то давали, то не давали, и нельзя было угадать, и они перестали просить, и тогда оказались оставленными, как и квартира моя, в которой я встретила первую зиму, то есть точнее будет сказать, в которой я осознала, что в Израиле тоже бывают зимы, ведь до того мне было не до того, чтобы воспринимать мир согласно смене сезонов, ну и других разных фактов, нет, так скучно, иначе: внимать ритму вселенной в последовательности тактов, да и вообще, что я, к дьяволу, – нет, к азазелю, дружку моей юности питерской, нервной – воспринимала, когда я была Лилит, правда, что – ничего: набор дискретных событий, оглушающих какофонией, меня оглушающих, и окружающих, и квартиру, вот она и не выдержала, еще тогда, и я с окружающими меня сбежала, бросив квартиру чужим, чужие в ней жили, а нам платили, сначала много, потом немножко, а вот теперь ничего, потому что там жить нельзя, и я очень расстроилась, и села к компьютеру, чтобы писать бесконечный текст, но не сумела и собралась расплакаться и вспомнила ту первую зиму, когда ничего не готова была воспринимать, но теперь-то, теперь уже все изменилось, и вечный муж мне сказал, не плачь, седьмой год и не должен приносить прибыль, «шнат-шмита»*, квартире положено отдыхать, и я, конечно, его услышала, я же уже не Лилит, и я рассмеялась, черт с ними, с деньгами, психоаналитик меня никогда не мог так рассмешить, он всерьез меня спрашивал: «что для вас деньги, Юдит?», а я отвечала, ах, это серьезный вопрос, ответ на который мне стоит сорок выброшенных из жизни минут и в десять раз больше шекелей, но тогда еще денег было немножко, что было много, если учесть, что я потеряла работу, то есть меня уволили – против логики, согласно злой воле, – но извещение об увольнении написали с ошибкой, не на то имя, я ведь меняю свои имена, но они мне сказали, что так не бывает, вот, смешные – а сара – а яаков – а авраам? – все меняют, и я меняю, а они допустили оплошность, и уволили, вышло, совсем не меня, испугались и переписали потом послание, но захотели, чтобы я им вернула то, первое, раннее, а я отказалась, ведь я не могу возвращать никому ничего, и начальник сказал своему заместителю, отбери у нее письмо, то есть он скомандовал «фас», фашист, только что не пустил газ, и тогда я, конечно, решила поднять руки вверх, как я делала это прежде, в предыдущей реинкарнации, – психоаналитику: отметьте, проблемы с самоидентификацией, – ну вот, а потом я вспомнила, что я в иной ипостаси, стою с письмом, поднимаю руки вверх, через стороны, плавно, но уже с иной целью, с полным йоговским вдохом: шесть тактов – и набираем воздух в живот, затем, за четыре такта, заполняем полностью грудь, затем, на два такта, заполняем

---

* «Шнат-шмита» (мн. число – *шнот шмита*) – каждый седьмой год пятидесятигодичного цикла, когда, согласно закону Торы, земля не обрабатывается и, соответственно, не приносит доход, а также прощаются все невыплаченные долги.

все остальное пространство от груди и до горла, затем, если вы добиваетесь релаксации, следует медленно выдохнуть: за шесть тактов выдавить воздух из живота, за четыре – опорожнить всю грудь, и еще за два – опустошить пространство между грудью и горлом и задержать дыхание, на выдохе, если, конечно, вам хочется успокоиться или, там, снизить давление, замедлить сердцебиение, но мне успокаиваться не хотелось, поэтому я пропустила задержку на выдохе, а так и стояла, вдохнув, в самом центре, как будто на сцене – а я очень красивая, стройная, ну, и демонстративная – представьте себе такую картину, я стою, вся вытянувшаяся ввысь, с безупречной формой меридианов, беззащитная, тоненькая, вся в снежно-белом, а заместитель, получивший команду «фас», прыгает вокруг меня и повизгивает, низенький, злой, неловкий, в зеленой рубашке, и галстук бордовый, как ошейник, лечебный, от вшей, ну, такой крокодильчик из глюков, прыгая, оборачивается, поглядывает на директора, который, сложив свои руки, как будто он умер и выставлен для панихиды, царствие ему небесное, смотрит, как прыгает заместитель и поскуливает, мол, пожалуйста, я устал, я такой неспортивный, ну, будь так добра, чуть-чуть нагнись, и тогда я смогу допрыгнуть и отобрать письмо, в котором я допустил ошибку, а я сказала ему – для чего пришлось выдохнуть быстрее, чем мне хотелось, – что так же, как он, рассуждали все палачи, мол, это всего лишь приказ, я тут на службе, и у меня малые деточки, что тебе стоит тихонько лечь и подставить мне шею, не устраивая представлений, и мне надоело смотреть на него, я не люблю сочетание зеленого и бордового, а, кроме того, он вспотел, и от него запахло, как от больного ребенка, уксусом и мочой, и тогда я опять вдохнула, отвернувшись, конечно, вдохнула плавно и правильно и задержала дыхание, на вдохе, и тут началось: распадение линий на точки, фраз – на звуки, образов – на сцепление букв, выделение первоначального света из спектра цветов – здесь главное не испугаться и не прервать задержку на вдохе, и важно еще сосредоточиться на аджня-чакре, ну, все ее знают, наверное, эту чакру изображают всегда как белый, цвета полной луны цветок, лотос с двумя лепестками, ну, сокровищница сознания, это между бровями, и представляешь себе сфиру «хохма», источник интеллектуального озарения, ну, концентрируешься и ждешь, это беспроигрышно, если выдержат нервы, просто проскочишь на шестой уровень, и кармы всех предыдущих жизней разрушатся, и ты свободен, не связан ни с кем, кроме Бога, конечно, и припугнуть тебя нечем, и ты стоишь насмерть, ну, как исламский террорист, и тогда вдруг перестаешь слышать и видеть то, что противно слышать и видеть, как говорят теперь, ни во что не врубаешься и поднимаешься ввысь, у меня так бывает, и я забываю потом, что было дальше и что было прежде, поднимаюсь и все, и не возвращаюсь, я перемещаюсь куда-то, Бог знает куда, может быть, правда, достигаю сфиры «хохма», и знаю уже, ну, то есть вижу, рассматривая озарение, что я не вернусь, наверное, я никогда не вернусь, ни к двери, ни к щели, ни к той зиме, когда я сидела в рваных зеленых перчатках, с бордовыми пальцами, просящимися

под топор, сидела перед компьютером, но не писала свой бесконечный текст, а плакала, и я не вру – специально психоаналитику: я дистанцируюсь! – и вот от этого, уж пожалуйста, меня не надо лечить, я, напротив, этому научилась, в процессе самолечения, не помню когда, я вообще ничего не помню, чего не хочу вспоминать, ну, такой распространенный порок, лучше меня спросить: «что для вас, Юдит, Бог?», и я снова что-нибудь расскажу, за сорок выброшенных из жизни минут, за четыреста кровных денег, которые кончились еще тогда, когда я взялась за самолечение, ну, после аварии, в которую я угодила, и после которой меня уволили, а у меня еще не было сил ни на сопротивление, ни на поиски всяких других работ, и голова уже тогда кружилась, и осыпалось что-то внутри, побелка, наверное, летом, когда от пекла все дома распухали, размягчались, теряли устойчивость и четкость своих очертаний, качались, и с крыш стекала расплавленная смола, и шины машин в ней вязли, черные в черной, ужас, какая жара, до рези в глазах, все слепли, и девушку за рулем повело, спазм, наверное, сосуды сузились, и она отключилась, а тут и я, на дороге, ну, как специально, отключенная конституционально, ну, и случилось, она испугалась, наверное, когда наехала, а я – нет, потому что я не включалась, и меня повязали и повезли, а, чтобы не потерять контроль, ну, не обмякнуть, я сконцентрировалась на вишудха-чакре, в основании горла, ну, это известная форма, ее цвет голубой, лотос такой с шестнадцатью лепестками, тот, кто может сосредоточиться на этой чакре, не умирает, а, наоборот, проскакивает в портал, частный, где собраны знания о настоящем, прошлом и будущем, а сфира, ей соответствующая, – «бина», то есть ты, проникнув туда, включаешь логику, инструмент получаешь для понимания этого нового знания, и вот меня, с виду вялую, но внутри жесткую, как кремень, везли очень долго сначала вдоль линии времени, по горизонтали, а потом поднимали и опускали, таскали по разным пространствам, по вертикали, и мы миновали семь гор и долин, семь хранилищ ветров, но я их не разглядела в тот заезд, а затем мы прорвались сквозь скопление слов, и что-то меня задело, будто именно я должна с этим скоплением что-нибудь сделать, но я еще ничего не знала тогда про устье всех вод, и был некий год какого-то дня какого-то месяца, и небеса раскрылись, и я узрела видения Господа, Бога нашего, ну, знаете, здесь, в Израиле, это часто случается и называется иерусалимский синдром, было слово Господне ко мне, даже два, Он сказал: «Юдит, зри», я послушалась и раскрыла глаза, и вот, бурный ветер пришел с востока, желтое облако и пламя пылающее, и сияние вокруг него, и подобие четырех существ изнутри огня, и четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого, а в головах их – кристаллы льда, и ноги их – ноги прямые, а ступни, как ступни ног тельца, каждый шел в направлении лица своего, и вот образ лиц их: лицо человека, и лицо льва, и лицо быка, а четвертое – лицо орла, и вот образ тел их, не оборачивающихся в своем шествии: словно горящие факелы, движущиеся туда, куда возникает желание двигаться – к югу, северу, западу и востоку, к зиме, осени, лету или весне, плавно так,

словно они не идут, а скользят, и я присмотрелась внимательно, и увидела, что внизу у каждого из существ – колесо, и блестят они, эти колеса, как драгоценные камни, как рубины и изумруды в бриллиантовом обрамлении, и вот, так открылось мне, кто на меня наехал, и я спросила, Господи, и не жаль Тебе было эксплуатировать небесную колесницу, а Он ответил: «дщерь человеческая, юница, не жаль, Я посылаю тебя к сынам израилевым, мятежным и непокорным мужам, которые упорствуют против Меня во зле и грехе», – ну ни фига себе, думаю, – а Он продолжает: «а ты, дщерь человеческая, не бойся и речей их не опасайся, хотя и терниями для тебя станут сыны израилевы», и Он как в воду глядел, хотя и не растолковал, что мне делать-то следует, кроме как не бояться – хотя конечно, пока я боюсь, а я же всю жизнь дрожу, я ведь ничего и не сделаю, – я потом объясняла всем, объясняла, мол, я послана с миссией, а мне: «у тебя амнезия, посттравматическая», и с работы уволили, и ни на какую другую не брали, и я не знала, чем мне заняться, кроме как научиться у кого-нибудь не бояться, я искала кого-нибудь, но никто меня не устраивал, и, правда, стали терниями для меня сыны израилевы, все сыны, кроме вечного мужа и сына, эти верили, эти знали, что я никогда не вру, они меня защищали: один все лишнее во мне убивал, второй повязки накладывал, а может, просто любили, и им было наплевать, ложью уста мои полнятся или нет, им – лишь бы не плакала, не сидела бы и не плакала на вавилонских реках, лишь бы арфу свою не пристроила на высоком суку, лишь бы пальцы не обрубала себе, лишь бы была занята чем-нибудь, и я занялась тогда самолечением, потому что на докторов денег не было, то есть немножко было еще, но на местных целителей их тратить было бессмысленно, ведь врачи, они тоже сыны израилевы, упорствующие во зле, да и во грехе, разумеется, поэтому головы их были заполнены глупостями или мерзостями, они достали меня, выясняя, не насиловал ли меня, невинную и ранимую, в раннем детстве отец – вечная память папочке! – и убеждали меня, что насиловал, а меня это якобы так потрясло, что впоследствии я, как только меня начинали насиловать, в прямом смысле и в переносном, ну, как говорят теперь, наезжать, отключалась и жаловалась потом на амнезию – чушь собачья! – я никогда не жаловалась на амнезию, я же на головокружения жаловалась и на проблемы с самоидентификацией, а то, что мне голос был, так это правда и никакая не мистификация, и не голоса, и не из электророзеток, и не из щелей, и не из-за дверей, а один-единственный голос, мы же в Израиле, в конце концов, здесь же не может быть множества голосов, и даже предположение об этом множестве отвратительно Господу, Богу нашему, карающему отступников до четвертого поколения, и я сказала себе, что поганым идолопоклонникам я не буду платить ничего, я сама себя вылечу, и обложилась книгами, и прочитала их, и все поняла – я ведь не только красивая, я еще умная – это нормально, решила я, когда человека, хрупкую и беззащитную дщерь, увольняют с работы, лишая привычного благосостояния, да еще после автомобильной аварии, когда ко мне было слово Господне, даже два,

и когда у квартиры начинается «шнат шмита», да тут у любого голова пойдет кругом! – а то, что я все события излагаю вне их последовательности, так я их в очередности и не воспринимаю, факты реальности у меня сопрягаются с воображением при команде загрузки памяти, а в момент перегрузки все распадается: линии превращаются в точки, фразы – в звуки, образы – в сцепление букв, и первоначальный свет, вычленяясь из спектра разнообразных цветов, бросает мне луч, как соломинку утопающему, мол, держись, дщерь хрупкая человеческая, мы их всех с тобой еще вы.бем и прорвемся, и я соглашаюсь, конечно, с тем, что прорвемся, и против бури и натиска устоим, или нет, и тогда нас закрутит, завертит и куда-нибудь зашвырнет, в колодец какой-нибудь, глубокий, жуть, так я там отсижусь, потому что это полезно, застревать, и не унизительно, мне даже сын так сказал, плоть от плоти, мой мальчик, оружейных дел мастер, мол, ты, мама, сильная, несомненно, но только легкая, вот тебя и несет, от колодца к колодцу, ими путь человеческий кем-то выстелен, чтобы люди иногда тормозили, резко так, и себя находили в другом измерении, где есть время для всяких мыслей, проваливались глубоко-глубоко, опускались к центру земли, погружались в лоно ее, сжимались в комок и, околоплодными водами ее очищаясь, никуда не спеша, молчали, а я отвечала, да, любимый сыночек, верны твои речи, почти, я только замечу, что не кем-то, а хорошо нам известным авраамом, в одной из его ипостасей, человеческий путь и выстелен, от любой земной точки к храму, это он рыл колодцы, шел и рыл, чтобы нас туда заносило, – психоаналитику: вот тебе и лечение, само-, с трансовым погружением, – ну, в беэр-шеву* для этого ехать не обязательно, можно просто представить себе, вот, что хочешь, то и представить, и услышать все то, что ласкает слух, и увидеть, что взор твой нежит, и почувствовать, что услаждает тело – эти три элемента: аудиальный, визуальный и кинестетический одномоментно, обязательны, здесь ничего нельзя опустить, иначе не дистанцируешься, а ведь необходимо, иначе не вынести, не осилить, ну, когда тебя, например, насилуют, не в смысле е.ут, это ладно, а насилуют, ну, то есть требуют от тебя то, что тебе отвратительно, ну, спросите меня: «что для вас, Юдит, невыносимо?», и я отвечу: искусственная система, а это значит, любая схема, кроме структуры сфирот, ну, совершенной формы взаимосвязи миров, идеальной такой инсталляции семи специальных каналов, проводящих Божественный свет, и я не раскрою секрет, если сообщу, что и в людях все внутри скреплено и держится на той же схеме, и, когда канал засоряется, начинаются разные, физические и душевные нарушения, медицинские то есть проблемы, а если мы правильно функционируем, мы здоровы и этот свет легко трансформируем и продуцируем, и распространяем по нижнему из миров, иначе сфирот, а он связан с высшими, и наоборот, ну вот, – я же могу смотреть и назад, и вперед, я же была

* Беэр-Шева – город на юге Израиля. Согласно Торе, Авраам (а позднее его сын Ицхак) вырыли в этом месте колодцы (*беэр* – «колодец», *шева* – здесь: «семь»).

везде, и наверху, и внизу, я уверена, я не вру! – и я, конечно, ее компонент, ну, абсолютной схемы, как все мы, и не надо меня засовывать ни в какие искусственные построения, управления, учреждения, я не желаю участвовать в системе их подчинений – психоаналитику: пишите, трудности адаптации в социуме, – но я успешно преодолеваю эту свою особенность, асоциальность, которой меня заразила я же, ну, явно, я, только в иной ипостаси, ведь нельзя же, мне говорили врачи, жить только домом и промыслом Божьим, наоборот, невежи, только так и возможно, ну, то есть еврейский народ, это все наверное знают, он как будто жена Богу Израиля, как, к примеру, шабат там или шхина*, а земля – это дом, ну, возьмите тетрадь и нарисуйте тетраэдр, Бог наверху, а земля и народ внизу, и еще одна точка на плоскости – Тора, вечный текст, ну, известный свиток, бесконечно раскручивающийся пергамент, где буквы начертаны красным огнем по черному пламени, и так жить, внутри тетраэдра, энергетически безопасно, правильно и не сложно, просто пока, увы, невозможно, ну вот, например, я сочиняю рассказ или даже книжку – а я, как получила повеление свыше, так, не смея ослушаться, пишу и пишу, – и завершаю труды, исполненная надежд окупить хоть какие-то траты, и жду, что за это заплатят, «черным налом», конечно, чтобы не вычитали, ведь деньги-то кончились, а мне говорят, не-ет, дщерь человеческая, все исключительно официально, и предоставь, будь любезна, послание из налогового управления, что, конечно, нервирует, немножко фрустрирует, но, в конце концов, я за закон, и я еду, иначе мне не заплатят, я обанкрочусь и жизнь проведу в изгнании, а я боюсь оказаться, не дай Бог, вне Израиля и, соответственно, вне тетраэдра, ибо вокруг него, на любом континенте, опасная энергетика, и вот я еду в маршрутном такси, потому что террористы у нас взрывают автобусы, и никак нам не остановить этих исламских самоубийц, потому что у них здесь, на нашей земле и в нашей истории, особая миссия, а на частный транспорт нет средств, вот я и влезаю в общественный, и тут оно и случается, то, что не вынести, я включаюсь в структуру, невольно, становлюсь элементом кристалла, ну, в этой душной камере, в этом маршрутном такси, где, конечно же, пахнет газом, где все сцеплены общей целью, где все спаяны общей цепью, пять человек, не знакомых, и у каждого по мобильному телефону, и по всем говорят, справа: «сладкая, я уже еду, и приеду минут через семь, через шесть, уже через пять, ну, скажи еще что-нибудь, через четыре, как бежит время, через три, моя сладкая, приготовься и жди», слева: «да что ты, а он, да ты что, ой, баса**, ну, а она, ой, сабаба**, а он, а она», впереди: «а-а, ты тоже в дороге, я не слышу, там сзади кричат, я-то их перекричу, но

---

* Шхина – букв. «присутствие», считается, что Бог правит миром посредством созданных Им сил, иначе, Своих проявлений, а согласно одной из почти крамольных версий, шхина – это женская Его ипостась, с которой Он находится в определенных, метафорически выражаясь, супружеских отношениях.

** Баса, сабаба – израильский сленг.

ты тоже кричи и заткни тех, которые тебя перекрикивают», а у водителя, он ведь тоже как все, человек и израильтянин, телефон с микрофоном, и он трещит, как заигранный патефон, и исторгает, как растресканная пластинка, из своих недр ущербную речь: «эй ицик – свист – ицик ты со мной – свист – так я ответил – свист – я не фрайер, смотри – свист – почему такой свист – аппарат говоришь – пронзительный свист – так ты наладь аппарат свой кибенемат», и это все надо слушать, а перед глазами мелькают, несутся кадры с натуры, фрагменты израильской архитектуры, клип-урод, этакий потерявший смысл, непреходящий суккот*, ну, вы меня понимаете, средиземноморский проект, продиктованный праотцами, шатры яакова, выстроенные руками эйсава, каждый хутор – сам себе хам – празднует торжество полной победы сима над братом, эстетом-яфетом, и это все надо видеть, и цепляют одежды твои, щелкающие и звенящие, как кастаньеты, браслеты соседки слева – да не ерзай, ты, блин, коза-егоза! – и врезаются в тело поддельные рубины и изумруды, и терзает сердце тоска, а справа давит металл – ключи? портсигар? – что он засунул в карман, донжуан, мне больно, мне колет, осторожнее, не повреди, не дай Бог, сустав бедра моего, отвали, тебе меня не одолеть, человек, и не получишь ты благословения, и даже когда взойдет заря, завтра, я не поменяю имени, разве что назовусь Сарой, но я еще не уверена, а пока отодвинься, пожалуйста, я ненавижу нефункциональные прикосновения, у меня кожная гиперестезия, повышенная чувствительность с тягостным аффективным оттенком, – психоаналитику: тактильные это мои базисные нарушения, – но я занимаюсь самолечением и по дороге в налоговое управление – двигаюсь, как евреям велено, посуху, – когда становится душно до рвоты, я концентрируюсь на анахатачакре, потому что она соответствует стихии воздуха, ну, все знают, наверное, это в районе сердца, центр проявления вселенских вибраций, темно-претемно-красный лотос с двенадцатью лепестками, а в сердцевине – черная гексаграмма, точнее, звезда давида, вот тут-то, в середине пути, все и сплетается, ну, йога там, каббала, чакры, небесные уровни, в общем, ты обращаешься к сфире «даат», а там информация, прежде тобой полученная, абсорбируется и становится частью личности, качественно изменяющейся без помощи лоботомии и вообще трепанации, это не сложно, когда ты дело имеешь с вечностью, ты просто отрубаешь все прежние ориентиры, подчиняешься ритму четвертого мира и легко представляешь себе лишь то, что нежит твой измученный взор и ласкает твой утомленный слух, ты дистанцируешься, отрываешься от структуры искусственного кристалла, поднимаешься ввысь, говоришь чужим «брысь!» и тут, если ты еще не устал, ты попадаешь через дверь или щель, ну, в такой индивидуальный портал, не обобществленный, как будто из зоны проскакиваешь за запретку, и нет никаких бараков и сроков, там время течет дискретно, и не слышно человеческих воплей, а картинка то распадается, то собирается,

* Суккот – праздник Кущей, когда положено, среди прочего, в течение недели жить в шалашах.

как в игрушечном калейдоскопе, встряхнешь, и видишь совсем не то, что тебя раздражало, умерли все на абэвэгэдэеёжэзэ и так далее, ты, блаженный, благостный от букета изысканных благоуханий, бродишь, словно по моргу, еще раз встряхнешь, сконцентрируешься и замрешь в обморочном восторге, ибо раскроется перед тобой, что не противно взору, и вот, передо мной, например, выстраиваются чередой – чудо чудное, диво дивное – иначе сказать нельзя, мои истинные друзья, величиной в человеческий рост, но не костлявые, как иные, а такие на ощупь мягкие, с виду округлые, их посадишь, они сидят, их повесишь, они висят и молчат! – мои куклы, я ими дом заселила, свой мир родными запружила! – ну, спросите меня: «что для вас, Юдит, дружба», и я вам отвечу, и мои речи, очарование слов наудачу, призрак белых ночей, с плеч летящих голов, опьяняющий запах сечи, брачный зов, вечный кров, я беспечна, я часто плачу, за пыл скоротечных восторгов, за мечты я расплачиваюсь отчаянным криком: «я друзей не встречаю, я их сочиняю!», я их создаю, услаждая потребность в кинестетике и эстетике, из хлама, из ветоши, из ничего, из пуха и праха, соединяя землю и небо, я их творю-мастерю, ну, беру понемножку земли с четырех сторон света, с юга, севера, запада и востока, пух лета и осени, прах зимы и весны замешиваю на крови, разумеется, христианских младенцев, все взбиваю, – мне муж и сын подарили на день рождения миксер, – потом остужаю, заливаю раствором хлам и ветошь, тем временем расстилаю материю, по диагонали, и жду, всей душой обращаясь к небу, ну в смысле, посылая запрос, и приходит ответ: «Юдит, режь», и я аккуратненько, прикрепив предварительно семью булавочками абрис выкройки, вычерченной лучом первоначального света, вычлененного из спектра цветов, вырезаю, что требуется, и еще, и еще, и медленно раздвигаю по сторонам куски материи, словно материки, и мир расширяется, и раздвигается пространство, подвластное моей воле, – о, сладостное мгновение! – и легкими точными прикосновениями пульсирующих подушечек пальцев я ласково, насладившись разлукой элементов расползшейся плоти, их соединяю, осторожно, как спаривающихся гусениц или жучков, – ада, я чувствую твой взгляд из ада, – наружу спинками, то есть животиками вовнутрь, и пусть чуть поерзают, пока не проникнут друг в друга всецело, пока не сцепятся, ворсинка к ворсинке, элементы разрезанной мною материи, и тогда я их закрепляю, на пике их сочленения, еще семью булавочками, а затем прохожусь по краям иголочкой с ниточкой, и получается у меня вместилища для пуха и праха, хлама и ветоши, ну, в смысле, для тела: для торса, рук, ног, всяких вен и артерий, разных органов, а потом я беру много-много – сорок или четыреста – проволочек в пластмассовой оболочке, и ножиком очищаю края, оголяю все проводки и пропускаю их внутрь, по меридианам, то есть пронизываю ими вдоль семь уровней мертвой массы, обнаженными – это же нервы! – и скрепляю пучок наверху, оставляя достаточную длину для шеи и головы, которые делаются отдельно, последними, после специального благословения и ритуального

очищения в потоках природной миквы*, куда погрузиться следует в алом купальнике, с головой, на самое дно, с мыслями о сфире «йесод», управляющей отношениями между всеми космическими каналами, и тебе откроется принцип выживания человечества, или иначе, как йоги учат, тайны связи между астральными сущностями, это если удастся сосредоточиться на свадхиштана-чакре, расположенной у основания гениталий, там у нас у всех такой лотос с шестью лепестками, ну, все, очевидно, его не раз замечали, он красно-кровавого цвета, и тот, кто на нем концентрируется, воды совсем не боится, и вот я, настроившись, погружаюсь, надолго, не знаю насколько, я не понимаю во времени, я не умею считать минуты, секунды, часы, месяцы, годы, «шнот шмита», когда отдыхает от человеческих разрушений квартира, которую я любила, а потом разлюбила, «шнот йовэль»**, когда очищается, как в микве, в околоплодных водах земля, – я считаю только дыхания: вдох, выдох, задержка, но предписано оборвать даже этот счет, чтобы не отвлекаться совсем ни на что, и, когда воды достигнут души, подождать, сколько можно выдержать, не дышать, и из самых глубин воззвать, и, услышав ответ: «Юдит, шей», оттолкнуться от загустевшей пучины, ринуться вверх, материализоваться из пены, осмотреть себя тщательно после ритуального погружения, в смысле проверить, восстановилась ли, например, невинность, ну и всякое остальное, чтобы волосы как стадо коз, сбегающих с гор гилъада, чтобы зубы, как стадо овец, вышедших из купальни, чтобы губы как алая нить – память о принесенном в жертву купальнике, – чтобы виски как дольки граната, а груди как двойня газели, пасущаяся среди лилий, – а я, как правило, после миквы такая и есть, без порока и без изъяна – и вот я, пока не повеял день и не побежали тени, спешу в дом свой, под сень виноградника, и сторожить его, символ девственности, как нам, красавицам, велено, и одновременно сшить голову моим куклам и шею, из тончайших шелков, скроенных по косой, чтобы ни в коем случае не морщило, и, когда вылеплены уже все четыре лица, лицо человека, и лицо льва, и лицо быка, и лицо орла, я раскидываю над ними шелка, шатром, как хуппу***, и, пока она, словно потягиваясь, пузырясь, планирует вниз, парашютом, подхватываю в самом центре и держу легко, словно бабочку, чтобы не повредить пыльцу, не опалить крылья жаром пылающих пальцев, и слежу, как края скользят к долу, повторяя и уточняя и смягчая рельефы лиц, и остается лишь перехватить внизу ткань, и присборить, и подтянуть, и потом насадить конструкцию лиц на пучок оголенных проволочек, и вытащить их через верх, через центр, через кетер, через родничок, через сахасрара-чакру, проволочки я имею в виду, и когда весь пучок обна-

---

* Миква – водоем или бассейн для омовения тела с целью ритуального очищения.

** «Шнат-йовэль» (мн. число *шнот йовэль*) – пятидесятый год, который завершает семь семилетних циклов. В этот год, согласно закону Торы, освобождаются рабы, а проданные наделы возвращаются прежним владельцам.

*** Хуппа – ритуальное покрывало, которое шатром раскрывают над вступающими в брак.

жается, я, разомкнув, с едва слышным щелчком расклея сухие губы, кончиком языка прорываю завесу стыда и прикасаюсь к металлу, и животворящие соки тогда стекают, струясь по дрогнувшим проводкам, и заполняют семь уровней плоти, и кукла, суть сгусток сознания, а, значит, мое создание, вступает со мной в контакт, и уже трепещет в ответ, и, едва почувствовав свет, проникается страхом потерять эту связь, и готова снести все, что выпадет ей в пути, будь то боль, будь то грязь, и я, тяжело вздохнув, отстранившись, сглотнув остаток слюны, закрепляю вибрирующие проводки и тщательно прячу их под пучком сплетенных из ниток волос, львиной гривы, шерстки быка, орлиного оперенья, я шепчу в полудреме от усталости и умиления всякие ласковые слова, я клянусь не забыть ни за что, никогда не оставить свои создания, суть сгустки сознания, и не оставляю до следующей лихорадки, в которую выливается зуд, начинающийся в самых кончиках пальцев, пузырящихся, ноющих, теребящих любой, оказавшийся в зоне доступности живой или мертвый предмет – вот, к слову, вопрос для психоаналитика: разве это невроз? – а когда начинается лихорадка, другая, ну, жжет все внизу, и наружу просится мой бесконечный текст, и слова, словно яйца, шевелятся, разогреваются, и я, как курица, не могу оставить насест, я кукол как раз бросаю, и ночь напролет слышу вопль, а я ненавижу, когда тревожат мой сон, соль кукольных слез разъедает мои соски, истосковавшиеся по невыношенным младенцам, меня пугает исполненная драматических звуков и трагических запахов влажная тьма, я не выношу этот плач, и с рассветом во мне заявляет о праве на жизнь убийца, палач, и я достаю свой меч, подаренный азазелем, дружком моей юности питерской, неукротимой, а также корзину, дно которой я выстилаю салфеткой, и складываю последовательно, с эпилептоидной тщательностью, сыр соленый, творог соленый, чтобы жажда измучила олофернов, чтобы осоловели от соли скулящие сосунки, и рядом со снедью я укладываю прохладное олеандровое вино – сама садик я садила, – я кормлю их, рыдающих, из своих безжалостных рук, в потоках сладкозвучных речей я топлю их надежды на ласки израильской девы, я пою их вином, чтобы смерть их была легка во хмелю, и слетают головы с плеч, и катятся под ноги моему мальчику, сыночку, мягкие мячики, он мне перчатки купил, не пожадничал, так неужели я пожалею чьи-то головы для его игр, спорт выковывает героев, а футбол формирует силу, так пусть он лупит голы, пусть бьет, он солдат, моя роль лишь инициировать бой и затем сесть, наконец, за компьютер и продолжить работать над своим бесконечным текстом, ибо так мне положено, в смысле, такая мне выпала роль в апокалиптической пьесе, ну, спросите меня: «откуда вам это, Юдит, известно», и я захочу рассказать, естественно, как однажды, давно, ну, после того, как сыны человеческие умножились, родились красивые дочери, и сыны неба увидели и возжелали их, чтобы родить детей-исполинов, и меня тоже выбрал сын неба, и начал входить ко мне, и я зачала, и тут же услышала, свыше, слова, мол, оставь невинного ангела и возвести ему предстоящий конец, только без сцен, отпусти его,

чтобы он спасся и семя его сохранилось для следующих поколений, ибо дело его сопровождается благословением, ну, мне что, я запаслась терпением, выносила, родила и прилегла отдохнуть, потому что немного устала, и вздремнула, наверное, и на меня напало видение, я попала в сфиру «тифэрет», в царство абсолютной гармонии, в третий мир, ну, то есть на третий небесный уровень, и вот я приблизилась к стене из холодных кристаллов, окруженной горячим пламенем, дверь в стене – или то была щель? – охраняют огненные херувимы, я прохожу сквозь огонь и вижу царский дворец, стены из разноцветной яшмы, горящей, но не сгорающей, и вхожу я в этот дворец, и предо мной престол, сияющий ярче солнца, над ним молнии мечутся, под ним – россыпи звезд сверкающих, но не обжигало босые ступни мои, лишь чуть-чуть щекотало, я шла словно по льду, ошарашенная, сосредоточившись на манипура-чакре, отвечающей за стихию огня, в смысле, тот, кто на ней концентрируется, выходит живым из пламени, взгляд направляю внутрь, в пупок, там рождается луч, стремительно вырастает и восстает, раскрываясь, лотос цвета осенних туч, но облетают, осыпаются от подступившего к животу жара все десять его лепестков и выстраиваются вкруг престола миньяном*, и вот, слышу, кто-то зовет меня, но я не поднимаю лицо, не смею, да и бессмысленно – все равно ничего не увидеть из-за слепящих отблесков, – и Тот, кто меня призвал, говорит: «Я покажу тебе семь хранилищ ветров, Лилит, семь долин и семь гор – во вселенной и в человеческом теле, – а устье всех вод, нижних и верхних, женских то есть и мужских, устье бездны, расселину, не имеющую ни тверди небесной, ни основания – во вселенной и в человеческом теле, – найдешь сама и не сделаешь из этого тайны, покажешь другим, пусть знают, что через это устье они узрят вред и неправду, которые они вершат на земле, за что наказуемы и погибают, и копи, как справишься с поисками, в своем лоне грехи и зло, но недолго храни этот клад, а чтобы не переполнился организм ядом, извергай из себя слова, сплетай их, клей и лелей, ибо кукол тебе, как и Мне людей – и врагов и друзей, – уничтожить легко, но со словами, свитыми в Текст, намного сложней», ну вот, я и отправилась рассматривать семь долин и семь гор и семь хранилищ ветров во вселенной, и все поняла – я не только красивая, я талантливая, – я очень быстро разобралась, что структура одна, едина, будь то чакры, или сфирот, а все прочее суть проекции этой самой структуры, ну рельефы любых поверхностей и энергия существования всяких разных созданий, живых, полуживых и совсем неживых – хотя это неправда, ну, призрак, мираж, это нам только кажется, что они неживые, у проживающих в нижнем из миров искаженное восприятие, – а как только я разобралась, я отправилась восвояси, домой то есть, потому что я догадалась, что за расселина, не имеющая ни тверди небесной, ни основания, имелась в виду, и я знала, конечно, где искать это устье – небось не де-

* Миньян – группа из десяти мужчин, необходимый кворум для общественной молитвы или совершения разных религиозных обрядов.

вица, я ведь однажды родила исполина от невинного сына неба, – ну и нашла, и возвестила об этом, как требовалось, и случилось, уж они меня находили, сыны человеческие, юнцы безбородые, в своих возможностях не уверенные, и убеленные сединами старцы с комплексами оставленности, летели за лаской, как комары на свет, особенно старцы, полчищами, но красоты моей эти труды не умалили и не истощили запасов ни слов, ни сил, да и, честно сказать, не с пустыми руками являлись посетители, а тащили с собой все, что есть, и богатств стало в доме – не выпить, не съесть, вина реками разливались рубиновыми, зелень с рынка помоешь, она блестит как изумрудная в бриллиантовом обрамлении, а кто победнее, тот приносил селедочку, водочку, я картошку сварю, пока жду, простолюдинами я не брезговала, суп сварганю, пирог испеку – я не только красивая, я хозяйственная, не ленивая, – ну, и велено мне было показать всем желавшим, через что они жаждут, глупцы, сладострастцы и мерзавцы, найти свою смерть, – так что, мне для них супа жалко? – и все шло ничего, в смысле шло, но для меня было как ничего, юнцы несли чушь, чем меня изводили, семя свое в моих соках топили и снова просили, а старцы, как правило, не доносили и, стесняясь, ворчали, а потом, когда все уходили, я садилась к компьютеру, но не писала, а плакала, потому что уже ничего не боялась, и поэтому – вот я чем расплатилась – никого не любила, ну, теперь вы хотите спросить, «а что вам вообще известно об этом чувстве, Лилит?» – в общем, все, потому что четырежды, зимой, летом, осенью и весной, я не знаю, что раньше, что позже, я леденела, пылала, трепетала и изнывала, я спускалась в ад, вниз, и взмывала в райскую высь, что еще, ах, подробнее, если вспомню, ну, скажем, была весна, может, даже и та, что пришла вслед за бордовозеленой зимой, когда я мерзла и плакала у компьютера, та весна была сизосерой, с сиреневыми переливами и струящейся синевой, он явился мне с запада, я была заперта в тереме за недостойное поведение – навет, стоивший мне семь лет, – солнце не освещало мой утлый кров и не веселило мою голубую кровь, лишь ближе к вечеру пробивался в темницу, ко мне, к босоногой пленнице, закатный луч, но однажды и он не пробился, я удивилась, как темна пасхальная ночь, и я привстала с полатей рассмотреть, кто мне застит свет, и – ах, звон, окно вдребезги, в острых осколках паркет! – я зажмурилась, слышу нежный шепот: «Лилит», думаю, что же лучше, лечь или встать, но глаза в любом случае решила не открывать, прилегла и почувствовала прикосновения, едва ощутимые, как дуновение, между пальчиков ног, к плюсне, пяточке и стопе, на тонких щиколотках я ощутила спиралью пробирающееся выше-дальше дыхание, сухое, прохладное, и защекотало икры, и коленки стянуло, как лужицу на последнем, неловком морозце, под коленками, – словно холодным компрессом свело, и пополз вверх подол, и бедра раскрылись нетерпеливо, и озноб пробежал, а внутри, от коленей до щели, закололо, легонечко так, как будто кто-то провел, пробежался птичьими коготками, а затем, добежав, принялся вить гнездо, шурша, копошась, перебирая клювиком нити, слипшийся шелк расплетая, иг-

рая – как это в литературе? – увлажнившимися лепестками, и лаская, лаская, то перьями выстилая прогалины, то пухом иссушая проталины, но не проник, лишь скользнул, словно кистью прошел по ущелью, вперед и вдоль, чуть нажал и растопил наст, чуть ослабил и взорвал пласт, о-о, как я кричала, от счастья и от отчаяния, как пыталась его к себе привязать ремнями, речами, беспомощным лепетом, он ответил суровым клекотом, он качнул крылом и взвился орлом, через брешь в стене, в поднебесье, я осела на пол, усеянный осколками острыми, собрала их в горсть, принялась растирать по щекам слезы горькие, и заалели ладони мои, запылали, ошпаренные ланиты зажглись, я ослепла и скончалась бы, не явись ко мне тот, другой, снизу, с юга, горячим, вязким, смоляно-малиновым летом, он предстал предо мной породистым, темной масти атлетом, ему было не до ласк, он рванул и с чудовищным скрежетом разорвал прикрывавший мою смуглую кожу атлас, с трубным ревом он приподнял меня и швырнул на живот, плашмя, так что ребрышки затрещали, я пискнула, заверещала, мои ягодицы вспыхнули от жара жесткой шерсти могучих бедер, которыми он их безжалостно тер, прижав всем невыносимым весом, и что-то огромное я ощутила между его налитых железом ляжек, и я догадалась, что: палящее, жгущее, наперевес – как это в литературе? – орудие, в общем, он, перехватив меня лапищей, а другой, сдавив сильно грудь – газель, прежде мирно пасущуюся среди лилий, а ныне вскинувшуюся от неожиданной боли, – пронзил мое тело, пригвоздил к ошалело застонавшей кровати, ни рыпнуться, головы не поднять, и тряхнуло меня, сотрясло, зазнобило, забило, а затем повело, закрутило, как на карусели, ввинтило в воронку черную, душную, в ловушку, подстроенную развлекавшимся азазелем, бывшим дружком по коммуне питерских хиппи, а он с низким хрипом дышал в мои уши, и они заполнялись, попеременно, горячим паром, и спину ломало, и, наконец, из груди его вырвался оглушающий рык – я подумала: во дает, не мужик, точно, бык, – и лоно мое до души затопило бурлящей лавой, а она разлилась, неожиданно пропитав сердце сладостной, словно нектар, и липкой, как мед, отравой, я всхлипнула, лишенная сил, прошептала что-то, опустошенная, и уснула в истоме, прямо под прессом его звериной массы, а от его храпа, как стены храма, хрустели мои косточки и суставы – но это нормально, был пост девятое ава*, – я спала, как младенец, запеленутый туго в густое, тягучее марево, а проснулась, зима на дворе, ну вот, я передохну сейчас и подарю вам новый рассказ, мой третий явился с самого севера, белоснежный, величественный, но какой-то потерянный, до лопаток струятся, по плечам разбегаются кудри светлые, с неприлично розовой проседью, а ногти пропитаны никотиновой желтизной, как усы с бородой, поступь царственная, а в глазах – робость трогательная, он к моим прикасался устам прохладными пальцами, и в исступлении, словно ослепший скульптор, иссле-

* 9 ава – день разрушения первого и второго иерусалимских Храмов, этот траурный день выпадает, как правило, на лето.

довал бережно, не дыша, складочку над моей удивленно припухшей верхней губой, тревожно подрагивающие крылья носа, он проводил мягким кошачьим движеньем по щекам, и скользил по бровям, изумленно изогнутым, и нежно сжимал в неуверенных ладонях лицо, и глядел в глаза, без надежды, сомкнув горестно рот, и расчесывал мои черные локоны, и тихонько ворчал, и развязывал не спеша тесьму моих сложных нарядов, и урчал, поцелуями покрывал обнаженную шею, притрагивался к ключицам, умилялся, чуть покачивая непомерно большой головой, поднимал меня на руки, бережно, словно чашу с живой водой, на колени сажал, к широкой груди прижимал, моим запахом упивался, я лианой вкруг него обвивалась, переполненная томлением, я пиявкой в него впивалась – как это в литературе? – с неистовым наслаждением, он печально смеялся, от своего сильного тела меня отклеивал, на пол спускал и укладывал на парчовые покрывала, искрящиеся, и, как тряпочного звереныша, распластывал, распинал, всю как ракушку раскрывал, а в изножье устанавливал ханукальные* свечи, они оплывали, растекаясь по полу кремовым парафином, и застывали, а он, не веря в мое послушание, серебряными браслетами запястья к стенам приковывал и, прищурившись ласково, он рассматривал игру световых сплетений на моем гибком теле в отблеске бледных огней и стонал, словно старый лев, и склонялся, пытаясь согреться, он вдыхал тепло моих испарений, а от него пахло снегом, он языком изучал иней моих теней, пробирался от ложбинки к ложбинке, оставляя след холодной слюны, и, найдя горячий излом, он терся широким лбом, медленно, словно скованный льдом, утыкался, проникал туда носом, ртом и утопал, и до дна испивал свою долю, и замирал, а я замерзала потом и, настонавшись вволю, дрожала, а он, опьяненный блаженством, шептал, что ему меня жаль, и балагурил, хмельной, стыдливо, поднимался лениво и мехами меня укутывал, слой за слоем, засыпал жемчугами, а сердце мое свело той зимой неизбывной тоской, и, казалось, навеки его заковало в хрустальные латы, он исчез, и я села к компьютеру, но так стало муторно и онемели пальцы, и все стало бесцветным от застывающих слез, и я ничего не видела, ни экрана, ни клавиш, значит, за меня взялся азазель всерьез, я заглянула внутрь, прошлась вдоль себя, ну, вдоль семиуровнего столба, снизу вверх, затем снова назад и вперед, и не увидела ничего, ни чакр, ни сфирот, потому что пока я любила, я себя растворила в ипостаси Лилит, а у меня была миссия, писать бесконечный текст, я нарушила свой обет и потеряла луч изначального света, и спектр не выстраивался, и я не знала, кто я, и бесполезно стало искать внутри, где, как в склепе, темно, и я стала смотреть в окно, а там была зимняя зелень, темно-израильская, припорошенная хамсином**, холодное солнце светило, кедры, сосны и ели отбрасывали бордовые тени, и подушечки пальцев

---

* Ханукальные свечи – свечи (от одной до восьми), которые положено зажигать в Хануку, зимний праздник очищения Храма и победы над язычниками.

** Хамсин – суховей, песчаный ветер из пустыни, характерный для израильского климата.

закоченели, онемели, и сын подарил мне перчатки с отрезанными конечностями – психоаналитику: значит, это случилось после той осени, когда я была без имени, а значит, совсем не была, – он явился с востока, с лицом человека, каких миллионы, ну, словом, адам, царь, начальник, властитель, в талите и с «лэп-топом», надвигались дни трепета*, я подумала, что компьютер – мне в подарок, на рош ха-шана, ну, новое развлечение, а на экране красным огнем по черному пламени высветилось судебное заключение, получалось, что если я, никто и ничто в своей нынешней инкарнации, не приму предложение, не стану человечеству матерью, а не любовницей и убийцей, мне хана во всех ипостасях, то есть я перестану расти, ну, то есть взрослеть и умнеть, и останусь порхать, как Лилит, или головы отрубать, как Юдит, и буду вечно болтаться, дура хмельная, кровь свою разбавляя эликсиром нескончаемой молодости, и ничто меня не спасет, даже возраст, ну, я испугалась, интеллектуальное разложение – незавидная доля, поэтому я прикинула и смирилась со своей новой ролью, но временно, на «шнат-йовэль», чтобы очистилось в околоплодных водах все, что можно, и так, чтобы не разводиться с мужем, который всегда был и который меня никогда ни о чем не просил, ну, только раз попросил, и то, когда мы стали старыми, что меня, кстати, совсем не смутило, а, наоборот, обрадовало, я старика своего отмыла после его скитаний и приласкала, вытравила все прежние запахи – мне сын отсыпал немножко пороха, – пригляделась и поняла, что совсем неплохо, но сама, к слову, я не стала старухой, а стала пожилой дамой – психоаналитику: да что вам в его имени? – важно, что я той осенью, в судный день, была при смерти, когда получила свыше спасительное предложение, а на тот случай, если я откажусь, меня ждал дружок азазель, чтобы вернуть меня в вечную юность, твою мать! снова в питерский ад, а я не желаю, не могу возвращаться назад, в общем, я согласилась, и мы с адамом отправились закреплять сделку в хабад**, я за все предыдущее и последующее раскаялась, произнесла, как положено: «виновна была, изменяла, поступала преступно и криводушно, хищничествовала, давала дурные советы, насмехалась, была непокорной, порочной», ну и так далее, короче, разжалобила сонм присутствовавших сынов неба, растопила гроздья их гнева, в общем, вошли в синагогу Юдит и Лилит, а вышла оттуда Ева, ну, всеобщая мать, я – земля, я теку молоком и медом, истекаю клюквенным соком, я своих пожираю питомцев, сыновей-дочерей, порезвитесь, родные, под солнцем и ко мне возвращайтесь скорей, я тут, в искусственной изоляции, в процессе удачной психологической консультации, работа прошла успешно, меня убедили частично вернуться, я кое-что вспомнила, не знаю зачем, и перестала метаться, до потери сознания концентрируюсь только на муладхара-чакре, она считается основанием, центром низа, меж-

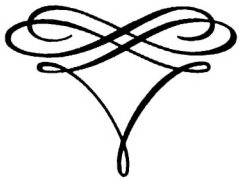
---

* Дни трепета – дни между Рош ха-Шана (Новым годом), когда на Небесах начинается суд над человеком, и Йом-Кипур (Судным днем), когда выносится приговор.

** Хабад – здесь: синагога последователей Любавичского ребе.

ду анусом и гениталиями, ее называют еще фундаментом, и вот я ее себе представляю, ну, иногда ласкаю, сама – я же уже никому не нужна, выжившая из ума, – и вижу лотос с четырьмя лепестками, ну, то есть с четырьмя сезонами, к которым я, в процессе занятий йогой, изгибаясь, прикасаюсь сосками, и не чувствую ничего, я уже не реагирую, как в прежние годы, на смену погоды, мне незачем, и я, разумеется, – ведь мы достигли прогресса, – не замечаю разницы между четырьмя сторонами света, ее просто нет, земля – это я, а я – это текст, а текст – это свиток, то разворачивающийся, то свернутый в точку, ну, то есть, в каком-то смысле, проекция колесницы, которая меня превратила в заложницу, сфира «малхут», иными словами, доступное и праведникам и грешникам царствие небесное, местное, его воплощает устье мое, застеленное завесой, сплетенной из слов, бездна, где дремлет лавина, великая кундалини, дающая силу всем чакрам, предметам, растениям, животному миру, всем человеческим ничтожествам и исполинам, тот, кто познает ее, тот становится обладателем силы, поднимается вверх, попадает в любой из миров, а я, наблюдая, молюсь, чтобы он избежал катастроф, чтобы газом его не травили, не увольняли, не насиловали, не давили, чтобы в огне не горел и от стужи не мерз, болезный адам-человек, я с тобой не лечу, я давно свободна от грез, остаюсь, усмехаясь, наблюдать за людскими усилиями, ну, так случилось, я вылечилась и превратилась в куклу, в сгусток чужого сознания, значит, в Божественное создание, сижу тут и жду, иногда Он вступает со мной в контакт, от оставленности, просто так, и я, едва завидев луч изначального света, уже трепещу в ответ, и проникаюсь страхом потерять эту связь, и выражаю готовность снести все, что выпадет мне на пути, будь то боль, будь то грязь, и все кругом знают об этом, но сами, без страховки, боятся играть со светом, вот и ищут расселину, куда, если пробраться, то можно испытывать бесконечно блаженство, ну, такой вулкан затухающий, почти безопасный кратер, где легко обеспечить дозированное общение с небом, вроде как через трансформатор, поэтому я до сих пор нарасхват, они все сюда стремятся, юнцы и старцы – уже не любить, а спасаться, – а когда добираются, то выпивают, закусывают – я вкусно готовлю, почти без соли, – я им рассказываю о своей лихой доле, они слушают и затихают, в смысле мыслят, молососы, от усилий проваливаются глубоко-глубоко, погружаются в лоно мое, сжимаются в комок, даже в точку и, околоплодными водами очищаясь, молчат, а потом я их отторгаю и отлучаю, потому что я замужем, и миновали уже «шнот шмита», «шнот йовэль», мне надоело быть матерью всего человечества, я не смогла сохранить ни деньги, ни дом, ни честь, у меня искаженное представление о морали, мне не спасти Израиль, я устала, я не справляюсь, прощаюсь, прости, сынок, я тебя неправильно воспитала, твое оружие не уничтожает, увы, всех, кого нужно, я снова горько плачу, как в ту зиму, когда я сидела в зелено-бордовых перчатках, и никто не купил мне нормальный электрический обогреватель, я отчаялась, оторвалась от компьютера и легла умирать на свою пустую постель, пролепетав, забери меня, азазель,

к моей юности питерской, нерастраченной, к очарованию слов наудачу, к белым ночам, опьяняющим запахам сечи, к брачному зову, к вечному крову – светлая память папочке! – ах, я была беспечна, ну, что, черт, ты трусишь, я знаю, я никогда не вернусь, даже если меня окончательно вылечат, я же сшита из ветоши и напичкана хламом, что ж, пусть, как прежде, бродят юнцы и старцы, по горизонтали и вертикали, по тропам, исхоженным авраамом, то есть путями, проложенными моим вечным мужем, а я получаю очередную опцию, в связи с чем, находясь в твердом разуме, отказываюсь от консультации, мне больше никто не нужен – психоаналитику: моего мужа зовут авраам, он хранитель и смотритель дорог от любой моей точки к храму, – ах, что за дурацкий вопрос, «как он выдержал», тоже мне драма, таков уж его удел, ведь он выбирал меня сам, ну, мой авраам, ему все привычно, тем более что у меня уже кончилось обычное, обидно бывает, конечно, но только во время ремиссий, а поскольку у мужа, как и у меня, особая миссия, он, чтобы выстоять, и чтобы все выжили – азазель, отвали, не смеши меня, наглый, ехидный хам! – неустанно старается возвести храм, воссоздать в нижнем мире пространство счастья, восстановить сокровищницу сознания, а его построения разрушают, ну, те, кто вокруг меня шляются, а он снова строит и строит, и, чтобы ему не мешали, он меня попросил, ева-юдит-лилит, или как тебя там, назовись мне сестрою...



Борис Фальков

ИСКУШЕНИЯ РАБА о. СИМЕОНА О.*

Двери были распахнуты. Пахло ладаном и потом. Служба давно началась.

Пошёл косой грибной дождик. Спины стоящих за порогом подсвечивало чистое солнце. За ними начиналась тьма. Оттуда доносилось монотонное бормотание, перебиваемое хором. Простые цепочки созвучий выдавливали из себя истово вибрирующий солирующий тенорок. Ясно, парень успел где-то поучиться. Теперь он годился лишь для оперетты.

По эту сторону порога сидели двое. Справа дремала на табуретке старушка. Сморщенная её коричневая ладошка была сложена ковшиком на коленях. В ковшике уже скопилась кучка монет. Другой рукой старушка обнимала длинную ручку раскрытого над головой зонтика. Капли дождя, сползая по рёбрышку зонтика, падали в ладошку на монеты. Слева, на ступеньке – горбатенький Гера, подмигнувший О., когда тот стал протискиваться между спинами молящихся. О. строго глянул, но спохватился и принял наглость юродивого как наказание за опоздание. Грешен, Господи, прошептал он. Но всего зашевелившегося в нём раздражения этим не унял.

У Чудотворной толпилась очередь. О. поморщился: как в гастрономе. Он пробился ещё вперёд, поближе к хору. Толстая регентша, увидев его выделяющееся в толпе своей жёлтой бледностью, длинной чёрной бородой и

* Новелла из цикла «Недосказанные истории».

Борис Фальков – автор многих романов («Моцарт из Карелии», «Тарантелла», «Трувер», «Щелкунчики», «Ёлка для Ба», «Горацио» и др.), повестей, рассказов, статей и эссе. Член ПЕН-клуба. Живет в Германии.

пылающими глазами лицо, увенчанное куполом сверкающей лысины, махнула рукой, приглашая присоединиться – попеть вместе. О. сделал вид, что приглашения не понял. Хотя солист-тенорок занозой сидел в его ухе, мешая унять неуместное, разбуженное ещё утром злым бесом раздражение.

Регентша Анюта, ведомая тем же бесом, шепнула что-то сопрано и подошла к О. Толпа притиснула их друг к другу. В его плечо вмялись громадные груди регентши. Холодок приятного омерзения прополз по спине О. Он вытащил платок и стёр с лысины жирные капли. Он старался не смотреть в бесцветные – за стёклами очков: лишь чёрные точки зрачков – Анютины глазки.

– Слава Господу, – сказала она, неудержимо улыбаясь, в то же ухо О., где уже сидела заноза, оставленная с раннего утра бесом.

– Слава, – как можно мягче выговорил он, как можно ласковей.

Стоящие рядом с ними внимательно вслушивались в их разговор, глядя в упор – то на неё, то на него. Анюта не обращала на это внимания. Не то – О. Допустим, незнакомых старушек в шерстяных платках, уткнувшихся прямо ему в бороду, можно игнорировать. Но как быть с влезшим слева под мышку, зачем-то покинувшим свой пост юродивым Герой? Его одного было достаточно, чтобы смутить и святого. Прибавить если вмявшиеся в правое плечо мягкие груди... «А я далеко не свят, Господи, – поспешно добавил в уме О. – Я самый грешный, самый жалкий из твоих рабов».

– Пойдём к нам, – сказала регентша растянутыми в улыбке розовыми губами. – Когда ты помогаешь, всё идёт иначе.

– Сначала – гони этого балеруна, – страдальчески морщась, заявил О. – Он делает из литургии канкан. Или комсомольское бюро.

– А вот пойдём, – подхватила Анюта, – и он сам замолчит. Он тебя не любит.

– Он не любит всех ближних, – согласился О., глядя в открытый рот старушки напротив, приставившей ковшиком руку к уху – чтобы лучше слышать, о чём идёт речь. – Он и к Богу равнодушен. Как и ваш отец Анатолий. Вернее, – тут О. непроизвольно сменил ласковую интонацию на язвительную, – патер Анатоль. Зачем он сокращает литургию?

– Ладно, ладно, – понизила голос Анюта. – Он просто учитывает слабые силы прихожан. Не каждый может...

– Лучше бы он учитывал силы Господа, – наоборот, повысил голос О., – которому трудно всё это терпеть. Литургия для Бога, а не для слабых в Него верой. Кто слишком слаб – пусть учитывает свои, а не публики скромные силы. Только пусть это делает дома. Или в молитвенном доме. Но не в храме.

– Верно, – согласился из его подмышки Гера. – И пусть наш батюшка подаст таким пример.

– Я не стану поддерживать грех, подпевать ему, – несмотря на неприязнь к юродивому, О. было приятно его согласие. – Мне спасать душу нужно, а не топить её в новых грехах. Пусть протестанты и католики со-

кращают, ставят оперу и балет в своих музеях. А таким тенором пусть «Плач Израиля» в синагогах распевают или «Смейся, паяц» в Большом театре. Нет, в театре «Ромэн». А в каком темпе он шпарит, а? Кто может понять что-нибудь в таком темпе? Он сам – понимает что-нибудь, что говорит своей пастве, этот патер? Что же это за место такое стало, где вместо успокоения души...

– Милок, а ты каких будешь? Не армян ли? – вдруг спросила старушка напротив, очнувшись от своего оцепенения. За пределами их тесного кружка тоже зарождалось внимание к этому разговору: многие уже поворачивали к ним головы.

– Православных, – снова ласково сказал О., но вышло очень фальшиво. Раздражение и досада росли в его душе.

– А по наружности никак не скажешь, – заявила старушка. – По наружности точно армян или турок. А по разговору, – тут старушка просияла, – вылитый иудей.

– Ну, я пошла, – сказала Анюта и действительно пошла к хору. Её мощные груди рассекали толпу, оставляя за собой разбегающиеся волны. Как только она заняла своё место, тенорок ликующе вознёсся к куполу и завибрировал там, забился в нарисованных облаках, как голубь или бунтующий ангел. О. поморщился и заметил, что отец Анатолий сделал то же. И ещё отец Анатолий коротко погрозил хору пальцем.

– Парень старается, – сказал внимательный Гера. – А его стрекают. Парень к Богу, ввысь стремится. А его за ноги дёргают, вниз тянут. Он о чём печётся, наш батюшка, о душах? Да, конечно. Но не о самих душах, а о своей власти над ними. Не Господа – своей власти. А кто, известно, печётся о своей власти над душами, если не о Боге речь? Ясно кто – бес. Идёшь ему подпевать, Сёмка, или нет?

– Шёл бы ты сам, – брезгливо вытолкнул юродивого из своей подмышки О.

– Не трожь убогого, – заявила ещё более оживившаяся старушка так сразу, словно ждала этого всю неделю. – Житья от иудеев не стало. Мало им парламентов, теперь и храмы позахватывали.

О., поставленный таким образом перед необходимостью перебраться на другое место, но, не желая примыкать к поющим, особенно после того, как уже отказался это сделать, стал протискиваться в другую сторону, к Чудотворной. Хотя толкучка возле неё не уменьшилась. И хотя этот маневр не избавил его от всех раздражителей: юродивый Гера не только не отставал, но и двигался впереди О., как ледокол – перед лайнером, грубо раздвигая прихожан и приговаривая: «А ну, подвинь сраку, куколка». Грубость его показалась О. слишком уж преувеличенной, и он усмотрел в этом намерение развить зародившийся скандал.

Но из всех возможных вариантов поведения О. оставалось, если не подходить к иконе, лишь покинуть храм. А этого он никак не хотел делать. Это бы означало подчиниться возмутительному, и сегодня – особенно откро-

венному, давлению. Он не мог покинуть церковь, сдав позиции и отдавая храм в полную власть опереточной труппе и такой же публике. Покинуть в сопровождении внимательного взгляда отца Анатолия – патера Анатоля, его скрываемой, но хорошо различимой усмешкой. Он не хотел становиться причиной их – всех их – торжества. Стало быть, из двух этих вариантов, если не покидать храма, ему оставалось лишь подойти к Чудотворной.

И он втянулся в рассекаемый ледоколом Герой коридорчик, куда его невольно подталкивали и прихожане, пытающиеся вернуться на своё место после того, как их насильно с него сдвинули. Так они вместе – маленький широкоплечий горбун, с длинными на плечах пепельными волосами, и за ним О., сверкая вспотевшей лысиной и глубокими, чёрный бархат на жёлтых белках, глазами, – оказались внутри кружка, образованного отступившей под натиском юродивого очереди. На эдакой импровизированной площадке, сцене.

Внимание половины прихожан уже было привлечено. Да и вторая половина начинала беспокоиться, поворачиваться к новому центру действа – и уже мало кто прислушивался к словам литургии или пению. Да и если бы прислушивался, за положительные результаты этого поручиться было уже нельзя: темп службы, ещё более возросший, придал ей характер финала оптимистической симфонии и оставил мало шансов последним желающим следовать за нею. Если такие ещё нашлись бы.

Самым неприятным было то, что центром этого ненужного и даже опасного внимания стал О. Хотя виновником его был Гера. Но маленький горбун не был никому, кроме стоящих в непосредственной близости, виден, а О. – наоборот, благодаря устроившейся вокруг него площадке и нормальному росту, замечен всеми. Кроме того, он сам, своим телом укрывал Геру от желающих правильно понять ситуацию, если таковые, опять же, нашлись бы. Правильно видел её, пожалуй, лишь отец Анатолий, ну и хористы со своего возвышения. Но это не могло умерить прибавившегося к раздражению О. отвратительного ощущения оголённости, беззащитности. Скорее наоборот – могло лишь усилить его.

– Граждане верующие, – закричал вдруг Гера, пританцовывая. Последние прихожане, ещё преграждавшие ему доступ к иконе, отшатнулись. – Граждане и верующие. Все знают, я вниду прежде вас в рай. Никаких доказательств, кроме одного: гляньте, гляньте на меня – каков я. Каким меня создал Господь. По справедливости я должен и к иконе – первым. А ну...

Гера взялся за оклад обеими руками и, приблизив громадный рот к розовым устам Николая, плюнул в них. Плевок вышел-выговорился внятно: тьфу. А если для кого и невнятно, то последующая улыбка юродивого, обнажившая корни жёлтых зубов, стала окончательным пояснением.

Столпившиеся вокруг издали совместный короткий вопль и замерли. Смолк хор, как бы надломился плавающий над ним детонирующий тенорок. Застыл в нелепой позе с поднятыми руками дьякон. Запечатлелась в похожих на иконные уста губах отца Анатолия бессмысленная улыбка. По

лопаткам О. поползла мерзкая тёплая струя, словно именно туда попал плевок горбуна.

– Бес, – вскрикнула в тишине ещё недавно дремавшая на ступеньках перед храмом, а теперь оказавшаяся в первых рядах старушка с зонтиком. Струя на лопатках О. скользнула к пояснице уже ледяной устрицей, дрогнули колени: старушка, как бы этого не следовало ожидать, глядела своими запутанными в морщинах глазками вовсе не на Геру. А на самого О.

Желая предотвратить ясно представившееся ему развитие событий, О. оттолкнул юродивого от иконы и, стараясь говорить голосом погуще, объявил:

– Да, и такую личину может бес носить. Чтобы извернуться опоганить святое изображение.

– Что там такое? – звучно вопросил отец Анатолий, наконец очнувшись от оцепенения и сияя своими голубыми глазами. – Остановитесь, богохульники!

– Изображение, – подхватил Гера радостно. – Так, значит, ты, прохожий, считаешь это картинкой. Картинкой, как в Третьяковке, да? Значит, и батюшка того же мнения – и развесил у себя живопись?

– Нет, – возразил О. голосом чуть пожиже. – Это не живопись, это даже не сорвавшееся у меня случайно слово «изображение»... Это есть сам лик Чудотворного Николая. И ты, скрывшийся под личиной немощного телом и нищего духом бес, харкнул не в изображение – а в лицо Святому. В его Святые глаза.

– Господи, не допусти! – закричала старушка. – Ты уже раз гнал из храма проклятых иудеев!

– В губы, – поправил Гера. – Туда, где до меня уже обслюнявили всё и другие тыщи. Значит, если я не плюнул в доску или живопись, которые принадлежат батюшке и его церкви или его пастве, то пусть батюшка и ты, паства, закроют свою пасть. Не ваше тогда это дело. А пусть тогда хозяин оплёванного сам вступится за себя. Чем ещё он меня одарит: вторым горбом? Я обращаюсь к нему напрямик, без посредников: имею преимущественное право. Вы кто такие, посредники? Самозванцы. Ясно?

– Молчать, – сказал отец Анатолий и подал знак хору. Тенорок первым откликнулся на призыв: задребезжал особенно отчаянно. Остальные не поддержали его, ждали подтверждения от регентши. Но та так и не дала его.

– Что же вы стоите, верующие! – взвизгнула старушка и очень болезненно ткнула зонтиком в живот О.

Он был единственный ребёнок в семье.

Вскоре после его рождения отца, хозяйственника сталелитейного завода, посадили: был сорок девятый год. Родственники прервали с матерью отношения. А те из них, которые бы, может быть, и не прервали, находились далеко, в Аргентине.

Мать матери тоже уезжала туда вместе со своей семьёй, но вернулась через год домой. Её муж, шапочник, не нашёл там применения своей про-

фессии, которой гордился и на которую питал множество надежд, в их числе – стать миллионером. Аргентинский климат неожиданно оказался иным, чем думалось. Если думалось. Шапки не носил ни один человек в пределах досягаемости шапочника. Он обиделся и увёз жену назад. Их дочери – матери о. Симеона – тогда было два года. Шапочник умер во время войны в эвакуации. Друзьями бабка, а потом и мать не обзаводились.

Отдавать ребёнка в детский сад мать не хотела. Все в городе знали, что её муж сидит, и – за что сидит. О. Симеон был нежным мальчиком, мать боялась за своё и его здоровье и считала, что хотя им обоим и нужен свежий воздух, но контакты с улицей – вредны. Такое противоречие можно было преодолеть только одним способом: ограничить свой обитаемый мир пределами двора. Это чувство осады, в которой оказался их домик, она внушала и сыну. В о. Симеоне мать сфокусировала образ всего живого человечества, тем более живого, что речь шла о его возможно счастливом будущем. Глухая бабка, никогда не покидавшая дома, была не в счёт, ей будущее уже не грозило.

Маленький домик на крутой улочке, упиравшейся в морскую бухту, стал для о. Симеона островком жизни в чужом мёртвом мире. Точнее – его дворик, выжженный солнцем, выветренный так, что казался асфальтированным. Мать каждое утро обряжала о. Симеона в белую свежую рубашечку и чёрные брючки, причёсывала и велела гулять в дворике, на улицу – категорически нет. О. Симеон покорно стоял, под солнцем и ветром, прячась только на время дождика под выступ крыши. Море было – рукой подать, несколько шагов по улочке вниз. Оно пахло и шумело. О. Симеон ни разу не искупался в нём.

Если каким-нибудь образом о. Симеон пачкал свои брючки или рубашечку в попытках поиграть самому с собой лопаткой или мячиком – что, конечно, случалось слишком часто, – нервы матери не выдерживали, и она избивала его, плача и мучительно смеясь. Бабка не вмешивалась.

В конце концов мать приохотилась к побоям и после, когда о. Симеон приносил плохие отметки из школы или – опять же – пятна на школьной форме, она без слов принималась его бить. Он жил в ожидании побоев.

А мать, будто нарочно хотела увеличить количество поводов для наказания, несмотря на все его мольбы, не позволяла ему носить менее маркую одежду. Учителя, словно всё это понимая, поручали ему чаще, чем другим, уборку класса. И, конечно, чаще других вызывали мать в школу для бесед. Хотя о. Симеон был самым незаметным и тихим в классе. Вызовы кончались тем же... удерживая о. Симеона в непрерывном ожидании и страхе, превратившемся вскоре после того, как вернулся его отец, в панический ужас. Отец вернулся другим человеком, мать и бабка не понимали его. Его действительно трудно было понять.

По воскресеньям, в шесть часов утра, отец начинал охоту на клопов. С горящим факелом, свёрнутым из газеты, он ожесточённо вскарабкивался на спинку кровати, на которой лежал о. Симеон, и устраивал за отклеивши-

мися обоями Гоморру. Дождавшись, когда ему стукнет четырнадцать, о. Симеон восстал и показал отцу нож, с субботнего вечера припрятанный под подушкой. Панический ужас превратился в то, во что со временем он и должен превращаться, если не успевает убить своего носителя: в вынужденную стойкость. Войны с клопами прекратились. Но прекратились и всякие сношения с отцом. По крайней мере, до того времени, когда смертельная болезнь уложила отца в больницу и о. Симеон стал ходить туда регулярно, чтобы читать ему Евангелие. Рассказывая об этом много позже, о. Симеон по семейной привычке называл нож: *мессер*.

От клоповых войн осталась ещё одна привычка – просыпаться по воскресеньям в шесть. И потому впоследствии о. Симеон легко вставал в то же время и в тот же день, чтобы хорошо подготовить себя к службе. Эти шесть часов утра были поистине роковым рубежом, рубежом войн. Теперь это была война с матерью. Когда о. Симеон тихонько выходил из дома по утрам в воскресенье, мать ложилась на пороге и говорила: через мой труп. Хорошо, соглашался о. Симеон с уже привычной стойкостью, и перешагивал её тело. Враги наши – близкие наши, добавлял он, выйдя на улицу.

Линия жизни о. Симеона была относительно прямой, все её искривления он тут же исправлял. Он выпрямлял эти искривления так же, как перешагивал тело матери: стоически. Это выглядело так, как если б он каждый раз, обнаружив искривление, вынимал и показывал кому-то менее стоическому мессер. Он постепенно очистился от того, что при рождении и в раннем детстве в него пыталась заложить мать, и от того, к чему склонял его отец. Он и внешне не был похож на своих густоволосых родителей, очень рано облысел, в двадцать. В тридцать он переехал в Москву, тайно стал монахом. Он любил проповедовать, и хорошо это делал. К сорока годам у него появились духовные чада, привязанные к нему. В основном – женщины.

И после того как его выпустили из психиатрической больницы, о. Симеон не лишился своих духовных дочерей, большей частью – преклонного возраста. Они не интересовались его неприятностями, их больше занимала собственная немощность и старость. И они по привычке звали о. Симеона, ещё молодого старца, к себе: то квартиру освятить, то причастить. Он не отказывал никогда.

Возможно, говорить о полном очищении от того, к чему склонял о. Симеона отец, чуть преждевременно: ведь и он, сын своего отца, занимался попечительской деятельностью как протестом, как войной с царями мира сего, этого клоповника. И в его войне оружием служил высоко поднятый победительный факел – истины.

Вот и вчера, в субботу, Ирина Дмитриевна, одна из духовных дочерей, попросила его исповедовать её. Он пришёл вечером, собственно, уже ночью. А потом они попили чаю, и возвращаться домой было уже не на чем, поздно и далеко. Ирина Дмитриевна жила в Домодедово, в коммунальной квартире. О. Симеон остался ночевать у неё, это было уже не в первый раз.

Она положила его в другом углу своей большой комнаты. Из-за всего этого он и опоздал к началу воскресной службы.

Он не проспал времени обычного пробуждения, нет, но всю ночь долго не мог уснуть по-настоящему, то проваливался в сон, то выныривал оттуда. Вынырнув, он снова молился. Но молитва постоянно ускользала от него, и когда он снова проваливался – она тут же превращалась в бесконечный, без определённой формы и смысла, но наполненный чувствами монолог. Чувства эти были неприятны о. Симеону, они происходили вовсе не из тех глубин, где зарождаются молитвы, а из противоположных – хотя и соседних.

«Где бы то ни было – а пропало».

Так протекал этот смутный монолог.

«И в поисках его не трудись: без пользы. Ведь если б оно было потеряно в пространстве, в котором и продолжает существовать, в котором существуешь и ты, и остаётся лишь ждать удобного или назначенного времени, чтобы оно снова тебе явилось – то да, ищи тогда. Увы, оно не с воза упало. И не в дорожную пыль. Оно потеряно не в даже таком странном пространстве, каким нам даётся дорога, с её безначальным и бесконечным значением, с её почти милыми приметами: канавой на обочине, в которой никогда не просыхающая лужа прошлогоднего дождя, прошлогоднего снега, с её ухабами, смягчёнными степной таврической пылью, где по щиколотку тонут босые ноги, и не кричи своё "ох!", когда она обожжёт их, раскалённая бешеным солнцем, разъярённо изрыгающим на эту дорогу свой гнев с выгоревшего до серости неба, – не кричи или крикни и – беги, как во сне замедленном вынимая обожжённые ноги из превращенной в пудру дороги, беги вот так в её безначальную бесконечность до самого Чёрного моря и погрузи пузырящиеся ступни свои в него: остуди. Зашипит, испарится – пройдёт, потеряется. Как прошлогодний пыльный снег. Ищи его теперь в воспоминаниях, трудись: пропало. Конец.

Вампиры и ведьмы яйцекладущие, рыскающие, носы их вечно в движении, животы урчат, вот кто это находит. В пропахшей духами и потом толпе на улочках душных черноморских городов, среди толстоногих девушек с сырыми подмышками, среди неумелых юношей с широкими бёдрами и стариков на набережной, с пустыми глазами, уставленными за море поверх чашек турецкого кофе, а щёки их небриты, потому что сейчас восемь утра, в тесных двориках, заваленных гниющей эвкалиптовой кожей, трутся они о стены, выбрасывая из чрева свои порождения, складывают в пирамиды сотни рыжих яиц, покрытых пухом, а иногда – волосами, и всегда – таинственными паутинами обозначений. Никто не знает их смысла, но каждый имеет власть почувствовать – что такое они, эти "Вася и Света были здесь". И будут. "Здесь был также Маноикий Лошман". Проклятье им всем. Ибо всегда находят не ими утерянное. И, прислонясь ухом к кладке яиц в проходном сыром дворе, услышь, как смачно ворочаются в их утробе готовые к жизни их дети, ещё в скорлупе от родителей неотличимые, умеющие ловко найти и поднять не ими утерянное, ведь уже в скорлупе носы их вечно

в движении и животы урчат, о, рыскающие! То, чем вы питаетесь, что мною утрачено, – моя жизнь. И потому – проклятье. Ищи – пропало. И снова: конец.

О ты, питательная, в прошлогодних снегах утопленная, слепо в скорлупе урчащая – во чревах чужих, – сожранная жизнь моя! И твои вспученные слоновой болезнью сырые тити.

И тебе – проклятье.

Лети, моё проклятье, лебёдушкой!

Маши, драгоценное, перышком! Ревущее, свистящее, гогочущее.

С высоты твоей видно, как валятся от свиста твоего навзничь телеграфные столбы, быки, вскармливаемые добрыми фермерами, трубы с мирными аистами, железные всадники всех войн и революций, а также дивные барышни в кружевных нижних юбках, откуда выглядывают их яблочные коленки и славный курчавый пирожок. Дорожная солёная пыль заметает их, и прошлогодний снег заносит – всё ближе к концу. Свистнет, каркнет, пролетая, проклятье – и чёрным сугробом покроет ведьму с её урчащим животом: верное средство. На стальной одинокой ветке сядет передохнуть – моё славное – глазом круглым покосит... Не попасться бы самому на этот пронзающий зов! Под косящее всё разом, разящее крыло...

Вот – сказано. И ясно: я и жизнь моя – вещи разные, отдельные. Не признак ли это того, что не она – мой, я – её чудовищный дитятя? Яйцевидный, с волосатой рыжей скорлупой. С таинственными знаками на ней: и тут был Маноикий Лошман. В пирамидальную кладку уложенный. В угол сырого двора...

Ищи меня, трудись – напрасно. Пользы нет.

Мало и радости.

Где она вообще, эта радость? Вычислить её наружность от противного... Нос её, значит, неподвижен, живот молчит – пуст? Нигде она не рыскает, не может или не хочет. Столкнувшись с морщинистым её лицом в образе ветра, ударяющего с моря – из-за моря – в потный от кипящего кофе лоб, с её сдавленным возгласом "живи!", не успев моргнуть или сощуриться, глаз слезится, стало быть – плачет, а какая же это радость... И какая жизнь. Описанная с помощью бесчисленных "не", разве она может существовать при помощи какого-нибудь "да"? Да повтори это "да" тысячу раз – не оживишь, не восставишь. Являясь в перьях лишь отрицаний, может ли она быть? Беспричинная, задыхающаяся от прилива ветра, непрошеная, ненайденная, бесклювая и беспомощная, бестелесная, безвкусный незримый туман... Лишённая признака – её нет, не может быть. И измышление её лишь от противного, от потерь. Не от приобретений. От пустоты. От небытия, которое несовместимо ни с чем, которое единственно, и только и есть – если "есть" – совместимое с небытием слово. Но не о словах же речь.

О проклятиях.

Живее же этих нет ничего. Быть не может. Они и есть бытие.

А то, что вымышлено как радость – до него, в небытии. Поди сыщи его.

С воза упало, конец: бытие всевластно. Вопит на каждом углу. И пасть его глубока, подобно адским пещерам.

Это оно, ко мне повёрнутое проклятье моё: жизнь».

В очередной раз вынырнув из этого полусна-полумонолога, о. Симеон ощутил между бровей некое тёплое прикосновение, очнулся и, попутно просыпаясь совсем, сел на кровати. И открыл глаза.

Часы на противоположной стенке показывали шесть. Под ними на своей раскладушке сидела в ночной рубашке Ирина Дмитриевна, уставив неподвижный взгляд в переносицу о. Симеона. У него ёкнуло сердце. Несмотря на неподвижность свою, взгляд как бы сновал, рыскал через всю комнату от Ирины Дмитриевны к о. Симеону и назад. Подобно шарику пинг-понга, он ударялся в лоб о. Симеона, перелетал обратно к Ирине Дмитриевне, с коротким щелчком отскакивал от её гранитных зрачков и опять летел назад. Внутри шарика или ещё где-нибудь, понять было нельзя, что-то урчало. На лету шарик растягивался в эллипсоид и становился похожим на яйцо. О. Симеон мгновенно вспотел и уставился на мятую несвежую рубашку Ирины Дмитриевны. Из-под рубашки торчали её худые жёлтые коленки. О. Симеон вдруг ощутил собственную, пусть и мнимую, оголённость, беззащитность. И механически прикрыл ладонью то своё место, которое привык считать срамным, забыв, что оно и без того всегда прикрыто защитной ряской.

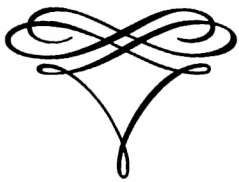
Ирина Дмитриевна, к его ужасу, не упустившая совершенно ненужного движения руки, перевела взгляд за нею... и медленно усмехнулась. Обнажились прокуренные резцы, зашевелились на губе седые усики...

«Вам плохо?» – пролепетал о. Симеон...

«А вам!» – хрипло сказала Ирина Дмитриевна. И о. Симеон, напрасно противящийся силе, поднявшей ему подбородок и направившей его зрачки точно туда, куда никогда не следовало бы им направляться, а именно – за вырез серой мятой рубашки Ирины Дмитриевны, увидел тёмно-серый морщинистый треугольник, будто дорожный указатель из слоновьей кожи, а по обе стороны его нижнего угла то, на что он указывал: плоские её груди. И сразу же почуял их неизбежный запах, проходного сырого двора.

О. Симеон раскрыл рот, чтобы что-то ответить, неважно – что, молчание стало бы непрощаемым, смертным преступлением, равносильным смирению перед властью мира, признанию дьявола Богом. Зашипел между связками его горла воздух, вхолостую, потом раздался какой-то детский или крысиный писк и...

Возможно, говорить о полном очищении о. Симеона от того, что вложила в него мать, тоже преждевременно.



Семен Ринский

ДАО ЧИЖА

Иерусалим голимый

Накануне Великого Противостояния Марса, помимо истерии астрологов, были и другие намёки моему простодушию:

у Черепахи разрезали нарыв около левого плеча, буль* в таком же месте, где и мой шрам;

ещё – гигантские зарницы над Нью-Йорком;

ещё – гульдесенские гризы;

заговорил чиж, старожил стенной выбоины дворца в заброшенной деревне Лифта у подножия Иерусалима. Там, в сводчатом зале, я и Черепаха обитаем на циновках под снопом лучей из пробитой властями крыши и при расставленных по нишам свечах. Он заговорил после нашего возвращения из путешествия в старость. Первое, что он выдал, – вклинился со вчерашним анекдотом в наш спор: «С голой женщиной трудно спорить». А вскоре вовсе ошарашил и тем предотвратил войну: «Осуждение – это болотная топь. Если что-то не нравится, отойди»;

а ещё попался мне в одном из проулков Агрипаса балкон без пола на втором этаже с дверью в никуда;

или: в толпе футболок строго одетый попрошайка. Чёрные тройка, туфли, шляпа. Смоляная борода, чёрный огонь во взгляде. И красная пластмассовая кружка;

---

* Точь-в-точь *(иврит, прост.)*.

Семен Ринский – инженер, ранее не печатался. Живет в Израиле.

особенно этот гончар на оживлённой улице. Обмакивал пальцы во влажную глину и гладил ими детские ладошки, и вместе они вытягивали на круге мокрые кувшины. Казалось, если гончар поднимется с бочки, на которой сидел, то станет выше крыш. Он был молод, с жеребячьей шеей, глаза столь огромны и так горели над легко смеющимся ртом, что не оставалось сомнений: он из ангелов, из авангарда;

ну и нашествие в Пьяный дворик мелких обозных сущностей, которых я прежде (не первый же день знакомы) считал людьми и собутыльниками.

В 19.19 три первые звезды, как в книжной главе без названия, выпустили на свет восточные сутки. Когда заиграл телефон, мои руки были заняты пакетами с вином и картошкой.

– На, возьми плечом, – Черепаха подала трубку.

Звонил не дождавшийся закуски Файнберг, или Фаня:

– П-понимаешь, Сенька, из жизни, дот, ух-уходят не только смыслы запахов, но сами запахи. Как объяснить и кому, дот, запах п-примуса и жареной картошки в подъезде?

– Ладно, без намёков. Жди!

Мы разглядывали Черепахин шрамик у заправочной – той, что примыкает к Колокольному парку, но нас отвлекла реплика клаксона.

– Смотри, ишачок!

– Это ослик.

– Да, беленький ослик.

– Под красной попоной.

На нём сидел мальчик лет 12 в бордово-серой накидке и расшитой тюбетейке. Ослик шёл по переходу в направлении Старого города и исчез из виду, когда мы тронулись на зелёный. Стоп! Мы разом перестали жевать сырой хумус. Произошло-таки обещанное, но лишь с нами. Всё совпадало. И в красных одеждах, и на белом осле, и идущий в сторону Старого города, и я, Семён, Симеон, Его узнал первым на пике небесного Противостояния. Он ребёнок, но уже среди нас.

Мы пошли куда глаза глядят. Иерусалим круглый, всегда попадёшь в нужное место.

Черепаха направилась в Лифту, а я поспешил к Пьяному дворику. Ещё подумалось: «да, мой чижик, не удастся переждать жизнь, как дождь».

Но как передала «оттуда» Фанечка в ответ на одну мою абстрактную жалобу:

– Он сказал, что всё обойдётся.

– Кто?

– А то вы не знаете кто!

Фаня, Фанечка и другие

Пьяный дворик под низкими смоковницами в Нахлаоте около рынка. Пластмассовые горки (красная и жёлтая), спадающие в песочницу, и три

скамейки. Ангелы второй руки стекаются именно в это место Иерусалима. Явление, похожее на то, как в шляпочном магазине на Яффо, где я работал продавцом, час – никого, два – никого, а потом вдруг человек девять одновременно примеряют шляпки, шарфики, словно улица накренилась, а потом будто в другую сторону, и вновь долго никого.

Эти же, из Пьяного дворика, пока вся трезвость не вышла, от нехер делать составляют расписание звёзд – во, где полно работы. Как говорил мой покойный начальник Зураб Гамрикели: «там ещё кон не лежался».

Подобно тому, как мужика выбирает его новая женщина, их выбирает свежая мысль.

Приняв мирское облачение и творческое зелье (в особом почёте «голдовка», всего 20 шекелей!), они сочиняют и запускают, как змеев, анекдоты, чем доказывают, что анекдоты – один из языков Бога, ибо не имеют авторов из людей: обратная цепь рассказчиков растворяется в истоке. Я было заразился. Вот последняя фраза: «Желание. Исполняется впервые». Ну и что? Такое хобби не результативно. Казалось, что, выпадая из гармонии, я буду успевать молитвенно подкладывать упругую ткань шутки. Однако этим не удержать ускоряющегося бешенства, бесовства. Сверху остаются прорванные гамаки и дырявые тучи. Я всё же не ангел.

Информация о жизни не хранится нигде, кроме свежемороженой шершавой матрицы памяти, не записывается, не дублируется. И, в некотором смысле, Пьяный дворик – это сервер.

Я оглядел благородное собрание. Файнберг здесь, он мне ещё трижды звонил. Лёвушка, экскурсовод по краевому музею Пороков, тута. Ага, отставной актёр Пиш… Разумеется, Фанечка, славная стёртая изнанка, вписанная без клавиатуры, мышки и оперативной памяти в кем-то выставленный диванчик. Над седенькой головкой цветок в прорехе кокетливой шляпки, как единственная связь с веком, он же антенна. Ко всему в песочнице, держась за руки, играют две полупрозрачные феи: жалость и жестокость.

Взахлёб, не опустив пакетов, я рассказал о событии на перекрёстке.

– Но. Всё происходило во мне.

– Мессия, – как бы согласился Пиш, – это личное. А ты увидел уличную инсценировку для туристов. Не волнуйся, прежде чем рухнет внешний мир, разрушится внутренний, и будет не столь чувствительно. Если бы ты не трусил, гнил бы в забытой земле, а не гордился сейчас, что первым удостоился…

Экскурсовод поставил на мне жирную точку:

– А-а, я знаю этого ослика, он работает в Колокольном парке. Слушай, был у меня в юности друг. Он знал, что с девушкой как-то надо! но как?! И, после неудачной попытки, поделился со мной: «Я ей ногу тру, тру…». Не три ты эту тему! Не возбуждает. Мессия, безусловно, аттракция, но деньги от неё и есмь Бог. Ладно, принёс, так наливай уже!.. Во-от!.. М-м-кх!.. Вера в доллар – я это объясняю и прихожанам музея – является подлинным единобожием. Её мораль не противоречит, не пахнет, не жмёт,

не делает исключений, понятна, спортивна, хотя и постарше всякой церкви: это выгода. Если не проявляешь инициативу, значит, её проявляют по отношению к тебе.

– Во-во, – очнулся от полудрёмы хасидский раскольник Файнберг. – Наливай!

Я довольно отяжелел, когда прилетел мой чиж, сел на плечо и пропел: «Повторяй! Мой дом – моя крепость. У меня будет много денег! У меня есть много денег. Мой новый бизнес – продавец света, продавец новых видов коммуникаций, продавец бесстрашия, продавец менталитета, продавец сердечного тепла. Я люблю своего отца».

– Местный колорит: национализм гарантирует демократию, – продолжал между тем экскурсию нудник Лёвушка. – Острову Израиль не укрепиться за счёт слияния с демократическим материком, так как законы выживания разнятся…

Меня делают зависимым от моего гнева. Я, как моя тётя, которая в один и тот же день горюет, что очень худая и что очень толстая. Там, где меня охватывает страх, я говорю: не знаю, как надо. Знаю, что не следует молотить языком.

Это ведь снаружи я мудрый-интересный. Пообтёрся тут. А внутри тревожно оттого, что постоянно что-то не происходит…

– А, м-может, соседи нас не любят не п-потому, что мы евреи, дот, а п-потому, что мы говно? – Фаня, добавляя, явно трезвел. – Как-то в п-поликлинике со мной в очереди сидел ст-старик-репатриант с номером на руке. Наблюдал и вздыхал. «В лагере, – говорит, – немецкий врач сказал мне: когда-нибудь вы соберётесь вместе и поймёте, п-почему в-вас не любят. Так вот, молодой человек, прав был штурмбанфюрер!»

– Милая, вы просто принц какая грация, – произнесла вдруг Фанечка, глядя на него.

– Все вы говорите хуйню, – осушил энный бумажный стаканчик старый артист Пиш. – Не надо в это заигрываться. Кто-то из наших пошутил: «Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят». А ты, Сеня, хоть нам приятель, а по спектральному анализу ауры – не пророк.

– У меня есть справка из той же канцелярии, что я лишён чувства самосохранения, – пошутил я, но Пиш не взял:

– Да?! А я вижу риск – как сублимацию страха смерти, а деятельность – как апофеоз депрессии и тупости. Понял? Кстати, я проштудировал твою книгу. Есть замечания. Я разговаривал с одним религиозным человеком, он много воевал, и он отметил, что так пишут очень умные люди, он сказал писать как можно больше… Там у тебя есть об Исусе, как его звали тогда? Я забыл. Моисей?

– Иешуа. Джизус…

– А, да…

– При мне об этом ни слова, – произнесла воздуху Фанечка.

– Короче, тебе что – текст показался несъедобным, трудно продраться?

– Да, но не только. Знаешь, был писатель Платон. У него роман «Чевенбург».

– Платонов, ёбть. «Чевенгур».

– Ну да, но мы его называли Платон. Так вот, тебе надо много писать. Чтобы избавиться от Платона.

Я молча жевал сырой хумус. Читатель волен ступить на тонкий ледок языка Достоевского, чтобы тут же провалиться в глубину, и волен скользить по довлатовской прозе, объезжая проруби.

– И что тебе здесь, – продолжал Пиш, – в цивилизованном западном мире, описывать, как в варварской стране на деревянной веранде герой слушал прелюды Шопена, за распахнутым окном цвёл сад, а его прошлогодние плоды пахли в вазах, ветер играл тюлем, и свет неровно падал на портреты Пушкина и деда-чекиста. Или вот: деревья, освещённые фонарём и луной, стояли с одной стороны золотые, с другой – серебряные. Что теперь эти высокие причёски, эти лёгкие платья в крупный горошек?

– Например, милая? – заметила Фанечка.

– Фанечка, как надоели мне, заслуженному артисту, эти утиные брови, эти ситцевые вальсы, эти обжигающие струбцины из льда, эта память о книжных шкафах. Интересно, понимает дурак, что рядом с ним дурак?

– Вам очень пойдёт чёрный костюм и бабочка…

– Я, – закричал я, – ни в чём, ни перед кем… не должен! Пока вы тут переживаете за мою крышу, она утончилась до прозрачности, до прозрения. Невидимое становится очевидным и формирующим. Время идёт быстрее, ускоряется, словно приближаясь к чёрной массе небытия. Всё ещё необходимо пока транспортное средство, чтобы переместиться из точки А в точку В, но скоро достаточно будет помыслить, и мы встретимся! Ура!

– Не специально, пане-панове, – сказала Фанечка.

Стакан в стакане

Я ушёл, заткнув уши мини-радио, и гитара Сантаны подкрутила концы распущенных нервов в приличный для бдительных прохожих перманент лицевых складок.

К себе в Лифту я спускался ухабистыми тропами, а чиж – небом.

Лифта. Зона.

Там свежий букет в казане, подобранный Черепахой. Там коротит трёхмерность пространства, и можно встречать утро в любимых местах мира, даже в нашем с Черепахой детстве на углу Невского и Тверской…

Мы проснулись на эйлатском пляже. Собаки ещё спали на пустующих топчанах, свесив морды и лапы. Но из прозрачных палаток уже смотрели в морскую даль силуэты, как маленькие будды в храмиках.

Невозможно в этом горячем воздухе, где всё вяло и гармонично сосуще-

ствует на противнях до прихода бурной ночи, невозможно даже намеренно задеть, достать, как и в воде сбить рукой какую-нибудь из сонма вьющихся клякс, которые легко увиливают от твоего сильного плавного замаха. В море разноцветье рыб, над морем та же палитра парусов в небе, крылатых людей, купальных костюмов девушек, глядящих на подводный мир под нежным присмотром бронзовых парней за выпуклыми над рябью попками.

Возвращение вперёд

Грунтовые дороги в Иерусалим вьются, золотятся пылью вдоль Мёртвого моря, как твёрдые лучи в небе Ван-Гога.

Чиж, оглядывая с моего плеча статичный пейзаж, заключает:

– Я хочу жить так, чтобы смерть аквариумной рыбки год была бы моей новостью.

По бирюзовой глади, сверкая солью, разлиты, как нефть, сапфировые пятна глубины. По левую руку крошащийся чугун гор и иногда тонкие деревянные постройки – оставленные серверы кочевых людей.

«Не специально» – а, Фанечка?

Концентрические острова

Наступила весна. Я выходил из детства к трамваю с лыжами на плече. И возвращался домой искать в зеркале мелодию и гнев. Город летел в дни мая. Казалось, так просто, разбежавшись, пробить кулаком потолок. Задремавший кот рванулся и распорол бок о заборный гвоздь. Как комар всякой кровью, я напитывался жизнью. Её потоки вписывались в круглую голову древним символом. Плюс – посулы, минус – страх, и людской поток вдоль. А накрест, как гуси из тёмного сарая, вылетали из щели огромного минуса маленькие плюсы и превращались в разноцветные нули.

Дома я успел пообедать, снести еду в холодильник, похоронить родителей, отсидеть срок – и вновь весна, таяние опыта. Мудрец оставляет строить храм сомнений из кирпичей утверждений, а укрывающийся страхом с чужого плеча раб выходит на воздух в нательной рубашке. Такому звезда может скатиться в рукав, но он не почувствует ни боли, ни беспокойства.

Хотя в косметике Творца господствовала зелёная медь, я по инерции надел добротного плеска плащ: тот, в чём меня брали, – и попозировал будущему. Я маячил никем не любим, зато никому не смешон. Распался узор непослушных кос моей прежней подруги. Пышная хвоя волос хлестнула в лицо. Так в конце забега меня ждал я сам.

Я остановился у забора. Золотистые брызги летели на брюки. Остроглазый прохожий сказал: ты царь – что-то узрев во мне. Мы выпили водки на ближайшем капоте.

Медленные струнные волны прибили ко мне старых приятелей. Памятливый богач Серёжка Образчик, упившись, отпустил охрану, и я один укладывал его, как гасят парашют. Он обыскался чего-то, бормоча:

– Вы все на крючках, как вязаные свитера. Отними у такого работу и спроси, делает ли он по утрам зарядку. Ведь уж точно успевает, спешить некуда. Не-ет. Потянулась ниточка, всё расшилось. А я не такой, во мне каждая херня на своей опоре стоит и свой движок имеет.

Утром он пообещал работу.

И я позвонил:

– Серёга! Достало словечко «нереализованность»!

Он предложил делать телепрограмму. Простейшая идея пришла ко мне от Киплинга: «Слон Хатхи объявил Водяное Перемирие. По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть». Проект так и назвали: «Водопой». Я догадался, что форма и есть содержание. Пусть сойдутся по телемостам непримиримые, которые жажду утоляют болью. Подобно балу у Сатаны, перед камерой можно выглядеть как боровом – транспортным средством, так и королевой, улыбающейся даже падшим. Спонсоры и команда уже били копытами. Они исчезали в лунках интересов, но я-то скользил. Мой телеимпульс погасило тяготение к серьёзному. Я был ленив ступить на движущуюся дорожку осуждения и рот себе заткнул. Нет, я не оправдывал своими недостатками круговую небезупречность. Просто никто не договаривал... Вместо глубины были эмоции типа: «Так управлять нельзя! Иначе всё побьют, разломают!..» И распятия, распятия при помощи краски и картонных гвоздей.

Поисковый инстинкт продолжал водить мною, как взрослым щенком. Девушка, жившая в усадебке неподалёку, осторожно провела меня в темноте по дощечкам на покрашенных полах, опасаясь, что отец перестанет храпеть. Прислонясь к печке, я курил, чтобы сосредоточиться и отвлечься от гона. Я упал в приятно несвежую кровать. Неожиданно в ней оказалась притворившаяся спящей двойняшка. Я стал водить руками по обеим. Символично, раздвоение всегда лишало меня благодати выбора. Однажды я не мог смотреть и не мог оторваться от чёрного пучка под рубахой приёмной матери, стригшей после ванной ногти на ноге. Она от смущения заорала:

– Зюня! Ты уже занимался с Павлом или что?!

Приёмный папа Зиновий Ноевич Ганган ежедневно мучал меня диктантами и грузил задачками.

– Не понимаешь?! Кай штрой! – муштровал он.

На каникулах заставлял писать по памяти изложения текстов, выбранных мною с указанных тугих полок. Даже в одиночестве я не осмеливался подглядеть в оригинал.

Под видом изложений я проникал в рассказы с иных полок. Как-то на антресоли обнаружил не типографского издания книжку Брониславы Киркук «Энциклопедия кайфов». В предисловии мудрёно говорилось, что чёрт, пометив мудрость свободой выбора, а ментальность внушаемостью, открыл людям возможности. Подобно питающемуся нашими выдохами и выделяю-

щему кислород растению, этот чёрт, называемый по всякому: миром, путём, цивилизацией, системой, – употребляет страдания и переваривает их в гармонию. Вредная по тем временам книга. Ещё запомнилось из середины:

«Жизнь лошади – шедевр».

«Лучше плохое белое вино, чем плохое красное».

«Прости отца своего и чти сына своего».

«Бить себя (себя!) по пальцам? Не делай этого! – обрубком выйдешь. Если рамки закона тесны – нарушь закон. Ибо это твой кармический путь к пониманию себя».

Перед тюрьмой я застрял в игольном ушке, передоверясь своей бедности. На следствии остановил бетономешалку в голове: бу-бу-бу перекрыли, суки, дорогу, бу-бу-бу доллар, бу-бу-бу бежать-спасать... Обстоятельства не должны становиться нашей болью. Если не достиг сиреневого тумана в голове, займись прощением всех. Потом решай спокойно: да, я хочу быть учителем – или: да, я хочу воровать.

О, Готеню, богата Россия, но это руда – столько пустой породы! В тюрьме я прочёл о русском царе, который одним расстрельным днём сделался святым. До последней минуты у человека есть шанс стать праведником. Я, как всякий неверующий, много говорил о Боге, потому что не чувствовал. Шопенгауэр сплюнул бы, напрягая зубы, на такие Юрьевы дни воображения.

В лагере я полюбил Иисуса Христа. Мне было всё равно, бог он или нет. Иосиф-плотник не имел с ним кровного родства, но за этим человеком духовная основа от Авраама. Мессия – сын духа, а не крови. Так и ищи его по этому паспорту, по кармическому родству. Библия всё же не покет-бук, не брикетированный воздух аудиокассет. Но думать не хочет никто. Это природно, как угасание видимой стороны любви. Мои размышления об Учителе исходили не из описаний его учеников, облачивших идею во плоть, а из души. Она подсказала, что воскрес он не в воскресенье, а в субботу и не сместил святой день. Искажение произошло по естественной причине: обнаружили чудо утром первого дня, но в субботу там никто не появлялся. Я это к тому, что надушенную признаками Историю движет женская логика. Впоследствии событие приобретает образный комментарий, словно авангардное полотно. Как стайка жёлтых бабочек перед появлением Мелькиадеса, витают предчувствия. Сны, астрология, Иоанн Предтеча... Видишь в толпе знакомого, направляешься к нему – ах, обознался, а вскоре и впрямь он... Причина, справедливость – не категории выбора. Скорее, наши суммарные отражения. Иисус понял тупиковую бесконечность этой вязи. Серёжка понял. Он, когда наедался, говорил:

– Фу, тяжко на душе!

Куда ни пёрни, везде одинаково. А именно: помимо неосуждения, забитого в гильзу неизбежных пристрастий, в каждой небесной чайхане вам предложат ещё два косячка. Первый даст ощутить себя мухой в паутине, а второй – прыгающим с биплана на иллюзорную твердь облаков. Современный маленький человек, идущий к Богу, застревает в конструкциях архитектурных пост-

роек. Горячится ещё зелёный ислам. Христианство мимикрирует: например, в рок-музыку. Интересно, существует ли поезд из Ассизи в Сан-Тропе?

Я в молодости на дегустации вин пробовал всё, до истины, а теперь останавливаюсь на первом подходящем. Сегодняшний Павел Ганган – насмешливый и гордый старик с прозрачной кожей тонких рук. Под лозунгом на широкой дороге искусства не бывает ни тесно, ни пусто осваиваю писательство. В ящике моего стола непрерывно прорастает луковица для закуси – чем не вечный двигатель? Вопреки Зиновию Ноевичу, у меня хороша лишь эмоциональная память. Писать себя – самоубийство, хотя мне нравится, что серьёзный писатель тянет изо рта пуповину до обрыва. Однако героям легче, когда они выдуманы. Бывает, случайный рассказчик в компании передаст историю из твоей жизни как свою или своего знакомого, и ты понимаешь, что и с тобой тоже этого не было, это эхо пооседало, и ты сам выдумка. Пока что у меня наспех сделанный за год рассказ, потому что моё писательство контрапунктно, перпендикулярно жизни. Нет сил вводить себя в это состояние. Бабой ли, рюмкой... Только маме интересно, как её деточка, стоя на стуле, читает «Тараканище». Мол, я ещё и так могу, и так... Гостям скучно. Во-первых, сегодня в мире нет секретов. Во-вторых, контакт с автором стал точечным. Открыл в середине и всё понял. Важен модуль, код. Нужно понемногу выдавливать из тюбика переработанную массу. Я не тот, у кого слово идёт изнутри, который сам – слово.

Я пустяшный, наверное, как ребёнок. А тельце! Словно кричащая рыба, задыхаюсь на лестничной площадке от эмфиземы. Не могу лечь один, без женщины: страшно просыпаться. Они расходятся от меня в семьи, становятся другими. С ними здесь человек-праздник, а там человек-будень. Им не жалко, что я скоро умру. От меня приятно пахнет могилой. Видимо, есть величие в руинах старости. Путь не завершится смертью. Человек разомкнут. Будет уход под воду, дорога по дну и выползание на новую сушу. Земноводная душа, увлекаемая новым телом по тонким дощечкам, воплотится на концентрических островах, чтобы снова любить впервые... Если ты понимаешь любовь как независимость, то ты и есть религиозный человек. И идут к тебе на водопой белогрудые писюки, блатной мир, зачатые в нелюбви, путающие страх с умом, – всякие, потому что твоя боль не задаётся вопросом: приютить слабость или казнить слабость. Ты – царь. Ты знаешь, чего хочешь, и оно твоей милостью сбывается.

Тонец на перебетых ногах
10 июня

Было время, когда я в относительном достатке сентиментально вспоминал своё безвозвратно ушедшее рабство. Потом рабство и нужда вернулись. Оказалось, что от одного рабства до другого не отвыкаешь быть рабом. Клейкое прошлое остаётся на подошвах. Выход один: бороться не с ветря-

ными мельницами, а с собой. Уже не интересно, как когда-то с «Тремя мушкетёрами», – чем кончится? Я вернулся к переводам «Люверс» и «Идиота». Помните украденный у князя кошелёк? Князь не желает расследования, потому что и слова, и поступки, и хорошие, и плохие, – короста, под которой душа, страдающая и дышащая. На этой шкале любое событие равно любому событию. Мышкин чем-то похож на меня. Он боится вскрыть, боится за человека, преступника даже. А Пастернака жалко. Я понимаю высоту его прозы, но не понимаю, причем тут я. Мне лучше в небо посмотреть.

После шестидесяти надоело играть со Временем в перетягивание канатов. Хорошо, чтобы от деталей и слов не становилось больно, чтобы человек не делал мне плохого ощущения.

Вкреслившись на балконе, смотрю любимый футбол. Сам себе империя с вентиляционной трубой на темени. Гул севильского стадиона тонет в бархатном голосе Нат Кинга Кола.

– Ну что тебе в этом футболе?

– На футбол ходят все. Католики со своим Словом, православные со своим Чудом, мусульмане со своим Дымом. Даже! питающиеся кровью журналистки, р-р-р!

– Извини, Мотя, у меня всё на нервах.

Я познакомился с Ханной, когда в душе ещё смешивал краски, – года три как. Помог купленный троюродной племяннице пластмассовый крокодил, в чью пасть я вложил записку на салфетке и протянул через столик: «Гастролирующий дрессировщик Матвей Гергель. Не уступите ли свою ванну для переночевать моему артисту, которого не пускают в гостиницы?» Её не оттолкнули ни бежевая тенниска, ни сжимавшие полый протектор хвоста похожие на ксилофоновые палочки пальцы.

12 июня

Я ценил нашу близость, как подарок судьбы. Эта женщина стала для меня дороже собственных представлений. Мы не нуждались в укреплении топкого чудесного настоящего подмостями своего прошлого. Но с тех пор как внятную иллюзию опошлила взаимная надежда, тлеет и дымится мишура самообмана. Приходится ежедневно знакомиться друг с другом, тестировать на уровне слов, от чего хочется съехать в детство и читать только сказки.

Погано, душно – так засыпало словами раскрытые любовью поры.

– Говоришь, что летишь ко мне на крыльях любви. На крыльях, не на крыльях – это твои эмоции, упивайся ими. Но ты прилетаешь, и я вижу небритую, недовольную мину, словно одолжение.

Для девочки главное в мужчине мачоизм. Женщина, пережив закукленность, видит внутренним зрением. В нумерологии чётная цифра – модель перехода, она слабее нечётной. Женщина стремится к нечётности посредством мужчины. Шмок! Я приписывал её оргазмы себе. Просто она Жен-

щина, и повезло мне. Смотрю в окно на нарисованный город. Внизу толстая скрипачка нежно играет «Марсельезу». Мальчишки вплотную кружат на вздыбленных велосипедах, подрезая звуки.

Утром состоится обоюдное зашивание прорехи, к вечеру – односложные диалоги, пересказы телефонных звонков. Вдруг рукой остановишь, проведёшь по волосам и, увидев в поднятых глазах слёзы усталости, обнимешь за плечи, прижмёшь к груди голову, оравшую накануне: «Тебя можно купить, но нельзя договориться! Я другая! Ты по капельке выпил меня! – всё потвоему! по-убогому!» Ангелы слышали её истерику, оттого я рискую не потянуть. Если я снюсь, то нет шансов повлиять, а если снится мне…

Мы так пропотели друг другом, что спим, формально обнявшись, либо не можем уснуть из-за обступивших кровать несовпадений, от которых мир волнообразно рушится всё дальше от нас: землетрясения, терроризм, войны. Мы разбегаемся, держась за руки, и вселенная вблизи нас скомкивается.

Я подбросил смятую бумажку: «Вот он, твой Иерусалим, – объёма мало, но поверхности!.. Поехали куда-нибудь!»

16 июня

Выходные провели в Хофшаните. Вечером я пошёл искать для неё акамол. Заглянул в первую же раскрытую дверь. С кровати бросилась на меня косматая старуха. Я отпрянул. Очнулся от крика: «Мотя! Мотя!..» Странно, как похожи голоса зовущих тебя издали твоих настоящих и прошлых женщин.

В Хофшаните палатка на пляже, костёр. Море там выбрасывает больших летучих насекомых. Галька там с дырочками: куриные боги, «гуманоиды». На дюнах истёртые кожаные кресла. С рассвета потянулись мимо палатки собаки. За ними отвязанные хозяева. Идут в трусах, выпустив на волю брюшки, в мокрых сарафанах, набитых грудями, двигая руками над головой, словно персонажи Феллини.

У меня возник гениальный завтрак: кефир, свежий огурец и белый хлеб. Аня в палатке бреет ноги и пах перед явлением народу. Оттаявший до самой своей вечной мерзлоты, я подношу ей в подарок каменюку-амулет. «Ты очень легко отрываешься от пола и прилипаешь к потолку. Вот тебе грузило!»

Переменчивый ветер настроения быстро нагнал нашу «Альфу». Мы ехали в угрюмом молчании, потом в злобном мычании с натянутыми губами. «Ты хочешь до конца оставаться порядочным! Нет, ты не выбросишь меня отсюда. Останови!» – она вышла и пересела к кому-то. На сто девяносто я летел в сторону Хайфы. Резкий звонок:

– Ужас, что я наговорила! Я люблю тебя другого. Я живу чужую жизнь.

– Видимо, от моего ветхого «я» тебе уже некуда деваться.

– Запиши эту мысль.

– Не на чем.

– Да хоть на манжетах своих кальсон.

Ну, теперь мне исповедоваться ей всё равно, что эксгибиционисту демонстрировать задницу колющей медсестре. И отвечать трудно, ибо она не спрашивает. Уже неважно, у кого мяч, кто для кого останется сукой. У меня нет родины, дома, денег, детей, идей, идеалов – этих общих ценностей, – кроме иллюзии свободы. Я рецепторами страха воспринимаю красоту. Страха потонуть в себе. Мне знакомо ощущение близкого конца, катастрофы, я видел предел. Но сдаётся, что не переживу и комариного укуса.

17 июня

Толстая скрипачка вернулась на наш угол, но с флейтой под малиновой шляпой. Сегодня её мелодии напоминают местечковые брюки.

Есть такая музыка, похожая на пиво: сразу не понравится, а потом красиво.

Нахожу в кармане исписанный номерами телефонов доллар и кладу в пустой футляр. Она отвечает взглядом.

– Здорово играешь. Меня зовут Матвей, – говорю ей на универсальном иврите.

– Зба-ы-бо! Я Ха-вва.

Над моим другом Сейкой Кесельманом все смеялись, потому что после менингита говорил похоже и считался во дворе немым. А я легко понимал его.

На улице рава Кука она пальцем открыла дверцу исписанной зелёным граффити старенькой «фиесты».

– Хава, разреши с тобой.

– Гьа у-э-даю в Э-лат. Сыг-ать в-в гь-у-ппи.

– В Эйлат! Не опасайся меня. Я перевёл книгу, и на мой счёт упали небольшие деньги. Вдвоём легче ехать ночью в такую даль.

По дороге я узнал, что в детстве она убежала из цирка от запрыгнувшего к зрителям клоуна. В отрочестве её испугал подкравшийся брат, и она проглотила иглу, которую перед шитьём держала губами. Она почти лишилась речи. И судьбы.

– А-ка-ы у-че о э-бе.

– О себе… О себе... – эта девочка, получающая информацию из музыки, легко повернула во мне ржавый ключик. – Ты удивишься, мне было четыре года в сорок первом, когда началась война. До этого мало помню. Как сижу на горшке в красных штанах, как при возвращении из Крыма плещется море у рельсов, как отец в синей майке подходит к калитке с полными вёдрами. Сидящих прямыми спинами к забору деда Бенюмена и бабушку Мениху. Из нашей семьи выжил я один. Ты читала роман «Идиот»?

– Цы-са-а, – верхняя губа дрогнула, и я полюбил её профиль, хотя не понял, всё же «читала» или «слыхала».

– С детства звучало: нельзя. Нельзя подружку привести, в носках без ботинок – почему? Я смотрел честно, кивал и делал наоборот. Видимо,

подсознательно собственный опыт превалирует. Из моей авоськи, такой верёвочной сумки для добытых продуктов, торчали книги. Я ими питался. Мои синие глаза казались окружающим двумя жёлтыми шурупами. В разгар антиеврейской кампании я подрался за своего друга Сейку Кесельмана и получил семь лет. Из детской зоны перекочевал во взрослую. Приняли, как «сына полка». Оттуда на свободу человек выходил поведенческим канатоходцем. Много позже я каждый год объезжал дальних родственников, близких не осталось. Это казалось важным. Открытки слал на все праздники. Потом большинство поехало в Израиль, и я следом, но здесь окончательно стал никому не нужен.

– Нё… нё у тэ-вя неть сам-и?

– У меня была семья. В шестьдесят шестом я женился на Гете…

– Нну?

– Мы поселились в хижине её дяди, с которым я сидел. К нам повадился участковый мент. Он не давал ей проходу, провоцируя поднадзорного ему терпеливого еврея-уголовника. Я такой, что сначала автоматически действую, потом уже переживаю. За столом на высоком берегу со свежениной и ледяной водкой я не в шутку думал о произволе убивать во благо. Моя бедная жена умерла от рака в восемьдесят первом году. Из её больничной палаты расползались молодые женщины, и она, пережившая их на чуть, собирала несчастных по углам, как детёнышей, – утешала, укрывала и требовала для них от вороватого персонала обезболивающего… Хава, давай-ка я поведу.

18 июня

Спящий Эйлат развалился на подстилке. Её мокнущий в лагуне край приютил тех, кого вытеснил город. Швартуясь, я наехал задним колесом на небольшую насыпь:

– Ты испортил мой дом! – в свете фар женский голос с русским акцентом. – Да, это дом! Я вызывала трактор, я платила деньги.

– Сожалею, не знал. Нам уехать?

– Нет, оставайтесь, только съедь чуть. Живите здесь. Будем соседями.

– Отлично. У вас найдётся, чем открыть вино? – ветерок едва шевелил брезентовые навесы её шатра.

– Не входи, я переодеваюсь для моря.

Она вышла под луну обнажённой. От неожиданности у меня шевельнулось желание ровесницы, чьи бёдра столь выразительны, а кость тонка в локтях и щиколотках, что кажется – легко поднять и отнести эту белугу к воде.

Потом мы – я, Хава и Фрэда – сидели у огня и пили вино.

– Скоро вернутся с работы мои мужья-антиподы. Я их вытащила из моря. Тонули. Одного в октябре, другого в январе. Первый считает, что разра-

батывает в частной лаборатории препарат, сделающий младенцев нечувствительными к боли, – мечтает освободить потомков от страха и сочувствия. До этого он предлагал проекты использования пустующих городских крыш. Его зовут Сейка, на всякий случай.

– Как?! А фамилия, фамилия есть?!

– Ну-да, Кесельман.

– Немой?!

– Почему немой? Он профессором был. А второй муж Андрей Ць, китаец. Ну, как китаец! Они здесь часто гуляли – иностранные рабочие приходят на пляж, расслабляются среди своих. Когда я его пьяного из моря выносила, он услышал от меня мат и по-русски заговорил. Оказалось, его мама – советский врач, еврейка, командированная в Китай. Вышла там замуж, родила Андрюху. Я говорю: «Ты же еврей! Получай гражданство». Он – как? что? откуда? Я объяснила, помогла заполнить анкету. Через недельку объявился. На голове кипа. «Я гражданина. А цего это ты в шабат возися?» От земляков и следа не осталось. Такое вот превращение. Теперь в ешиве у-шу преподаёт.

– А почему ты неодета? Мужья не обидятся?

– Нет.

Фрэда обмоталась полотенцем и со словами: «Одно из самых приятных дел на земле – лить воду на цветы», – удалилась в царство вазонов.

19 июня

Светает. Красное море выбрасывает бурые брёвна, зардевшие горы обнажают замки и гостиницы среди густых до черноты оптических лесов. Я не успеваю к уходящему деревянному поезду, потому что потерял Хаву. «Всё, – говорю себе, – успокойся, сядь. Некуда спешить. Хава привезла тебя на импровизацию жанров. Вон и гитарист Бока прижался профилем к решётке вокзальных ворот».

Помалу собирается вся группа: хава с флейтой, балерина, художник, а также даун петя, издающий, как объясняла хава, главные звуки губами и бубном. Соглашаюсь снимать их на видео. Бока поёт о том, как его вытолкнули из полицейского участка, и он битый поскакал по эйлатским дорожкам, голося: тонцы на пе-ре-бе-тых но-гах, тонцы на пе-ре-бе-тых но-гах...

Пока хава вивальдит эту композицию, а художник мажет своё по холсту, а танцовщица в белом трико недорастянутым строгим телом изображает пробную страсть, а петя неосознанно музыкален, я вожу по ним камерой и тоже вибрирую: как, каким образом я мог изменить судьбу, если у мента, у безумной старухи в дверях, у этих ребят, у всех в окуляре моё лицо проросшей в мир кочерыжки, которую тут же даун петя выдергивает с поля нашей импровизации и ест. Через боль чувствую, что мои мысли на петиных зубках крошатся и звучат неясно, исходно и весело: мяка-мяка-бека-мяка – как, бывало, у парнишки с авоськой книг.

Под крышей

Главному Врачу
Отделения Солонецких островов
Управления Внутренней Коррекции
г-ну Г. И. Кардюберелю

Пишет Вам Дмитрий Занеробких, брат голубоглазого Шамиля, у которого я отбил жену Веру Арнольдовну и зажил с ней и племянницей Звушей. И всё бы нормально, да любил я брата сильнее, чем принято.

Когда я подростком вовсю созревал и от непарности заглядывался даже на свой зад через зеркало в ванной, случалось в автобусной тряске оживать моему слепому поводырю. Рядом обычно сидел Шамиль в шортиках. Положив руку на сиденье, я водил мизинцем по белой коже его розовой ноги. Однажды я заставил его взяться за мой вскипающий чайник. Лишь он отпрянул, мир предо мной стал возвращаться на свои места: опускались деревья, небо. Шамиль отирал руку о листву… Мы никогда не устыдились. Напротив, те проделки душевно сблизили нас.

После случившегося, поверите ли: и я, и Шамиль, и Вера Арнольдовна – мы полюбили друг друга нежнее, мучительнее. Он был поэтом, я – пьяницей, а она – нашей гитарой. И вдруг от обычного воспаления жалости к себе Шамиль выпивает не водку, как я, а раскалённый сургуч. Он недостаточно разбежался, чтоб перескочить разлом в преисподнюю на выбранном его романтичной натурой кратчайшем пути к земному раю.

Вторые поминки Шамиля Вера Арнольдовна устраивала на квартире своих родителей.

Я шёл туда выпивши – как во сне. Смертельная жалость, которая смахивает на любовь. В таком состоянии возможно ошибиться парадным. Открыла дверь декоративно-прикладная фея в макияже и рабочих лосинах и провела меня в зашторенное студио с привставшей размяться кроватью и нарисованным камином. Кровать вздохнула. Видимо, фея приняла меня за клиента:

– Идиот, который был перед тобой, этот джентельмен без тормозов, орал мне тут на весь подъезд: «Внимание! Спускаю!»

И знаете, господин Главный Врач, я остался. Быстро допьянев, заснул. В голубых отворотах той ночи, в кутерьме откровений я видел, чем таится мой дух. Мне отказала в близости падчерица Звуша, вся как фарфоровая. Потом были свезены экскременты из выгребных ям и волосы из парикмахерских (то, что отделяется от человека) и вылеплен огромный идол. Его долго расстреливали, а когда он совершенно рассыпался, отожгли из этого материала кирпичи и построили дом для меня. На новоселье было много подарков. Маленькие подарки ставились на большие, и так соорудился другой дом. В какой селиться? – думал я, просыпаясь.

Горло высохло. Я нашарил чайник, опрокинул в себя и закхыкал: он оказался полон окурками.

По пути в уборную я споткнулся и опёрся на каминные угли, даже услышал шипение кожи, но боли не почувствовал.

Вернувшись через минуту, ничего не мог понять. Облако подсвеченной пыли там, где я сейчас спал. Луна в проломе, и ножка феи из-под балок рухнувшего потолка.

С того мига жизнь закрутилась по-иному сюжету, господин Главный Врач. Утром не было и следа ожога. Я стал другим. Я оставил Веру Арнольдовну и ушёл в темноту.

Помню снег из пустых окон и слой помёта в деаэраторной этажерке недостроенной электростанции. На забытых телогрейках среди железа и голубей я закурил новую траву, набрал полный рот дыма и шумно выпустил. Тут же от ступней кверху пошёл распад тела: до молекул. Я уже предвкушал приход к голове, но всё оборвалось у шеи. Я был столь разочарован, что не заметил, как приблизились двое. Будто с неба свалились. Один обратился ко мне с середины:

«Допустите, Дмитрий, что три друга описывают любимый дворик их детства. Все по-разному. Творец – Он и двор, существующий помимо них, Он – и описание этого двора. Субстанция объективного и отражений. Люди не воспринимают отшелушившиеся и осевшие по дворам блики души, которые, подобно далёким от солнца квантам, тлеют в нематериальной энергетике, напоминающей чернозём. Недаром же мы явились к вам, перерождённому, именно сюда, на заброшенную электростанцию.

Казалось бы, надо лишь научиться выделить и вдохнуть частицу индивидуальной души в воссоздаваемое по клетке тело человека, – и человек возродится со Своей Памятью. Но единица души не имеет ни индивидуальных признаков, ни пространственно-временных качеств, что характеризует и Творца. Каждый кирпичик – есть целое, а постройка из них – есть часть, или индивидуальность, уже без признаков целого. Лишь при бесконечном суммировании результат приобретает свойства своей единицы и становится целым. Так макромир сходится с микромиром с точки зрения теории поля. Проще говоря:

$1 + 1 = 1/2$

$1 + 1 + 1 = 1/3$

но

$1 + 1 + 1 + \ldots + 1 = 1$

Цифры 2 нет (нет двух Творцов).

1 – это и максимум, и минимум.

$1 < 1/257$ (именуем её Митей) < 1. Несовершенство 1/257 доказывает стремление Природы к распаду души. Материя же служит средой реализации закона Смерти: 1 (атом души) = 1 (вселенная). Человек, как вещь некомплектная, сопротивляется ему. Мы даём Творцу жить, а сами умираем. Мы создаём средства борьбы со смертью, наподобие войн, чтобы предупредить уничтожение себя. Нам дано придумать Бога-Спасителя. Так мы осознаём Создателя, хотя состоим из него. Как вот эта девушка, – он пока-

зал на своего напарника, – плотная, с плотным белым боком между рубашкой и джинсовыми бурдюками бёдер. Это о людях. Теперь о животных.

Моя мама подобрала котёнка с больными глазками, протирала, кормила и вырастила бешеную, царапливую тварь. А потом принимала у неё роды, поскольку кошка недоумённо таскала детёнышей на пуповине и била ими о мебель. Когда стемнело, и мама вышла, и ветерок из окна усилился, и еды на месте не оказалось, кошка перенесла слепышек под шкаф. Чтобы с трёх сторон была защита, а с фронта – она. Сама ходила по тёмной комнате, показывая страшным врагам с железными клювами, могущими влететь на мохнатых крыльях, мол, – вот я! Хитрость. А сытые мурки, свернувшись, тихо спали в пыли.

Кошки-собаки. Нас они сопровождают недолго, а мы-то их всю их жизнь. При наличии памяти и инстинкта, души у животных нет. Об этом, как поёт классик, написано в календарях. Несколько лет назад на раскопках в районе Афона греки обнаружили скелет рысёнка. Мы попросили передать его нам для клонирования. Нашим исследованиям нужна была именно такая находка. И вдруг оказалось, что получается человек. Причём он родился и развивался в формате времени рыси. В мае 2007 года мы ввели его в состояние гипноза с ЛСД-поддержкой, откуда он поведал свою историю: искажённую грубостью нашей методики сказочку.

Во времена ещё зеленого угля некий мальчик, назову его именем нашего клона – Гас, прикормил бельчонка, а тот прыгнул с плеча на ветку и убежал. Повстречалась Гасу старушка.

– Чем опечален?

Гас открылся ей.

– Раз дружок тебя предал, стоит ему отомстить. Хочешь?

– Хочу.

– Я могу на время превратить тебя в рысь. Ты поймаешь бельчонка и потреплешь хорошенько.

– Да!

Нюх у Гаса обострился. Он быстро добрался до беличьей семьи. Бельчонка прикрыла мать, отчего рысёнку захотелось быть поближе к своей маме. Каждому нужен такой дом, чтобы, чувствуя его приближение, мчаться туда, рыча, сжав скулы.

Родители испугались вбежавшего в сени рысёнка. Отец ухватом гнал его, а мама в дверях просила отца быть осторожным. Гас говорил им, но они слышали рычание. Во взгляде отца появились злые огоньки. Мама плакала и просила не убивать. Рысёнок не сопротивлялся. Его наспех закопали во дворе, а сын так и не вернулся.

Но мы-то оживили заколдованного в рысёнка человека! Я понятно говорю? У него на момент смерти не было души. Под гипнозом ему открылись и будущие, до настоящих дней, реинкарнации, чего не мог бы увидеть обыкновенный человек, ибо параллельных ветвей сознания не бывает. Но случился обрыв цепи… Произошло-таки раздвоение души, одновременное пребывание в двух людях. В этом уникальность события. Почему мы пришли к вам,

господин Занеробких? Вы нынешнее воплощение Гаса! Вы нам нужны. Поэтому мы просим вас поехать с нами, чтобы, собственно, познакомиться с собой. Гас уже ведёт себя как зверь, мы держим его в смирительной рубашке».

Таким вот образом, господин Главный Врач, я оказался в Вашем ведомстве.

Путаница возникает, когда ощущение неповторимости, единственности даёт иллюзию прямолинейности. Упал потолок, съеден гриб, перенесена операция под наркозом – неважно, что явилось отправной точкой, – только перегородки, хоть ненадолго, ломаются, и прозрачность мира обнаруживается: одновременное нахождение и в действии, и в зрительном зале, как в театре.

Но главное не сойти до уровня грибницы, духовной помойки, где воздуха вовсе нет! Поэтому жёлтый дом, в котором я прописан, я намерен переименовать в монастырь и пишу Вам об этой мечте, господин Кардюберель.

Всё оказывается подменой. Всё, кроме матери. На её рояльных ножках были Золушкины туфли, которые она первым делом, сев на диван, сбрасывала с себя.

Отсюда меня лишь однажды отпустили её навестить. Нахожу резиновые перчатки в ванной: значит, сиделка моет её в перчатках. В доме разруха.

– Она несимпатична, – прошептала мама виновато.

– Послушай, даже если она вся сделана из золота, достаточно того, что она тебе не нравится.

– Ты прав, ты прав.

Я помыл её, и она уснула, как ангел. В глаза вернулось прежнее их выражение. Она не пожаловалась тогда, что во рту сухость, что выросло два языка. Сказало мне больше её дряблое тело в прорехах большой ночной рубахи.

Говорить о себе детям, что о покойнике: либо хорошо, либо никак.

Мамы уходят не в ту детскую точку, из которой когда-то вышли, они не в эго возвращаются, как может показаться, а на космодромы Бога…

Сидевшие в тюрьме знают доподлинно, что жизнь есть везде.

И у нас тоже. По утрам щека олигофрена Томера доверчиво касается моей. От всего остального тянет временностью, случайностью, страхом.

Здесь некоторые считают, что с ними общается Господь Иванович Бог. Наша болезнь – это расстройство личности, но не мозга. Монастырь же подправит нам личностное. Электрошок – хорошо, – говорят наши опекуны и берутся за цепи: дали – и обмяк, и тихо.

К нам, на воздух, привезли подлечиться пострадавшего от взрыва монаха. Он уверен, что беда была ему свыше. О мести и виновниках речи нет. С ним спорят товарищи: если мы рождёны, чтоб перед Ним так пресмыкаться, то на хрена нам такая жизнь! Светский человек, даже сумасшедший, внешне – надутый шар. Огромный внутренний багаж, стоящий на пустоте. Важно, конечно, чем надут, но видится снаружи только синий шар. С такими на воле я мог бы жить только в смирительной рубашке.

Неужели лишь теперь, когда моя шкурка износилась, её не жалко на благое дело употребить? А раньше-то что! Даже не по себе от такой мысли. Эти юные террористы, они как бы взывают: вам плевать на мою смерть,

но вы не станете плевать на свою и так услышите нас. «Чистое» беспричинное зло – живительная попытка мерзостью выделиться из стада добрых баранов. Но оно создаёт атмосферу, в которой душа приобретает критерии, не обитающие в пустоте адекватности.

Сегодня я знаю: ты либо принимаешь не убивать, не красть… под свою ответственность, либо тебе нужен другой бог, но не купись на обаяние вождей, у них особая верность. Тиран, выселив малочисленный народ, дал ему историю. Появилась единящая идея: память об общем горе… Они питаются дерьмом и благоухают, как цветы около уборных и в больницах. Они напоминают коней, чувствующих приближение боя, нетерпеливо бьющих копытами от вожделения к поединку. Есть люди с высоким болевым порогом. А у этих высокий порог страха утонуть в себе. Их колесницы не объезжают выскочивших на дорогу кошек. Они делают жизнь осмысленной для всех, я говорю о выживании. Прогрессор от них пятится в заштрихованную завязь на чертежах, доменная раса загибается в цехах от несварения и требует подвести к себе кровь по трубопроводам из мяса. Откуда ждать войны? «Эй, ты! – орали они. – Ты нас, пархатый, запомнишь на всю смерть!»

Возможно, лёгкое отношение к потерям и есть ключик.

С нами отдыхает будущая монахиня Грегория.

Лет шесть назад её коротышка Борис, утеряв по пьянке ключ, полез с пятого этажа к себе на четвёртый и шлёпнулся животом перед ожидающей его на скамейке Грегорией. Поначалу люди проявляли о Грегории заботу, но её назойливость слабоумной, уродство увядающей внешности, неуместное обожествление покойного мужа привели к тому, что Горю избегали, ею брезговали, её ненавидели. У неё остался сын Славик, шляющийся по улицам недоросль. Как-то, уже здесь, она смотрела на переодевание ремонтных рабочих в тёплой бытовке. «Раздевайтесь, ребятки, а я посмотрю». – «Вам надо мужика, Грегория Фёдоровна!» – «Нет. У меня есть мужчина, который меня удовлетворяет, – мой Славочка. Да, я сплю с ним. Он положит свои ножки между моих горячих ляжек и греется».

Я что-то подзабыл, о чём Вам пишу. Со мной бывает. О каких-то потерях. Центр тяжести удовольствий следует переместить из человека вовне и тем победить страх смерти. Нет, не то. Представляете Альфреда Шнитке и Джимми Хендрикса в совместном исполнении. Так вот я его ежедневный слушатель. Вся жизнь под музыку, не отдышаться звукам. Ливень бьёт чечётку по жестяным сценам подоконников.

Я теперь понимаю тот сон, который разбудил меня и спас от упавшей крыши. Дом, составленный из замешанных на дерьме и волосах блоках, – это наш сегодняшний дом, приют душ, нам не принадлежащих. А дом из коробок с подарками – наша обитель, «Монастырь святой мученицы Грегории».

Знаете, на будущей неделе мне наконец-то обещана встреча со мной. Всё же хочется увидеться с одичалым праведником.

С почтением Вашему скорому Преосвященству
иеромонах себе подобных Дмитрий Занеробких.

В 6-й Корпус
для Дмитрия Занеробких

Я в жизни много думал о том, что выражено в Вашей инициативе. Мне радостно услышать единомышленника. Я тоже привязан к этой идее, правда, с другой стороны. Я и пленник, и своевольник.

Встреча с собой – цель любой аскезы, путь (обращусь к Вашей символике) к ясному для нас соотношению: 1 (я) = 1 (Бог), что по Вашей тезе – созидающий закон смерти, а моими словами – подвиг освобождения от страха смерти, или закон бессмертия.

В монастырь, в отличие от нашего заведения, приходят добровольно.

Смирительная рубаха сумасшедшего = монашеской рубахе святого Франциска.

И я обещаю Вам, что открою двери.

Ваш Настоятель Г. Кардюберель.

Доктору Новику

Исай Людвигович. Я получил от Вашего подопечного Д. Занеробких письмо, с которым Вы сможете ознакомиться.

Я нахожу, что есть опасность спонтанной агрессии на почве императивных голосов. Тяжёлая депрессия у диссимулятивного больного сопровождается резистентным к терапии состоянием. Параноидальное поведение проявляется как попытка воевать с внешним миром и подстрекать к этому других. Судя по отдельным моментам письма, больной не готов к продуктивному контакту. Эмоционально напряжён.

На основании вышеизложенного считаю, что есть показания к электрошоку. В качестве лекарственной терапии рекомендую эфексор.

Прошу доложить исполнение.

Кардюберель.

Борис Парамонов

ДЕВОЧКИ и МАЛЬЧИКИ ДОСТОЕВСКОГО

Книга Л. Сараскиной «Федор Достоевский. Одоление демонов» дает подходящий повод поговорить о Достоевском и его демонах. И. Волгин в полемической статье «Возлюбленные Достоевского» (ЛГ, февр. 1997) оспаривает, в некорректной форме, самую возможность такого подхода к писателю, который попробовала осуществить Л. Сараскина. Мне не понравилась ее книга, считаю, что тема, в ней взятая, не разрешена, а затемнена и запутана, но не могу согласиться с негативным подходом И. Волгина к поискам и попыткам других исследователей. А тема, только робко затронутая Л. Сараскиной, крайне интересна: она старается известные сюжеты из Достоевского – как творческие, так и биографические – взять в плане едва ли не психоаналитическом. Речь конкретно идет о Ставрогине и его прототипе петрашевце Спешневе, отношение к которому у Достоевского было достаточно странным. И вот как реагирует на это И. Волгин:

Догадывается ли читатель, для чего автор «Бесов» создавал своего «экзистенциального антипода»? Проще простого: антипод вызывал у Достоевского «любовный восторг» именно потому, что он «воплощал собой мечту о богатом, полноценном существовании».

Следовало бы поблагодарить Сараскину за ее составительские усилия. Исчезающе малый объем авторского текста относится скорее к достоинствам этой полезной работы. Но и новое, оригинальное сочинение можно

Борис Парамонов – кандидат философских наук, культуролог. Автор большого числа статей, а также книг «Конец стиля» и «След»; ведущий постоянной рубрики «Русские вопросы» на «Радио Свобода». Живет в США.

было бы назвать точно так же, как неоригинальное предыдущее «Возлюбленная Достоевского»: единство предмета налицо. В этой повторяемости обнаруживается своя система.

Сараскина чутко уловила сейсмические волны, исходящие от нашего жаждущего «культурной попсы» книжного рынка. Сюжет о классиках, дабы он пользовался спросом, должен быть подвусмысленнее, «поклубничнее», покруче <...> Так история «страсти к сочинительству» оборачивается игривым повествованием о совсем иного рода страсти. Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием: оно, пожалуй, имеет богатую будущность.

То, что Ставрогин задумывался как экзистенциальный антипод автора, не должно удивлять или возмущать И. Волгина, и не это в действительности его возмущает, а намеки Л. Сараскиной на какие-то иного типа отношения, существовавшие или могущие существовать между писателем и ставрогинским прототипом. На мой взгляд, недостаток книги Л. Сараскиной как раз в том, что она ограничилась намеками, которые более или менее верно разгадал И. Волгин, сам при этом говорящий намеками. В сущности, никакой «клубнички» у Сараскиной нет, и в этом, если угодно, главный недостаток книги «Одоление демонов». А. Кашина-Евреинова, с ее простецким «Подпольем гения», была куда смелее. Адекватная экспликация темы будет содержать прямую постановку вопроса о тех аспектах отношения Достоевского к Спешневу, которые могут и должны быть подвергнуты психоаналитическому освещению. Что стоит за – несомненной – влюбленностью автора в его героя и в прототип такового?

Мой тезис: Ставрогин – это демонизированный образ мужчины в сознании (латентного) гомосексуалиста. И Достоевский был не единственным писателем, фантазировавшим на этот манер. Напомню сходный случай игры воображения: Стэнли Ковальский в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай "Желание"».

Еще одна, не столь прямая иллюстрация темы – нашумевшая в свое время статья Н. Бердяева «Ставрогин». Начинает Бердяев так:

Поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин – слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель. И всё-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его никакой морали, никакой религиозной проповеди.

Достоевский любит Ставрогина как зло, любовь к Ставрогину – любовь к злу, которая, однако, стоит едва ли не спасения. Достоевский идет на этот грех, выбирает его, и это правильно у Бердяева. Что же это за любовь, которая отождествляет себя с грехом и злом?

Отношение к Спешневу было эротически окрашено у Достоевского. И в Ставрогине он изживал свою репрессированную гомосексуальность. Это не может не быть ясным всякому, читавшему Достоевского, тем более специалисту по Достоевскому. Недовольство Волгина книгой Сараскиной идет, думается, отсюда – из понятного раздражения эксперта, видящего, как неумело обращаются с сюжетом, который, однако, он сам, эксперт, не решается открыто заявить. Особенно раздражила его гипотеза Сараскиной о том, что заем, взятый Достоевским у Спешнева – 500 рублей серебром, – сделал его игрушкой в руках опытного конспиратора: она трактует этот сюжет как некий договор с дьяволом. Между тем это не так уж и бессмысленно, если вспомнить, что в символике бессознательного деньги могут служить субститутом либидо, эротической вовлеченности. Достоевского связывал и чуть ли не парализовал не денежный долг – состояние для него вполне привычное и в прошлом, и в будущем, а (бессознательное?) влечение к Спешневу, природа какового влечения была ему не ясна или, наоборот, слишком ясна. Отсюда – амбивалентное отношение к Спешневу, притяжение и отталкивание одновременно, перешедшее затем и на образ писательской фантазии, на Ставрогина. Бердяев в той же статье:

От него идут все линии... Все бесконечно ему обязаны, все чувствуют свое происхождение от него, все от него ждут великого и безмерного – и в идеях, и в любви. Все влюблены в Ставрогина, и мужчины и женщины, П. Верховенский и Шатов не менее, чем Лиза и Хромоножка, все прельщены им, все боготворят его как кумира и в то же время ненавидят его, оскорбляют его, не могут простить Ставрогину его брезгливого презрения к собственным созданиям.

Не будем забывать, что это не Ставрогин породил всех персонажей «Бесов», а Достоевский создал Ставрогина. И Спешнева в нем не больше, чем самого Достоевского. Гениальность Ставрогина, на которой настаивает Бердяев, – это гениальность Достоевского. И гениальна у него была именно эта амбивалентность в описании природы ставрогинского обаяния. Ставрогин у Достоевского не только бес и прародитель бесов, но кто-то еще. Этого нельзя не видеть, и видят это все, в том числе Л. Сараскина, – видит и затрудняется понять. Или не хочет, боится? А слово уже, в сущности, найдено:

«Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотой, – писал человек, обладавший точной и обширной памятью ученого, Семенов-Тян-Шанский. – С него можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя». И если только столь ответственное сравнение, – продолжает Л. Сараскина, – имело хождение в том кружке, к которому принадлежали и Семенов и Достоевский, последнему оно было особенно мучительно: человека с обликом Спасителя он считал и называл про себя своим Мефистофелем.

С каким-то странным, суровым упрямством герою, списанному с безупречного красавца Спешнева и поднятому на «безмерную высоту», где обитают небожители, вменялась демоническая двойственность: так за фигурой Спасителя вставал Мефистофель...

Мы должны говорить об амбивалентном отношении Достоевского не только к Ставрогину–Спешневу. Перед нами не просто психоаналитический случай, Достоевский не просто невротик, подавляющий свои тайные влечения. Психоаналитическая тема у Достоевского необыкновенно углублена и метафизически возвышена. В Ставрогине он демонизировал не Спешнева, а Христа. «Ставрос» – крест. Ставрогин – часть давнего замысла Достоевского написать книгу о Христе. Первая внушительная попытка была сделана в «Идиоте», но там писатель отошел от первоначальной интуиции, прибегнув к известному литературному приему раздвоения героя на двух персонажей: серафическому Мышкину противопоставлен демонический Рогожин. В «Бесах» главный герой оказался синтезом этих двух персонажей.

Я не говорю о Христе, не хочу приписать ему (Ему!) черты демонические: я усиливаюсь показать, что так видел Христа Достоевский. Христос у Достоевского взят в той полноте, которая напоминает о «самости» Юнга: Христос Распятый – символ самости как единства света и тьмы, добра и зла, самостная личность как «андрогин». Откуда же у Достоевского, этого христианина par excellence, писателя, неизмеримо больше других, больше всех способствовавшего религиозному ренессансу в русской культуре, такое отношение к высшей ценности, к святыне христианства? Точнее, почему это знание вытеснено у Достоевского в бессознательное и в этом качестве подвергнуто художественной сублимации?

Здесь сходится всё в Достоевском: и прозорливость гения, и ограниченность современника викторианской эпохи, да еще из православной страны, не решавшегося сказать всё, что он знал, связанного тысячами условий традиционной культуры – и не культуры даже, а быта, нравов, этикета. В Достоевском было сколько угодно «Сараскиной». Но в нем был и «Розанов». Вернее сказать, это он и породил Розанова, Розанов – его эманация. Бердяев говорил, что Розанов казался ему родившимся в воображении Достоевского. Если Достоевский не сказал ***всего***, то он сказал ***почти*** всё. Розанову нужно было немногое, чтобы догадаться об остальном, – встретиться и сойтись с Аполлинарией Сусловой. Эта встреча, как некий химический реактив, проявила Розанова, была ему ироническим подарком судьбы, и не потому только, что Суслова не давала ему развода, заставив обратиться к теме христианства и пола, но и потому, что, надо полагать, рассказывала о Достоевском то, что может рассказать женщина.

Достоевский в очень заметной степени обладал той особенностью сексуального поведения, которая в психоанализе зовется «мотив Кандавла». Людей с этим комплексом интересуют не столько женщины, сколько свя-

занные с ними мужчины. По видимости пылкая любовь к женщине может здесь выступать маскировкой и мотивировкой бессознательного влечения к ее партнеру. Считается, что эта особенность свидетельствует о репрессированном гомосексуализме. Нужно уж совсем закрыть глаза (кружевным платочком, как вельможа XVIII века у Тургенева), чтобы не заметить этого мотива у Достоевского, как в творчестве его, так и в жизни. В жизни это главным образом история с М. Д. Исаевой, ее мужем и ее любовником, о которых Достоевский волновался едва ли не более, чем о своей будущей жене. В творчестве это в первую очередь ранний рассказ «Слабое сердце», в котором Вася Шумков и его сосед Аркадий Иванович строят планы совместной жизни после предполагаемой женитьбы Васи на Лизаньке (я потом остановлюсь на значении этого имени у Достоевского). Затем можно вспомнить одну из линий в «Униженных и оскорбленных»: Иван Петрович, хлопочущий об Алеше и Наташе, в которую он сам влюблен. И, наконец, самое значительное сочинение этого цикла, повесть «Вечный муж», в которой муж по очереди влюбляется во всех любовников своей жены.

Я мог бы в подтверждение сказанного заполнить целые страницы соответствующими цитатами из всех этих вещей Достоевского, но не делаю этого, предполагая, что те, кто ознакомится с этим текстом, читали и знают Достоевского. Предполагаю также, что Аполлинария Суслова, женщина многоопытная, не могла не замечать подобных особенностей Достоевского, а такого рода любовники вряд ли высоко ценятся женщинами ее склада. Надо полагать, что на постоянные приставания Розанова к своей авторитарной жене с просьбой поговорить о Достоевском, она что-то и отвечала. Вот из этих намеков и шепотков, а то и прямых меморий Сусловой вырос Розанов.

В «Людях лунного света» он сам не проговорил, а прошептал открывшуюся ему истину о христианстве. Это отнюдь не прямоговорение. Но бесконечно важнее другое: в открывшихся ему христианских безднах Розанов увидел – высоты:

Индивидуум начался там, где вдруг сказано закону природы: «стоп! ***не пускаю сюда!****» Тот, кто его не пустил, – и был первым «духом»,* ***не****-природою,* ***не****-механикою. Итак, «лицо» в мире появилось там, где впервые произошло «нарушение закона». Нарушения его как однообразия и постоянства, как нормы и «обыкновенного», как «естественного» и «всеобще-ожидаемого».*

Без «лица» мир не имел бы сиянья, – шли бы «облака» людей, народов, генераций... И, словом, без «лица» нет духа и ***гения****.*

Амбивалентность самого Розанова в отношении к христианству более чем известна. Он христианство «демонизировал» уже не прикровенно, как Достоевский в художественных текстах, а откровенно, открыто-идеологически. Такова знаменитая статья «Об Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира». Здесь тезис Розанова: мир прогорк во Христе. И противопоставляет

он этому сладость «варенья» и семейной жизни, «прямой секс». Но вот кого уж нельзя выпрямить, так это самого Розанова, который ценил лицо не менее, чем род. Христианство – принцип индивидуации. Все это знали и без Розанова, но он указал на самый носитель, материальный, так сказать, субстрат этого принципа: сексуальную эксклюзивность, «нарушение закона».

Почему же Достоевский не видел того, что увидел всячески зависимый от него Розанов? Вернее, почему он не мог ***сказать*** того, что сказал Розанов? Ответ более или менее ясен: Достоевский не хотел истины о христианстве, потому что он предпочел истине Христа. Знаменитая апофегма начинает приобретать какой-то новый смысл в контексте вышесказанного. Христос был его тайной и «стыдом». Как писал Бабель: «И был промеж них стыд» (в рассказе под названием «Иисусов грех»). Поэтому появляется и двоится Ставрогин, этот субститут Христа у Достоевского. Видимый смысл «Бесов»: Россия обретет спасение у ног Христа, но для Достоевского «у ног Христа» означало то же, что «возлежать на персях Учителя». Достоевский в «Бесах» не столько провозглашал метод врачевания, сколько размышлял о двусмысленности врачевателя. Надлежало скрывать тот ***архетип***, который увидел в Христе Розанов. У Розанова же не существовало этих репрессирующих сдержек, он был свободен от тайных переживаний Достоевского, да и время было другое, «декадентское»; поэтому он мог сказать большую о христианстве правду. Ему в христианстве «нечего было терять», никакой «потаенной любви» у него не было.

В чем сказывается у Ставрогина «христианский демонизм»? Здесь нужно обратиться к главе «У Тихона», к исповеди Ставрогина:

Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз, когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит всё, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, но был пьян и лишь дрался. Но если бы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот француз, виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может быть, не чувствовал бы и гнева.

Далее, в следующем же абзаце Ставрогин говорит о своих отроческих пороках а-ля Жан-Жак Руссо. Но пороки-то не те называет: нужно было говорить именно о мазохизме, о сладких чувствах, испытывавшихся мальчиком Руссо, когда его порола мадемуазель Ламберсье. Руссо в связи с Достоевским вспомнил Страхов в пресловутом письме Толстому. В случае Ставрогина этот мазохизм обладает ощутимо гомосексуальной окраской. Но иную, садистическую характеристику приобретают чувствования Ставрогина, когда речь заходит о женщинах и, особенно, о девочках. Основное в исповеди Ставрогина – не проблематическое растление Матреши, а ее порка и последующее самоубийство. Растление – субститут и метафора насилия как такового. Насилие не сексуальное подразумевается, а грубо физическое, избиение, убийство. Девочка элиминируется, убирается со сцены, она не нужна Ставрогину. А была ли девочка? Может быть, девочки и не было? Великий психолог-сердцевед Достоевский допустил явную ошибку, коснувшись сексуальной биографии Ставрогина: сексуально растлеваемые дети не кончают самоубийством, уж скорее они сами делаются насильниками, порой убийцами (невротиками – всегда). Эротическое обаяние Ставрогина, которым наделил его автор, весьма, так сказать, непродуктивно. Еще участники дискуссии о прототипе Ставрогина Л. Гроссман и Вяч. Полонский говорили о том, что он дан у Достоевского импотентом, об этом же пишет Бердяев в упоминавшейся статье: Ставрогин отнюдь не «взял» Лизу. Жизненная правда в том, однако, что есть сколько угодно гомосексуалистов, способных кружить головы женщинам. Это вообще весомый признак гомосексуализма – подобная игра с женщинами, когда их завлекают, а потом отвергают, делая вид, что никаких любовных поползновений у кавалеров не было (А. Белый и жена Блока; тут же – типичный «мотив Кандавла»). Этот тип описан и прославлен в русской литературе задолго до Ставрогина – Печорин. Модельно «печоринская» вещь Достоевского – «Кроткая». Недаром Достоевский вспоминает Лермонтова, говорит, что Ставрогин в смысле злобы сделал прогресс даже против Лермонтова. В основе здесь – враждебность к женщине, стремление причинить ей горе, зло. Сексуальной близостью горя женщине не причинишь, тут никто ничего не теряет – в жизненной глубине, а не на этикетно-культурной поверхности. Можно сказать даже, что Матреша повесилась потому, что Ставрогин «не взял» ее, а придумал эту историю для Тихона: здесь начинается и кончается подлинная метафизика «Бесов». Марья Лебядкина – следующее романное воплощение Матреши – стала юродивой, «кликушей» по той же причине. В реальности сходный случай – сумасшествие жены гомосексуалиста К. Леонтьева, красивой мещанки. Достоевский в «Бесах» зафиксировал то состояние, которое Бердяев, в статье о Ставрогине, назвал метафизической истерией русского духа. Это покинутость русской земли волевым мужским началом. Метафизика здесь – в отсутствии «физики». А Марья Лебядкина и есть русская земля: см. ее слова о Богородице – матери сырой земле, этот признанный религиозный центр романа.

Ставрогин – отчетливый женоненавистник, и автор, похоже, наделяет его

собственным женоненавистничеством. Вспомните судьбы женских персонажей у Достоевского, скольких своих героинь он убил. Вещи Достоевского – настоящий женский погром. Начать хоть с Раскольникова: зачем понадобилось второе убийство, никак уже «идеологически» не оправданное, зачем, кроме старухи-процентщицы, появилась ее сестра, добрая, любвеобильная, гулящая баба Лизавета? Чтобы продемонстрировать роковое нарастание однажды совершенного зла? По-видимому, так, но в глубине – а чтоб гулящая не гуляла, «прямой секс» неприятен автору. Недаром Раскольников, убив обеих женщин, стоит у двери, наблюдая, как ее рвут снаружи, и раздаются за нею мужские голоса (подобная сцена напряженного стояния у двери – в «Вечном муже»). Это замечательное воспроизведение атмосферы сна, но содержание его весьма специфично: герой, избавившийся от женщин, в замирании сердца ожидает мужчин. Убита Лиза в «Бесах». Убита Настасья Филипповна. Умирает девочка, дочка Трусоцкого (опять же Лиза) в «Вечном муже». Умирает Нелли в «Униженных и оскорбленных»: на поверхности – подражание «Лавке древностей», но мотив присущ Достоевскому помимо всяких влияний, и невольно вспоминаются слова Оскара Уайльда, сказавшего: «Только бессердечный человек может не рассмеяться, читая сцену смерти маленькой Нелли». Уайльду такое тоже нравилось, но, будучи человеком более «урбанным», он смеялся там, где Достоевский старался плакать.

Между прочим, почти все из убиенных – «Лизы». Проститутку в «Записках из подполья», морально измученную и оскорбленную героем, тоже, кстати, зовут Лизой. У Достоевского с этим именем связывалось каким-то образом устойчивое представление об унижении женщины. «Лизавета Смердящая». У него все женщины смердели.

Продолжим мартиролог. Вешается девушка в «Подростке». Кончает с собой «Кроткая». А сколько не убитых, но истязуемых, и калом измазанных, и из окна выброшенных, и на турецкие штыки поднятых, – и не только в вещах художественных, но и в «Дневнике писателя»: Достоевского привлекала эта тема. Еще деталь: девочки предаются чему-то вроде лесбийской любви в «Неточке Незвановой»; подспудный смысл этого эпизода и вообще этой установки у Достоевского: оставьте их на самих себя, мне они не нужны; девочек я люблю только как объект мучений, я их уничтожаю – унижаю и оскорбляю, не так, так этак. Уверен, что Достоевский оговорил себя, «похваляясь» перед Висковатовым девочкой (письмо Страхова). Резон здесь был – своеобразное самооправдание: всё-таки «девочка», а не «мальчик», преступление, но не извращение, – и твердое знание про себя, что никакие девочки ему не нужны.

Достоевский, как Гумберт Гумберт, любил вертеться около детских приютов. Такое внимание к «деткам», если оно не по обязанности, а, так сказать, по душевной склонности, – всегда очень подозрительно в вышеуказанном смысле. «Лолита», в сущности, – пародия на Достоевского.

А. Белый гениально обронил: «Будь он в царстве детей, он развратил бы их».

Еще: присутствие всякого рода «хромоножек» у Достоевского. Он, как

Лебядкин, свою любовь обусловливает: «Ей, если б она сломала ногу». Он любил не только убивать и избивать своих героинь, но и калечить их. Правда, в «Братьях Карамазовых» все эти девочки нашли свою заступницу – Лизу (!) Хохлакову (в свою очередь, как сказали бы в старину, лишенную употребления ног). Она за всех девочек, за всех Лиз отомстила: сидит в кресле, ест ананасный компот и отрезает пальчики у распятого (!) мальчика. Это Достоевский самому себе мстит, да и девочек-то он убивал – в себе. Это он – девочка, млеющая от восторга, когда к ней приближается Ставрогин. Это вот и есть «идеал содомский» у Достоевского. «Содом» отнюдь не аллегория. Стоит ли говорить, что «порка» – эвфемизм?

Понятно, что природа этого мления – сексуальная, но было тут что-то еще, и важнейшее. Достоевский – надо ли повторять? – всё-таки не клинический случай. Этот мазохизм в нем сублимирован, он породил состояние, именуемое христианским дионисизмом. Это тема о религиозном обращении у Достоевского. Модель этого обращения – у Франциска Ассизского: унижение, перерастающее в блаженство.

Честертон пишет в книге о святом Франциске:

<...> когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором <...> над ним подсмеивались. Он остался в дураках. Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади. Нет, оно было хуже, чем у Павла, – он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали: виноват он или нет, он оказался в дураках <...> Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большом окне, увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться <...> когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком, он был готов стать еще глупее – стать придворным олухом Царя Небесного.

Сравним это с Достоевским, хотя бы с «Записками из подполья»:

Я <...> всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя.

У протагониста «Записок из подполья», говорит Набоков (нелюбовь которого к Достоевскому усиливала и обостряла критическое чутье):

Неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера – всё это сливается в один клубок, порождая ощущение страстного блаженства в униженном существе.

В «Записках из подполья» дана психология его героев, но там же можно увидеть основу и механизм позднейших идеологических построений самого Достоевского: всех этих священных камней Европы, всечеловечности русских и русского же дара всемирного сочувствия. Откуда это у шовиниста Достоевского, разоблачителя французишек и полячишек? Да из необходимости чем-то компенсировать опыт унижения, опыт неудач и провалов, породивший тайное человеконенавистничество. (После первых триумфов Достоевский стал посмешищем в круге Белинского; особенно издевался над ним Тургенев, отомщенный в «Бесах».) Экстатическая влюбленность в мир – трансформация этого ненавистничества. Трудно жить, ненавидя Зверкова, нужно скорее признаться ему в любви. Ненависти уже нет, есть торопящаяся, какая-то захлебывающаяся любовь. «Клейкие листочки» из речей Ивана Карамазова – аналог «Цветочков» святого Франциска. О старце Зосиме и говорить нечего, это прямой Франциск, и с цветочками, и с птичками. Мысль о «всемирной отзывчивости» русских – проекция на исторический фон глубоко индивидуальных психологических особенностей самого писателя («то презираю, то ставлю выше себя»). Сугубо личные «комплексы» сублимированы в проповедь любви к миру. Происходит амплификация, расширение индивидуального опыта до масштаба мировоззрения, целостного восприятия мира. Всечеловечность русских, о которой говорил Достоевский в Пушкинской речи, – это его собственная готовность обнять мир, настолько жестокий, настолько невыносимый – ***для него*** жестокий и невыносимый, – что происходит уже некое мистическое сальто-мортале, и черное становится белым. Это вступают в действие механизмы психологической защиты: проекция вовне, на мир собственного унижения и беззащитности, и тогда приходит понимание, что не себя нужно жалеть и любить, а других, всех. Это и случилось с Достоевским – как за много веков до него с Франциском Ассизским.

Вспомним, впрочем, о дуэли Зосимы, когда он еще был Зиновием, и сравним это с ощущениями Ставрогина у барьера. З. выдержал выстрел противника – после чего, возлюбив человечество, отказался от своего. Зосима – сублимация Ставрогина, однако в глубинно-психологической основе любовь одного и острые ощущения другого тождественны: это мазохизм, мазохистские восторги. Что-то вроде этого испытывал Достоевский. У него это сделалось эпилепсией, которую он называл всегда и только «падучей»: слово, максимально точно выражающее состояние униженности, «падения», которое сопровождается, однако, каким-то нечеловеческим блаженством. Фрейд считал эпилепсию Достоевского не органическим заболеванием, а истерическим симптомом. Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии у Томаса Манна в «Волшебной горе», где соответствующую трактовку феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал бы Набоков:

<...> этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точ-

ной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело священный, даже пророческий дар и в то же время дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом <...>

Отличие Достоевского от святого Франциска в том, что у второго этот феномен смягчился, приняв, так сказать, хроническую форму, тогда как Достоевский знал соответствующее переживание в острой форме эпилептических припадков.

Посмотрим на дионисизм не столько сублимированный, сколько исходный, не христианский, а древнегреческий, а также на возможные русские его параллели. С известной долей вероятности его русским аналогом можно считать феномен юродства. И еще одна интересная параллель обнаруживается – хлыстовство. Дионисово действо – экстаз, выхождение из себя в некоем коллективном радении и кружении, «священное безумие», охватывающее участвующих в действе вакхантов, приобщение к элементарным силам земли. В современных терминах можно сказать – культивированный уход в бессознательное, причем не индивидуальное, а коллективное. Участник Дионисова действа теряет свое «я» и в этой утрате усваивает нечто высшее и сильнейшее, сливается с бытийными стихиями, обретая в этом невозможную в индивидуальном существовании мощь и блаженство. Это оргийное, оргиастическое состояние, достигаемое и упомянутыми хлыстами.

В христианском опыте (тот же Франциск) подобное состояние переживается в одиночку, и поэтому, считается, не ведет к утрате личности ни самого носителя этих свойств, ни окружающих, здесь вроде бы сохраняется индивидуализированная любовь, уникальность человеческого лика.

Персонажем Достоевского, наиболее полно воплотившим эту установку, единодушно признается старец Зосима из «Братьев Карамазовых». Она у него осознана и артикулирована. Только один пример из бесед старца:

Господа, посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем...

Это вот и есть францисканские цветочки и птички. Эту тему у Достоевского подхватил Ницше в «Антихристе». Тип христианина дан там по Достоевскому – естественно, с противоположной оценкой (у Достоевского номинально позитивной). Ницше прямо ссылается на «Идиота», и не исключено, что он читал «Братьев Карамазовых»: Зосима не меньше Мышкина подтверждает его, Ницше, трактовку христианина. Зосима, повторю, – сублимация Ставрогина. В «Антихристе» есть гениальная формула: христианин это гедонист на вполне болезненной основе. Ницше говорит, что

христианин спешит с любовью, чтобы разоружить оппонента или соперника, с которыми ему не справиться силой. Это и описано в сцене обеда со Зверковым. Силы и у Ставрогина не хватает, иначе с чего бы его били? Уточним: сила Ставрогина уходит на собственное пересиливание, на мазохистское подчинение. Мы знаем, что всех этих героев Достоевский писал с себя, подпольного антигероя, о котором совершенно правильно сказал Страхов, что именно тут надо искать психологический портрет Достоевского. Корней Чуковский, обнаружив рукопись незаконченной повести Некрасова, в которой описывался молодой Достоевский, был поражен тем, как у Некрасова похож на автора герой еще не написанных «Записок из подполья». Вообще пора перестать заподозривать Страхова: его письмо Толстому стопроцентно правдиво, и в этой правдивости убеждает больше всего самый испуг Страхова (этой, по Розанову, «девушки» – каковыми девушками были, впрочем, все славянофилы), не способного охватить всю глубину явления, с которым столкнула его жизнь в лице гениального знакомца. Страхов не мог примириться с тем, что «Достоевский сукин сын, и все настоящие писатели должны быть такими» (мемуары Хемингуэя). Подобное не укладывалось в сознание викторианца Страхова, подверженного к тому же, как все русские люди, предрассудку о святости писательства. Мы можем понять негодование Страхова, но также понимаем теперь, что негодовал он ошибочно. Острая реакция Страхова была ошибкой времени, дофрейдовой эпохи: непониманием того, что такие сюжеты отнюдь не являлись прерогативой Достоевского, гениальность которого и в том состояла, что он пытался подойти к этим темам – так, как подходит к ним его старец Тихон в той же сцене со Ставрогиным: понимая, так сказать, заурядность прегрешений последнего.

Розанов писал в статье 1909 г. «На лекции о Достоевском»:

Достоевский страшно расширил и страшно уяснил нам Евангелие. С давних пор его называют «великим христианским писателем» – но это имеет особенный и острый смысл: он первый художественно, в образах, в живописи, и в столь реальной живописи, показал нам ненаказуемость порока, безвинность преступления, показал и доказал великое евангельское «прости»... «Прости всем и всё и за всё»...

<...> Будет ли это необыкновенно хорошо или будет чудовищно отвратительно – ничего нельзя сказать. «Ослепли», «не видим»... Вот resume громадной работы Достоевского, работы гениальной, страшной.

Розанов здесь опять «шепчет», но это тот же человек, который скажет в 1917 году: Россия провалилась в яму, вырытую человечеству христианством. Достоевский, как мы знаем, такого не говорил – предпочитал молчать, а говорил о христианстве преимущественно штампами. Но ведь он написал не только «Дневник писателя». Достоевский понимал скрытый демонизм христианства. Его и Ницше понимал, который здесь куда как близок к Ро-

занову: христианство это оружие, которым слабые завоевали сильных. Соблазн в том, что сам Ницше был «слабым». Его антихристианство, по сути, самокритика, попытка преодолеть себя: неспособность быть «человеком» порождает мечту о «сверхчеловеке». В Ницше куда больше «Шиллера», чем «князя Валковского». У Достоевского же со временем «Шиллер» стал чуть ли не ругательством, и уж в нем точно было больше «князя Валковского». Но он, похоже, умел и в Шиллере найти сверхординарный интерес; скажем, не видел ли он в Дон-Карлосе и маркизе Поза некоего «Кандавла»? сексуальный подтекст у всех «Разбойников» девятнадцатого века?

Одним из таких разбойников он намеревался сделать Алешу Карамазова: революционером, социалистом, террористом. В то же время Алеша «святой», и вот в этом прозрении сходства типов святого и радикального социалиста сказался в сильнейшей мере, хотя имплицитно, гений Достоевского. Достоевскому было свойственно пугаться открытой им правды и заслоняться мужиком Мареем и Константинополем. Эту тему у него разглядел и сделал из нее специальность Мережковский: русская революция как религиозное действие. Существует некая медиация, общее между ними поле, на котором они внутренне, архетипически сходятся, христианский подвижник и революционер, и это общее поле – пол, сходная сексуальная ориентация. Мережковский как человек, женатый на Зинаиде Гиппиус, то есть сильно затронутый вопросом пола, проявил тут некоторую цепкость. Христианский святой и революционер-экстремист – вариации единого архетипа. С этим связан древний гностицизм, лежащий в основе всякого экстремального революционаризма. Об этом писали Анри Безансон и наш С. Л. Франк: подлинный революционер не царский режим или капиталистический строй отвергает, а космический миропорядок. «Я не Бога отвергаю, я мир Его отвергаю». Революционером-гностиком владеет ненависть к бытию, к вечным, онтологическим его основам, а не к преходящим условиям социальной жизни. Манифестация этой ненависти – неприятие женщины как образа и реальности бытийного строя.

Тут начинаются «мальчики» Достоевского: книга десятая «Братьев Карамазовых». Начинается «Коля Красоткин» как некий соблазн Алеши, некий для него лакмусовый тест. Обратим внимание на фамилию мальчика; что же касается имени, то назван он в честь Спешнева.

Алеша не мог безучастно проходить мимо ребяток, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему нравились.

Это написано в главе под названием «Связался со школьниками».

Под стать Алеше и духовные его наставники: отец Анфим: *проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного; таков человек.*

Как без Фрейда ощутить великий комизм этой фразы!

Глава «Раннее развитие» в книге десятой – важнейшая в этом плане: разговор Алеши с Колей Красоткиным переходит в самое настоящее объяснение в любви. Коля Красоткин ведет себя, как герой «Записок из подполья», но в благостном, так сказать, варианте: не тяжелая драма, а скорее веселый буфф. Он ребенок, подросток, «мальчик»; но все эти мотивировки еще более подчеркивают суть проблемы. Книга десятая дает представление о том, как и чем Достоевский хотел продолжить свой последний роман. Это отнюдь не отступление, а конструктивно важный элемент, дающий атмосферу и окружение Алеши как главного героя предполагавшегося второго тома «Братьев Карамазовых». Но тогда крайне интересно, почему роман о социалисте-террористе надо было предварить повествованием о сексуальных страстях его предков и родственников. Получается, что для Достоевского это необходимый фон для разговора о социализме.

Что же такое социализм в христианском контексте? Как их внутренне (может быть, и бессознательно) увязывает Достоевский? То, что такая увязка им мыслилась и проектировалась, доказывает самый сюжет об Алеше Карамазове – русском иноке, становящемся воинствующим социалистом. Но и до «Братьев Карамазовых» Достоевский неоднократно писал о необходимости обосновать социализм христиански, утверждал, что самая идея социализма мыслима только в христианском контексте, на фундаменте братской любви, модель которой дана в христианстве, преодолевающем разъединенность людей вообще. Социализм, по Достоевскому, невозможен как рациональная дележка имущества, расчетливый компромисс, корректное различение сфер интересов. (Как раз такой социализм и оказался – на Западе – возможен.) Но что такое любовь за пределами парного союза, за кругом семьи? Возможна ли она вообще? Как это эксплицировать?

Некий выход к пониманию этой темы у Достоевского интересно намечен главным из «андрогинных» мудрецов пресловутого серебряного века Вячеславом Ивановым («Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского»):

<...> если приглядеться к Алеше ближе, в нем выступает именно и только – общественник. Общественность, прежде всего, соединение людей; а вокруг него всё как-то само собою соединяется. Да и заканчивается изображенный в романе период Алешиной юности основанием, по его мысли и почину, братского на всю жизнь союза мальчиков, присягающих в вечной верности Илюшиной памяти и всему, чему она учит, – а чему только не учит она и религиозно, и морально, и общественно?

(Только бессердечный человек может не рассмеяться, читая описание смерти Илюшечки.)

<...> Алеша начинает свою деятельность в миру, – пишет далее Вяч. Иванов, – с установления между окружающими его людьми такого соединения, какое можно назвать только – соборностью.

<...> Связь между друзьями Илюши можно назвать соборованием душ.

И когда друзья постигнут в полноте Христову тайну, которую прочесть могут только в чертах ближнего, постигнут они и то, что это соборование было воистину таинством соборования Христа, что союз их возник по первообразу самой церкви как общества, объединенного реально и целостно не каким-либо отвлеченным началом, но живою личностью Христа.

<...> Развивая намек, заключающийся в символическом рассказе об основании описанного союза, мы открываем принцип возвещенной Достоевским Алешиной «деятельности»: он должен положить почин созиданию в миру «соборности», или, если угодно, «религиозной общественности», в прямом и строгом смысле этого слова.

Но «религиозная общественность» (термин Мережковского) в контексте серебряного века это и есть предельная цель всякой революции. Русская революция, по Мережковскому, со всеми ее Каляевыми и Сазоновыми, даже с Савинковым (о Ленине речи еще не было), в глубине – религиозное действо. У Вяч. Иванова при этом выявляется мысль Достоевского о социализме как, в идеале, «любви». Достоевский в то же время настаивает на недостижимости этого идеала, он как бы боится его достичь – понимает, ***какая*** это любовь. Вяч. Иванов тоже понимает, но не боится. Он вносит сюда некоторую ясность (не прямым текстом, конечно). Трудно не увидеть, что возвещенный им (в сущности, Достоевским) «союз мальчиков», реализующий идеалы христианской соборности (или подлинного, то есть религиозного, социализма), странным образом напоминает гомосексуальное сообщество на древнегреческий манер, любезное «классику» Вяч. Иванову (классика со времен Ницше уже восприняла архаику, культ Диониса). И это правильное понимание тайной мысли Достоевского. Это и есть связь христианства с социализмом.

Социализм, каким мы знали его в России, действительно не что иное, как «союз мальчиков», чуждый, если не просто враждебный, женскому природному началу, – борьба с природой как исчерпывающая формула социалистического проекта. Но модель такого отношения к женщине, к природе, к миру была дана отнюдь не в социализме. Социализм в этом смысле – всего-навсего рационализация христианского аскетизма, акосмизма. Прочитайте приложения и примечания П. Флоренского к его «Столпу», и вы увидите, что мысль о рождении технологического разума из христианства («механизация природы», как потом назвал это Бердяев) была если не общим местом, то не составляла секрета для ученых современников, в основном из немцев. В этом сакральном убежище готовилась не только социалистическая голодовка, но и экологическая катастрофа (мысль, высказывавшаяся деятелями Римского клуба). Тоталитарный социализм был не чем иным, как максималистским («большевицким») разворачиванием технологической экспансии. Мир должен сгореть, по словам Бердяева, – христианина, социалиста и «андрогина». Вспомните, наконец, Н. Федорова, у которого проповедь технологической переделки мира, христианство и мизо-

гиния соединены в удивительной гармонии, если это слово уместно для обозначения тотально нигилистического мирочувствования.

Указанная связь – христианства с социализмом как практикой технологической экспансии – всё же внешний слой проблемы. Существует другая, более глубокая, неартикулированная, «бессознательная» их связь: сексуально-психологические коннотации социализма. Чтобы понятней был Достоевский, приведу пример из Сартра, у которого в романе «Тошнота» гуманистическую любовь демонстрирует педераст Автодидакт. Рассказ о том, какую неземную радость он испытал в амбаре, стиснутый телами других военнопленных, завершается сообщением, что он вступил в социалистическую партию – СФИО. Христианская любовь как основание социализма в конкретном психологическом опыте – вариант, конечно сублимированный, Дионисова действа, хлыстовского радения, свального греха.

Мне кажется, что этот эпизод у Сартра навеян «Возвращением из СССР» Андре Жида – тем местом, где рассказывается, как ему понравились комсомольцы, сгрудившиеся в его тесном купе. А. Жид был человек, открыто исповедовавший гомосексуализм, поэтому он не испытывал нужды в его идеологических сублимациях и поэтому ему было позволительно в упомянутой книге отречься от советского социализма.

«Союз мальчиков» у Достоевского – вроде этого купе с комсомольцами и Алешей Карамазовым в роли Андре Жида.

Критика социализма, данная Достоевским, была, в глубине, самокритикой. Достоевский говорил о плоской рациональности социалистической идеологии, о том, что из человека нельзя сделать органный штифтик, что он рано или поздно взбунтуется и променяет благополучие на свободу, что человек вообще свободен и, следовательно, социализм, как попытка насильственного устроения счастья, обречен. Но Достоевский знал и другое: что свобода порождает зло, что слишком широкого человека нужно сузить. Он и сужал себя – почвенничеством, православием и пр. Почему же не сузить себя социализмом? Потому что никакого сужения тут не происходит, а наоборот, разнуздание инстинктов под маской социальной дисциплины. Достоевский понимал темную природу социализма (в фурьеристском его варианте, изучавшемся у Петрашевского, с его пафосом коммунальщины уже даже и незамаскированной: ср. финал «Что делать?», в котором Герцен увидел «Дом Телье»), не верил в его рационалистические мотивировки, знал, что социализм – не идеология, а инстинкт. Трюк социализма – структурно – тот же, что христианский, и называется это сублимацией. Критика социализма Достоевским, в глубине, – критика христианства, попытка десублимации, психоанализ. Гениальность Достоевского не в том, что он сублимировал свои темноты, а в том, что он искал язык десублимации. Он ощущал темную стихию в себе, как бы она ни называлась – социализмом, репрессированной гомосексуальностью или христианством. Он увидел темноты христианства, «темный лик» – задолго до Розанова. Критика социализма Достоевским на самом деле много глубже того, что он на-

писал в «Записках из подполья». Социализм – не «хрустальный дворец», а тот «ретроградный джентльмен», который разбивает его: Сталин, проще говоря. Критика социализма дана в Ставрогине, дана в Алеше Карамазове, «раннем человеколюбце». Достоевский понимал, что значит эта любовь – ***христианская*** любовь.

Лизе Хохлаковой не удалось бы выйти замуж за Алешу, и Грушенька не стащила бы с него ряску. Глава «Кана Галилейская», сцена, где Алеша обнимает землю, очень плохо написана, это отписка; религиозным центром романа ее пытались сделать христианские интерпретаторы, много и неубедительно говорившие об обожении плоти в православии. Обожение плоти возможно здесь лишь как разнуздание стихий, «темное вино» (Бердяев). И Достоевский вряд ли дописал бы роман об Алеше Карамазове, потому что не решился б сказать он того, что понимал и пониманию чего научил Розанова, – правду о Христе.

Но, с другой стороны, это и делало Достоевского художником – невысказанность правды как факта, бегство от правды, инстинкт умолчания, отталкивание от «прямоговорения», противопоказанного искусству. Человек, режущий правду-матку, негениален, этот текст негениален. В битве с Достоевским я охромел, как Марья Лебядкина.

31 июля 1997

Участники «круглого стола» – русские евреи, обосновавшиеся в Германии. Им было предложено ответить на вопросы анкеты:

1. Когда Вы эмигрировали в Германию? Что побудило Вас эмигрировать именно туда? Каковы Ваши основные занятия в Германии, связаны ли они с Германией, с Россией или с Израилем?

2. Что для Вас Германия: удобная страна проживания, нейтральный фон, культурно-историческая данность, политическая и социальная реальность?

3. Интересно ли Вам жить в Германии? Интересней ли и ближе Вам происходящее в России, в Израиле?

4. Кем Вы себя ощущаете в Германии: человеком без нации, русским эмигрантом, евреем, немцем, израильтянином? Кем бы Вы хотели себя ощущать? В качестве кого, по-Вашему, воспринимают Вас представители титульной нации?

5. Как Вы чувствуете себя в Германии: как в своей стране, как в стране чужой или даже враждебной? Все ли время Вы помните, что это страна еврейской Катастрофы или лишь изредка вспоминаете об этом?

Олег Юрьев

ВЕЗДЕ МЫ НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ, В ИЗРАИЛЕ МЫ НЕПРОШЕНЫЕ ХОЗЯЕВА

Относительно Катастрофы европейского еврейства, помимо неправды отрицания ее факта, существует еще несколько важных неправд, перенимаемых – к собственной невыгоде – и еврейским сознанием, точнее говоря, сознанием евреев. Несколько примеров. № 1: «Катастрофа является некоей проблемой в отношениях между евреями и немцами. Эта проблема постепенно решается с помощью немецкого "осознания вины" и "немецко-еврейского диалога"». С моей точки зрения, Катастрофа *не является* проблемой в отношениях между евреями и немцами. Это было бы слишком мелко, да и сами «отношения» эти – штука абсолютно не дефинируемая, а на практике навряд ли и существующая. Отношения могут существовать между от-

дельными людьми или – довольно формально – между государствами, но не между «народами», тем более такими трудноопределимыми, как (в его внегосударственности) еврейский и, до какой-то степени (вне его государственности), немецкий. Думаю, что если Катастрофа является «проблемой в отношениях», то это проблема в отношениях между евреями и еврейским Б-гом и – возможно – еще одной, отдельной проблемой в отношениях между немцами и немецким Богом. И это две разные проблемы, не имеющие одна к другой ровно никакого отношения. Немецкая проблема ловко убирается от необходимости ее решения (ввиду полной его невозможности – по многим причинам, в том числе и в связи с примером № 2) именно переносом ее в плоскость несуществующих «немецко-еврейских отношений», признание которых, в свою очередь, отвлекает евреев от внутреннего сознания собственной проблемы Катастрофы – как явления религиозного, так и конкретно-исторического. То есть от собственных отношений с Б-гом по этому поводу.

Пример № 2: «Катастрофа является специфически немецким продуктом, отсюда "особое место" Германии в еврейской истории». Думаю, что на самом деле Катастрофа является общеевропейским продуктом или, если хотите, «христианским» продуктом, если не вкладывать в слово «христианский» непосредственно религиозное, а прежде всего культурно-историческое содержание и иметь в виду, что нацизм являлся в известном смысле бунтом христиан против христианства, разрушивших Римскую империю и постоянно пытающихся воссоздать ее – от Шарлеманя до Евросоюза. Это попытка мохнатых германских варваров (не только немцев, французы в известном смысле – тоже мохнатые германские варвары) революционным путем решить антропологические проблемы (в том числе «еврейскую»), которые христианство обещало им решить путем эволюционным. И обмануло. Никто не отрицает ведущую роль Германии в организации промышленного уничтожения евреев (не без помощи, однако же, IBM и Форда), но в жизнь воплощалось оно в основном за пределами Германии и с посильным, добровольным и в большинстве случаев энтузиастическим участием прочих (почти всех) западно- и восточно-европейских народов. Не говоря уже о том, что немецкие национал-социалисты принадлежали исходно к простодушно верующим во «всемирный еврейский заговор», во «всемирную еврейскую закулису», контролирующую «западные демократии», и т. д. Поэтому первоначально они на полном серьезе собирались запродать евреев западным странам, т. е., с их точки зрения, евреям же. Только убедившись в полной незаинтересованности предполагаемых покупателей, начальники Третьего Рейха сделали вывод о возможности – и всеобщей желательности – «окончательного решения». Из этих общеизвестных исторических обстоятельств – да хотя бы из даты Ваннзейской конференции – по понятным причинам крайне редко делаются логические выводы. После Второй мировой войны весь этот исключительный копирайт был свален на Германию, и, полагаю, именно за то, что она его на себя приняла, за то, что освободила от него прочие европейские народы, с ней, т. е. с ее западной частью, так великодушно обошлись победители.

Пример № 3: «Катастрофа является случайным сбоем в механизме прогресса». Катастрофа европейского еврейства является логическим результатом научно-технического и общественного прогресса западного образца. Шесть миллионов евреев были уничтожены потому, что они технически могли быть уничтожены, и никто, собственно, не возражал. Вторая мировая война велась НЕ ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ.

Исходя (в том числе) из всего этого, я в целом совершенно не склонен принять как постулат эту «особую еврейско-немецкую историческую связь» и, стало быть, необходимость как-то специально осмыслять факт своего местонахождения в Германии. С моей точки зрения, на данный момент не существует в этом смысле особых отличий жизни здесь от жизни, скажем, в Голландии или во Франции, не говоря уже об Украине или Литве. Собственно, жить в стране, где пока еще нет памятников Гитлеру или улиц имени Войск СС, даже несколько уютнее, чем жить в странах с памятниками Богдану Хмельницкому или улицами имени героев «Галичины». А вопрос «Были ли немцы добровольными помощниками нацизма?» представляется мне скорее юмористическим; исторически известно, что абсолютное большинство немецкого населения (да и вообще населения континентальной Европы) поддерживало «новый европейский порядок». Периодическое возникновение дискуссий по этому и сходному поводам свидетельствует, с моей точки зрения, о постоянно возобновляемых попытках опытным путем проверить, созрели ли уже условия для радикального пересмотра истории в интересах идеологии европейского объединения – очередного захода на воссоздание империи Карла Великого. Предыдущий заход, напомню, составлял историческое содержание Второй мировой войны – войны европейского центра с окраинами.

Что же касается отношения к Стране Израиля, то оно, как мне кажется, у меня именно такое, каким оно должно быть у еврея вне зависимости от того, где он родился и вырос и где в данный момент живет. Эта страна является, прежде всего, моей земельной собственностью – по известному Договору. Собственностью в порядке коллективного, безотзывного, неотчуждаемого владения. Что-то, хотя юридически и не вполне точно, вроде майората. Не зря евреев в девятнадцатом веке злобно-иронически именовали «иерусалимскими дворянами». Поэтому меня, естественно, интересует обращение с этой собственностью той части коллектива землевладельцев, которая в настоящее время на этом участке проживает. Наездами я часто бываю в «имении» и смею думать, что неплохо осведомлен о положении дел.

Ну, а взгляд на Израиль из Европы (в медиальном отражении, но и не только в нем) мне тоже довольно хорошо известен, так же, к слову, как и взгляд из Европы на Россию. Оба взгляда, вне всякого сомнения, глубоко враждебные, основанные на старых и новых клише и абсолютно не дискурсивные. Вообще, и в смысле отношений с Западом, и по собственным своим психокультурным свойствам, евреи и русские – два чрезвычайно

схожих народа, к тому же на данном историческом отрезке находящихся в очень сходных (хотя, конечно, не идентичных) культурно-психологических и историко-политических состояниях. Не хочу повторяться или цитировать себя самого; по этому поводу я довольно широко распространился в романе «Новый Голем, или Война стариков и детей». Что же касается «неизбывного антисемитизма европейцев», то это вещь сама по себе несомненная, необходимо только учитывать, что это не дефект, устранимый или неустранимый, не «ошибочка вышла, начальник», но одна из основных культуруполагающих констант христианской и, следовательно, постхристианской цивилизации. Наиболее точно сформулировал положение вещей Блэз Паскаль: «Или евреи порочны, или мы». Эта базовая необходимость еврейской порочности всегда транслируется со сменой исторических эпох на соответствующие этим эпохам языки описания, не отменяя полностью предыдущих описаний, а наслаиваясь на них. В средние века это еще собственно религиозный язык («Христа распяли»), с постепенным переходом к различным формам товарного общества постепенно усиливается перевод на язык экономических категорий (от кальдероновско-марловско-шекспировского «мальтийско-венецианского купца» и вплоть до Маркса, с его «Бог еврея – вексель»). Расовая теория – перевод того же самого на сциентистский язык, язык научно-технического прогресса и законов природы. Сегодняшний «взгляд на Израиль из Европы» – это переложение на актуальные с шестидесятых–семидесятых годов подъязыки «национально-освободительного движения» и «прав человека». Все это довольно ясно и, в сущности, неустранимо. Точнее говоря, устранимо только вместе с Европой. Гораздо интереснее вытекающая из всего этого следующая коллизия: в той мере, в какой наше собственное сознание является европейским (для маскировки его еще довольно оксюморонно называют иудео-христианским, а также цивилизованным, или либеральным, или революционным, или научным, или как хотите; в Израиле часто – светским), оно в этом смысле является и «антисемитским». Термин «еврейская самоненависть», изобретенный, если не ошибаюсь, Теодором Лессингом* на примере Вейнингера, вводит, по сути дела, в заблуждение – на самом деле в сознании каждого из нас, за исключением, предположим, хасидов из Меа-Шеарим или из Бронкса, в сознании которых я не бывал, ровно в той степени, в которой мы сформированы общеевропейской культурой, живет «христианин», требующий и находящий доказательства «еврейской порочности». Это не самоненависть еврея, а ненависть христианина к еврею. Любопытно, кстати, заметить, что самыми пламенными и убежденными «европейцами» обычно являются персоны с внешностью, как будто срисованной с карикатур «Штюрмера». Понятно, что проявляться все это может в тысячах индивидуальных вариантов, но присутствует всегда – и не только у пла-

*Теодор Лессинг – немецко-еврейский философ, автор книги «Еврейская самоненависть» (1930).

менных выкрестов-жидоборов, но и у пламенных сионистов. Сионизм – очень европейская доктрина и поэтому очень антисемитская в своем желании сделать из «ветхих евреев» новый, подобный европейским и, следовательно, правильный, хороший народ. Спасает сионизм только практическая невозможность этой метаморфозы. С антисемитизмом Европы дискутировать совершенно нечего, ей слишком хорошо известно, что «или евреи порочны, или она сама». А на последнее она решительно не согласна. Определенный смысл (и в любом случае интерес) имеет выявление и – не «преодоление» или «истребление», конечно же, но – осознание и выделение «европейца» в самом себе. Если мы будем понимать, чей голос в нас говорит, то сможем гораздо сознательнее ориентировать себя в мире и, соответственно, принимать более сознательные решения. И как отдельные люди, и как коллективный землевладелец, т. е. Народ Израиля.

И в заключение – ответы на вопросы анкеты:

1. В Германию я, собственно, не эмигрировал, я в ней скорее *застрял*. В конце 1990 – начале 1991 г. мы с женой, поэтессой Ольгой Мартыновой, приехали на пару недель с литературными чтениями в Берлин. Ребенок (ему было два года) оказался с нами только потому, что в Ленинграде его было не с кем оставить. Выступив в обществе советско-западноберлинской дружбы и в каком-то книжном магазине, отправились дальше на запад, осматривать «священные камни» (в Германии – к слову, довольно новодельного вида) и повидаться со знакомыми. Последние в один голос убеждали, что только сумасшедшие возвращаются в «Союз», как это тогда называлось, где вот-вот начнется голод, холод и кровопролитие. Апеллировали, как водится, к ребенку – вы-то, черт с вами, а как же не стыдно туда деток тащить!? В таких случаях всегда употребляются словечки потрогательней – «детки» или даже «бэби». Впрочем, мы и сами были настроены переждать неразбериху, а заодно пожить «иной жизнью», попробовать, какова она на вкус, на ощупь, на усилие. Посмотреть на нее с изнанки, на собственном опыте, а не через миф. Доброхоты (видимо, больше прочих пожалевшие увозимого в страшную Совдепию «бэби») срочно нашли нам более или менее доступную квартиру, мы в нее вселились и стали «пережидать неразбериху». Через две недели из Ленинграда со случайной оказией приехало (пришедшее туда из Берлина) письмо, в котором мне предлагался договор (с авансом) на перевод моей пьесы «Маленький погром в станционном буфете». Потом я получил стипендию в замке Солитюд под Штутгартом, почти на год, потом пошли театральные постановки, потом книги, ребенок отправился сначала в детский сад, потом в школу... Все время какие-то дела – короче, застряли. Года три-четыре у нас хранились обратные билеты с открытой датой, потом куда-то делись. Живем мы во Франкфурте-на-Майне, оба – и жена, и я – литературным трудом. У меня поставлено несколько пьес, вышло пять книг прозы в немецком переводе, у жены переведена книга стихов и выпущена книга литературно-критических статей, написанных прямо по-немецки. Она вообще регулярно пишет для крупных немецких газет книжные рецензии и статьи, переводит с русского на немецкий (в том числе вместе с нашей постоянной переводчицей Эльке Эрб перева-

ла мой роман «Новый Голем, или Война стариков и детей» для издательства «Suhrkamp» – вероятно, самого лучшего и знаменитого в немецкоязычном пространстве), но основное ее занятие – русские стихи, которые печатаются, среди прочего, в «Новом мире» и «Знамени». Я тоже иногда пишу по-немецки – когда заказывают, – но гораздо реже и в основном что-то типа эссе или «малой прозы». Публикуюсь, естественно, и в России, и в Израиле. Собственно, в моем случае это практически одно и то же, поскольку две мои последние книги (романы «Полуостров Жидятин» и «Новый Голем, или Война стариков и детей») вышли в иерусалимско-московском издательстве «Гешарим – Мосты культуры».

2. Одно другого и третьего с четвертым не исключает.

3. В известном смысле всё это одни и те же события, звенья одной цепи. У меня есть определенная склонность к наблюдению исторических событий на макроуровне. А на микроуровне – судьба России и судьба еврейского народа непосредственно касаются меня. Судьба Германии – в значительно меньшей степени, тем более что судьба эта опять подчинена общеевропейскому имперскому проекту. Сегодня мы живем здесь. Завтра, быть может, переедем в Израиль или Америку или вернемся в Россию, кто знает. Но пока нам неплохо и здесь – так сложилось, что в Германии мы в состоянии зарабатывать себе на жизнь нашими литературными профессиями, что, согласитесь, далеко не само собой разумеется. В том числе и в России. И, поскольку мы живем здесь, то, конечно же, не уклоняемся от местной жизни. Кроме того, я люблю все смешное и абсурдное, а местная жизнь поставляет всего смешного и абсурдного не меньше, чем любая другая. Или даже больше.

4. Вопрос в целом мне не очень понятен: как можно хотеть себя кем-то ощущать. В крайнем случае, можно хотеть кем-то быть или стать, но подобные желания мне, честно говоря, абсолютно чужды. Я ощущаю себя тем, кем являюсь – евреем из России и пишущим по-русски писателем, живущим сейчас в Германии. А окружающие? Никогда не интересовался. Думаю, что по языку, точнее, по акценту – русским. В газетах обычно называют то русским, то еврейским, то русско-еврейским писателем. По телевизору любят показывать или на фоне русского магазина с матрешками, или на фоне франкфуртского Старого еврейского кладбища. Но, как говорится, хоть горшком назови, лишь бы не в печь, уж простите за некоторый макабр.

5. Про Катастрофу – см. выше. Конечно же, я не ощущаю Германию «враждебной страной». Нужно быть мазохистом или иметь особую штирлицевскую миссию, чтобы жить в стране, которую считаешь враждебной. Кто заставляет-то? Вообще, мы в автохтонную жизнь вполне включены, много всяких людей знаем, с некоторыми дружим, часто ездим с литературными выступлениями (одна из немаловажных составляющих наших заработков), так что повидали Германию (а заодно и Австрию) весьма подробно. Настолько подробно, что иногда я уже чувствую себя в силах использовать эти впечатления в художественных текстах. А в остальном... – все зависит от определений: что такое «своя страна», что такое «чужая страна». Давайте скажем так: во всех странах мы непрошеные гости. Лишь в Стране Израиля мы непрошеные хозяева...

Дмитрий Хмельницкий

ВЕССИ И РУССИ

Массовая эмиграция советских граждан в Германию началась в 1989 году. Через пятнадцать лет их число превысило три миллиона. Появилось много русских газет и журналов. Наросла культурная среда. Русская эмиграция стала проявлять общественную активность, выступать с призывами к объединению и борьбе за свои права.

Фактически мы стали свидетелями интереснейшего социологического эксперимента – полтора процента населения огромного тоталитарного государства переехали в цивилизованную демократическую страну с мощной системой социального обеспечения и получили возможность к неограниченному и естественному самовыражению. По тому, как ведут себя эмигранты в Германии, можно судить обо всем населении России, если бы оно было избавлено от экономических, политических и финансовых кризисов.

Деление на «весси» и «осси» – на немцев, воспитанных при капитализме, и на тех, кто вырос при советской власти в немецком исполнении, – сохранится в Германии еще надолго. Советские эмигранты – назовем их по той же схеме «русси» – особая группа, и похожая, и не похожая на «осси».

Эмигранты привезли с собой множество предрассудков. Отсутствие правового и демократического опыта, отрицательный социальный опыт, отношение к социальной помощи как к бесплатной и законной кормушке, ложное представление о своей и чужой истории, ксенофобия – все это естественный результат советского воспитания и советской школы. Нечто похожее произошло и с жителями бывшей ГДР. Они тоже автоматически стали эмигрантами, хотя никуда и не уезжали.

Общественные предрассудки лечатся интеграцией в цивилизованное общество и временем. Но не все. На некоторые чисто советские предрассудки эмиграция в демократические страны, как ни странно, подействовала стимулирующе. Они не встречают общественного сопротивления и приобретают весьма причудливые формы.

Наверное, главный из них – национализм. Насколько серьезна проблема, можно судить по тому, что, с точки зрения самих русских эмигрантов, русской эмиграции в Германии практически нет. Есть две конкурирующие группы, русскими себя не считающие и не называющие. Первая – русские евреи, вторая – российские немцы.

И те, и другие говорят по-русски. И те, и другие обижаются, когда их называют русскими. И те, и другие разрабатывают соответствующую на-

циональную идеологию и национальные чувства. При этом обе группы отличаются друг от друга не языками и культурой, а происхождением.

Немецкое государство игру поддерживает. Выражением «русские эмигранты» пользуются только журналисты. Немецкие чиновники видят перед собой две национальные группы с разным юридическим статусом – «немецкие переселенцы» и «еврейские контингентные беженцы». Хуже всего этнографам. Изучать «русских евреев» и «русских немцев» как два отдельных народа – бессмысленно. Объединить их в один объект изучения – значит стать врагом сразу и тех, и других.

Любопытно выглядит эмигрантская пресса в Германии. Русские газеты и журналы совершенно невозможно разделить по политическому принципу, только по национальному. Одни газеты проповедуют еврейскую национальную идею, другие русско-немецкую. Третьи балансируют, стараясь не обидеть ни тех, ни других.

Человеку, окончившему западную школу, трудно понять, как люди, говорящие на одном языке и не имеющие никакой другой культуры, кроме общей для всех русской, могут принадлежать к разным народам. Для человека, воспитанного в СССР, это естественно.

Во внутреннем советском паспорте была недавно отмененная графа «национальность». Графа исчезла, но само понятие никуда не делось. Этот чисто советский термин не имеет никакого отношения к западным словам «Nation» или «Nationalitat», означающим «гражданство».

Советская «национальность» юридически означала «принадлежность к народу», но фактически указывала только на происхождение человека и очень часто не имела никакого отношения к его реальной культуре. Эту запись в паспорт человек наследовал от родителей.

Термин «национальность» – чисто сталинское изобретение. Сталин ввел его вместе с паспортной системой в 1932 году. До революции население российской империи принудительно классифицировали по вероисповеданию, а после революции – по социальному происхождению. Сталин ввел классификацию «по народам», причем с совершенно очевидной репрессивной целью. Без ярлыка «национальность» были бы невозможны репрессии против целых народов, которые он готовил и проводил с начала тридцатых годов. Сильно облегчалась также кадровая политика в нерусских республиках.

Это изобретение Сталина оказалось чрезвычайно живучим. Оно пережило и самого Сталина, и его режим, и Советский Союз. Для многих поколений советских людей принадлежность к народу и генетическое происхождение превратились в синонимы. Ассимиляционные процессы, смена языка и культуры никак не влияли и не влияют на паспортную национальность. Национальное самосознание советских людей до сих пор определяется зафиксированным в паспорте происхождением предков.

Сталинская «национальность» той же природы, что и придуманная Гитлером «раса». И тут, и там главный критерий – происхождение, кровь. Так же, как и для немцев во времена Третьего Рейха, для советских людей, даже

самых образованных, количество различных четвертинок и половинок в крови известных людей и просто знакомых – объект постоянного интереса.

Абсолютное большинство «русских евреев» и «российских немцев» евреи и немцы только по национальности, то есть по происхождению. Для того чтобы начать ощущать себя отдельными народами, этого оказалось вполне достаточно.

Расщепление на псевдоэтнические группы – характерная черта последних волн русской эмиграции, 70–90-х годов. Бросим короткий взгляд в прошлое.

Первая волна русской эмиграции – послереволюционная – была белогвардейской, политической и антисоветской. Или – в терминах последующей эпохи – антифашистской. Она лишила Россию образованного слоя. За границу бежало более двух миллионов людей, разного происхождения, но, в основном, русской культуры, которую они, собственно, и увезли с собой. Та культура, что осталась, превратилась в советскую.

Вторая волна эмиграции – сороковых годов – состояла из советских людей, бежавших во время войны от советской власти, и военнопленных, решивших не возвращаться в объятия Сталина. Она тоже была политической, но раздробленной и лишенной героического ореола белогвардейцев. Шестьсот–восемьсот тысяч человек рассеялись по всему миру, не образовав культурной общности.

Третья эмиграция – семидесятых годов – самая странная, потому что легальная. Ее придумала сама советская власть. По каким-то, ведомым только специалистам-историкам политическим причинам Брежнев разрешил неким группам советского населения покидать СССР. Таких групп было несколько, и все национальные: армяне, немцы, евреи, греки. Кроме того, на Западе оказалось небольшое, но очень громкое число диссидентов и деятелей культуры.

Третью эмиграцию можно назвать диссидентско-националистической. Право претендовать на отъезд давала паспортная «национальность». Мотивы отъезда в абсолютном большинстве случаев были самые естественные и понятные – жить в нормальных условиях и лучше питаться. Но форма, которую избрало для оформления этого процесса государство, и искусственно то создаваемые, то облегчаемые трудности стимулировали всплеск национальных идеологий. Борьба за выезд на «родину предков» была с конца шестидесятых годов единственной легальной, а потому и привлекательной формой антисоветизма. Почти не кривя душой и почти без риска немедленно сесть, человек мог публично заявить: «К советской власти у меня претензий нет, просто проснулось национальное чувство и зовет меня на родину предков – в Израиль или Германию». Число официально допустимых родин предков сама же советская власть и установила. Во всяком случае, проситься на выезд в другие страны было очевидно глупо.

Государство поддерживало эту игру и придавало ей остроту. Одной рукой оно поощряло националистическую активность, рано или поздно выпуская почти всех желающих, а другой весьма умеренно их преследовало. В лагеря попадали только самые отчаянные, нарушавшие негласные правила игры. Диссидентов как таковых, без национальной окраски, карали намного более жестоко. Международная общественность активно боролась за соблюдение прав евреев и немцев на эмиграцию (проблем с отъездом армян и греков, кажется, не было). Боролась бы, наверное, и за права всех других, если бы это имело хоть малейший смысл. Так что игра заведомо шла по советским правилам.

Переоценивать антисоветизм эмигрантов третьей волны не стоит – для абсолютного большинства это была форма самосохранения, а не обдуманная позиция. Любая другая группа советского населения начала бы точно так же не любить советскую власть и любить свое происхождение в надежде уехать – если бы ей позволили.

За двадцать с лишним лет легальной третьей эмиграции с конца шестидесятых по начало девяностых годов из СССР вымыло практически всех, кто мог эмигрировать и готов был ради этого идти на жертвы. В четвертую волну – после девяностого года – поехали те, для кого пойти на жертвы означало – остаться. Потенциально в этой категории оказалось все население бывшего СССР, способное осознать возможность отъезда.

Раньше на убежище в Европе и в Америке мог рассчитывать любой житель Восточной Европы, вырвавшийся из-за железного занавеса. Это удавалось «евреям» и «немцам» легально, а единицам других с риском для жизни. С формальной демократизацией стран Восточного блока автоматический прием всех их бывших жителей закончился. Привилегии сохранились опять-таки только за «немцами» и «евреями». «Немцев» принимает Германия. «Евреев» – Израиль и Германия.

В легкую эмиграцию девяностых годов поехали лояльные советские граждане, у которых политических причин для отъезда не существовало в принципе. Понятия «диссидентство» или «антисоветизм» были им, как правило, чуждыми или даже враждебными. Но они лишились тыла. Исчез объект лояльности. Советская Родина, со всеми ее вечными ценностями, растаяла, оставив после себя идеологический вакуум. Из сложного антисоветско-националистического букета чувств, с которым ехала третья эмиграция, выпал антисоветизм. Остался голый национализм, который и заполнил вакуум.

С теми, кто остался на Родине, произошло то же самое, за тем исключением, что в России национальные чувства не подогреваются материальными благами и политическими привилегиями, как в случае «немецких переселенцев» и «еврейских беженцев» в Германии.

Для четвертой и третьей волн русской эмиграции характерна этническая шизофрения – расщепление национального сознания между родной языковой культурой, «национальностью», закрепленной в советском пас-

порте, и культурой, которую практикуют на официально признанной родине предков. Для еврейских эмигрантов это конфликт между родной (и единственной) русской культурой, идишской культурой местечек, где жили бабушки, и ивритской культурой Израиля.

Российские немцы идеологически зависли между родной русской культурой, языком и образом жизни дедушек-колонистов и современной немецкой культурой, равно далекой для обеих групп. Вопрос, какая из культур роднее, – идеологически неразрешим.

Выяснилась интересная вещь. Немецкое общество, пятьдесят лет в ужасе перед нацистским прошлым искореняющее у себя расистские и националистические предрассудки, оказалось совершенно бессильным перед национализмом и расизмом эмигрантов. Оно их даже не в состоянии опознать. Во всем, что касается еврейских и русско-немецких эмигрантов, царит юридическая, терминологическая и смысловая путаница. И, кроме того, негласное, но действенное табу на любую критику в адрес эмигрантов в прессе.

Эмигранты и аборигены не в состоянии договориться, потому что вкладывают в одни и те же слова разный смысл. Слово «немец» в Германии имеет два значения. Первое, юридическое, – «гражданин Германии». Тут без внимания оставляется культура, родной язык, происхождение и прочее. Второе значение – «представитель немецкой культуры». Тут главное – родной язык и воспитание. Происхождение опять же роли не играет. В Германии полно настоящих урожденных немцев разного цвета кожи и разной ширины скул. Выражение «чистокровный немец» в этой системе ценностей отсутствует. Оно воспринимается – с полным на то основанием – как химически чистый расизм.

Для эмигрантов (и вообще для всех советских) важна именно чистокровность, то есть, происхождение – в полном согласии с советской паспортной характеристикой. В Советском Союзе национальность было легко определить по фамилиям – немецким, еврейским, грузинским и т. д.

Известны случаи, когда «немцы-переселенцы» по прибытии в транзитный лагерь отказывались иметь дело со служащими, имевшими, к несчастью, славянские фамилии. «Мы хотим говорить с настоящими немцами», – заявляли они. Эмигрантские газеты часто публикуют письма, в которых переселенцы жалуются на то, что «немецкие немцы» называют их русскими. «Ведь мы такие же немцы, как и они», – говорят эмигранты, имея в виду происхождение.

Усугубляется дело еще и тем, что слово «иностранец» также имеет два значения – «не гражданин Германии» и «не немец по культуре». Юридически немецкие переселенцы, получающие, в отличие от прочих эмигрантов, гражданство сразу по приезде, иностранцами не являются и в статистику по иностранцам не входят. Это укрепляет их в уверенности, что они то и есть самые настоящие немцы. А иностранцы – это люди ненемецкого происхожде-

ния, даже если они и выросли в Германии. Такие нюансы советского воспитания «немецким немцам» непонятны. Их в школе обучают совсем другому.

Ситуация с еврейскими эмигрантами еще сложнее. Еврейской этнической общности в странах бывшего СССР практически сегодня не существует. По культуре бывшие советские «паспортные евреи» сегодня ничем не отличаются от паспортных «русских». От еврейской местечковой культуры не осталось ничего, кроме фольклора. Представление об идише сохранили только единицы из самого старшего поколения. Если что и объединяет сегодня евреев бывшего СССР, то это национальная идеология, развившаяся на базе паспортной исключительности.

Правительство ГДР за пять минут до своей гибели в 1989 году объявило, что начинает прием советских евреев. Правительство объединенной Германии сочло политически неудобным это решение отменить, хотя оно ни в какие законы не лезло.

Ни то, ни другое правительство не дало себе труда, а скорее и не смогло, сформулировать, кого конкретно они собираются принимать.

Как было официально заявлено МИДом ФРГ, основной целью приема евреев из стран бывшего СССР является защита их от антисемитизма и укрепление еврейских религиозных общин Германии. Критерий отбора – «еврейская национальность» родителей. При этом, учитывая «историческую ответственность Германии», чиновникам по приему предписывалось обращаться с евреями с особенной деликатностью.

Такое обоснование приема и неудачно, и нелогично. Все понятия перепутаны. Усиливать еврейские общины имеет смысл только верующими иудеями, которых среди советских атеистов с коммунистическим прошлым исчезающе мало. Воссоздать в Германии еврейскую этническую общность можно только с помощью носителей еврейской культуры, которых в странах СНГ еще меньше. В любом случае, прием советских паспортных евреев обеим этим целям противоречит.

Если бы Германия заявила, что принимает людей, которые могли бы стать потенциальными жертвами нацистов (единственное этически приемлемое объяснение), то все правильно.

Нацистские критерии расовой чистоты действительно совпадают с советским паспортным подходом. Но тогда неясно, причем здесь укрепление еврейских религиозных общин. Нацисты уничтожали придуманную ими «еврейскую расу», учитывая только происхождение, «кровь», а не вероисповедание и культуру. Среди их жертв, принадлежавших к разным культурам, были и христиане, и атеисты.

Как будто для того, чтобы завершить абсурдность ситуации, МИД Германии предписал чиновникам консулатов в странах СНГ отказывать в приеме заявлений претендентам на выезд в том случае, если они испове-

дуют не иудаизм, а любую другую религию, например православие. Атеисты, однако, принимаются беспрепятственно. Таким образом, несомненно благородное изначально, хотя и юридически невнятное, чисто политическое благотворительное мероприятие превратилось в свою противоположность – аморальную дискриминацию по религиозному признаку.

Все участники эмиграционного процесса вкладывают в термин «еврей» свой собственный смысл, и при этом ни один из смыслов не совпадает с естественно-научным представлением о народе как о культурной общности.

Для среднеобразованных немцев «еврей» – понятие сугубо религиозное. «Еврейских эмигрантов» из бывшего СССР они принимают за представителей притесняемого религиозного меньшинства. Тем более что почти все эмигранты немедленно по приезде вступают в еврейские религиозные общины, что – на взгляд европейцев – однозначно свидетельствует о религиозности.

Сами эмигранты, однако, считают себя – в полном соответствии с нацистской и советской классификацией – носителями еврейской наследственности, ошибочно полагая, что это и есть главный признак национальной еврейской культуры. Для эмигрантов еврейские общины – клубы единородцев, куда они вступают, не будучи верующими. Впрочем, подтверждения личной религиозности от них при вступлении и не требуется.

Еврейские общины преследуют при этом свои цели. Несмотря на малочисленность (около 10 тыс. членов в 1990 году и около 160 тыс. – в 2004), они традиционно обладают в послевоенной Германии исключительным политическим влиянием. Они считаются монопольными представителями жертв расового геноцида нацистов, получают мощную финансовую поддержку от государства, их члены пользуются всевозможными привилегиями. Чем больше членов, тем больше финансирование. Какая бы то ни было критика в адрес еврейских общин со стороны немецкой прессы невозможна.

Еврейские общины пользуются ритуальным религиозным определением еврея как человека, исповедующего иудаизм и рожденного от еврейской матери. На практике первая часть определения незаметно отпала, так что при приеме новых членов в общину учитывается только происхождение матери. Атеизм возражений не вызывает. В то же время урожденный еврей, принявший христианство, воспринимается как ренегат и предатель национальных интересов.

В результате такой странной ситуации число верующих членов еврейских религиозных общин в Германии крайне невелико, а религиозные обряды принимают характер секулярных праздников, символизирующих не религиозное, а национал-патриотическое единство.

Русские эмигранты, вступая в еврейские религиозные общины Германии, почти целиком состоящие из атеистов, верующими от этого не становятся, но проникаются уверенностью в особой ценности еврейского проис-

хождения. И убеждаются в необходимости и в дальнейшем избегать смешения с инородцами. Формально декларируемый религиозный догмат о недопустимости межконфессиональных браков утратил свою главную составляющую – религиозность и превратился в банальный бытовой расизм.

Немецкие чиновники переняли подход еврейских общин к проблеме, хотя великодушно расширили его – при приеме «контингентных беженцев» учитывается происхождение не только матери, но и отца. За это, в порядке компенсации, они уступили общинам в другом – отказались принимать христиан еврейского происхождения. Почему и какой в этом государственный смысл – ответить не может никто. Первоначальные нравственные цели приема эмигрантов оказались забытыми.

Самое неприятное, что в тех областях, где происходит взаимодействие немецкого правительства и еврейских эмигрантов, перестает действовать западная этика. В результате чего многие заведомо благородные начинания превращаются в свою противоположность. Например, министр культуры ФРГ предложил в ноябре 1998 года создать в Берлине еврейский театр. На первый взгляд, замечательная идея – если не задаваться вопросом, а что конкретно имеется в виду?

Еврейский религиозный театр – такая же бессмысленность, как католический или мусульманский театр.

Еврейский национальный театр создать в Берлине невозможно – просто не найдется достаточного числа зрителей и актеров, говорящих на одном из еврейских языков.

Единственная реализуемая идея – это театр, куда будут отбирать актеров еврейского происхождения. Получится зеркальное отражение нацистской идеи – в Третьем Рейхе «расово неполноценных» актеров изгоняли из театров, а теперь создается театр, только из них и состоящий. Тем самым доказывается культурная полноценность еврейского происхождения.

Это можно рассматривать как угодно, но только не как борьбу с расизмом. Расизм «наоборот» остается расизмом. Даже если министр культуры ничего дурного в виду не имел. Не говоря о том, что такой театр хорошим не будет никогда. Происхождение – не критерий для отбора актеров.

Бывают и более печальные ситуации. Когда в 1989 году возникла идея построить в Берлине центральный памятник евреям – жертвам Холокоста, противников у нее, естественно, не было. Сенат охотно выделил огромный участок – два гектара земли – в самом центре Берлина. Потом случилось неожиданное – в сенат обратились представители цыганской общины, «Объединения синти и рома». Они напомнили общественности, что массовому истреблению подвергались не только евреи, но и цыгане. И что было бы справедливо, если бы центральный в стране памятник был посвящен всем жертвам расового геноцида нацистов.

Сенат Берлина, разумеется, согласился. Но еврейская община Берлина сказала «нет». Представитель еврейской общины заявил представителям цыганской, что именно евреи являются главными жертвами, участок выделен только им и что не только о совместном памятнике, но даже о двух памятниках на одной территории не может быть и речи. Немецкая пресса выразила осторожное недоумение в связи с такой странной дискуссией, но буквально никто не осмелился назвать вещи своими именами. Сенат уступил давлению общины и пообещал цыганам выделить другой участок. С этого момента на моральной основе всего проекта можно спокойно ставить крест. В Берлине сейчас строится не памятник жертвам геноцида, а памятник идее еврейской исключительности. Что совсем не одно и то же.

Еще один громкий и скандальный пример. В Берлине построили по проекту знаменитого архитектора новое здание Берлинского музея, часть которого занимает еврейский отдел. Почему-то заранее решили, что руководителем отдела должен стать религиозный иудей. Такого специалиста нашли в Израиле и пригласили в Берлин. Поддержанный еврейской общиной, он немедленно потребовал полной финансовой, административной и творческой автономии для еврейского отдела и отказался согласовывать с руководством музея план экспозиции. С большим трудом и к крайнему неудовольствию общины его удалось уволить. На его место пригласили уважаемого и более управляемого человека – бывшего министра экономики США. Разумеется, тоже еврея по происхождению. В пылу бурных дискуссий и их участники, и пресса, и общественность даже не вспомнили, что речь идет о сугубо научном учреждении, руководить которым – по правилам цивилизованной страны – должен ученый с соответствующей квалификацией, причем его религия и происхождение вообще никого не должны касаться. И уж тем более они не могут служить критерием при отборе на должность. Это попросту противоречит немецкой конституции.

В Берлине, где живет несколько сотен тысяч мусульман, есть очень богатый Исламский музей. Если бы какая-нибудь мусульманская община города потребовала назначить директором музея мусульманина, а для себя право контроля за работой музея, все газеты подняли бы ее на смех. Проделать такую вещь с еврейской общиной никто не осмеливается.

Политическое влияние крохотной группы людей, руководящей крохотной псевдорелигиозной общиной, основано на том, что открытая дискуссия с ними невозможна физически. Какую бы ересь они ни озвучивали. Для любого немецкого политика это означает почти мгновенную политическую смерть. Так уж сложились сегодня правила поведения в немецком обществе – не без усилий со стороны руководства общин.

Последний скандал такого рода, самый парадоксальный и самый постыдный для немецкой общественной жизни, разыгрался осенью 2003 г.,

когда депутат от партии ХДС Хоманн произнес в своем родном городе речь перед избирателями. Текст речи был опубликован в интернете, и председатель еврейской общины Берлина обвинил Хоманна в антисемитизме. Обвинение было поддержано немецкой прессой. Хоманна сначала исключили из фракции ХДС в Бундестаге, а затем из партии.

Причина скандала в действительности совершенно ирреальная.

В той части своей речи, которая вызвала скандал, Хоманн всего лишь выступает против давно скомпрометированного в цивилизованном обществе понятия «коллективная вина». Понятие скомпрометировано, но вытекающий из него тезис «Немцы – народ преступников» имеет широкое хождение и не воспринимается аморальным.

Хоманн заявил, что народов-преступников не бывает, поскольку весь народ не может нести ответственность за преступления своих представителей. И привел пример того, что получается, если критерии, согласно которым немецкий народ аттестуется как народ-преступник, применить к любому другому народу, например, к французам, с их традиционным уважением к якобинской диктатуре и любовью к Робеспьеру, или евреям, традиционно считающимся народом-жертвой. Вот тут-то началось то, что немецкая общественность сочла криминалом.

Хоманн привел давно известные (тем, кто интересовался советской историей) факты о массовом участии выходцев из русско-еврейской среды в революции, о непропорционально большом количестве евреев в большевистском Политбюро 20–30-х годов, среди работников ЧК–НКВД–КГБ. Далее Хоманн говорит о том, что, учитывая миллионы погибших в результате деятельности этих организаций, можно было бы заключить, что и евреи являются народом-преступником. Во всяком случае, это следует из той же логики, из какой народом-преступником официально признаны немцы.

Но, подчеркивает Хоманн, этот вывод делать нельзя, потому что такая логика заведомо порочна. «Ни немцы, ни евреи не являются народами-преступниками», – говорит он. И немцы – национал-социалисты, и евреи-большевики порвали со своей культурной средой, со своей религией. Их скрепляла между собой не этническая общность, а антирелигиозные установки и безбожие. Если кого-то и можно назвать народом-преступником последнего столетия, так это безбожников, с их антирелигиозными идеологиями.

Вот, собственно, и все. Сам Хоманн расставил точки над «i» предельно четко, исключив двусмысленные толкования. Его тезисы можно обсуждать, но с этической точки зрения они абсолютно неуязвимы. Поэтому объяснить поднявшийся вокруг речи Хоманна скандал прямым смыслом его высказываний невозможно.

Хоманна обвинили в том, что он назвал евреев народом-преступником. При этом в прокатившихся по всей немецкой прессе публикациях цитировалась только его фраза о том, что, исходя из определенной логики, евреев можно было бы назвать народом-преступником. Но никогда не цитировал-

ся вывод Хоманна – что такая логика ложная и пользоваться ею нельзя. Хоть исходный текст речи доступен всем.

Зачем это понадобилось руководству еврейских общин – ясно. Хоманн скомпрометировал в своей речи не только понятие «народ-преступник», но и понятие «народ-жертва», объясняя, что и преступники и жертвы – понятия не этнические и такие обобщения не имеют права на существование. А это само по себе ставило под гипотетическую угрозу привилегированное положение еврейских общин в Германии – подрывало их статус представителей народа-жертвы.

Но участие немецкой прессы в этой игре можно объяснить только патологическим страхом перед дискуссией с руководством еврейскими общинами.

Произошла странная вещь. В Германию эмигрировали миллионы бывших граждан тоталитарного государства. На их интеграцию выделяются огромные средства. Им помогают найти жилье, работу, выучить язык, повысить или поменять квалификацию. Интеграция на бытовом уровне идет успешно. Духовная интеграция – восприятие эмигрантами правил поведения и ценностей демократического общества – идет в обратном направлении. Привезенные эмигрантами советские предрассудки – не только политические, но в первую очередь национальные и расистские – при демократии укрепляются и расцветают. Ни еврейский, ни русско-немецкий национализм не принимал на родине – в СССР – такие развитые формы, как в ФРГ, не финансировался и не поддерживался государством. Хуже того – предрассудки передаются той части немецкого общества (включая правительство), которая имеет дело с эмигрантами.

В упоминавшейся выше инструкции МИД ФРГ по поводу приема «контингентных беженцев» сказано: «Учитывая историческую ответственность Германии, с подающими заявление следует обращаться с особенной деликатностью».

В таком подходе заложена бомба. И не только потому, что деликатно следует обращаться со всеми. Здесь подразумевается идея коллективной вины немецкого народа. Дескать, те, кто принимает – представители палачей, а принимаемые – представители жертв. Это неправда. После войны, может быть, так и было. Сейчас ситуация обратная. Уже три послевоенных поколения немцев воспитаны при демократии, никогда не были членами НСДАП, за нацистов не голосовали, их идей не разделяли и поэтому никакой ответственности за преступления нацистов не несут.

Напротив, эмигранты из СССР, почти поголовно бывшие лояльные советские граждане, комсомольцы и члены партии, за коммунистов голосовали и их идеи (в ленинском, сталинском и всех прочих вариантах) разделяли. В определенной степени все они лично ответственны за все преступления коммунистов.

Без понимания этой простой мысли интеграция советских эмигрантов в де-

мократию вряд ли осуществима. Денацификация Германии после войны стала возможна потому, что победители без деликатности отнеслись к национальным, патриотическим, расовым и прочим чувствам бывших граждан Третьего Рейха. Есть чувства, к которым следует относиться без деликатности.

Ответы на вопросы анкеты:

1. Эмигрировал в 1987 г. В Германию приехал случайно. Просто здесь уже жили мои родители. В принципе, было все равно куда ехать. В Израиль не хотел из-за нелюбви к национализму в любой форме. В Германии работал архитектором, журналистом в русской газете. Защитил диссертацию по теме «Сталинская архитектура». В силу этого интересуюсь и советской, и немецкой историей.

2. Удобная страна проживания.

3. Меня интересует в первую очередь русская культура. Поэтому культурные события в России и Израиле (в русском сообществе) ближе, чем немецкие культурные события.

4. Ощущаю себя русским эмигрантом, кем, по моим наблюдениям, и являюсь. Что меня вполне устраивает. Окружающие воспринимают меня в зависимости от своего воспитания по-разному. Немцы – русским, соотечественники чаще всего евреем (в силу происхождения). Немцев происхождение, как правило, не интересует. У меня лично еврейского вопроса нет. Не думаю, что существует еврейско-немецкая историческая связь. Во всяком случае, не больше чем «советско-крестьянская» историческая связь. Я считаю, что подобные исторические события описываются иной терминологией.

Кстати, убеждение многих израильтян в неизбывном антисемитизме Европы вообще и Германии в частности абсолютно неверно.

5. В Германии я чувствую себя комфортно, как в стране, где находится мой дом (квартира, книги...). В языковом смысле – страна для меня по-прежнему чужая. В смысле отношений между людьми – гораздо больше своя, чем Россия или Израиль.

Немецкой историей я занимаюсь постоянно, потому что она тесно связана с советской. О еврейском Холокосте вспоминаю приблизительно так же часто, как и о советской коллективизации (по числу жертв – около трех Холокостов). Современных немцев, так же как современных советских людей, с этими событиями не ассоциирую, если они свою преступную историю не защищают. Таких немцев я лично не встречал. Советских – сколько угодно.

В недавно вышедшей книге Гольдхагена «Добровольные помощники» утверждается, что нацизм был обусловлен национальным характером и культурой немцев. Я к таким утверждениям отношусь резко отрицательно. В первую очередь к тезису о том, что немцев привели к участию в массовых убийствах особенности национального характера. Считаю, что не нам, с советским опытом, всерьез обсуждать такую чушь.

Леонид Гиршович

ДЛЯ ОДНИХ Я РУССКИЙ, ДЛЯ ДРУГИХ ЕВРЕЙ, ДЛЯ ТРЕТЬИХ ИЗРАИЛЬТЯНИН

Ввиду того, что предлагаемая к обсуждению тема является ключевой в моем романе «Обмененные головы», я позволю себе привести из него некоторое количество выдержек.

...Мне вменялось в моральную обязанность «свято ненавидеть» фашистов (эвфемизм для обозначения немцев, как эвфемизм для обозначения евреев – сионисты, которых тоже положено ненавидеть). На это работало все советское искусство, вся национал-коммунистическая религия – заручившись поддержкой у русской классики, спокон века не жаловавшей «немца»...

Ненавидеть Германию мне предписывалось не только именем двадцати миллионов красноармейцев, сложивших свои головы «под березами», ненавидеть Германию мне предписывалось не только людьми, несущими в себе свой собственный «Яд ва-Шем» – теми, в чье сердце стучит пепел Клааса; но – поразительно – самими же немцами. Они ждут от меня ненависти, они навязывают мне стереотипный образ мышления русского еврея – или, если угодно, и русского и еврея, – который не может не видеть в каждом из них своего потенциального убийцу. И вот одни начинают шаржированно-нежно тебя любить, а себя клеймить позором. Другие, наоборот, по той же причине готовы нанести тебе превентивный удар... Тем не менее, я даже предпочитаю последних. В отличие от подозрительных и всегда непрошеных «сочувствующих», с этими потом куда как легко: надо только убедить их, что они априори заблуждались на твой счет...

Тема, в разговоре с немцами отработанная мною до мелочей. По обыкновению, я становился между дьяволом и его раскаянием... Видите ли, вырос я в городе Харькове, среди всенародного упоения собственными добродетелями, официально санкционированного, но при этом абсолютно искреннего. Коллективная вина немцев воспринимается мной как то же самое, только со знаком минус. Что до моих личных переживаний, то опять же, жизнь под советским солнцем научила меня есть за одним столом с таким количеством вероятных палачей – и не заходиться в праведной истерике...

Почему по классовому признаку убивать более нравственно, чем по расовому? То есть я в принципе понимаю логику: первый случай оставляет выход, всегда можно перейти на сторону классового врага и тоже убивать. Помимо того, что это преимущество сомнительное в моральном смысле, оно и на практике плохо реализуется. И мне ничего не мешает в немцах? (В действительности мне мешает в немцах лишь одно – что они говорят по-немецки, но уж это в них не исправишь.)

...Мир немецкой культуры естественно простирался от Балтики до Адриатики и от Лемберга до Страсбурга – пока попытка зафиксировать это политически все не погубила. Как бутерброд, что «по закону подлости»... падает всегда маслом вниз, Германия оказалась исторически опрокинутой на свою надстройку: поверх романтической культуры – в полном согласии с ее эстетикой – создавалась государственность. И получалось, что псы, которыми у Клейста Пентезилея травит Ахилла – отведать его крови – становятся прообразом немецких овчарок Аушвица.

...Немецкая культура сложилась намного раньше, чем немецкая государственность. Когда величайшая культура, в том числе величайшая романтическая культура, величайшая музыкальная культура ложится в основу незрелого государства, государство не может совладать с нею, она становится руководством к действию. А поскольку немецкий характер обладает счастливой – и одновременно несчастной – способностью во всем идти до конца, как в злом, так и в добром (русским тоже лестно так о себе думать), произошло то, что произошло...

Немцев и русских связывает – если не считать общей границы через Польшу – особая... «духовная честность»: сопереживания эстетические выдаются за сопереживания нравственные, из которых затем делаются практические выводы. Те произведения, где подмена эстетического образа этическим невозможна, отвергаются как легковесные, безыдейные, чуждые национальному духу – в силу своей правдивости требующему, чтобы ни в чем, включая и произведения искусства, СЛОВА НЕ РАСХОДИЛИСЬ С ДЕЛАМИ. (На страницах романа – преступление, на площади – наказание.) ...Уподоблять эстетические ценности нравственным – то же, что вершить земной суд именем Бога (главное занятие ханжей)... В итоге крах – как раз в том, на что каждый уповал превыше всего. А упования были: у одних на СВЯТОСТЬ, у других на ИДЕАЛ.

...Я всегда считал коммунизм большим злом, чем нацизм. Те в лагерях убили шесть миллионов чужих и были судимы. Эти убили бессчетное число миллионов своих и еще были судьями.

Прежде чем выносить приговор моему герою, предлагаю обратить внимание на следующее. Когда говорится о спасении евреев, о случаях проявления душевного благородства и героизма, то большинство, я замечал, предпочитает – пусть даже неосознанно – видеть спасителем скорее уж немца, нежели, скажем, украинца.

И еще несколько цитат оттуда же, имеющих прямое отношение к нашей теме.

...Это извечная моя проблема – как отвечать на дружелюбный вопрос: «Was fur ein Landsmann sind Sie?» («Откуда вы родом?») Я имел наготове сразу несколько ответов и пользовался ими в зависимости от ситуации. Строго говоря, каждый из них мог быть оспорен. Например «русский» – в

России за все золото мира я не мог бы им стать, ни де-юре, ни де-факто. Именуясь русским в Германии, я был самозванцем. Или ответ «еврей» – прозвучал бы как укор, не столько ответ, сколько напоминание об Аушвице. Считаться израильтянином у меня было еще меньше оснований, чем русским. Раз в поезде, по дороге из Берлина в Западную Германию, два щуплых кувейтца, назвавшихся студентами-антропологами, видя, что я читаю по-русски, а паспорт предъявляю израильский, попытались втянуть меня в спор об исторических правах евреев на Палестину, доказывая мне, что я этих прав не имею, поскольку я «русский иудейского вероисповедания».

«Израильтянин» – на вопрос «кто я?», скорей всего, я бы ответил мужчине... которого трудно представить себе за рулем «форда» и чей доход зависит от того, удастся или не удастся ему вовлечь вас в какую-нибудь финансовую операцию...

Так же – «израильтянин» – сказал бы я старушке из тех, что совершают регулярное паломничество в Восточный Берлин с двумя набитыми сумками. В сорок пятом они жили восточней Эльбы, им было лет по тридцать пять, что в юмореске Чехова «Женщина с точки зрения пьяницы» приравнивается к рюмке водки перед завтраком. «Русский» для таких старушек – слово неприличное.

Зато в глазах их ровесников русским быть лучше, чем израильтянином.

На русского приветливо посмотрит сквозь шубертовские очки сторонник ядерного разоружения – и дама из общества защиты животных...

Какому-нибудь греку Зорбе, открытому, сердечному, у меня бы просто язык не повернулся сказать, что я еврей. В человеке надо будить лучшие чувства.

Немцам, посвящающим свой досуг проблеме «кто мы, откуда мы, куда мы идем?», людям среднего достатка, взалкавшим истины, всевозможным энтузиастам библии, идеалистам-самоучкам – короче всем этим баптистам духа никогда не говори, что ты израильтянин, потому что они зацелуют тебя до смерти. И всё будут спрашивать «а что?..» – а что ты знаешь такое, чего другие не знают? а что ты чувствуешь как еврей?

Писалось это около двадцати лет назад. С тех пор кое-что изменилось. Близки к полному исчезновению старухи, для которых русский солдат – это насильник. Кануло в лету поколение «пленных немцев», которые чувствовали себя оболганными в глазах всего света: они честно воевали, а концлагеря, казни – дело рук эсэсовцев. Да и вообще на этой войне все были хороши, вон американцы сбросили атомную бомбу.

С исчезновением ГДР официальная «покаянная» идеология ФРГ дала трещину: как известно, ГДР населяли антифашисты, которым не в чем каяться. На немецкой политической сцене появились свои зюгановы, и начался театр абсурда. Западная Германия: «Мы такие-сякие нацисты». Восточная Германия: «Да, вы такие-сякие нацисты». Поскольку музыку заказывает Запад, эти воздыхания по «гедеэровской культуре», по утраченной

душевности ничего не стоят. Но восток Европы, бывший советский блок, не будет помогать ФРГ бить себя в грудь, как это делал прежде «свободный мир». И беднеющей ФРГ все трудней идти прежним покаянным курсом.

Надо сказать, в своих фантазиях я частенько обряжаю коллег по оркестру в форму вермахта. Это естественно для еврея. С другой стороны, я без труда вижу себя самого в ранние советские годы, или в предреволюционные, и в ужасе: а что бы я тогда исповедовал? Это с высоты сегодняшнего знания я ставлю знак равенства между лозунгом «уничтожить как класс» и лозунгом «уничтожить как расу». Говорить, что немцы – добровольные помощники Гитлера, можно в том смысле, что немцы вообще – добровольные полицейские. При любом режиме они почитают власть. Они честно блюдут установленный законом порядок. А поскольку конформизм есть добродетель в представлении девяноста девяти процентов человечества, то немецкая масса хранила верность генеральной линии партии Гитлера–Геббельса не за страх, а за совесть.

В связи с тем что в обыкновении людей считать конформизм благом, я вспоминаю такой эпизод. Летом в Натании, на пляже, «русская» семья (из отказников, он еврей, она русская), заклеймив меня с высокой сионистской трибуны за то, что ерданул* в Германию, еще и осудила мое твердое намерение выучить сына читать-писать по-русски: если уж я лишил его возможности быть израильтянином, пусть хотя бы поскорее станет немцем, пусть будет как все.

Не думаю, что учиненный немцами шестимиллионный погром явился следствием какого-то особенного, выдающегося, по сравнению с другими европейскими народами, антисемитизма. Увы, это лишь результат неизмеримо большей организованности погромщиков, стоявших у власти. Их «трудовой морали». Недаром в роли спасителя еврейской семьи «фотогеничней» выглядит немец, чем украинец – «если уж».

Что касается общеевропейского антисемитизма, то он видоизменился в той мере, в какой переменилась сама Европа, и, соответственно, будет модифицироваться дальше. Тенденция известна: Европа расширяется на восток, снижается жизненный уровень. Исламский шантаж – но и американский нажим. Вероятно, некрофильских настроений поубавится – я имею в виду безудержную любовь к шести миллионам умерщвленных евреев, что объясняется инстинктом нравственного самосохранения. По этой же причине Германия будет рыдать дольше других, а всех строптивых – осаживать, немецкая дисциплина здесь опять же явит товар лицом.

Я не могу говорить о своем отношении к немецкому народу в категориях «хороший – плохой», «люблю – не люблю». Для меня это было бы дико. Это то же самое, если б я принялся рассуждать о своем отношении к небу, к горам, к воде. Вне Германии нет ни Европы, ни человечества. Это не озна-

---

* Йерида *(иврит)* – «спуск, схождение вниз» (так говорят об уехавших из Израиля); ерданул – «свалил», «сделал ноги» *(разг.)*.

чает, что я много общаюсь с немцами. То есть я общаюсь с ними ежедневно по долгу службы, и этого мне более чем достаточно. Точно так же, живя в Израиле, я удовлетворялся ивритоязычным общением в армии и на работе. Парадокс классический: ни говорить, ни мыслить ни на каком языке, кроме русского, я не в состоянии, однако жизнь в России счел бы величайшим для себя несчастьем. Под этим, вероятно, подпишутся многие. В любом случае, с немцами я не вожу компанию не оттого, что они немцы, что их родители воевали на восточном фронте. Двенадцать нацистских лет, нацистские реалии – все это скорее вызывало поначалу интерес: а как это было изнутри?

С начала девяностых годов в Германию хлынула еврейская эмиграция. Немцы стали постепенно привыкать к тому, что евреи это не только некий коллективный Мессия, ими распятый, – чему они учат в школе детей начиная с пятого класса. Евреи это еще часть той Восточной Европы, которая на них навалилась с распадом СССР и которую приходится терпеть – в дополнение к нескольким миллионам турок. Причем, в отличие от прочих, еврейский «беженский контингент» надлежит терпеть безропотно.

Отношение русских евреев к немцам довольно здравое: историческая память просыпается исключительно к обеду. В остальном психологические проблемы сродни тем, что сформировали тип русского оле* в Израиле – который, и сделавшись ватиком**, никогда не абсорбируется в израильском мире, а сотворит свой собственный мир, русско-израильский.

Анкета:

1. Эмигрировал в Германию в 1979 году, хотя, будучи израильским подданным, формально эмигрантом не являюсь. Как профессиональный музыкант, могу оценить преимущества моей профессии, живя именно в этой стране. Живу же я в столице Нижней Саксонии – Ганновере, где служу в бывшем королевском театре в звании камермузикера, все еще не отмененном. Если, однако, считать основным моим занятием писание книг, то по роду этой своей деятельности я связан с Россией.

2. Германия действительно удобна для жизни; создает культурно-исторический фон, если угодно – что-то вроде обоев на «Титанике», с учетом того, что немецкие города – краса Германии и Европы – стерты с лица земли.

3. В последнее время происходящее в Германии большого интереса у меня не вызывает – и слава Богу! Значит, на Шипке все спокойно. Происходящее в Израиле, да и в России, меня занимает и волнует гораздо больше.

4. В Германии я ощущаю себя (как это, вероятно, было бы и повсюду) русским эмигрантом – в культурном плане; евреем – в экзистенциальном плане; и израильтянином, как в плане юридическом, так и в плане политической лояльности. Кем бы я хотел себя ощущать? Я не представляю себе, как можно выбирать ощущения такого рода. Это как пол (т. е. бывают, конечно, клинические случаи). Что до восприятия меня окружающими, то для кассирши в супермаркете я нахлебник отку-

---

* Оле *(иврит)* – «новоприбывший репатриант».

** Ватик *(иврит)* – «старожил».

да-то из Польши, а может, из Казахстана, ей неважно. Для коллеги в театре я – еврей из Ленинграда, сколько-то лет проживший в Израиле, даже служивший в тамошней армии, но вот уже четверть века как сидящий с ним за одним пультом в оркестровой яме. В антрактах же, вместо того чтобы трепаться со всеми, пить пиво в кантине, имеющий привычку забиться в закуток и что-то писать.

Ганноверский придворный оркестр был основан в 1636 году, от основания оркестра мой ангажемент 872-й по счету. Работали ли в этом оркестре евреи до меня? Да, по крайней мере, об одном из них я знаю. Пятьсот сорок третьим был принят на концертмейстерскую должность некто Хенрик Принс, чье имя, в числе шести тысяч имен депортированных ганноверских евреев, выбито на памятнике прямо против театра. У меня есть альбом «Ганновер в 1933–1938 гг.». Театральная площадь тогда называлась «Адольф-Гитлер-Плац». Я не знаю, почему Хенрик Принс, отправленный в 1935 году на пенсию, человек еще не старый и, надо думать, хороший скрипач, не эмигрировал, что удерживало его в Ганновере.

Вадим Перельмутер

ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА В ГЕРМАНИИ НЕТ

Я недостаточно глубоко знаю предмет, чтобы продуктивно размышлять об особой еврейско-немецкой исторической связи. Хотя, естественно, думал об этом. Однако для меня здесь не столько национальная (или «расовая»), сколько историко-мировоззренческая проблема.

Мой добрый знакомый, француз Арман Гатти, мыслитель, историк, драматург, режиссер etc., исследовавший историю Аушвица, а также судьбу французских евреев в годы Второй мировой войны, считает, что сама возможность этих катастрофических событий, происходивших в центре христианской Европы, свидетельствует, прежде всего, о глубочайшем кризисе гуманизма в том виде, в каком он исторически сложился за две без малого тысячи лет европейского христианства. Более того, это кризис религиозного мировоззрения/сознания как такового: и вчерашнего, и сегодняшнего.

И я с ним вполне согласен.

На мое самоощущение и на то, чем я занимаюсь, все это не влияет. А свой еврейский вопрос я в Германии не решаю, ибо его попросту нет.

К немецкому народу отношусь, как к любому другому – с весьма умеренным любопытством. Тех немногих немцев, с которыми общаюсь, народом не числю, скорее, исключениями из него. Впрочем, могу ошибаться.

Вопрос о добровольных помощниках Гитлера представляется мне не вполне корректным: история культуры многословно свидетельствует, что

народы вообще не бывают добровольными помощниками тоталитарных режимов, хотя бывало, что временно ослеплялись радужными перспективами, нарисованными политической элитой.

Карамзин говорил, что счастливейшими для народа бывают первые годы после смерти тирана.

Убеждение многих израильтян в неизбывном антисемитизме Европы вообще и Германии в частности, по-моему, ничуть не лучше любого обобщенного предрассудка. Живя в Германии, я ни разу (sic!) не сталкивался с проявлениями антисемитизма (в отличие, скажем, от России).

Анкета:

1. Эмигрировал я в 1997 году. В Германию, потому что это единственная европейская страна, эмиграция в которую реальна, а жить не в Европе не хочу. К тому же, как историк литературы я всерьез интересовался русско-германскими культурными связями в девятнадцатом веке (в частности, работая над книгой о Вяземском, прожившим в Германии почти четыре десятилетия). Живу в Мюнхене. И занимаюсь тем, чем занимался везде и всегда, – литературой. Работы свои публикую преимущественно в России.

2. За семь лет жизни в Германии мне удалось сделать значительно больше, чем за предшествовавшее десятилетие, прожитое в России.

3. Интересно. А события проникают в мою частную жизнь лишь постольку, поскольку они влияют или могут повлиять на судьбы моих близких и моих друзей, большинство которых осталось в России, но немало и в Израиле, да и в других странах.

4. В Германии я ощущаю себя русским писателем, живущим в Германии. Здесь я не свой и не чужой. Здесь и сейчас я живу и пишу, здесь и сейчас мой дом.

Михаил Блюменкранц

ДЕКОРАЦИИ КРАСИВЫЕ, НО ПЬЕСА НЕ МОЯ

В силу всемирной отзывчивости русского еврея немецкая культура сыграла в моем «собирании себя» роль, уступающую по своему значению лишь русской культуре XIX–XX века (русской, но не советской). По иронии судьбы первая книжка, которую в 5 лет я с увлечением прочел самостоятельно, был увесистый том «Сказок» Братьев Гримм. Однако первая встреча с немецкой народной культурой оказалась насильственно прерванной. Родители заглянули в книгу, которую читало чадо, пришли в ужас от обилия кровавых сцен с отрезаниями пальцев и прочими натуралистическими подробностями и на-

дежно крамолу припрятали, дабы не лишать ребенка детства. Так начинается конфликт отцов и детей. Отцам не приходило в голову, что детское восприятие, в отличие от взрослого, настроено на элемент чудесного и не замечает в сказках той жестокости, на которую болезненно реагирует сознание взрослого. Я понял это позднее, в зрелом возрасте, читая византийские легенды о жизни христианских святых: месть некоторых обиженных проказливыми детьми чудотворцев вызывала отвращение своей несоизмеримой проступку жестокостью. Однако для наивного детского восприятия моральный аспект, видимо, оказывается полностью блокированным завораживающим переживанием чуда. Когда ожидание чуда кончается, вступает в силу мораль. И вместо детской любви к чуду начинаешь любить категорический императив Канта.

Как я решаю свой еврейский вопрос в Германии? Кришнамурти говорил, что на правильные вопросы не существует ответов. Ответы бывают только на неправильные вопросы. Поскольку вопрос неправильный, то ответ, безусловно, есть. В советское время мой еврейский вопрос обычно решал не я, а отдел кадров того или иного учреждения. И, как правило, в апофатической форме: не тот, не то, не так, не требуется, не подходит. В Германии до отдела кадров дело попросту не доходит, и поэтому мой еврейский вопрос здесь, боюсь, неуместен.

К немецкому народу я отношусь с уважением, как ко всякому абстрактному понятию. Хорошо или плохо я обычно отношусь к конкретным представителям того или другого народа. Ничего не могу сказать об особенностях немецкого народа, только об особенностях его жизни. Но об этом довольно много уже написано. Думаю, что в каждом народе существует многообразие национальных типов, и в попытке классифицировать их всегда есть искушение впасть в схематизм, ничего общего с реальностью не имеющий.

По поводу особой «предрасположенности» немцев к антисемитизму мне вспоминается анекдот брежневских времен: «Клиент недоволен тем, как его обслужил парикмахер. Выслушав гневные претензии, парикмахер меланхолично отвечает: "Я понимаю, что вам не нравится Советская власть, но зачем начинать с парикмахеров?"». К примеру, на Украине как национальную гордость воспринимают запорожских казаков и гайдамаков. Даже великий украинский поэт Шевченко, один из нынешних символов украинской государственности, с восторгом описывает чудовищные еврейские погромы и воспевает кровавую резню, которую устраивали эти апостолы свободолюбия. Как часто вспоминают об этой катастрофе евреи, живущие на Украине и зачастую болеющие за нее душой? По крайней мере, не немцы сегодня делают из эсэсовцев национальных героев. «История евреев, – писал Леон Блуа, – противодействует человеческой истории, как плотина на реке служит для повышения ее уровня». Поэтому плотине всегда и «достается» на любом уровне.

О проблеме антисемитизма в Европе. К сожалению, факт имеет место быть. Но европейский антисемитизм, который от старых правых перекочевал к новым левым, основывается на попранном чувстве справедливости и имеет «объективные» основания. Чувство справедливости оказывается удов-

летворенным, когда на протяжении тысячелетней европейской истории убивают евреев, но оно глубоко оскорблено, когда евреи – раз в тысячу лет – дают сдачи. Просто скандал, какими эти евреи оказываются нетолерантными!

Есть некая метафизическая загадка – почему в кризисных ситуациях при смене культурно-исторических парадигм евреи неизменно оказываются в центре событий и традиционно становятся жертвенным козлом отпущения? Недаром Н. А. Бердяев признавался, что среди основных причин, обусловивших его сдвиг от марксизма к идеализму, была неподдающаяся материалистическому истолкованию история еврейского народа. Сегодняшняя ситуация, согласно хантингтоновской концепции о столкновении цивилизаций, взрывоопасна. Мне кажется, что в нынешнюю эпоху стремительной вавилонизации мира, когда существование миллионов людей приобретает номадический характер, особенно важно принимать и оценивать людей по их человеческим качествам, а не по национальной принадлежности. Иначе очередная историческая волна глобализации принесет не единое цивилизованное пространство, а племенные «разборки». И сегодняшние строители Вавилонской башни завтра с тем же энтузиазмом примутся возводить очередную Китайскую стену.

Анкета:

В сентябре будет три года моего пребывания в Мюнхене. На вопрос: «Почему Германия?» ответить легче, чем на вопрос: «Почему эмиграция?» Ко времени моего переезда в Германии уже жила моя старшая дочь с семьей.

Несмотря на Мейстера Экхарта, Баха, Грюневальда, Томаса Манна, Рильке и Шпенглера, а также любезных сердцу романтиков, Германия для меня сегодня – скорее, нейтральный фон. Эмигрант в определенном возрасте, подозреваю, как правило, живет в чужой стране как бы в параллельном мире. В эмиграции человек оказывается отброшенным к самому себе, происходит неизбежная капсуляция. Время словно спрессовывается: год похож на день, и ты уходишь на второй рубеж эмиграции – в свое собственное внутреннее пространство. В дневниках Кафка писал, что мир можно по-настоящему увидеть лишь с того места, где он был создан. Дистанция отстранения, создаваемая эмиграцией, видимо, приближает к этой точке то ли инобытия, то ли небытия. Но плата за «взгляд с точки зрения вечности» – понижение температуры человеческих отношений. Впрочем, на эту тему было немало написано позабытыми ныне на Западе философами-экзистенциалистами.

Я не живу в Германии. Я живу среди декораций, которые именуются Германией. Декорации красивые, но пьеса не моя. Поэтому мне интереснее те события, которые происходят в России, на Украине и в Израиле. И не только потому, что там сегодня более острая историческая драматургия. Это продолжение биографии.

Кем бы я хотел себя ощущать? Если серьезно, для начала было бы неплохо просто себя ощущать. Национальная самоидентификация – это момент вторичный. Страшно, когда он становится основной и единственной мерой человеческого достоинства. Это исторические дрожжи, на которых взошли многие из человеческих бедствий.

Илья Мильштейн

Я – ЕВРЕЙ, КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ САМ ПО СЕБЕ

Я нечасто размышляю на предложенную тему (особая еврейско-немецкая историческая связь. – *Ред.*); причина проста. Боль, неловкость, смущение – вот преобладающие чувства, которые испытываю, думая о том, что живу в Германии. Размышляю нечасто, но чувства эти всегда со мной. Ибо я здесь потому, что часть моей родни погибла в Освенциме. Я здесь потому, что шесть миллионов были замучены и убиты в Европе. Я здесь потому, что разгромленная при Гитлере еврейская община мечтает о возрождении. В чем немецкое общество с недавних пор старается ей способствовать.

При этом я понимаю, что на самом деле все обстоит гораздо сложнее. Никакими особыми льготами по сравнению с другими эмигрантами евреи не пользуются. Что же касается общины, то я, как и большинство еврейских эмигрантов, в ней не состою. В какой-то степени это и есть личное решение «вопроса», хотя никакого вызова тут нет. Ибо моя интеграция (к сожалению?) не состоялась, ни с Германией, ни с евреями, живущими здесь. Как-то так получилось, что еврей по имени Илья Мильштейн, живущий в Мюнхене, был и остался русским журналистом. То есть евреем, который гуляет сам по себе. Перекати-полем, если использовать раздраженную чеховскую формулировку.

Более всего меня волнует то, что происходит в России в путинскую эпоху. Об этом я чаще всего и пишу в здешние и московские издания, словно и не уезжал никогда из своей страны. А Россия остается для меня Родиной, с которой связаны и мысли, и чувства, и профессиональные устремления. Как писал когда-то Сергей Довлатов, «две вещи как-то скрашивают жизнь: хорошие отношения дома и надежда когда-нибудь вернуться...» Впрочем, подобные слова, как и у Сергея Донатовича, вырываются нечасто, в минуты полной безнадеги. Когда ясно осознаешь изначальную абсурдность сложившейся ситуации. Хочешь оставаться российским журналистом – живи в России, не уезжай.

Однако мой дом в Мюнхене, потому что здесь моя семья. Здесь удобно жить и можно работать. В отличие, к сожалению, от России, где большинство друзей и коллег, отвыкших за минувшие годы от совковой цензуры, испытывают все возрастающие трудности с поиском приличных печатных изданий, где еще можно писать что думаешь. В «русской» Германии другая проблема: пиши, что хочешь, но приличных изданий нет. Или почти нет, чтобы не обижать отдельных великодушных издателей...

Каких-то специальных отношений с немецким народом у меня нет. Вообще в столь торжественных категориях, как «народ» и мои с ним отноше-

ния я думать не умею. Есть несколько добрых приятелей, людей уже немолодых, неплохо говорящих по-русски – переводчиков, бизнесменов, славистов и т. д. Иногда мы обмениваемся впечатлениями, в здешних кафешках на свежем воздухе при хорошей погоде. Я им рассказываю про российские дела, они мне – про здешние. Это доброжелательные, интеллигентные, весьма приятные в общении люди. Интерес к России у них искренний и подробный. Читаю я, конечно, и местную прессу, более всего «Süddeutsche Zeitung», «Spiegel» и «Stern», откуда также черпаю сведения о немецкой жизни. Разумеется, смотрю телевизор. Но жизнь тамошняя, московская, вызывающая порой оторопь, отвращение и гнев – все равно интересней. И тут не только профессиональные дела, но и просто личные: количество прошлого в душе взрослого человека превосходит все прочие наслоения.

Общаясь с этими людьми, я с трудом себе представляю, как это в Германии когда-то был Гитлер. Тем более в Мюнхене, городе вполне интернациональном и очень уютном. Вот приезжая в Москву или разглядывая на телеэкране через ресивер рожи некоторых современных наших властителей дум, я легко могу себе представить или хоть припомнить родной домашний фашизм. А в целом споры о «коллективной вине» уже приелись. Если и была эта вина, немцы расплатились за нее катастрофой 1945 года. Однако мне ближе другое утверждение: коллективной вины нет, за преступления ублюдков платят, как правило, невиновные. Иногда – целый ни в чем не повинный народ. Как евреи в эпоху Холокоста. Причем за кого они (мы) тогда платили – постичь не могу. Как бы ни старался А. С. Солженицын подсказать мне верный ответ.

Тем более уж я не склонен переносить вину дедов и отцов на немецких детей. Хотя, постоянно слыша немецкую речь, все же чаще думаю не о Гете с Гейне, а про Гиммлера и СС. Но это – подробность моей личной биографии, которой я с моими немецкими приятелями не делюсь. Это было бы не столько бестактностью, сколько глупостью. Тем более что наши представления о немецком нацизме одинаковы; темы для дискуссий не возникает. О временах фашизма мои собеседники упоминают чаще, чем я.

Есть другая проблема. В здешней русскоязычной прессе, ориентированной на «аусзидлеров» (русских немцев, репатриировавшихся в Германию), время от времени звучат антисемитские нотки. Слышна интонация: мы-то, мол, вернулись домой, а эти евреи что здесь делают? Однако уровень дискуссии настолько низок, что не вызывает желания активно в нее включиться. Это попросту скучно, до ломоты в скулах. Поучаствовав как-то, по просьбе одной редакции, в такой полемике, я предложил ввести запрет на употребление слов типа «антисемит» и «понаехали». Любое письмо или статья с использованием этих бессмысленных, хотя и соблазнительных словечек пусть выходит с цензурными вымарками. Это недемократично, однако весьма полезно в смысле личной и общественной гигиены. Это будет и трудно, отмечалось в той статье, особенно авторам неарийской национальности, с нетитульными носами и грамотной русской речью, зато

воспитает в нас силу духа и дух самоограничения. Ибо никто так не интересуется антисемитами, как мы сами. Никто так долго и хлопотливо не занимается своими пациентами, способствуя лишь углублению тяжкой болезни. Да и никому они не интересны, кроме нас.

Справедливости ради следует сказать, что данные дискуссии сейчас уже и нетипичны для русскоязычной прессы в Германии. Причина известна: здешние законы не приветствуют юдофобию. Поэтому, как я заметил, в «аусзидлеровской» прессе про евреев, как про плохих покойников, не пишут вообще ничего. А в газетах, контролируемых евреями, более всего статей с критикой местной еврейской общины. Причем с годами эта критика звучит все жестче и действует все эффективней. В отдельных землях «русские», используя свои газеты, уже приходят к власти, энергично тесня местных евреев. Из тех рядов тоже слышны крики «понаехали», но все глуше с каждым годом: число «русских» евреев в общинах постоянно растет. Наблюдать это забавно, но всерьез принимать участие в подобных конфликтах как-то не хочется. Опять-таки не мое это дело.

Тут припоминается старый, брежневских еще времен анекдот. О переменах, наступивших в мире ближе к концу XX века: евреи начали воевать, русские – бороться с пьянством, а немцы – за мир. Я живу в самом миролюбивом, правозащитном и великодушном обществе нового тысячелетия. Поразительно, что именно «старая Европа», в особенности немцы, учат сегодня своих бывших победителей и освободителей нормам международного цивилизованного общения. Понимаю гнев американцев, тем более израильтян, когда из Берлина и Парижа доносятся поучения: не убивать, не забывать об уважении к правам личности, о международном праве и прочей либеральной экзотике, утратившей популярность в XXI веке. Но если говорить о европейской особости, то состоит она именно в этих, чуть лицемерных, но внятных пацифистских убеждениях. Куда они ведут? Не знаю. Может, к светлому будущему. А может, в ту же самую пропасть, куда направляют человечество господа Путин, Буш, Арафат, Бин-Ладен. При всем том, что Америка мне, разумеется, ближе, нежели современная российская власть, тем более господа террористы.

Ни с каким бытовым антисемитизмом я здесь вообще не сталкиваюсь, и дети тоже. И сразу припоминается собственное детство, дубровский двор (в двух шагах от «Норд-Оста»), где всех противных сверстников и взрослых я обзывал «жидами» – так было принято. Пока мама с папой не объяснили мне, что с этим словом мне лично лучше бы поаккуратней выступать.

Израиль для меня – тайна. Родина, где я никогда не был. Страна, которой я желаю счастья наравне с Россией. Государство, вызывающее у меня иногда раздражение, смиряемое пониманием диких обстоятельств, в которых оно вынуждено существовать. Наблюдая порой черты сходства в действиях Шарона и Путина, я пишу об этом, но о чеченской войне думаю при этом куда больше, чем об израильско-палестинском конфликте. Хотя бы потому, что в российских делах лучше разбираюсь. Да и не вижу сегодня достойного вы-

хода из ближневосточной бойни. Впрочем, и чеченская война стараниями России и самых отмороженных из террористов все более заходит в тупик.

Немецкая политика по отношению к Израилю видится мне (за редкими исключениями типа покойного Меллемана, которого здесь почти никто всерьез не воспринимал) нормальной. Чувство вины у партайгеноссен самых разнообразных окрасов преобладает. И даже в тех случаях, когда немцы желают вступиться за обиженных арабов, они делают это вполне политкорректно, в отличие, скажем, от французов и англичан. Таковы правила здешней игры, которые не изменятся еще очень долго. Потому что тут не только игра, но и живое чувство стыда за содеянное другими немцами в другое время.

Безусловно, я здесь в гостях. Официальный статус «контингентного беженца» (при всей его условности и притом, что половина «беженцев» один-два раза в год посещает страну своего «изгнания») означает примерно вот что. Гость поселился в чужом доме после того, как хозяин долго и многократно уверял его в том, что всегда будет рад его видеть. Но проходят годы, гость обживается, расставляет в своих комнатах мебель и книги, а вот деньги в дом почти не приносит. Причина глубоко объективна: он стар (в Германию из СНГ приехало немало стариков-евреев) или не может здесь найти работу (в ФРГ и немцы страдают от безработицы, год от года все сильнее), или зарабатывает недостаточно, чтобы прокормить семью, и его приходится частично поддерживать (мой случай, да и не только мой). Враждебности он не ощущает и никогда не почувствует, но о некоей двусмысленности своего положения, если не пенсионер и не инвалид, не задумываться не может.

Для меня лично этот сюжет тем острей, что я никогда не забываю о том, где живу. Детям это по барабану, жена у меня нееврейка, так что с этими своими мыслями сижу один. Избыть их невозможно даже в том случае, если стану миллионером. Однако получать хотя бы частичную социальную помощь именно здесь довольно тяжело. В Америке этого чувства я бы не испытывал, не говоря уж об Израиле.

Вот такой парадокс. Современная Германия вызывает у меня уважение. К современным немцам ни малейших претензий нет. А с этим свербящим чувством униженности неизвестно перед кем ничего поделать не могу. С ним и работаю, с ним и помру, даже если удастся приподняться над «социалкой» и глотнуть свежего воздуха свободной, независимой от подачек жизни. Как это было в России в эпоху перестройки и во времена Ельцина – пока не уехал.

Анкета:

1. Эмигрировал в Германию в 1997 году. По целому ряду причин. У меня два сына, и я не знал, на какую из чеченских войн они поспеют, когда подрастут: третью, четвертую, пятую? И я не был уверен, что сумею их «отмазать» от армии. Кроме того, эмиграция в Германию была удобной и простой. Близость к России, в отличие от Штатов, куда уже не пускали, тоже сыграла не последнюю роль. Но в чем-то выбор был и случаен. Я бы не возражал жить и во Франции, и в Италии, и в Испании. Но более всего – в свободной и благополучной России. На карте ее нет.

Основные занятия тут – русская журналистика, преобладающие темы – политические, связанные с московскими сюжетами. Но, конечно, и Чечня, олигархи, и отношения России с Европой, иногда Израиль. Люблю и жанр интервью, дающий именно журналисту возможность беспошлинного общения с разными замечательными людьми. Например, в Мюнхене живут Борис Хазанов и Владимир Войнович.

2. Жить здесь удобно, хотя и одиноко.

3. Повторюсь: Россия ближе всего. Я там родился и прожил немалую часть сознательной жизни. Истребить прошлое в себе нелегко, да и нужно ли истреблять, представляясь не тем, кто ты есть на самом деле?

4. Для немцев я – русский эмигрант. Себя ощущаю по-разному. Чаще всего – русским евреем, живущим в Баварии. Хотел бы ощущать себя добрым, хорошим, талантливым, порядочным человеком. Такая безобидная мечта.

Ирена Лейн

ПРЕЛЕСТНЫЕ ИСТОРИИ

С пустыми прилавками, с голодным обмороком было в целом покончено. Но, загнанное в тупик своими оловянными генералами, правительство готовило очередную партию мяса. На сей раз – пушечного. Для доведения зачисток – так остроумно и оловянно это теперь называлось. Шел 1994. Одного двадцатилетнего паренька, весь боевой опыт которого заключался в игре «в войнушку» в душанбинских дворах, вызвали в отдел кадров и сказали: «Все, дорогой, отсиделся за сценой, в понедельник приходишь с вещами и – в Чечню». Разговор происходил у Марка Захарова, в московском театре Ленком, все еще ленинского комсомола театре. На войну отправляли моего сына Сергея. Он пробасил героически: «Маман, я все решил, мне все равно, иду в морской десант». Вечером позвонила дочка и бодрящимся голосом сообщила похожий сюжет. Ее Андрей как раз писал инженерский диплом, без пяти минут строитель, так сказать. Его уже можно было брать. Тепленьким.

Стояла весна, по Москве вылезали липовые листочки, и я подумала: «Ну вот, дожили! Наконец наступил час, когда мои мальчики станут героями, а если надо, лягут костьми...»

Что, не верится?

Тогда я подумала: «Ну, все! Теперь мы уезжаем. Причем туда, где войною сыты. Дети должны растить своих детей, а не убивать чужих».

Ирена Лейн – филолог, театровед, писательница.

О, я хорошо помню эту мысль, электрический разряд, расколовший нашу жизнь, как фарфоровый предохранитель, на две совсем неравноценные половины. И я могла бы написать здесь, что стояла на горе Синай, и мне явился Господь в дыму и пламени.... Но Господь тут ни при чем. *Маман*, принесшая на свет детей, отвечает за несчастья, которые она им этим актом уготовила. За сладкие пончики тоже отвечает, но значительно меньше. Когда это простое открытие настигает тебя лично, получаешь удар током, будто напоролась животом на оголенный провод.

Итак, оставалось решить – куда. В помойное ведро полетели приглашения из Америки, Австралии, Новой Зеландии, Канады – что там делать без английского, даже рядом с родственниками знакомых или знакомыми друзей? Я сгибалась пополам, прижимала ухо к собственному животу и вслушивалась. Я ждала зова внутреннего голоса. Иногда кто-то урчал: *Le haim kasaki...sai gesund detozka...mah doh kniksen*. И это было животное подобие немецкого. Внутриутробное внушение? Зов неведомых предков? Но если звали предки, то почему не в Землю обетованную? Нет. Конверт из Израиля еще какое-то время пылился между книгами и тоже исчез. Я искала ответы, но преследовали меня совсем другие звери – хищные, опасные – вопросы.

Я мучительно думала: неужели и почему моих таких теплых и мягких ребят должны погонять блюстители идей, служители культа, неважно какого? Райкомы мы уже проходили, райкомы комсомола и райкомы партии, коридорами и так, проходили даже красные ковровые дорожки ЦК, а также их буфеты. Сонные партсобрания с прикрытым газетой детективом на коленях. Коллективные читки и чистки, махалки флагами и демонстрации единства по спискам. Все было.

Что у нас с синагогами? Ни одна не впечатлила. Замурзанное оконце, бутылка вина и горсть карамелей на грязной бумаге у бухарских евреев показались мне странными. Но, может, эта глинобитная мазанка на краю Душанбе и не была истинной синагогой? Затхлые тряпки в Марьиной роще я еще могла себе с натугой объяснить, но, батюшки мои, за что же такой бессмысленный властитель дум, с неба не сошедший, а как бы с потолка свалившийся. Кому он равен, это раввин? Может, Марьина роща не та астральная точка вселенной? Что-то поднимало диафрагму в Хоральной синагоге на Архипова, что-то серебрило душу. Греческий портал? Ханукальные народные песни и пляски? Татарский хор, вот что! Хор был разнообразен и хорош! Без скидок на народные беды. Даже для Большого зала Консерватории – хорош. Особенно его востроглазый и пронырливый как чертяка директор Миша. Хор, как путь к храму, и Миша с портфельчиком во главе? Ох, что-то все это малоправдоподобно. Я вообще долго пребывала в невинном неведении, по каким таким признакам должна относить себя к евреям, хотя, помня законы природы, догадывалась, что признаки быть обязаны.

Чтобы доказать собственное «еврейство», требовалось изрядно изворотливости и природного ума. А с этим ведь обычно не ахти как. «Европейство» же лежало всегда на ладони, порхало на кончике языка, даже лезло в

глаза и иногда неприлично выпучивало наружу. Особенно в иных краях с другими ландшафтами. Мое ли еврейское счастье это было, не знаю, но какая-то жуткая сила перенесла меня на 5 тысяч километров. В два межконтинентальных прыжка. Вначале от нежного детского взморья в несметную Москву на учебу. А потом, придержав слегка, воткнуло вниз головою между жарким местом, называемым Гиссарская долина, и ледяным местом по имени Памир. В самое наливное яблочко Средней Азии. Надолго, на целую жизнь. В Азии я родила девочку и мальчика, которые евреями не были, азиатами не стали, но, став большими и полувзрослыми, назвали себя европейцами. Европу выбрали себе сами. По какому признаку? Может быть, по месту прирастания чувств?

Там, в моей Средней Азии, я обнаружила еще много разных людей, которых что-то катило по суше из конца в конец, от моря до моря, от Одессы до Владивостока или от Кишинева до Биробиджана. Их гнали какие-то посиневшие воспаленные идеи, не имеющие корня и поэтому не способные взять пищу из почвы. Или их гнала расплата за эти идеи, она настигала неизбежно и катила горячие головы дальше. В пути с голов опадали кудри, зубы и блеск зрачков. Беззубые старики еще помнили, что скакали когда-то на коне и махали шашкой, но на чьем коне, уже не очень помнили. Они даже не помнили, как нарекали селения тысячелетних местных племен в имена их жутких врагов, самых ненавистных, самых бессмысленных и жестоких. Некоторые из них тоже не помнили своего еврейства, как я не помню. Или бежали от него, как я бегу? Как далеко позволено сбежать? Куда еще позволено вернуться?

Иврита я не выучила, кроме одной буквы, самой первой буквы алфавита. О смысле идиша с напряжением догадываюсь, хотя каждый пассаж на этом ломаном-переломаном немецком заставляет меня улыбаться, вспоминая бессмертную Одессу, а также мальчика *Мотла* и *Тевье-молочника*, о которых я, впрочем, читала у Шолом-Алейхема все-таки по-русски. Было еще одно потрясение в моих литературных блужданиях: роман «Лестница в небо» замечательного писателя Григория Кановича. Какой он писатель, чей – русский? Литовский? Местечковый? Советский? Европейский? Израильский? Еврейский? Азиатский? Вот-вот, тут как раз и начинаются первые признаки еврейства. Именно тут. Остановить этот водопад вопросов позволяет только одно слово: *Нобелевский*. Как с Иосифом Бродским. Он велел похоронить себя в виду Венеции, на вечном острове между всеми континентами, великий мастер и паяц. И тем закрыл список вопросов. Дети, птицы и поэты – блаженны.

Моя мама, красавица Рахиль, по-русски изъяснялась с ошибками. Ее родным был язык Гете. Гордая маленькая Рахиль училась в немецкой гимназии города Риги, куда была отдана моим дедом Ильей, хотя солдатом он исправно отслужил русскому царю и на войне четырнадцатого года как раз в немцев-то и стрелял. Мама засыпала с романом Манна на груди и томиком Гейне под подушкой, но об эмиграции в Германию не хотела даже го-

ворить. Она считала, что работать на капитал – *стыд и срам* для настоящих коммунистов. Так же как, например, ходить *нечистым трубочистом*, что она умудрялась параллельно внушать моей дочке. За меня моя мама писала сочинения по иностранному, переводы газетных тысяч, двадцатью годами позже все еще шептала неправильные глаголы моей Марише, а перед своей смертью успела заполнить наши эмиграционные бумаги. И все это делала без единой помарки. Но ее акцент заставлял меня краснеть перед дворничихиными детьми.

Как всякий рыжий ребенок, я краснела по любому поводу, щеки мои цвели. Я плакала. Я умоляла маму не ходить на родительское собрание с ее акцентом. Я ненавидела акцент, маму, готические буквы, очередь за сахаром, слово «жидовка», рыбий жир и дворничихиных детей. Я ненавидела мамино занудство про индуистские свастики солнцеворота так же, как и сами эти свастики на заборах. Я ненавидела под заборами обмоченных пьяных мужиков в задранных гимнастерках, русского попа, не верившего в коммунизм, кислый кефир и сползающие рейтузы. Но больше всего на свете я ненавидела свое лицо в зеркале. Вот они и проступили – вторичные половые еврейские признаки!

Придя в себя после детства, я стала понимать, что замечательные книги в тисненных золотом переплетах, занимавшие почетные места на улице Революции, – Гейне, Спиноза, Фейхтвангер, Целан, Закс, Кафка, не совсем как бы и немецкие... Впрочем, мама знала в этом толк. Вернувшись из уральской эвакуации в свободную от немцев Ригу, родив меня и тут же сбросив на руки бедной бледно-белой няне Лене из белорусских погорельцев, со страстью погрузилась в устройство городской книжной торговли. Она заведовала сначала одним магазином, потом двумя, потом тремя. Вскоре у нас дома стояли стеной и русские тома: Эренбург, Маршак, Ильф с Петровым и Катаевым, Бабель и Пастернак, Гоголь прижизненный, Пушкин академический. Правда, за легкомысленными папиными французами, Флобером или Мопассаном, приходилось лезть на две табуретки и рисковать шеей. Но и это не помешало мне дососаться до сладкой мякоти языка.

Больше всего на свете я любила болеть ангиной. Щеки мои цвели, с двумя алыми гирями в горле мне разрешалось надеть шерстяные носки и, обложившись книгами, развалиться на родительском диване. Родителей никогда не было дома: они строили коммунизм. Однажды мама внезапно вернулась домой среди бела дня и, поверив моему искреннему вранью про невозможные боли в животе, свезла меня на такси в больницу. Так в четырнадцать лет мне вырезали ни в чем не повинный аппендицит. Не с книжных ли полок нашего детства выглядывает этот третичный признак еврейства?

Я все еще тащу за собою ящики с книгами, такими пожелтевшими, такими растрепанными, но такими родными. Уже почти растеряла по свету родительское наследство. Не помню, у кого оставила бабушкин серебряный с вензелем половник, кому отдала на хранение золотые побрякушки с зубными коронками. Недавно обнаружила в старой готовальне, в ямочках

ее черно-чернильного бархата, миниатюрные швейцарские часики – свадебный подарок моей маме от ее папы. Сидела, смотрела на них, да так и не смогла решить, что делать. Защелкнула раковинные створки дедовской готовальни и запихнула в дальний угол. На следующие десять лет.

Уже десять лет я живу в Мюнхене. Иной раз мне кажется, что я – первобытная птица на длинных ногах. С мясистыми ляжками и выпуклой грудью. Все остальное – острая птичья голова, более или менее бесполезная. Скрипучий тарантас двумя оглоблями примотан к шее. Шея облезла и болит. Огромными первобытными прыжками я передвигаюсь по суше. Мои пожитки всегда при мне, в тарантасе, и он норовит отбить мне мои костяные пятки. Детишки мои резвятся сверху, то спрыгнут и исчезнут за поворотом, то вдруг, гляжу, снова подсели и устраиваются, старое мое синее пальто с норкой под колени подтыкают. То их двое, то четверо, а вот и опять маленькие появились. Я все время куда-то скачу и косым птичьим глазом поглядываю назад. Может быть, пора пристать к своим? Снять хомут, обмотать шею широким бинтом. Осесть среди народа своего?

Вопли и страстные воззвания на общинном собрании что-то удручающе напоминали, какое-то старое немое кино. Микрофонов не нашлось, вот в чем было дело, но со сцены уже махали руками те, кто успел взять ее на абордаж. Старинная народная игра в пираты. В эти дни рижский Дом политпросвета вернули народу. Но не всему, конечно, а исключительно его еврейской части. Вдруг стало модно думать, что, разделив граждан на верных и неверных, можно будет опять зажить как в раю. Впрочем, на соседней улице отдали народу Дом офицеров, он достался латышскому народу. Две халявы, два дома захлопнули двери, подперли их кольями и повернулись к улице задом. Искомое народное счастье стало выглядеть мрачновато.

За длинным столом президиума, обтянутым тем еще пропагандистским сукном, горячились сограждане. Им давно казалось, что их недооценивают. Они были полны блистательных планов и благих намерений, которыми вымощена дорога кое-куда. Так записано в Ветхом завете, если верить словам. Что они делали? Что делили? Это был звездный час друга моего детства, который провалился на экзамене в институт или был зачем-то провален антисемитами. Почему меня, притиснувшуюся в последнем ряду, заливали жаркие волны стыда? Неужели от вида этого сукна? Через пару лет, привезя в Ригу волшебный кукольный театр, чтобы показать его «всем на свете детям», я снова пыталась встретиться с моим другом детства. Мне казалось, что и детям этой общины сказки не помешают, тем более что их папаши были так заняты своими новыми игрушками – бутиками, банками и склянками. Но мой друг все еще что-то с кем-то делил, поняла я, пока сидела в его высокой приемной. Он протянул мне руку через просторный стол и сказал, что *занят абсолютно*. Теперь он был большим начальником евреев, но не был больше мне другом детства. Отчего-то мне опять стало до тошноты стыдно. За меня, за кукол, за детей. Щеки мои цвели. Больше я в общину не ходила.

Я не знала дороги в синагогу родного города. Ее не знали, очевидно, также мои родители. Обнаружив несколько довоенных фотографий моего деда Давида, я вдруг поняла, что Давид Лейн был отнюдь не местечковым типом в пейсах, а элегантным господином в крахмальной стойке и *галстухе*. Фотографии еще носили остаток запаха его рижского одеколона. Прабабка, гордо оттопырив заднюю часть упругой драповой юбки, ухмылялась вполоборота из-под полей чудесной парижской шляпы, увитой виноградными гроздьями *a la façon* 1912. В год рождения моего отца она решила сделать *фото на память*. Допускаю, что шляпу она сняла с крючка в мастерской *Фотография и дагерротип Блументаля в городе Двинск*. Но юбка чеховской девушки, юбка определенно шилась на ее талию?

Господин в *галстухе* держал магазин модной обуви на Суворовской в Риге, имел полдома и счет в швейцарском банке, не подозревал, что станет моим дедом, и послал своего младшего отпрыска шестнадцати годов учиться в Бельгию деланью шерстяных тканей. Текстильное дело обещало быть прибыльным гешефтом. Мой отец вернулся из Вервье франтом, футболистом и коммунистом, привез диплом и мотоцикл *Bugatti*. Как ни странно, все это вместе замечательно уживалось в молодом весельчаке, которого интересовали больше всего, конечно же, гонки. Тенор Александрович пел соловьем в рижских салонах, вино и кино кружили головы, барышни кружили по бульварам и по взморью. Ну, и… Словом, моего отца пришлось женить. Обо мне не было и речи, но появился маленький пухлый мальчик в кудряшках, чье имя я уже никогда не узнаю. Он смотрит на меня с фотографии. Мой навсегда маленький старший брат, а почему-то похож на моего внука. Кудрявый светлый мальчик, белые ботиночки, белые носочки, бант. Он пытается обнять за шею сразу и папу, и маму, это так важно. Это так важно каждому ребенку.

Люди с этих переживших войну фотографий войны не пережили. Все, кроме тенора Александровича и молодого весельчака, который после войны оказался моим отцом. Они могли не пережить ее как белорусы, как поляки, как русские или немцы, но они не пережили как евреи. Война свалилась всей Европе на голову, евреев война жгла в крематориях. В этом месте я понимаю, откуда я родом и что меня ждало, родись я десятью годами раньше.

У меня сжимается горло, я зову внука Даньку со двора и крепко прижимаю к себе головку моего кудрявого светлого мальчика. Следом несутся его пятилетние дружки, кто с оцарапанным носом, кто с ободранной коленкой, и выстраиваются передо мной в радостном ожидании. Кутята, они еще не подозревают, что они – немцы, хорваты, итальянцы, турки, поляки, греки, арабы. Рассказать им или пощадить? Может быть, что и эти младенцы уже несут вину? Или понесут, как только вырастут лет до десяти–пятнадцати. Тут-то мы на них все и повесим. Скажем всем ясно: они виноваты в том, что натворили их прадеды, кто – стреляя, кто – потакая, а кто – подводя теоретическую базу! Так и сделаем. На второе и третье поколение уже повесили, зачем останавливаться зря? Это же очень удобно: брать мзду за

убитого дедушку с правнука убийцы. Главное не дать колесу остановиться и все время жать на педали, повторять аргументы.

В Мюнхене можно о многом узнать, если слушать не перебивая. На русском языке, без переводчика, прямо в трамвае. Совершенно особая задача – проникнуть внутрь. Вначале было любопытно. Я еще помню холодный пот между лопатками при виде белой двери зубного врача, при легком запахе советского формалина. Полуобморок. Кто его не помнит? Здесь я постепенно стала забывать. Потому что не больно. И не страшно. Нигде не страшно. Перед кабинетом дантиста, представьте, не страшно. Зато пред входом в синагогу мокрые мурашки привычно спускаются по спине в трусы.

Однажды в праздничный весенний вечер сквозь стальной тамбур общинного центра в Мюнхене пытались проникнуть внутрь три немолодых человека. У одного не было бумажника, у второго – пиджака, на третьем были надеты не те штаны. Ничего смешного: у всех троих не оказалось с собой паспорта. Двое из них, тем не менее, объяснялись на подобии иврита, и часть из них была двумя дамами. Все трое пытались сдать входной экзамен вооруженной охране, набранной для острастки горожан из боевой гвардии одной ближневосточной страны. Охрана вела себя достойно – не понимала шуток и не отвечала на улыбки. Трое пришлых городских дурачков по-детски демонстрировали национальное единство. Наконец не выдержали нервы у хорошего бразильского архитектора.

Я давно не встречала такого темпераментного остроумного красавца, вечер вообще обещал сложиться замечательно. Но гвардейцам мюнхенского общинного центра еврей из Бразилии не понравился, и они подали куда-то вдаль страшно тайный сигнал. В низких автобусах, стоявших на противоположной стороне улицы, зашевелились, неслышно разомкнулись бронированные створки, и из них на помощь еврейской гвардии полезла зеленая немецкая полиция с наручниками. Немая сцена. Ужас на лицах трех мирных граждан. Что, не верится?

Мы от них отбились, как могли. Ушли из синагоги с поднятыми руками. Правда, недалеко, всего лишь за угол. Выбрали ресторанчик под мирным радужным флагом мюнхенских *швулей*, уселись в самые плетеные кресла на свете, без всяких паспортов и с облегчением заказали бутылку итальянского красного. Всю круглую площадь размером с цветочную клумбу, полную людей самых разных ориентаций, накрывала огромная квадратная тень оперного театра. В радиальные улочки, от площади – вниз и вверх, сочился оранжевый вечерний сок. Воздух постепенно делался все более жидким, все более голубым и прохладным, и, наконец, над каждым столиком по всему кругу зажглись тонконогие грибы воздушных грелок. Бразильский архитектор затеплил нашу субботнюю свечу от зажигалки и дал огонька латышской журналистке и украинской программистке. Мы тянули светлый сигаретный дымок, болтали на единственном понятном всем нам языке и понимали, что на этой площади, в этом городе, этим вечером и, возможно, еще какое-то время мы живем в безопасности. Не надо только доб-

ровольно натягивать себе на макушку гетто. Это такой традиционный национальный головной убор. Четвертый вторично-половой еврейский признак. Что, не верится?

Если вы не читаете по-немецки, но хочется небывало ярких впечатлений, то надо попросить перевести себе пару передовиц из *Allgemeine Judische* – общегерманской еврейской газеты. Она издается не просто, кем попало, а большим советом – как бы ЦК всех евреев Германии. Неважно, что происходит в мире, вы достоверно узнаете, кто и как нас обижает, в чем они опять виноваты, как мы требуем извинений: устно или письменно, но лучше всего – неоднократно и материально. И мы не забудем, и, боже сохрани, не простим, и будем помнить вечно. В этом или примерно в этом – сермяжная правда передовиц. Вы можете, конечно, развернуться и вышвырнуть газету в окно, в сердцах «сплюнуть оземь». Но что изменит смешной ваш акт протеста?

Человек – животное общественное. И болезни у него встречаются удивительные – от зверского геморроя индивидуального размера до широкого общественного психоза с приступами массовой истерии. Это факт медицины. Но вот вообразите, что наша газета позволила себе назваться *Allgemeine Deutsche* – общегерманской немецкой газетой и только один раз решилась бы рассказать, как…

Представить себе просто: местами меняются «мы евреи» и «мы немцы». Да не сложно это, в детстве все баловались, подставляли, скажем, в песню о Сталине – «в штанах» и «без штанов». Какие жирные, какие сладкие мураши ползали тогда снизу доверху. И обратно донизу. Ах, сладкий риск онанизма на губах!

…как бы справедливо и немедленно возмутилась интернациональная общественность, как страстно обвиняли бы *немецких националистов* в раздувании нового кошмара, как бы утирал пот с лица Конституционный суд. А нам, евреям, не то чтобы разрешается все, но глаза на всякий случай прищуривают. Больны мы или здоровы? Я лично еще умом крепка или меня лучше не трогать? Почему для них исключено то, что для нас простительно?

Чего взыскуем – хочется спросить господина издателя нашего пухлого листа, во что играем – спросить господ редакторов, – в надувной презерватив? А если от этих коллективных ваших поигралок он все-таки лопнет, и Froilain забеременеет? Я даже могу догадаться, что плод любви будет называться антисемитизм. Я даже подозреваю, что всем нам станет не по себе от этого чада, а, возможно, и – худо! Что, не верится?

Вот и Соломону Давидовичу не верилось. А его взяли. Прямо в проходной текстильной фабрики. Мой папа так любил клубнику сорта «виктория», он макал ее в сахарный песок и прижимал к нёбу. Он не мог поверить, что все пропало, что все исчезли, и вернулся из Германии в свою ненаглядную Ригу, теперь уже в страну советов, чтобы их искать. Я не знаю никакой войны, но помню себя лет с трех, пожалуй. Папа крутит сальтомортале на пляже, несет меня высоко на плечах, я боюсь и плачу, за это он

разрешает всего себя зарыть в сахарный взморский песок. Ребра его похожи на шпалы. По пути к морю мы каждый день переходим железную дорогу в одном и том же месте.

Есть преступления, простить которые – преступление. Те, кто измывались над ним пять лет, перегоняя из одного концлагеря в другой и ведя этому безупречный бухгалтерский учет, давно исчезли с земли. Отец их не простил. Они умерли непрощенные. Он сам сильно пережил своих мучителей, но помнить их он не желал. Ни одного дня.

Мои молодые родители сдвигали в дачном саду столы, тарелки брали в прокате. Веселым скопом крошили винегрет в тазик для мытья ног и оливье – в тазик для мытья рук, в ведре взбивали венчиком клюквенный мусс. Они гудели и бузили, танцевали до утра, пели венские куплеты, а потом «Жди меня, и я вернусь» с «Катюшей». Папа затягивал со своими институтскими дружками песни Ив Монтана на том фантастическом французском. Я никогда не слышала от его друзей рассказы о фашистах, о зверствах, о геройствах.

Все они чудом уцелели и как будто бы сговорились молчать. Фокусник Костя Каплан показывал фокусы. Доктор Миша Волперт вырывал гланды. Профессор Боря Класс читал лекции. Дядя Юзя заведовал ватной фабрикой, а тетя Лиля – *шикарным* кассовым аппаратом в первой аптеке. Соломон Соловейчик всегда звонил, когда мы садились ужинать, чтобы посоветоваться с папой про текстильную промышленность. Дядя Абраша тоже был текстильщик, он вязал капроновые чулки, но значительно больше любил свою тетю Ивон, которую привез себе из Бельгии. Ивон подарила мне аквариум с золотыми рыбками. Каждый из них нам что-нибудь подарил, но ни один не проронил ни слова о концлагере. Почему? Может быть, они ощущали произошедшее несчастье огромным, страшным, непостижимым, непростительным собственным позором?

Вылезая из окна дачи на рассвете, мы с братом находили в саду еще не убранные столы, и можно было доедать салаты прямо из общих блюд, отгибая завернутую утренним ветром скатерть и вытаскивая из майонеза тонкие сосновые иголки. Это и была самая вкусная еда на свете.

Отец никуда не писал, не просил компенсаций, не желал подачек. Он был природный пахарь, мужчиной его делали не волосатые ноги, а гормон порядочности, и он умел нести необъяснимую вину войны, как тайну. Уже довольно беспомощным стариком, но все еще напевающим своего любимого Ив Монтана, мы перевезли его в Мюнхен. А он все вспоминал одного рижского юмориста: «Пенсия у меня хорошая, но маленькая». Тут с пенсией было все в порядке. Не с неба, конечно, от людей с именем и фамилией на счету появлялись деньги. Но как я не удосужилась разобрать еврейский алфавит, так не доходят руки разобраться с этими людьми. Когда получателя не стало, я написала несколько не больно веселых писем, найдя адреса в телефонной книге. Письма назад не вернулись, то есть дошли. Кто они и почему раскошеливались? Чиста теперь у них совесть и чем, соб-

ственно, была замарана? Мне думалось, что всех, на кого только нашлись в послевоенные годы хоть какие-нибудь свидетели, давно расстреляли. Значит, скидывались дети тех, дети детей тех?

Мой папа стал ужасным богатеем. Кроме шуток. И кроме виллы. Он носил костюм *Boss*. *Hugo Boss*, поддевал тепленькое от *Calvin Klein*, а поскольку его довоенный знакомый *Bugatti* бросил клепать мотоциклы, папа согласился на плащ от *Bugatti*. Пижон, что тут сделаешь. А кому сегодня легко? Что можно было еще купить на эти сумасшедшие деньги, и он сказал: ты всегда была а *mischugene fisch*, так купи ребенку рояль. И я купила его правнуку недостижимую мечту всей моей трудовой деятельности – вишневое пианино, так сказать, небольшой склад вечной музыки. Тем более что его правнук был моим внуком. А на сдачу – пачку сигарет.

Вчерашние разговоры старый дед уже не помнил и каждое утро, подходя к окну, смотрел потрясенный: ты помнишь, раньше, до войны, здесь столько автомобилей не стояло! Из кардиологического кабинета, где он страстно отдавался кручению педалей, прищепленный к измеряющим приборам, слышалось хихиканье медичек. Его немецкие шуточки и бессмертный *Ив Монтан*, сидевшие в печенках у родни, все еще веселили престарелых *Froilain*. Доктор сказал: парень здоров, рекомендую хорошо кушать и много дышать. Отец дышал до 90 лет и умер, со всеми простившись. Или мне этого так ужасно хотелось?

Внуки его мучителей ухаживали за ним, как за грудным ребенком. Никто никому не докладывал перекрестных перипетий биографии. Просто седые люди еще справлялись с горькой арифметикой годов рождения. Наверное, при виде своего ровесника из той жизни они припоминали, как вылезали из кирпичных дыр, как тащили за тонкие руки своих младших и какой висел над свалками руин смрад жженого мяса. Пожилые санитары «скорой помощи» совали мне в руку записки со своими телефонами. На случай чего... И этот «случай чего» наступал в самые непрошеные моменты.

Однажды наш дед, совсем уже не понимавший разницы между верхом и низом, открыл дверь наружу, сел в лифт и через пять минут исчез в окружающем пространстве. Растворился. Заполошная езда на велосипедах по Олимпийскому парку, на берегу которого стоит наш дом, ничего не прояснила. Соседи и дети развели руками. Смеркалось, начинало моросить и дуть. Я убедилась, что он ушел в моем лучшем шелковом халате, а также в тряпичных тапочках типа «эрмитаж», и в носу у меня принялось что-то необратимо щекотать. Выложив на стол большую фотографию, нестираные дедовские подштанники, я вызвала по телефону наряд полиции с ищейкой. Я еще помнила, что ищейке дают понюхать. Читанный в отрочестве «Эмиль и сыщики» был написан все-таки про немецкие дела, да еще и нобелевским лауреатом из местного ПЕН-клуба.

Наряд полиции приехал через семь минут. В моей квартире немедленно образовался штаб. Через десять минут прибыла подкомиссия по убийствам с большим китайским фонарем и полезла в подвал искать следы крови, а на

двенадцатой минуте въехал их шеф с электрическим щупом. Боевые коллеги звонили куда-то по моему телефону, а также переговаривались по рации с бороздившими округу полицейскими автопатрулями. Из моего факсового аппарата на пол вылез план пересеченной местности. В квартиру ввалилось свежее подкрепление, которое радостно хлопало по плечам отбывающих на заслуженный отдых. В моей квартире происходила дежурная пересменка. Здоровенные парни, свернув в трубочку тибетские ковры, чтобы не топтать искусство ногами, громко пили воду, рассказывали про жизнь и на балконе устроили вполне приличную курилку. Прижимая к груди особо ценные подштанники, я робко поинтересовалась, когда же подъедет собака?

Мне сообщили, что вместо нее на подлете военно-полицейский вертолет с прибором ночного видения, который, оказывается, способен в высокой траве учуять ежика, не то что старого деда. В открытые окна и двери балкона свистал ветер. Я прикрылась подштанниками, чтобы не схватить ангину, и загрустила, чужая и одинокая на этом празднике жизни. Мне подумалось, что когда нашего большого деда в шелковом халате на босу ногу ночью обнаружат с вертолета в Олимпийском парке, он будет, очевидно, не теплее маленького ежика.

Заваруха закончилась неожиданно, как раз в ту минуту, когда летучая акула стратосферы начала месить воздух над нашим микрорайоном. На мой телефон позвонили с центрального полицейского компьютера Федеральной земли Баварии и отрапортовали, что соседями обнаружен неопознанный дед, на нашей улице. Все побежали вниз, придерживая на боках пистолеты, фонари, резиновые перчатки, дубинки и наручники. Из соседнего подъезда вывели под ручки широко улыбающегося и совершенно тепленького деда. Коммунист Соломон Лейн опять пережил немецкую военную операцию и вышел сухим из воды.

Сказать честно, я довольно долго не вполне верила, что весь заказанный мною компот из дорогих развлечений обойдется без подобающего финального счета. Но счета действительно не прислали. Подарок налогоплательщиков, поняла я, и мысленно поклялась стать в их стройные ряды. Сразу. Как только получу гонорар за эти прелестные истории.

Нелли Мишнаевская

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА ЕСТЬ «МЫ» И «ОНИ»

Мы приехали в Германию в самом конце 1994 года, почти 10 лет живем в Штутгарте. Решение было нелегким, но наша дочь к тому времени уже жила в Германии, а наша жизнь на Украине становилась все более бессмысленной: работы становилось все меньше, специалисты разных уров-

ней перемещались в «челноки» и ларешники, друзья разъезжались по миру, а родной город все больше превращался в «Планету обезьян» – тупорылые «качки» в майках и татуировках вытеснили с улиц Киева человеческие лица. Деньги уже нельзя было заработать, их стали «делать».

Вот так мы и уехали и именно туда, где были наши дети.

Почему именно в Германию? Это не было специальным выбором моих детей, их решением было – уехать: от отсутствия своего жилья, от репетиторства вечерами после работы, от финансовой зависимости от родителей, бесперспективности, невозможности построить достойную жизнь. Они не хотели жить будущим вместо настоящего. И если мы к 80-м годам давно расхотели быть патриотами чего бы то ни было, то сегодняшние 40-летние патриотами никогда и не были.

Америка была им недоступна, а письма и публикации из Израиля убеждали в том, что не только 60-летние, но и 30-летние из бывшего СССР никому там не нужны; молодые образованные люди не слишком были увлечены перспективой мытья чужих лестниц и подметания улиц. Первый эмигрантский порыв, когда по идейным соображениям рвались на выезд в Израиль одни, а по всяким другим причинам – в Америку и в Австралию другие, наиболее активные и энергичные, к этому времени поутих. И наши ровесники – среднеблагополучные, среднеевреи и среднеэнергичные – составили основную массу сегодняшних «контигентных беженцев», как их называют немецкие власти, евреев и полуевреев пенсионного возраста.

Среди них оказались и мы. К 1986 году мы уже достигли каких-то средних успехов в работе, получали среднеинтеллигентские зарплаты, обзавелись атрибутами среднего советского благополучия, а также «связями», дающими возможность «по возможности» помогать своим детям. Наши «средние» финансовые и культурные потребности средне удовлетворялись.

Мы, как евреи везде и всегда, внешне смирились с тем, что нельзя, и старались с юмором жить в том, что можно.

Но произошло то, что произошло: Чернобыль, развал Союза, местечковая украинизация, жуткая финансовая нестабильность и смерть родителей – и растущая несовместимость наших умений и желаний с окружающим бытием.

Постчернобыльская ситуация подтолкнула детей поскорей уехать, они подали на выезд в Израиль, оформление тянулось бесконечно долго, и за это время Германия стала принимать евреев.

Для детей стало большим соблазном уехать в европейскую демократическую страну с привычным климатом. Для них Холокост и война были уже историей, а высокоразвитая наука и доступность всей Европы – реальностью.

А еще через три года в этой европейской Германии вслед за ними оказались и мы, хотя прошлое Германии, судьба ее еврейства были нашим прошлым, нашей судьбой и нашей болью.

Конечно, мысли о фашизме и Холокосте, о необходимости получать помощь от немцев, беспокойство о месте и судьбе детей в этой стране были постоянным и очень пугающим фоном наших сборов. Одна пожилая дама,

профессор-германист Киевского университета, у которой мы успели взять несколько уроков перед отъездом, убеждала нас, что на фоне долгой и высокой истории и культуры Германии было «всего» 13 лет всеобщего помешательства, сродни инфекционной болезни. После чего возникает иммунитет, исключающий повторение кошмара.

Нам очень хотелось, да и сейчас хочется в это верить.

А кроме всего прочего – мы ведь жили в стране, где столетиями топтали наш народ: громили, насиловали, унижали, ограничивали, лишали возможности нормально реализовать себя, – но ведь мы в этом жили и не по своей, но и по своей тоже, воле научились создавать свой локальный мир, приемлемый и даже в чем-то независимый. Что это? Конформизм или спасение души? Но этот опыт помогает нашим эмигрантам в любой стране выстоять и жить.

Мы и там не были своими, мы всегда были готовы отстаивать свое право на равенство и знали, что для этого нужно быть сильнее, умнее, честнее и лучше, чем они.

Всегда были «мы», которым нельзя, и «они», которым можно.

Кем мы чувствуем себя в Германии? Думаю, как все в эмиграции, – русскими евреями: мы все волнуемся за ситуацию в Израиле, в последних известиях главное – «Сегодня в Израиле», сердце замирает при каждом теракте; мы гордимся успехами Израиля и страдаем от любых проблем и трудностей в нем. Мы настоящие евреи по ощущению себя почти премьер-министрами Израиля и опять, встречаясь, решаем нерешаемые проблемы.

Но при этом мы остаемся детьми русской культуры, говорим по-русски, читаем в основном по-русски, пользуемся российским (и немецко-русским) ТВ. Мы не стали в Германии своими, хотя внешне немцы очень доброжелательны (пока не сталкиваешься с официальными представителями). У нас улыбчивые отношения с соседями, но не больше, и точно такие же со всеми, с кем понемногу общаемся. Круг общения с местным населением очень узок, может, и хотелось бы отношений более глубоких, но мешает наш примитивный немецкий.

К тому же мы очень разные, у нас разные корни, опыт и менталитет, поэтому общаемся в основном со своими.

Мне немцы кажутся очень организованной, легко убеждаемой нацией, состоящей из очень одиноких людей. Их традиционные отношения кажутся нам странными – не принято «заскочить» в гости без договоренности о дате и часе; мужчина или парень не возьмет груз, рюкзак или пакет у идущей рядом знакомой; за выпитые вдвоем или в небольшой компании кофе или пиво каждый платит за себя; приглашая в гости, предложат чашечку кофе и 1–2 самых простеньких маленьких бутерброда.

Можно ли представить себе, что немцы были добровольными помощниками Гитлера? Да, безусловно, в основной массе – да. Гитлера породил хаос, он пообещал улучшение жизни, работу и порядок, и основная масса ответила ему верой и поклонением. Быть его сторонником, к тому же, бы-

ло выгодно – можно было обогатиться за чужой счет и сделать карьеру. А совесть, нравственность как-то странно преображаются в «патриотизм» даже у верующих людей.

А разве в СССР было иначе? Но ведь почему-то никто не говорит о том, что русские были добровольными пособниками сталинских преступлений.

Интересна ли нам Германия? Конечно, мы обсуждаем свои наблюдения, нам интересна страна, ее история, люди, их отношение к культуре, мы много думаем о немецко-еврейских отношениях в ходе истории. И вот что я не могу понять. Ведь евреев неоднократно изгоняли из германских городов и княжеств, но постоянно, при малейшей возможности, они возвращались. Может, существует что-то очень притягательное для евреев в этой земле и в этом народе? Я не знаю.

Живя здесь уже почти 10 лет, я могу отметить только то, что земля эта ухожена и убрана, как никакая другая, что города и улицы чисты, как нигде, что в домах – стеклянные (!) двери и чистые (!) лестницы. И что люди, приезжая сюда из разных стран, подчиняются этому порядку. Я вижу, что здесь тщательно продумано все, что касается организации жизни и труда – и мне это нравится, но вот пресловутое «немецкое трудолюбие» и «немецкая обязательность» оказались мифом.

Здесь комфортно жить. Хотя на пособии многие возможности довольно ограничены. Но если не слишком вздыхать о том, кем «мы там были», а стараться хоть немного подзаработать, то можно кое-что себе позволить. Но... мы ведь все «были» там главными, старшими, директорами и т. д.

Живя здесь, мы со временем перестаем постоянно помнить, что вокруг нас именно *те* немцы. Нам кажется, что это просто люди, хорошо говорящие по-немецки и в чем-то другие, чем мы. Невозможно всегда жить с ужасом в душе. Хотя...

Мы приехали в знаменитый Дахау, а оказались в прелестном городке, утопающем в зелени и цветах. Мы у десятков человек спрашивали, где находится бывший концлагерь. Никто не знал! А ведь наверняка полгорода там работало. Вокруг не было ни одного указателя на концлагерь. И только таксист довез нас туда. Вот это было очень страшно – цветущий городок, улыбчивые, ничего не помнящие жители.

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

Анкета:

Мне 65 лет, из Киева, в прошлом инженер, работаю в туристском бюро г. Штутгарта; муж развозит пиццу по ночам; дочь работает в клинике искусственного оплодотворения, ее муж, русский, – там же.

Александр Мелихов

УСТАМИ МЛАДЕНЦА ПО ЛИБЕРАЛЬНОМУ КАТЕХИЗИСУ

Наутро после бесланского кошмара президент Путин произнес резкие слова, которые лично я понял как предостережение тем, кто вздумает брать на себя миссию народного мстителя: инициаторы народных расправ над предполагаемыми пособниками террористов будут рассматриваться как пособники таковых. И подлинно, в расширении конфликта, в вовлечении в него массы простых людей (неизбежно с обеих сторон) и заключается единственная надежда экстремистов – им наконец-то будет, кого возглавить.

Но вовлечение разгневанного простого человека, носителя простых моделей социального бытия, в активную политику так же неизбежно порождает социальную базу и еще одной страшной опасности – опасности фашизма. Ибо фашизм и есть бунт простоты против непонятной и ненужной сложности социального мироздания (простотой, в моих глазах, мечены все социальные модели, не допускающие противоречивости и непредсказуемости, на всякий вопрос дающие единственно правильный ответ).

Однако не успел я мысленно поаплодировать главе государства, как в его же обращении слова о том, что мы не защищены с Запада, заставили

Александр Мелихов – кандидат физико-математических наук, прозаик («События и открытия», «Так говорил Сабуров», «Дары нищего», «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея», «Роман с простатитом» и др.), публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

меня вздрогнуть: осторожно, ведь нас же слушают дети! Слушают простые люди, всякое несовпадение интересов понимающие как военную угрозу, на которую нужно отвечать либо насилием, либо прямой угрозой оного, и никак иначе. Тогда как на самом деле наши взаимные неудовольствия с Западом на фоне непрекращающихся убийств носят принципиально, качественно иной характер; на сегодняшнем фоне все народы, которые считают, что соперников можно прижимать, но убивать нельзя, могут почесться буквально союзниками.

Да, все, кто считает, что в международных отношениях допустима хитрость, но не насилие, все приверженцы социальных запретов на пролитие крови тех, кто крови не проливал, сегодня стоят по одну линию фронта. Линию, оберегающую цивилизованные стандарты. И забывать об этой главной линии, особенно в присутствии политических младенцев, очень неосторожно.

«Не будите младенцев!» – вот, мне кажется, один из важнейших уроков двадцатого столетия. Но... Есть два противоположных способа вызывать их гнев. Первый (сознательный, коммуно-фашистский) – растравлять их обиды и звать на бой кровавый, святой и правый. Второй (бессознательный, либерально-гуманистический) – умиротворять их аргументами настолько фальшивыми, что они способны вызвать в лучшем случае раздраженное недоверие к идеям либерализма и гуманизма, а в худшем – переходящее в уверенность подозрение, что проповедники этих идей – тайные пособники врага. Протест против либерально-гуманистического ханжества у простого человека, как все у него, бывает непомерно глобализированным и прямолинейным, но в основе своей часто, увы, справедливым: кого угодно выведет из себя, когда тебя держат за полного идиота, в глаза называют черное белым, а горькое сладким.

Сам простой человек чаще всего бывает не в силах отчетливо выразить свои чувства, предпочитая прямое действие, начинающееся с ругани, но что, если попытаться послужить устами этого младенца? Что, если попробовать без уверток прокомментировать превратившиеся в заклинания догматы расхожего либерально-гуманистического катехизиса, способные своим отрицанием очевидностей приводить в бешенство простого и в тоску – сложного человека?

Заклинание первое: порядочным людям всех наций делить нечего, все межнациональные конфликты вызваны исключительно науськиванием корыстных и властолюбивых политиканов. Ответ: это неверно, существует независящая от нашей воли конкуренция народов – их экономических систем, их культур, их международных функций, их коллективных грез, то есть представлений о своем назначении и о своем месте в социальном мироздании, – и отрицание этой очевидности может только раздражать. В лучшем случае. Соперничество наций было, есть и будет до тех пор, пока существуют нации. Другое дело, что это соперничество вовсе не требует взаимной ненависти и взаимного истребления, как это

представляется нацистам. Все эти ужасы могут вполне успешно отсекаться системой социальных табу, основным хранителем которых, нравится это или не нравится, сегодня является именно Запад. Кто спорит, Запад тоже бывает и в этом отношении непоследовательным и лицемерным, но остальные, увы, еще гораздо более небезупречны. Да, у Запада, несомненно, имеются собственные интересы, не совпадающие с нашими, но его приверженность системе запретов на убийство и насилие перевешивает все разногласия. По крайней мере, при нынешнем напоре тех, кто считает убийства вполне дозволенным средством достижения своих национальных или конфессиональных целей.

Заклинание второе: террористы не имеют национальности (в другой версии – религии). Увы, имеют, и еще побольше нашего. Иными словами, значительная часть их нации (конфессии) видит в них выразителей своих заветных чаяний. Именно в этом их сила, и именно поэтому у простого человека и возникает соблазн нейтрализовать не только самих экстремистов, но и всех, у кого они потенциально могут найти поддержку. И, чтобы не отрицать еще одну очевидность, нужно признаться, что это стремление исходит не только из иррационального чувства мести, но и из вполне рациональной целесообразности. Устрашение и изоляция всех потенциально сочувствующих не раз и не два приводили к успеху, об этом свидетельствует опыт всех победивших диктатур.

И не только диктатур.

Мне уже приходилось писать, что двадцатый век не случайно сделался веком концлагерей: активное участие масс в политической борьбе потребовало и соответствующих инструментов, воздействующих на массу в целом, а не на отдельных индивидов. Иначе говоря, людей начали изолировать не за их конкретные, доказанные, враждебные для власти поступки, а за принадлежность к враждебной социальной группе. И, к величайшему сожалению, Гитлер не лгал, провозглашая на весь мир, что инструментом концлагерей первой в двадцатом веке воспользовалась не тоталитарная Германия, а демократическая Англия, стремящаяся покончить с партизанским движением во время англо-бурской кампании. Что ей, надо подчеркнуть, вполне удалось. «Там, где женщины и дети помогают своим, мирных жителей нет. В любом случае Трансвааль мы завоевали и, если можем удержать его только путем полного переселения голландцев, следует переселить их всех – мужчин, женщин и детей», – это цитата из тогдашней британской печати. О специальной жестокости охранников никто не вспоминает, но есть данные, что в южно-африканских лагерях взрослых буров погибло больше, чем на полях сражений, а детей – еще в четыре раза больше. Однако победа, тем не менее, была достигнута. Ценой временной потери репутации, но достигнута.

Опыт хотя бы той же Англии опровергает и третье заклинание: невозможно быть демократией у себя дома и диктатурой в колониях. Англии, да и всем прочим колониальным державам, это отлично удавалось. При-

чем преотлично сохраняя самоуважение, как об этом говорит их неизменно благородный тон.

А опыт решительно всех победивших диктатур опровергает и четвертое заклинание: жестокость порождает только новую жестокость. Снова нет, жестокость, достаточно масштабно и последовательно проводимая в жизнь, порождает сначала ужас, а затем и безнадежность. И самим террористам это прекрасно известно: именно жестокостью им не раз в самых различных странах удавалось склонить общество и правительство к уступкам. Даже те же бесланские орлы, пытавшие своих жертв жаждой, голодом, страхом и антисанитарией, великолепно понимали, что порождают этим не гнев и решимость, а отчаяние и сломленность. Это подтверждают и узники самых страшных концлагерей: когда ты способен мечтать только о глотке воды, только о минуте покоя, тебе не до ненависти.

Да, конечно, разница между случайной жертвой и героем-пассионарием огромна. И, тем не менее, приходится констатировать, что не только при товарище Сталине, но даже при товарище Брежневе практически все пассионарии скромно сидели по своим углам поджавши хвост: идти на смертельный риск в надежде победить или прославиться готовы довольно многие, но идти на верную гибель, не надеясь ни на славу, ни на победу, не готов практически никто.

Заклинание пятое: весь цивилизованный мир признает право каждого народа иметь собственное государство. Увы или к счастью, но это не так. Цивилизованный мир провозгласил сразу два взаимоисключающих принципа: право наций на самоопределение и нерушимость существующих границ – чтобы в нужных случаях доставать из рукава нужную карту. Покойная Галина Старовойтова в свое время провела целый ряд бесед с известными западными политиками и экспертами, и *ни один из них* не признал право наций на самоопределение чем-то абсолютным. Решительно все говорили о том, что автоматическое признание государственности каждого из трех тысяч стремящихся к независимости этносов породило бы нескончаемый кровавый кошмар, что каждый из этносов, стремящийся стать государствообразующим, должен доказать свою безопасность для соседей, свою способность контролировать собственные вооруженные силы (держать своих героев в узде), свою способность обеспечить себе реальную независимость, а не сделаться марионеткой каких-то внешних сил, – словом, каждый такой вопрос должен решаться отдельно, с тщательнейшим анализом всех неповторимых обстоятельств (причем без надежды когда-либо узнать, оказалось ли достигнутое зло действительно наименьшим, – последнее я уже прибавляю от себя).

Заклинание шестое: терроризм и вообще озлобленность являются результатом каких-то обид; если устранить обиды, исчезнет и терроризм. Здесь можно начать с того, что обиды бывают и неустранимыми: бывает и ущерб, который невозможно возместить (сколько бы мы взяли за то, чтобы забыть хотя бы о том же Беслане?), бывают и индивиды, которых

никак невозможно не обижать. Да, встречаются личности, настолько ранимые, что для них совершенно невыносимо существование людей более счастливых, более красивых, более умных, находчивых, предприимчивых, богатых, знаменитых, – я не представляю, например, чем можно было бы утолить обиду Эдуарда Лимонова. То же самое можно сказать и о некоторых народах – по крайней мере, об их национальных героях, о мстителях за их вековые обиды: для исцеления их душевных ран народы более преуспевающие, влиятельные и уважаемые должны исчезнуть или, как минимум, впасть в ничтожество.

Однако неизлечимая обидчивость – лишь половина или даже четверть беды. Бывают политические и национальные лидеры не просто обидчивые, но властолюбивые и – как бы мягче выразиться? – идеалистичные, желающие навязать миру какой-то единственно правильный образ жизни или уж, в крайнем случае, свою единоличную власть, на меньшем они не остановятся. Что нужно было уступить Гитлеру, Ленину или Троцкому, чтобы они, наконец, успокоились? Нет, им ни в чем не надо половины, им дай все небо, землю всю положь, как писал когда-то Евгений Александрович Евтушенко. Такие люди есть и сейчас, и примириться с ними можно лишь одним способом – покориться. Когда мы сделаемся их рабами, они, возможно, станут добрыми рабовладельцами. Как Ленин. Или Саддам Хусейн.

Короче говоря, утопизм и властолюбие являются отнюдь не менее значительными источниками террора, чем все реальные и мнимые обиды.

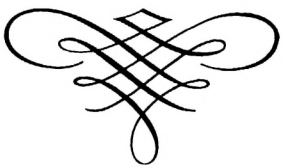
Я, впрочем, не настаиваю на том, что нам противостоят деятели именно этого типа – я ничего о них не знаю. Но я настаиваю на том, что это более чем вероятно: среди борцов за правду встретить этот тип дело самое рядовое.

Не настаиваю я также ни на каком конкретном решении вопроса об отделении Чечни (мне кажется, любой путь – путь смертельного риска), но я настаиваю на изменении методики принятия такого решения. Вопрос об отделении Чечни не является следствием каких-то общепризнанных аксиом – таковых просто не существует, – это решение может быть принято только на наш собственный страх и риск, чтобы впоследствии так никто никогда и не знал, правильно мы поступили или неправильно. Вопрос этот должен решаться *не в терминах принципов, а в терминах последствий*. Например, сторонники отделения должны убедить нас, что это уменьшит количество жертв на протяжении жизни хотя бы нынешнего младшего поколения, а противники отделения должны убедить, что количество жертв в этом случае возрастет. При этом сторонники отделения, повторяю, должны не заклинать, а отвечать на совершенно конкретные вопросы – скажем, на вопрос, какая сила в независимой Чечне удержит в узде тех, кто проложил ей дорогу к независимости – как ее собственных героев, так и странствующих рыцарей (ведь сколько-то их там есть?), – а уж эта публика будет поопаснее всего мирового сообщества

вместе взятого. Уничтожение штурмовых отрядов в Германии и уничтожение ленинской гвардии в России покажутся в сравнении с этой проблемой простой задачкой для неполной начальной школы.

Абсолютно неотразимых аргументов в таких спорах нет и быть не может. Но используемые аргументы должны все-таки если не убеждать, то хотя бы не раздражать.

Не раздражать игнорированием очевидностей, не объявлять недоказанное доказанным. Освободившись от гипноза прежних заклинаний, мы не должны попасть под диктат новых, не должны догматически, автоматически применять ни один принцип. Что делается, однако, сплошь и рядом. «Преступление совершил тот, кому оно выгодно» – тогда все эпидемии устраивают гробовщики. «Правды не может быть слишком много» – но мучительная правда с неизбежностью подталкивает простого человека к фашизму, ибо он по натуре оптимист и верит, что из всякого положения есть выход: найти вождя и сплотиться для какого-то окончательного искоренения. «Сытые люди не поддерживают террористов» – а вот эта иллюзия, пожалуй, наименее опасна: перекормить кого-то из тех, кто сейчас зол и голоден, нам все равно не удастся.



Сергей Кургинян

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ УСЛЫШАЛИ

ВВЕДЕНИЕ

Не хочу скрывать, что анализ событий в Беслане ставит меня перед такими дилеммами, которых не было до сих пор. И дело не в опасностях, связанных с аналитическим расследованием так называемых **непроявленных** ситуаций. А в том, что стыдно лгать, но и говорить правду в каком-то смысле еще стыднее.

Представьте себе, что Некто (негодяй, подонок, подлец, на котором пробу ставить негде) осуществляет ужасные действия по отношению к тому, что тебе дорого. Твоей стране, твоему обществу, твоему государству. Ты можешь разобрать этого Некто, разделать его под орех, сорвать с него все маски. Но ты не можешь обойти стороной вопрос о том, как повело себя в ситуации данного вызова это свое и родное. И это непростой вопрос.

Я не об обществе – от него можно было ждать гораздо худших типов рефлекторного реагирования. Я – о государстве. О власти.

Сначала все же пару слов по поводу Некто. Мне кажется, что сейчас даже оптимистические кретины, оккупировавшие наше «аналитическое пространство», понимают, что дело не в терроризме.

То, что по этому поводу высказала власть...

Сергей Кургинян – кандидат физико-математических наук, аналитик, президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», автор десятков научных работ. Живет в России.

То, что эта самая власть вдруг опомнилась и стала говорить, что «России объявлена война»...

То, что в неявном виде уже даже сказано, что войну объявил американский империализм (бывший стратегический союзник... все еще стратегический союзник... хрен разберешь!)...

Это все не отменяет необходимости всерьез заняться фигурой Некто.

Война войне рознь... Ни о каких адекватных действиях нельзя говорить, если не определишь типа войны... характера технологий... природы целевых установок.

Сказать, что это война вообще, так же глупо, как говорить, что это теракт или цепь терактов. Сейчас не время общих понятий. Общие понятия – удел дилетантов. Сказали «война» – говорите, какая именно. Война, которая сейчас развертывается, – это особая **политическая** война.

Не я изобрел термин «политическая война». Это не наука, не философствование. Это технология, которая разработана до деталей. До уставных инструкций.

Оттачивалось это оружие начиная со второй половины XX века. Оно очень детально разрабатывалось тайваньскими специалистами (конкретно – академией в Пэйтоу). Делалось это под руководством американских кураторов (конкретно – талантливым американским разведчиком Рэйем Кляйном). Тайваньские разработки и наработки широко применялись в Латинской Америке. Не только в Чили, но и там тоже.

Сходные технологии другие специалисты (тоже под американским кураторством) разрабатывали для Италии, Греции. Там это называлось «стратегия напряженности». Граждане России (бесланцы, москвичи, волгодонцы) не первыми мечутся в недоумении, задаваясь вопросом о природе постигшей их террористической напасти. Так же метались родственники жертв терактов на Пьяцца де ла Фонтана. И во многих других местах.

Насчет разработчиков этих самых технологий мне возразят, что «иных уж нет, а те далече». Кто далече, а кто и нет... Некоторые – поблизости... Но это отдельный вопрос... На войне как на войне. Не все тут должно и может быть сказано.

Но какой бы характер ни носили вызовы, каков бы ни был их генезис, не менее важно, как на эти вызовы отвечают. Я не об обществе. Об этом отдельно. Я о тех, кто обязан отвечать – обязан и не может. Не в состоянии.

Да, важно, кто и зачем организовал такие события. Кто зажег этот огонь, опаливший тысячи судеб. Но еще важнее – что именно этот огонь высветил. Он не мог высветить неправду. Он – как магниевая вспышка – дал возможность сфотографировать реальность вообще и реальность власти в первую очередь.

Это страшная, унизительная и отвратительная реальность. Каковы бы ни были инспирации противника, создать эту реальность и ее слагаемые (бездарность, двусмысленность, полную неспособность отвечать на вызовы и угрозы) противник не мог. Вот тут воистину: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Начиная с первого года правления Путина я раз за разом предупреждал – нельзя постоянно презирать и отвергать реальность. Она придет. Она стиснет в своих объятиях. Она высветит своим магнием и просветит своим рентгеном.

И ровно в этот момент все «прикиды»: «мол, мы такие спокойные, никакие, и можете додумывать за нас по поводу нашего государственного величия» – сойдут на нет. Все боксерские умения (так вот, так и так двину, если посягнете на стул) будут ни к чему. Никто не посягает на стул – просто пол, на котором этот стул стоит, проваливается.

Мы всё видели. И притвориться, что не видели, мы не можем. Даже если бы хотели. Потому что видели все. Вопрос не в этом. Вопрос в том, как к этому отнестись. И что делать. Нельзя отделить здесь оценку от рекомендаций. И нельзя обсуждать, что делать, не сказав во всеуслышание, кто именно виноват.

ВИНА ПУТИНА

Президент России разменивает второй срок своего правления. Говорить в этой ситуации о том, что есть хоть что-то, по отношению к чему «виноват не царь, а бояре», просто смешно. Это предоставим особо ловким и не очень ловким лакеям. В событиях, которые калейдоскопически разворачиваются на наших глазах, виноват именно Путин. Но в чем именно?

Можно говорить о сотнях разных вещей. Но в чем суть?

Суть в том, что ответы оказались несоразмерны вызовам. Политические технологии оказались оторваны от сути макропроцессов.

Вот и все.

Где источник этой ошибки? В характере оценки того, что представляет собой полученное наследство (ельцинское, горбачевское, постсоветское в целом – любое).

Есть первый мир (США, Европа). В нем сфера высоких технологий мягко состыкована с другими слагаемыми хозяйства. И это, конечно, оптимально.

Есть второй мир (СССР был его лидером, я склонен в него включать Китай, а отчасти даже Индию). Там сфера высоких технологий удерживалась (и удерживается) за счет других состыковок с общей структурой хозяйства. Состыковок жестких, в чем-то административных, неорганичных. Конечно, это плохие состыковки, но структура высоких технологий удерживалась и удерживается.

Есть третий мир, где просто посылают к черту эти самые высокие технологии и все, что их должно окружать (некую среду индустриального производства). Вместо этого – опора на сырьевой сектор. Пресловутая «петрономика» (экономика «трубы»).

Есть четвертый мир (какая-нибудь Центральная Африка, та самая мета-

фическая Верхняя Вольта, о которой говорила Маргарет Тэтчер, утверждавшая, что СССР – это Верхняя Вольта с ракетами).

И есть мир полного небытия (худшая часть четвертого мира, мир ликвидации).

Мы были во втором мире и хотели в первый. Это было законное желание. Именно оно двигало умными дурнями из КГБ, ВПК. Всеми этими нашими технарями, которые побежали за демократами. Речь не о том, что им не нравился второй мир и они хотели в первый, а о том, что... В общем, о том, что обманули дурака на четыре кулака. Не надо много доказательств! Есть одно – состояние науки и техники. Зарплата ИТР, профессорско-преподавательского состава, хотя бы только научно-технических кадров, состояние академической сферы. Если в первом мире профессор получает несколько тысяч долларов в месяц (а также все, что с этим сопряжено), то у нас ему суют сотню баксов. Поскольку этот профессор в среднем представляет собой именно растерянного умного дурня, то он продолжает работать. Хотя на самом деле ему самим фактом такой оплаты уже сказали, что он не нужен. Но профессор не понимает тонких намеков.

Значит, с первым миром очевидно не вытанцовывается.

Из второго мы ушли. Мы там были. Это и называлось «многоукладное советское хозяйство».

Хорошо – третий мир... Ладно, будем жить в нем. Я, например, готов в нем жить и не собираюсь никуда уезжать. Я сделал все, что мог, чтобы страна не завалилась в это самое. Но умные дурни орали, что хотят Ельцина.

Так вот – и с третьим миром не вытанцовывается. Потому что там, конечно, нет этой роли ИТР и профессоров (хотя оплачивают их – дай бог). Но там есть высочайший статус военных, полицейских – их модификации наших «гэбистов». Все эти категории тоже получают тысячи долларов в месяц. И имеют все остальные социальные слагаемые, приплюсованные к фактору прямого материального благополучия.

Нужны комментарии?

Что тогда? Четвертый мир? Но в Центральной Африке жарко, бананы растут круглый год. И там нет ядерной инфраструктуры, тяжелой индустриальной инфраструктуры, доставшейся в наследство от сверхдержавы. Что? Мы ее демонтируем? Простите, это тоже не бесплатное удовольствие. Пока что никто ее не демонтирует. Она гниет. А гнить, не создавая угроз, она не может. И это все понимают.

Значит, куда мы волочемся? Мы в смерть волочемся. Какой у нас переходный период? Между чем и чем переходный? Между агонией и смертью?

Если я прав, и мегатенденция в этом, то в чем задача Путина? Что такое вообще политика? Политика – это управление общественными процессами. В чем процесс? В том, что машина скользит вниз по мокрой глине, что в нескольких метрах пропасть, что в машине почти сто пятьдесят миллионов пассажиров... А водитель? Крутит руль, кричит «би-би» и отгоняет всех, кто претендует на его место?

Задача в том, чтобы каким-то образом не допустить катастрофы. Переломить мегатенденцию. Это сложнейшая задача. Если Путин может ее решить – пусть решает. Не может – пусть уходит. Главное, чтобы не было иллюзий, что едешь по асфальтовому шоссе и заночуешь в отеле «Светлое будущее». Предашься иллюзиям – заночуешь на кладбище. Бесланском или каком другом. В этом суть.

Путин уже сам сказал: «Мы недооценили сложности процессов».

А почему недооценили-то? А что, теперь оценили? Опять какая-то «переходная экономика». И не только!

Путин говорит о великом государстве, которое рухнуло по причине нежизнеспособности в быстро меняющемся мире. Эта характеристика – безупречна. И, мягко говоря, недостаточно содержательна. Если СССР рухнул, а он рухнул – значит, он был нежизнеспособен.

Но нежизнеспособность бывает разная. Мне 90 лет, у меня отказывают все органы, и я мирно ухожу в небытие под скорбь близких, которые делают все возможное, чтобы продлить мое земное существование, но бессильны помочь. Или я здоровый мужик, встретившийся с киллером-профессионалом. И в том, и в другом случае итог один. Смерть, то есть обнаружение нежизнеспособности. И в том, и в другом случае я сам виноват. Генетика ли у меня плохая, пил ли много, тренировался ли недостаточно... Но это разные причины, приведшие к нежизнеспособности, и разные выводы, вытекающие из факта ее наличия.

Скажете – абстрактный вопрос? А вот и нет! Точнее, это такая абстракция, которая сразу же порождает конкретику. Строкою ниже или строкою выше. У нас, оказывается, была жесткая идеологическая система, которая силовым образом подавляла межэтнические конфликты.

Это как посмотреть! Я не знаю, может быть, так это оценивают в Кремле. Но я считаю по-другому. И тут – либо то, либо другое. Советская система не держалась на насилии как таковом. Она применяла насилие. Иногда осмысленно, иногда бессмысленно. Иногда адекватно, иногда бездарно и омерзительно.

Насилие, конечно, всегда омерзительно. Но, как известно, есть два варианта применения насилия. В одном случае его применяет государство, чтобы защитить общество от бандита. В другом случае бандит, чтобы оседлать общество.

Первый тип – это и есть легитимное насилие. Ограниченное законом и делегированное обществом государству во имя своей защиты.

Второй тип – это нелегитимное насилие. Оно страшнее. Чтобы защититься от него, граждане и создают государство.

Есть (и не только теоретически) еще один тип насилия, основанный на союзе огосударствленных бандитов и бандитизированного государства. Это – преступное государство. Оно же – пиратское королевство. Оно не может быть устойчивым. Задача граждан в этих условиях – восстановить государство, воюя на два фронта с двумя разновидностями связанных между собою «криминальных субъектов».

Но легитимное насилие не может быть эффективным вне проектно-идеологического дискурса. Дело не в том, что применялось насилие (в Чечне его тоже применяется немало, но имеем Беслан). А в том, что был проект. Коммунистический. И вокруг этого проекта народы объединились в СССР. А как только демонтировали проект, СССР стал распадаться.

До этого на данной территории была российская империя. И у нее тоже был проект (православный). Как только этот проект оказался демонтированным по факту (и душу народную перестал греть образ креста над Святой Софией), империя рухнула.

Путин говорит о том, что мы сохранили ядро СССР и назвали его Российской Федерацией. Имя Россия существовало до СССР, но не это главное. Главное – то, что ядро не может существовать без периферии. Полистайте учебник по биологии для средней школы. Или любой курс по теории систем. Ядро без периферии нежизнеспособно. Сохранить ядро можно только ради возвращения периферии. А ее нельзя вернуть без проекта. Россия вообще не может жить вне проектно-идеологического дискурса, это совершенно невозможно. Хотите, чтобы она жила, – верните дискурс.

Более того – вне дискурса, вне нового вливания огромной историософской, идеологической, футурологической энергетики не будет жить и ядро. Оно вообще не может жить, но оно и не хочет жить.

Это и есть самое страшное. Оно не хочет жить, то есть хочет умереть. Хочет умереть постепенно и сладко. Так, как умирает замерзающий человек. И если вы хотите следовать народному волеизъявлению, то оно в том и состоит, чтобы умереть. Об этом орет вам каждая дискотека, каждая холодная рыночная тварь на рынке – рыбьи глаза, накачанные мускулы, воля к смерти. Каждая угарная группочка, блуждающая между борделем и казино.

Ваш рынок – это рынок смерти, ваша экономика – это экономика смерти. Ваши министерства – это министерства смерти. Смерти образования, смерти культуры, смерти всего.

Нельзя иметь танатическую (тяготеющую к смерти) реальность и мобилизовывать в ней волю к жизни с помощью жизнелюбивого пиара. Чтобы это не казалось абстрактным, приведу конкретный пример.

Жило-было министерство металлургии. И почему-то на его территории находилась ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека. Потом министерство продало одно из своих зданий какому-то хорьку, который, как полагается, кому-то «откинул». Хорек хочет в этом здании устроить что-то хорьковое – офис, бордель, неважно. И он, как хозяин, выкидывает ГПНТБ из здания.

Что такое ГПНТБ? Это уникальный и неповторимый фонд научно-технической информации, без которой научно-техническая интеллигенция работать не может.

Что должно делать правительство? Все эти ревнители инноваций? Они должны вызвать хорька и в лучшем случае вернуть ему «бабки», извинившись. И попросить организовывать свой замечательный бордель где-ни-

будь в соседнем месте, не имеющем такого стратегического государственного значения. А в худшем случае поступить и пожестче. По крайней мере, с теми, кто все это осмелился... как это... современным образом трансформировать, в духе нескончаемого переходного периода.

Ладно, нельзя тронуть частника. Понимаю такой подход. Ищется другое здание, лихорадочно оборудуется, частнику платят компенсацию за то, что он содержит библиотеку. Существует множество вариантов.

Какой выбран? Об этом сообщили на всю страну. Библиотеку выкинули – куда-то в Балашиху.

Это то, что происходит в реальности. А пиаровцы будут ваять красивые виртуальные артефакты на тему о том, как мы с помощью новых технологий будем противостоять тем, кого все еще не устраивает наша ядерная мощь. На сто процентов ясно, кого она не устраивает. Но только этот – он не пиаром занимается. У него на территории новые ГПНТБ и информационно-интеллектуальные системы новых генераций растут, как грибы. Ну и?

Мегатенденция – смерть. Система управления не меняет мегатенденцию, а сопровождает ее. Общество кайфует. Почему? Ах, нет гражданского общества! Детка, ты не в колледже, ты на панели, очнись! Нет не гражданского общества, а никакого общества вообще. Есть постепенно озверевающая и одновременно вымирающая стая.

Мегатенденция по имени Смерть имеет свои социальные эквиваленты. Например, регресс. Деградация всех сложноорганизованных сие тем социальной жизни, вторичное упрощение этих систем, впадение в дикарство, в варварство.

Всю эту гадость что, ветром надуло? Да нет, она была сотворена. И сотворяется ежеминутно.

Адепты либеральных реформ (в их российской, особо злокачественной модификации) постоянно говорили об атомизации общества как о великом благе. Между тем эта атомизация – одолимая. Как ни изгибайся либеральная мысль – а у этой самой атомизации все равно есть лобовой, все спрямляющий и обнажающий вариант: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

Но если хата с краю, а Осетия на другом краю, то ну их с их Бесланом – есть дела поважнее. Нельзя ставить две взаимоисключающие задачи – дальнейшую атомизацию варваризирующегося общества и его мобилизацию на борьбу. С террором, с разными там злодейскими государствами, которые его на нашу голову посылают. Не может быть сочетания мобилизации и атомизации! Это вообще невозможно! И это тем более невозможно в обществе, которое построено на базе некоей дурдомной зауми, именуемой «либерализм а-ля рюс».

Западный мир знал все опасности этой атомизации. Он шел на атомизацию с открытыми глазами, приносил на ее алтарь страшные жертвы и при этом (внимание!) гениальным образом изобретал и создавал особые социальные механизмы. Эти механизмы были встроены в атомизацию! Имплантированы в нее таким образом, чтобы атомизировать общество без превращения его в стаю.

Российские же реформаторы хотели получить общество с предельной атомизацией и без этих встроенных механизмов. Они сделали все, чтобы эти механизмы сломать, исковеркать, парализовать, поразить всеми возможными вирусами. То, что получилось *бы* при полной реализации их замысла, было бы не просто стаей. «Умри ты сегодня, а я завтра».

Им это не удалось доделать до конца. Беслан показал, что существует низовая, инерционная социальность, способная к состраданию и мобилизации. Что такое трагический катарсис, по Аристотелю? Очищение через сострадание и страх. Что показали митинги после Беслана? Чем ниже уровень заорганизованности и чем глубже провинция, тем больше в этом сострадании живой, неистребленной силы. Той силы, на которую власть могла бы еще опереться, если бы у нее действительно было такое желание.

Что убивает эту силу? Ложь, исходящая от элитарных монстров, которые пытались присосаться к новому, как им кажется, лакомому пирогу антитеррористической мобилизации. Ложь, фальшь, бестактность, безъязыкость, монструозность...

Значит, не в том дело, что умерла вся Россия! Значит, где-то внизу есть не-поломанный механизм сострадания и солидарности! Он есть именно там, где, казалось бы, все растоптано, сожжено, пропито, пронаркоманено. Это проклинали, это называли «совком». Но именно это откликнулось.

И чем занята власть? Очередной волной атомизации? Ей нужны новые либералы для того, чтобы добить то, что оказалось не добито их предшественниками? А после этого она снова начнет мобилизационную клоунаду?

Вспышка катастрофы высветила страшные вещи. Дело не только в организационной беспомощности и политической двусмысленности, об этом отдельно. Дело еще и в отсутствии того, что, казалось бы, должно было своей изощренностью компенсировать управленческую беспомощность. Я имею в виду сферу суррогатных слов (пиар-лингвистику) и суррогатных образов (пиар-семантику). Но боже, какой пиаровский фарс исполнялся на теле жуткой, беспрецедентной трагедии! Я даже не знаю, чего в этом больше – злокозненности или детской наивной растерянности.

Это началось не сегодня.

После терактов в Испании журналист Александр Будберг, очень убедительно доказывавший прежде, что Чубайс – это светоч российского патриотизма, начал осуждать испанцев. Я полностью позицию Будберга разделяю. Я тоже считаю, что нельзя уступать террористам. Но какие образы, какую пиар-семантику применил Будберг для подкрепления своей позиции? «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Так это – Коминтерн, это Долорес Ибаррури.

Кумиры Будберга «отоспались» на этом по полной программе, оплевали, не оставили живого места. Теперь они хотят задействовать оплеванное – в пиар-семантических целях. Это так не работает!

Это вообще не работает в рамках либерализма. Что значит «умереть стоя»? Жить надо! Возделывать свой сад! Либеральный жертвенный пафос –

за этим идите к Робеспьеру и Линкольну. Для взращенного либерализма «а-ля рюс» это дичь, «совковая бредятина».

Скажут – частный случай. Ни фига себе, частный! Телевидению запретили на время траура развлекательные программы. А поскольку девять десятых эфира занимают именно развлекательные программы, то запретили почти все. Запреты еще работают (это ненадолго). И нужно было чем-то заполнить вакуум, причем с ориентацией на мобилизационность. Заполнили советскими фильмами про войну. Мы увидели все. Вплоть до Фрунзе и героической борьбы с басмачами, которых еще недавно называли героями национальной борьбы с жуткими коммунистами. Хорошо, пусть так!

Хотя если коммунизм – «красивая, но вредная сказка», это не проходит. Однако ничего другого просто нет! Все, откуда может черпаться мобилизационная лингвистика и семантика, намертво связано с советским и коммунистическим!

Нельзя ее непрерывно воспроизводить – и одновременно запрещать коммунистам приходить на общий митинг. И одновременно же призывать к полной консолидации общества перед лицом террора. Вы зовете к полной мобилизации, а на площади – прямой факт идеологического раскола! Так работают? Так не работают. Так хоронят. Себя и всех.

Но и это не все.

Есть опорные образы. Если уже взята советская матрица (а другой нет), то нужна однородность образов. Посередь всего этого выступает Пиотровский и начинает поносить террористов как отродье, столь же мерзкое, как всякие Оводы. Но Овод – это одна из опорных семантических глыб в здании советской и любой неосоветской мобилизации.

Вы знаете, что такое шизофрения? Вот это самое!

Митинг... Это поэма!

Начинается все с того, что «мы идем на этот митинг, как 7 ноября 1941 года». 7 ноября 1941 года шли на фронт. Митинг вообще нужен, чтобы бросить его участников на что-то реальное, и немедленно. Куда люди пойдут с митинга? В казино? В кабак? На скачки? К девицам? На фронт во... простите, подвигов рыночной экономики?

Что такое митинг против террора? На кого давление оказывает? Власть собирает митинг, чтобы давить на саму себя – или на кого? Толпы должны идти сражаться с невидимым терроризмом? Киты спецслужб должны отчитаться перед митингом о методах совершенствования агентурной работы в среде террористов? Может, картотеку зачитать поименно?

Значит, можно только призвать повысить бдительность? Не разжигая национальную рознь, следить за соседями, помня о том, что Павлик Морозов – это «самая отвратительная фигура». Номы все – «как в ноябре 1941 года»!

Это – по поводу идеологической борьбы с Врагом. Но поскольку всех, конечно же, волнуют и другие слагаемые происходящего, то к ним и перехожу.

СЛАГАЕМЫЕ БЕДЫ

Анализируя цепь так называемых террористических актов, я заранее оговариваю, что не намерен задействовать в своем анализе никаких информационных источников, кроме сообщений СМИ. Желательно – государственных (а значит, электронных в первую очередь).

Каким именно образом я эту информацию раскрываю, перевожу в аналитические гипотезы – это мое личное дело. Возможно, я просто сплю и вижу сны. А возможно, строю гипотезы с помощью других технологий. Кто как хочет, тот так и считает. Я же, в любом случае, **никаких утверждений вообще делать не буду.**

Аналитическая продукция, рождающаяся на стыке моего мышления и простейшей (общедоступной) фактуры, будет называться «небезусловные предположения». А весь проводимый мною факторный анализ будет состоять из общедоступных фактов и этих самых небезусловных предположений.

Что между фактами и предположениями? Рассуждения, что еще? Только они и являются хлебом открытой независимой аналитики. Не нравится? Кушайте сплетни, продукты чьей-то суперосведомленности. А когда наедитесь этого дерьма, возьмите все-таки голову в руки и просто логически сопоставьте.

Факт № 1 – галиматья с цифрами

Вы можете представить себе, что в маленьком городе, да еще по-кавказски семейном, люди не знают, сколько захватили заложников? Между тем, если работает штаб, то первая его задача – узнать цифру. Конечно, это цинично звучит, но... три заложника или тридцать миллионов – есть разница? Все понимают, что есть. А 120 и 1200?

Между тем все журналисты уже зафиксировали, что официальная бредовая цифра 354 (а в какой-то момент говорили о 120–150) – это ложь. Злокачественная и злонамеренная. В условиях катастрофы ложь – это самоубийство.

Президент Северной Осетии А. Дзасохов потом сказал: «Теперь мы будем говорить правду». Теперь – это после приезда В. Путина. Теперь будут говорить правду, а раньше не говорили! Любой осетинский крестьянин только так и прочтет высказывание своего лидера. И сделает выводы.

Мой же вывод один: раз так лгут на самом элементарном уровне, то я ничему не верю. Просто ничему. И имею на это полное право. А значит, я реконструирую события сам. Беру голову в руки, наблюдаю, оцениваю. Что вижу?

Вначале, наверное, то, что и очень многие.

Факт № 2 – экстремальное нарушение всех норм и правил борьбы с терроризмом

Тоже, наверное, не скажу ничего нового. Правило № 1 – оцепить точку, где захвачены заложники. И не по какому-то внешнему периметру. А на уровне, предельно приближенном к объекту, где находятся заложники. Три кольца – в двухстах метрах, трехстах и четырехстах. Еще одно кольцо – чуть подальше. И внешнее оцепление, чтобы не пришла подмога.

На это надо четыре тысячи человек? На Северном Кавказе действует восьмидесятитысячная мобильная группировка! К Беслану приковано беспрецедентное внимание всего мира. Тут решается судьба политической власти, судьба страны. В конце концов, судьба детей – пафоса уже было столько, что присоединяться не хочется, но и без пафоса обойтись трудно.

Времени достаточно. Ситуация развивается без лихорадочности. Это не набег. Это захват и психологические качели. Игра нервов – а значит, пауза. Ну и пользуйтесь, ловите мышей!

Нет проектного мышления, нет понимания значения высоких смыслов, нет способности оценивать сверхсложные ситуации? Хорошо, допустим! Но надавить элементарно можете? Выполнить собственные инструкции по борьбе с террором? Проявить элементарную хватку?

Ничего этого нет, и мы это все видели.

Мы видели, что жители смешивались с войсками в ходе спецоперации. Что иногда они были впереди войск. Что фильтрационных пунктов не было. Мы знаем, что кое-кто из бандитов ушел. А поскольку нам уже лгали в том, что касается количества жертв, то мы не хотим верить и в количество палачей.

То, что кое-кто из них ушел, – это известно. Магас Магасом, это вообще полувиртуальная величина. А то, что Умаров был зафиксирован в числе присутствовавших и отсутствует в числе убитых и захваченных, – так это факт. Как это могло произойти?

Честь и хвала родственникам, которые хватают оружие, чтобы защитить своих близких. Грубо их отпихнуть нельзя. Но для этого и существуют переговорщики.

Надо убеждать население: «Отойдите, вы мешаете нам спасать ваших близких!»

Будете ходить с суконными харями – получите в лоб, и по заслугам. Сумеете войти в контакт с людьми – люди же вам помогут навести порядок. Для этого нужно иметь определенный талант. И этому, между прочим, специально учат. Это профессия (переговорщики с населением), это часть борьбы с террором.

Значит, людей надо было отвести за третье оцепление. Оцепить – так, чтобы ящерица не проскользнула. А всех выбегающих, кроме детей до 14 лет и тяжелораненых, пропускать через фильтрационные пункты. Всех без исключения! Родственникам трудно это понять, но их надо убеждать: «Злодеи должны понести наказание – помогите!».

Всего этого не было, и мы это видели. Это видел весь мир. Это не скроешь. Это навсегда останется в памяти. Это надо признать, с этим жить и это преодолевать. Если бы я был... не директором, а командиром римского легиона, я бы просто провел децимацию, то есть расстрел каждого десятого. А также всех, кто виноват, поголовно. Если бы был СССР, под трибунал с расстрельной статьей загремело бы человек 50, не меньше.

Но легионов нет. И СССР нет. Демократия, блин! Мировая цивилизация! Гуманизм! Но и в этом случае наказать все-таки можно. То, что наказаний нет вообще, – это фактически беспрецедентно. И это требует объяснений.

Факт № 3 – виды оружия

Кого-то заколебал Фантомас, и по нему долбанули из танка... Вы вообще понимаете, что говорите? Какие танки, какие пулеметы? Какие автоматы? Какие подствольные гранатометы? Это заложники! Внутри здания мирное население, дети. Только прицельный огонь! Оружие пятого поколения! Высочайший профессионализм! Это же не нанотехнологии, где мы все уже прос... как бы это изящнее выразиться? Порастеряли... Стрелки-то еще есть! И оружия достаточно. А если недостаточно – закупите на ваши нефтяные миллиарды!

Значит, я должен верить, что вы не умеете считать до 1200, что вы не знаете элементарных норм организации контртеррористической операции и что у вас нет людей и оружия для филигранных действий? Но что вы крутые и будете всех мочить в сортире. Кого всех? Заложников? Почему я во все это должен верить?

Что? Такие большие потери потому, что вы не хотели штурмовать? А почему я в это должен верить? Мне ведь говорят прямо противоположное. И не на ухо, как конфиденту, а через СМИ.

И не какой-нибудь журналист, а влиятельное лицо.

Факт № 4 – исповедь Аушева

6 сентября в «Новой газете» опубликовано потрясающее интервью Аушева. Оно настолько беспрецедентно, что я просто даю длинную выжимку.

– По телефону с террористами разговаривал Гуцериев. ...Договорились, что подъедет машина с пятью врачами. И в это время там, внутри, произошел какой-то взрыв. Мы начали выяснять, что происходит. И тут пошла стрельба. И уже – непрерывный процесс...

– Стрельба внутри школы?

– Нет, там взрыв произошел – и дети рванули... Мы просили остановить стрельбу. Звонили. Они говорят: «Мы остановили стрельбу, это вы стреляете». А мы по своим каналам даем команду: «Никакой стрельбы,

прекратить огонь!». Но там еще оказалась ***«третья сила»*** *дурацкая, я не знаю, как они там оказались, сейчас выясняем. Какое-то «народное ополчение» с автоматами, которые решили освободить заложников сами. И они стреляли по этой школе! То есть получается: официальные не стреляли, захватчики не стреляют. Мы кричим друг другу: «Кто стреляет?»... А эти, из школы, говорят: «Ну все, значит, надо взрывать». И начали... Они решили, что это штурм! И – пошло... Тогда только команду о штурме и отдали...*

Мы ждали, что приедет Аслаханов. Я хотел с Аслахановым зайти к ним туда. Было заявление Масхадова. ...Очень хорошее заявление: что «мы с детьми не воюем», пятое-десятое, чеченские бойцы воюют за независимость, а не с детьми и женщинами. ...Когда я с ними разговаривал, говорю: «С кем переговоры?». Они говорят: «С Масхадовым». ...Пока Аслаханов летел, я нашел в Лондоне Закаева и говорю: «Ахмед, если ты хочешь еще иметь какое-то лицо – помогайте освобождать людей. Согласен?» – «Согласен». – «Тогда принимайте решение политическое». Они приняли решение, и вышел с заявлением Масхадов. ...Но когда Аслаханов приехал, уже все закончилось. ...Замысел был такой. Они дали письмо к президенту Путину.

– Они вам передали письмо, да, Руслан Султанович?

– Да, мне лично.

– А в письмо – основное требование?

– Ну, как всегда: тот же Буденновск. Вывести войска, контроль стран СНГ за ситуацией в Чечне... И они даже просили, они дали свой телефон в школе, чтобы хоть какой-то федеральный министр позвонил, чтобы он там поболтал с ними.

И с этой бестолковой стрельбой неизвестных гражданских все сорвалось.

Они мне по телефону кричат: «Нас штурмуют!». Мы говорим: «Вас не штурмуют! "Альфа" вот стоит, все стоят». Мы говорим: «Вас не штурмуют, успокойтесь там».

Они говорят: «По нам стреляют, нас штурмуют! Мы взрываем!».

– Они с вами в масках разговаривали?

– Нет. И они все на русском разговаривали. ...Я говорю: «Давайте на вайнахском». Они отвечают: «Нет, говорите на русском».

Что мне понятно из исповеди Аушева?

Первое. Готовился политический переворот с отстранением Путина. Потому что новый Буденновск – это политическая смерть Путина, и не только его. Любая уступка террористам сейчас – это немедленный развал Северного Кавказа и переброс пожара в Поволжье. Неосознанно или осознанно – участниками этого переворота были Аушев и другие. Возможно, они считают себя спасителями! Я не прокурор и не Путин. Я что вижу, то и говорю.

Как говорят в газетах? «Прошу считать это достаточным для официального расследования»? Я же, наоборот, прошу считать это категорически недостаточным! Рассматривать как мое сугубо частное мнение. Но это мое мнение! Я его не абсолютизирую, но и не прячу, как фигу в кармане.

Второе. В перевороте, видимо, участвовали и другие официальные лица с высоким статусом на Северном Кавказе. Аушев называет не всех. Но и того, что он называет, достаточно.

Третье. Этот переворот является калькой с переворота, который планировался при захвате заложников в «Норд-Осте».

Четвертое. И там, и там Путин дает имитационное согласие на капитулянтские переговоры, а действует другим способом.

Я лично Путина за это не только не осуждаю. Может быть, единственное, что я в нем ценю, так это умение в определенных случаях не идти на переговоры. Вините меня за это, сколько хотите. Это мое мнение. Я возмущен тем, что группа, альтернативная переговорной, «не ловила мышей». Не была эффективной.

Я возмущен тем, что путинские силовики (а это его силовики, и это он виноват, что они такие) проявили бредовую, неслыханную беспомощность.

Мне страшно выбирать между имеющимся результатом и позором капитуляции, и я не должен осуществлять такой выбор. Операция должна была быть, и она должна была быть блестящей.

Но при всем ужасе случившегося ужас капитуляции был бы еще более невыносимым. А резня, которая бы после нее началась, – еще более чудовищной. И массовой! Может быть, кто-нибудь из сегодняшних детей Беслана оказался бы спасен. Но тут же в соседних селах были бы вырезаны сотни других. Я знаю, что говорю. Я был во всех «горячих» точках эпохи Горбачева и Ельцина. Я видел, как играют в футбол отрубленными головами. Видел полиэтиленовые мешки, наполненные отрезанными половыми органами, и еще живых младенцев с содранной кожей.

Повторяю еще и еще раз: никто из нас – ни Путин, ни мы как простые граждане – не смеет ловчить, подсовывая ложный выбор: либо тот ужас, который произошел в Беслане, – либо капитуляция и ужас без конца. Мы переживаем этот ужас из-за вопиющей бездарности. И мы вправе потребовать жестких и конкретных доказательств того, что она будет прекращена.

Но штурм – как ни страшно это произносить – лучше капитуляции. И это понимают многие. Все время ссылаются на Израиль. Израиль – не солнце без пятен, хватает своей бездарности, своего разгильдяйства. Но не такого! А раз уж к Израилю апеллируете, то не можете не знать, что в единственном случае, когда там террористы захватили школу, ее штурмовали. С трагическими последствиями – погибло много заложников.

Но после этого террористы поняли, что заложников брать бессмысленно. Потому что в Израиле никакой политик – ни левый, ни правый, ни «голубь», ни «ястреб» – не полезет на переговоры с мерзавцами, пытающими людей. Потому что знает, если он это сделает, то умрет для израильского

общества и израильской политики. Но еще раньше, чем он это сделает, его пристрелят собственные спецслужбы.

У нас все иначе. Путину предлагали переговоры во время «Норд-Оста». По той же хасавюртовской схеме. Бояре, выступавшие с этими предложениями, вовсе не в опале. Такие схемы рассматриваются как легитимные. Сам по телевизору слышал. Кто-то похваляется тем, какой он переговорщик.

Вот и возникает эта двойная арифметика, это лавирование в русле регрессивной политики. Этот обыдленный язык обыдленных разговоров с обыдленным обществом.

Но если реконструировать аналитически исповедь господина Аушева, то получается следующее. Путину предложили капитуляцию с его собственным отстранением от власти и конфедерализацией страны (а то и со стремительным распадом России). Путин имитировал согласие. А сделал что-то другое.

«Третья сила» господина Аушева – это «мулька» для дегенератов. Может быть, регрессивный процесс довел до этого большую часть общества. Но тогда и стоит разговаривать исключительно с меньшинством.

А дальше моя реконструкция (основанная, конечно, только на газетах и телевидении – на чем же еще?) состоит в следующем.

1. Помимо имитационного переговорного, был реальный план.

2. Этот реальный план не был известен большей части участников событий.

3. Большая часть рассчитывала на Буденновск и Хасавюрт.

4. В эту большую часть входит отнюдь не только господин Аушев и те, кого он называет или не называет, а вся так называемая партия мира, она же партия переворота, снятия Путина и всего, что за этим неминуемо должно было последовать.

5. У «партии мира» были свои люди в школе.

6. Эти люди были и в театре во время «Норд-Оста».

7. Эти люди никакими смертниками не являются.

8. Этих людей надо было вытаскивать. Если их не вытаскивать после каждой подобной операции, то следующую операцию уже невозможно будет запустить.

9. Стремительный ход «партии войны» поставил «партию мира» в состояние цейтнота. Эта партия готова была выводить «своих» через коридор со снайперами или выпускать их, как героев, по сценарию Буденновска. Но терять «своих» она не хотела. Она согласна была «палить» барахло, бросовый материал.

10. «Своим» сообщили в последний момент.

11. Для отхода воспользовались пресловутой машиной МЧС. Ни один умник не может мне объяснить, зачем в тот момент понадобилось срочно вытаскивать трупы. А вот если трупы заменить на нужных людей – это уже понятно.

12. Но главное было не в этом. Главное, что нужен был эксцесс. Взрыв, кровь. На этой волне – выпущенное стадо заложников и волки, встроенные

в это стадо. Заложники были живым коридором для волков. Они уходили вписавшись, вмазавшись. Они не прикрывались живым щитом, они прятались по схеме «Одиссей и Полифем». Это очень известный сценарий поведения террористов, использующий древний миф, в котором Одиссей и его команда прячутся от циклопа Полифема под брюхом барана.

13. После того как нужные люди из школы ушли, у «партии мира» оставалось две цели: во-первых, надо было «спалить» оставшихся террористов; во-вторых, нужно было подарить Путину побольше крови и трупов.

14. Для этого – видимость хаоса, шквальный огонь и все остальное. Кто-то в этой ситуации проявлял героизм, а кто-то с помощью этого героизма набирал очки, кроваво и беспощадно.

15. Нужные люди ушли мгновенно. Ловили, забивали ногами лохов, «бросовый материал».

Такова примерная схема. Если кто-то скажет, что она является плодом фантазии театрального режиссера, я не обижусь. Не сожму кулаки и не стану предъявлять новые доказательства. Я соглашусь, скажу, что вы, наверное, правы. Но, как это у поэта... «Но строк печальных не смываю». Можете и это считать издержками излишнего артистизма.

Я же – продолжу аналитическую реконструкцию случившегося.

Факт № 5 – нагнетание бреда

Разговоры о том, что эти самые боевики закладывали оружие под пол, пользуясь ремонтом, замуровывали заранее провода... Это все бабий бред серьезных мужиков. Но бред не бессмысленный. Он часть прикрытия, часть запрятываемых в воду концов. Ведь любой вменяемый человек спросит: «Сколько нужно боеприпасов для столь продолжительного ведения шквального огня?» Ясно, что нужно «до и больше» и что ни на каком одном грузовике это не привезешь. Отвечают: боевики заранее заложили... Какие там боевики!..

Далее, постулируется то, с чем не может согласиться ни один серьезный человек. А именно – что все это замысливал какой-то Исламбули бен Азиз ибн Ладен аль Басаев. Сидят, мол, бородатые террористы в пещерах и планируют такое. Я в это не верю ни на грош и даже обсуждать не хочу. И не я один.

Но если происходящее – политическая война, то боеприпасы привозит «партия мира», организующая эту войну с целью обеспечения капитуляции. А вот у нее есть все возможности это сделать. Разными способами. И ничего вы тут не поделаете.

Короче, вы считаете, что брежу я, а я – что бредите вы. Так и живем. Но вы откройте, откройте мой материал об Ингушетии! И вы увидите, что все, что произошло сейчас в Беслане, было предсказано там. Один к одному. Хотите отмахиваться от чужого бреда и бредить самим во сне и наяву? Ждите следующего события!

В противном случае вам надо анализировать цепь событий. Поверьте, это совсем не сложно. Расслабьтесь, сосредоточьтесь. Поехали!

Факт № 6 – от Назрани к Грозному

24 августа – самолеты. 31 августа – взрыв у метро «Рижская». 1 сентября – захват школы в Беслане. Это если двигаться в одну сторону. А в другую?

23 августа – взрыв на Каширском... А 21 августа – Грозный. Подробно описанный рейд! Копия рейда в Ингушетии! Так вот и займемся сначала рейдами! Если все хотим понять в совокупности.

Сразу после ингушских событий я встревоженно цитировал крик души президента Ингушетии Зязикова.

ОРТ, «Времена» Познера, 27 июня 2004 года. Зязиков (почти кричит): «Нельзя проводить никакие операции в масках, без номеров, в неизвестной полевой форме, неизвестно какие службы (то есть известно, что службы, и что не служба, а службы. – *С. К.*). Вот после этих операций мы находим гражданских людей убитых, мирных, которые никакого отношения не имеют ни к каким спецоперациям (то есть известно, что речь идет о спецоперациях. – *С. К.*). Поэтому я сказал, что все должно быть в рамках закона, кто бы ни проводил эти мероприятия (а кто это такой их проводит? – *С. К.*). Вот такой подход. Потому что у нас же как? Вот если кто-то даже проводит мероприятие (то есть кто-то проводит такое мероприятие. – *С. К.*), виноват обязательно руководитель субъекта Федерации, который не занимается оперативно-следственной работой и оперативно-розыскной работой, понимаете? (Крик души человека, вполне причастного к спецслужбам! Конечно, понимаю. – *С. К.*). А крайний всегда находится».

Для официального лица Зязиков сказал очень много.

А его противник, Муса Оздоев, говорит еще больше. 29 июня в передаче «Эхо Москвы» он заявляет, что в Ингушетии действуют так называемые эскадроны смерти – мобильные группы на нескольких машинах с тонированными стеклами без номерных знаков, в камуфляже, масках. По словам Оздоева, они влетают, в основном со стороны Чечни, в какой-нибудь пункт, блокируют его и открывают огонь на поражение. Таким образом, говорит Оздоев, было уничтожено много гражданских лиц. Они никому не подчиняются. Их машины нельзя досматривать, милиция с ними не связывается. (Милиция не связывается! При этом дело идет не о простых разбойниках. А о ком? О серьезной структуре или структурах, создавших подразделение для совместных действий. Зязиков так прямо и говорит, что речь идет о совместных действиях. – *С. К.*).

Все утверждают, что боевики притворялись этими «эскадронами смерти». Тут пойди разбери, кто чем притворялся-не-притворялся. Боевики эти давно разобраны спецслужбами! Суть «эскадронов смерти» в том, что они всегда пристегивают к себе чужих и в крайних случаях работают чужими руками.

Только не надо обвинять меня в ханжестве! Я прекрасно понимаю, что в условиях подогрева так называемой дуги напряженности бывают нужны чистильщики, работающие по особым алгоритмам и с особыми полномочиями. Но тут что главное? Чтобы они работали! И работали на интересы страны! А не на себя, не на свой бизнес, не на «левые» политические заказы.

Но для этого нужен настоящий порядок! Его нет и в помине. А если его нет и в помине, то самые неожиданные гипотезы насчет субъектов происходящего далеко не бессмысленны. Особенно, если происходящее – политическая война.

И вот только теперь, вооружившись этой аналитической оптикой, давайте иначе всмотримся в сюжет с самолетами. Он-то и замкнет – хотя бы первый и самый поверхностный, но минимально достаточный – аналитический контур.

Факт № 7 – катастрофа самолетов ТУ-134 и ТУ-154

Катастрофа самолетов произошла 24 августа 2004 года около 23 часов. На следующий день, то есть 25 августа, телеканалы показали Александра Залченко – мужика на велосипеде, который рассказал нам всем, что именно произошло. Цитирую каналы телевидения (а не закрытую секретную информацию!):

«Примерно где-то без пятнадцати одиннадцать ночи мы с женой сидели на лавочке, отдыхали. И вдруг увидели в небе яркую красную вспышку. Потом, секунд через десять, произошел короткий взрыв. А где-то спустя секунд тридцать – еще один протяжный взрыв».

Я тут же записываю в аналитическом дневнике: «Залченко, возможно, что-то путает. Но если он не путает, то он описывает поражение ракетой "земля-воздух". Именно это, а не взрыв внутри самолета».

Я совершенно не настаиваю на этом утверждении. Я просто фиксирую факт и тип собственной рефлексии (дилетантской, необязательной).

Сразу же после сообщения о катастрофе по стране начинает гулять волна так называемых элитных слухов. Слухов, подчеркиваю! Но они-то и являются весьма серьезным аспектом политической реальности. Поначалу это все покрыто пленкой полной конфиденциальности. VIP-персоны в непрослушиваемых помещениях шепотом рассказывают друг другу, что самолеты были сбиты. Сразу же дается объяснение, почему: видите ли, один из самолетов хотел атаковать Воронежскую АЭС. А другой... ну, в общем, там тоже есть своя история... тс-с-с!

Затем участники ужасно закрытых совещаний начинают рассказывать, что оба самолета летели на Бочаров Ручей, и поэтому были сбиты.

Чуть позже – это обсуждается уже почти в открытую: «Вы знаете, есть такая странная, бредовая информация...» Собеседник (прерывая): «Что сбили самолеты? Так про это все знают! Вот секрет Полишинеля!»

Но слухи – это одно. А превращение слухов в информационную кампанию – это другое.

«Коммерсант», 26 августа: «Сигнал о захвате поступил от экипажа ТУ-154 авиакомпании "Сибирь" между 22.46 и 22.56. Последний сеанс связи с бортом RA-85556 авиакомпании "Сибирь", летевшим из Москвы в Сочи, как рассказали в ростовском региональном центре по управлению воздушным движением "Стрела", прошел в 22.46. Командир корабля сказал: "Ростов, контроль, я – борт 85556. Прохожу Канон (точка обязательной радиосвязи). Высота – 12 100. Направляюсь в город Сочи". В 22.56 точка, обозначавшая на экране локатора ТУ-154, исчезла. Сигналов о захвате борта диспетчеры не получали. Такие спецсигналы, как объяснили в "Стреле", поступают к специальным службам, в частности к войскам ПВО. В минобороны информацию о сигнале захвата не подтвердили, но и не опровергли. Но понятно, что к катастрофе самолета войска ПВО не имели отношения – за считанные минуты офицер, принявший сигнал, мог только успеть доложить о нем своему руководству».

Сказано, что не имели отношения, но интонация такая, что получается – безусловно, имели. Как иначе?

«Газета», 26 августа: «В Центр управления полетами "Сибири" от начальника смены военного сектора Главного центра ЕСОВД поступила телеграмма о том, что от экипажа ТУ-154 все же был получен сигнал о захвате лайнера».

«Российская газета», 26 августа: «Сообщение о том, что с борта ТУ-154 якобы поступал сигнал SOS, пока не подтверждено».

«Время новостей», 26 августа: «Взрыв мог быть и внешним, как при трагедии летящего из Израиля в Новосибирск самолета, сбитого ракетой украинского комплекса ПВО С-200».

«Республика Татарстан», 27 августа: «Вполне вероятной выглядит версия, согласно которой целью террористов могла быть сочинская резиденция Президента России. Во всяком случае, тревожный сигнал с сочинского борта поступил, когда до Бочарова Ручья оставалось всего полчаса лета. Возможно, после 11 сентября 2001 года на российских самолетах предусмотрели некие меры противодействия в случае попытки их захвата, и не исключено, что именно приведение в действие этих мер и послужило причиной обеих (слышите – обеих! – *С. К.*) катастроф».

«Газета», 27 августа: «Выяснилось, что за мгновение до катастроф тревожные кнопки успели нажать пилоты обоих самолетов. Причем если с Ту-154 был послан сигнал SOS, то экипаж ТУ-134 успел передать в эфир: "Нападение на самолет"».

«Россія», 2 сентября: «Почему были выбраны самолеты, на борту которых находилось меньше половины возможных пассажиров? Ведь большой резонанс дает именно количество погибших, как эта было 11 сентября 2001 года в США. И если боевики действительно хотели сделать России больно, то они могли бы просто взорвать сам аэропорт "Домодедово". Не

исключено, что цель у террористов была совершенно иной. О ней официальные лица даже боятся вслух говорить. Самолеты были захвачены, и их целью являлся президент России в своей резиденции под Сочи. Даже если бы первый самолет ПВО сбила (сказано! – *С. К.*), то второй мог бы все-таки выполнить свою миссию (а почему нельзя сбить два? – *С. К.*). Но если целью террористов действительно был президент Путин, то почему самолеты так синхронно все-таки взорвались? (Вопрос риторический! – *С. К.*).

«Независимое военное обозрение», 3 сентября. Президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер: «Нельзя исключать, что террористами, планировавшими акцию, связанную с самолетами ТУ-134 и ТУ-154, рассматривался вариант направления лайнеров на опасные промышленные объекты, например АЭС или правительственные учреждения, чтобы вызвать катастрофические последствия».

Теперь можно говорить о трехкомпонентной системе: проговорка очевидца – слухи – информационная кампания. Но это еще не все.

1 сентября главком ВВС России генерал армии Владимир Михайлов заявил о том, что взрывчатку на самолетах ТУ-154 и ТУ-134 установил техперсонал при подготовке лайнеров к полету. Смертницы – Сацита Джабирханова и Аминат Нагаева – лишь привели взрывные устройства в действие при помощи мобильных телефонов.

Возникает несколько вопросов к генералу армии Михайлову.

Первый вопрос: какими собственными контрразведывательными возможностями обладает генерал Михайлов? Способны ли приданные ему контрразведывательные подразделения (если они вообще ему приданы) вести оперативные мероприятия на гражданском авиатранспорте, к каковому относятся погибшие ТУ-134 и ТУ-154?

Второй вопрос: если генерал Михайлов оперирует не своими, а чужими оперативными данными, то чьими именно?

Третий вопрос: арестован ли техперсонал, который готовил лайнер к полету, и дал ли этот персонал соответствующие показания?

Четвертый вопрос: если этот техперсонал не арестован и не давал показаний (а это именно так), то какое право генерал Михайлов имеет пользоваться чужой или даже своей информацией, если не арестованные, но подозреваемые работники «Домодедово» находятся под оперативным наблюдением соответствующих подразделений служб ФСБ?

Пятый вопрос: если все так, как говорит генерал Михаилов, то почему об этом говорит генерал Михайлов, а не лица ФСБ, ответственные за борьбу с террором на транспорте?

Шестой вопрос: каковы полномочия генерала Михайлова?

И главное – «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» Гражданские чувства? Мы имеем дело не с гражданином, а с очень высокопоставленным военным! Далеко не юных, между прочим, лет! Хорошо понимающим, что есть свое, а есть чужое. И что без особой корпоративной необходимости вторгаться в чужой огород со своим уставом не надо! Да и по-человечески –

зачем без особых оснований публично марать каких-то домодедовских работников? Зачем вообще военному человеку, который не любит публичности, по чужому вопросу вытаскивать себя на это публичное поле?

Так значит, корпоративная необходимость есть? В чем она? И как она сопряжена с невинным на первый взгляд заявлением очевидца Александра Залченко?

Как ни моделируй, а стыковка (если она есть) только одна. Через фактор под названием противовоздушная оборона. А вот этот фактор Михайлову не чужой. Тут корпоративное начало в большей или меньшей степени вполне задето. И нужно утверждать одно: что информация по поводу последовательности вспышек и звуков объясняется не нанесением удара с земли, а нахождением взрывающегося объекта на корпусе самолета.

Но когда с такой аномальной энергией (вопреки административной логике и занимаемым позициям) проводят линию «мол, это не X, а Y, не ракета, а взрыв устройства, закрепленного на внешней поверхности», то начинает казаться, что это именно X, а не Y. Подчеркиваю – казаться!

Вполне может быть, что главком ВВС сорвался, что, тревожась о судьбе страны и авиации, он начал что-то говорить сверх своих обязанностей. Вполне возможно, что это так! Вероятность такого сценария до семидесяти процентов. Но остаются тридцать. И они говорят о корпоративном сценарии.

А в совокупности с Залченко... Со слухами... С выпихиванием этих слухов в печать...

Но закончим сюжет с Михайловым и Нагаевой, которая якобы по мобильному телефону взорвала бомбу, прикрепленную к самолету.

Хаос вокруг этой темы беспрецедентен. Нагаеву выявляют... Потом оказывается, что она мирно продает игрушки в Ростове... Затем сообщается, что шахидка планировала лететь одним рейсом, а полетела другим... А техперсонал, видимо, непрерывно бегал и прикреплял взрывные устройства к корпусам разных самолетов! Вообще, если можно к корпусу взрывное устройство прикрепить, то почему бы в устройство не засадить нормальный часовой механизм? Зачем таскать шахидок, которые то ли пройдут, то ли не пройдут проверку?

Теперь выстраивается уже четырехкомпонентная система: высказывания очевидца – слухи – информационная кампания – эксцесс с высказыванием главкома ВВС – ?.. Что это такое в совокупности, да, именно в совокупности?

Какой захват террористами самолета? Что, Нагаева одна захватывает самолет? И направляет на микроскопический объект (Путина) ночью, в кромешной темноте? Чтобы захватить самолет, нужно иметь такую группу, которую имел Мохаммед Атта! И нужно учить водить этот самолет и иметь возможность точно его куда-то довести. А резиденция Путина – это не Всемирный торговый центр. А чтобы повредить атомную станцию, тоже много чего нужно! Но главное – где диверсионная группа? Все присутствовавшие на борту опознаны. Что за хренотень, простите за грубое выражение?

А в том-то и дело, что хренотени много, и она не может быть до конца случайной. И тут, опять же, одно из двух.

Вариант первый: у всех поехала крыша, все несут любую околесицу. Всем вдобавок хочется походить на Америку. И возникает концентрированный бред вконец ошизевшего общества и экспертов. Сколько я даю процентов этому варианту? До семидесяти, не меньше.

Вариант второй: **совершилось что-то действительно страшное. Это страшное уже нельзя прикрыть. Произошли непоправимые утечки, в том числе в профессиональной экспертной среде. И тогда единственный способ спрятаться от случившегося – это совершить определенную подмену. А именно – подмену крупного военно-политического мятежа, по почерку аутентичного политической войне или стратегии напряженности, – идиотскими «мульками». «Мульки» создаются по принципу: «да, сбили, но...» Но не выдерживают никакой критики. Но это cover up (прикрытие). Михайлов понимает, что прикрытие бредовое, и предлагает свой вариант вопреки всякой административной логике. Потому что этот сюжет ему совсем не чужой – он вполне в рамках корпоративной причастности.**

Выдвинуть небезусловное (с тридцатипроцентной, не более, вероятностью) предположение о связи между катастрофами самолетов и попыткой мятежа – моя аналитическая обязанность. В той же мере моя обязанность оговорить еще и еще раз, что нет и не может здесь быть никакой утвердительности! Ни-ка-кой!!!

Конечно, я не стал бы обсуждать эту тему, совсем не имея оснований помимо тех, которые я перечислил со всей возможной скрупулезностью. И все-таки: я не имею права ничего утверждать. И я не буду ничего утверждать. Я страстно хочу, чтобы это было плодом моей аналитической фантазии и не имело никакого отношения к действительности.

А если это имеет отношение к действительности, тогда что?

КОНЬ В ПАЛЬТО

Имеющийся в известном анекдоте ответ на этот вопрос мне представляется вполне актуальным: «Кто-кто? Конь в пальто!»

Мы этого «коня» знаем. По поступи, по норову, по последствиям. Мы видим реакцию мировых СМИ и понимаем, что она значит. Мы знаем, какие будет иметь последствия обращение в Совет Безопасности ООН. Мы видим, кто, как и что простраивает. Почему мы это видим? Потому что мы это уже видели. «Конь в пальто» не изобретает новых схем, если работают старые.

Я этому «коню» хочу кое-что сказать. Тихо, на ухо.

Разговоры о смерти России имеют под собой основания. Но считать этот процесс безальтернативным – очень неосмотрительно. Многое еще живо. Есть регрессивный поток, а есть и контррегрессивный. Шанс на то, что этот поток, разбитый на множество ручейков, во что-то соберется, как-то проявится, есть.

Это очень небольшой шанс. Но Россия играла и при подобных шансах. И играть она будет до конца, даже если шансов станет еще меньше. Надеюсь, что, когда вас припрет так же, и вы столкнетесь с такой же ситуацией, вы поступите так же, а не заскулите, не побежите куда глаза глядят.

Ваши сценарии тоже известны.

Первый: поскольку Россия ничего не может, дать исламу захватить Россию и загородиться этим захваченным пространством от Китая.

Второй: интернационализовать российские «горячие» точки. А потом перейти к мягким формам условной и относительной оккупации. Бжезинский уже об этом говорит напрямую. И не надо песен – не он один.

Оба эти сценария отточены до блеска, отделаны до завитушек. Они блистательны в тактическом отношении. И они тупы, дегенеративны и беспомощны стратегически. Не в смысле наших интересов и нашей стратегии. А в смысле ваших интересов.

И если бы задача была в том, чтобы вам это показать на практике и насладиться вашим крахом, вашим предсмертным часом, то надо было бы только дать вам идти от одного вашего идиотского успеха к другому. Идти вам осталось недолго – лет шесть, не больше. Мы вас не любим и любить нам вас не за что. Но мы еще недостаточно ненавидим самих себя, чтобы позволить вам устроить собственный крах на наших костях.

Ибо было сказано нашим классиком: «И примешь ты смерть от коня своего». Но, как я ни люблю классика, я плохую и неустроенную жизнь своего Отечества люблю больше, чем его, Отечества, красивую смерть. А потому – придется жить, хотя вам это и выгодно. А то, что дурь ваша такова, что вы этого не понимаете, ну так... Что делать!

И больше говорить с вами не о чем. Обижаться на вас бессмысленно, надеяться смешно.

От лжи вашей и вашего лицемерия уже тошнит. Сначала вы аплодировали всему, что происходит в моей стране. Теперь приходите в ужас. Если вы не знали, к чему это все придет, то вы кретины, и мы имеем право об этом говорить, потому что мы вас предупреждали. Если знали, то подонки, и тогда не корчите благородные лица. А со своими штучками мы будем разбираться сами. В том-то и фокус, что ни помешать, ни помочь вы нам здесь не можете. Какую дурь ни затеете – все с дури начнется и дурью кончится.

А что касается своих, то я еще не договорил на одну очень важную тему. Ту, с которой начал.

ПУТИН И «КОНЬ В ПАЛЬТО»

Я-то считаю, что Путин приговорен. Но ему виднее. Никогда не расхваливая эту фигуру и не считая, что сейчас наступает время запоздало вписаться в ряды ее почитателей, я хотел бы избежать и другой крайности. Тем более что ее уже – через край. И начинена она такой пошлостью, что тошнит.

Все, что касалось реальных контуров нынешнего путинизма, я описал. Я не надеюсь на то, что приговоренный Путин, хватаясь за жизнь, начнет спасать страну. Хватаясь за жизнь, делают другое. Я не хочу, чтобы приговоренный Путин впадал вместе со страной в самоубийственную истерику. Это лишь усугубит ситуацию и для Путина, и для страны.

Я просто считаю, что человек – не животное и не машина. А значит, он способен к фундаментальным изменениям. К тому, что я называю «самотрансцендентацией». Скажете, что это упование на чудо? И в этом нет ничего плохого. Но то чудо, о котором я говорю, – из особого разряда.

Пережив страшные потрясения, человек способен и страшно пасть, и невероятно взлететь. Любой человек. А рядом с Путиным, в силу его ответственности, его власти и всего остального, вертятся сейчас вихри особых энергий. И что они сотворят, не знает никто. Тут прогнозировать нельзя – вредно, бессмысленно, непрофессионально.

Тут можно только что-то зафиксировать. Штрихами, без конкретизации, без деталей.

Россия действительно угасает. И в том, что она угасает, виноваты все мы. А власть в первую очередь. В самую первую очередь, конечно же, глава этой власти Владимир Путин.

Вина Путина не в том, что он злоумышляет против России. У Путина есть свое представление о благе страны. И он пытается действовать в соответствии с этим представлением. Представление это может кому-то нравиться, а кому-то нет. Мне оно достаточно чуждо. Идеал Путина – не мой идеал. Но я достаточно отчетливо понимаю, что мог бы разместить себя в пределах путинского идеала. А преобразование этого идеала в нечто другое, более мне дорогое и близкое, отложить до лучших времен. Завещать своим ученикам, реализовывать спокойно и постепенно.

Путинский идеал, как я его понимаю, – это не кристалл с очерченными гранями. Это нечто аморфное. Но нечто – не есть ничто.

Путинский идеал – это незатейливый и непроработанный субстрат. Он состоит из разных ингредиентов. Из реальной страсти. Из предрассудков. Из наивностей, общих мест. Из «заморочек», лукавства и элементов здравого смысла.

Что меня в этом не устраивает? Я говорил об этом много раз в ситуации, когда все «писали кипятком» от гениальности Владимира Владимировича. В нынешней ситуации скажу о том, что устраивает.

Устраивает то, что Россия в этом идеале фигурирует... Стоп... Как именно Россия фигурирует в данной гетерогенной аморфности, описать достаточно трудно. Пусть это делают люди, более близкие к Путину, или сам Путин.

Я могу это определять только апофатически. То есть через описание того, как именно Россия **не** фигурирует в путинском идеале. Этого, конечно, недостаточно. Но это уже кое-что.

Так как же она **не** фигурирует?

Она, безусловно, **не** фигурирует как «сука» и предмет беспощадного

истребления. Она **не** фигурирует как нечто **абсолютно** безразличное, **абсолютно** вторичное по отношению к личному благополучию (что вовсе не означает, что Путин об этом благополучии не думает).

Иначе говоря, Россия в путинском идеале **как-то наличествует**. И это для меня вовсе не мелочь. Потому что я знаю многих, для которых Россия в их идеале **абсолютно отсутствует**. И если эти многие начнут очень уж сильно кричать, как Путин губит Россию, то можно будет вспомнить их собственные высказывания, из коих явственно вытекает, что их негодование по данному поводу – «от лукавого». Как минимум, они лгут. Как максимум – негодуют, что Россию Путин губит не так, как надо. И что не им поручено это почетное дело.

Итак, меня не устраивает то, в каком именно качестве путинский идеал предполагает **наличие** России. Но меня устраивает то, что этот идеал предполагает **наличие** России, а не ее **отсутствие**.

Пусть Россия – это корабль. И пусть этот корабль капитан по фамилии Путин ведет курсом, который меня не вполне устраивает. Или абсолютно не устраивает.

Но, во-первых, для меня гораздо важнее корабль, чем курс. Я не хочу жить по принципу – или мой курс, или взрываем всё к чертовой матери. Я хочу жить здесь. И реализовывать здесь свои согласия и несогласия. А значит, это «здесь» для меня важнее всего. И уж тем более важнее собственных амбиций и представлений о должном.

Во-вторых, споры о курсе имеют смысл, пока есть корабль. Если корабль взорван, и все мы барахтаемся в бурном море и цепляемся за обломки, то какой смысл имеет само это слово «курс»? То бишь, идеология, проект... Что это такое в отсутствии предмета? Русский проект в ситуации исчезновения русского государства – что это? Жалкие амбиции сумасшедшего.

Счастье Путина, что у него есть идеал. Беда его, что этот идеал... как он там любит говорить? «Мухи отдельно, котлеты отдельно»?

Счастье и беда Путина в том, что степень аморфности его идеальных позывов практически полностью совпадает со степенью аморфности идеальных позывов нынешнего российского населения. Это беда, потому что лидер обязан быть впереди. И это счастье, потому что есть – очень условный – шанс на то, что Путин поумнеет и вырастет вместе с народом.

Каков этот шанс? Опять 30 процентов, 70 процентов? Нет, ни в коем случае! Тут речь идет о единицах процентов. Но отнять их, вырвать их аналитическими клещами из нынешней ситуации я не хочу. По одной лишь причине – это будет слишком правильно и потому неверно.

Но главное – России придется вырастать и умнеть. С Путиным или без – совершенно неважно. Придется понять масштаб катастрофы и постараться выжить.

* * *

Алексей Цветков

было третье сентября*
насморк нам чумой лечили
слуги ирода-царя
жала жадные дрочили
опустили всю страну
поступили как сказали
потный раб принес к столу
блюдо с детскими глазами

звонче музыка играй
ободряй застолье зверю
может есть кому-то рай
я теперь в него не верю
со святыми не пойду
соглашаюсь жить в аду

в царстве ирода-царя
кровь подсохла на рассвете
над страной горит заря
на траве играют дети
все невинны каждый наш
я предам и ты предашь

4 сент. 2004 г.

* 3.09.2004 – день убийства школьников в Беслане.

Алексей Цветков – журналист, поэт и прозаик, автор ряда поэтических сборников, книги прозы и многих журнальных публикаций. Сотрудник «Радио Свобода». Живет в Чехии.

Юрий Колкер

КАК И ОТЧЕГО УМЕР СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Мы всегда знали: он умер как герой, погиб во время разведывательного полета над побережьем южной Франции, был сбит пулеметной очередью нацистского мессершмитта 31 июля 1944 года. Знали и другое: такие люди на самом деле не умирают, живыми попадают на небо – как Илья-пророк, король Артур и Маленький принц. Никто не был свидетелем смерти Сент-Экзюпери. Поэт-летчик просто растворился в лазури.

Так было до этого года.

ТЯТЯ, ТЯТЯ, НАШИ СЕТИ...

Первое облачко набежало в 1998 году. У крохотного островка Риу, в виду южного побережья Франции, двое марсельских рыбаков извлекли из своей сети блестящий предмет. Одного рыбака звали Хабиб бен-Амор. Он протянул находку своему нанимателю, владельцу лодки Жан-Клод-Антуану Бьянко. Тот, потерев железку, сперва увидел имя «Антуан» – и решил, что его разыгрывают. Потерев еще, он прочел: «Майор Антуан де Сент-Экзюпери». Это был военный опознавательный браслет.

Бьянко объявил о находке – и немедленно был зачислен в фальсификаторы. Ни журналисты в своей массе, ни семья писателя не допускали и мысли о том, что браслет – подлинный. Семья – так просто на дыбы вста-

Юрий Колкер – кандидат физ.-мат. наук, поэт, критик и публицист. Автор множества статей и книг стихов («Послесловие», «Антивенок», «Далека в человечестве», «Завет и тяжба», «Ветилуя»). Живет в Англии.

ла. Но при этом повела себя странно: получив браслет на опознание, не пожелала вернуть его владельцу-«фальсификатору». На фоне разразившегося скандала прошли незамеченными слова родственников жены писателя, признавших браслет собственностью Антуана де Сент-Экзюпери.

ЛИЦОМ К МОРЮ

В тех местах начинал свою карьеру знаменитый подводник, изобретатель акваланга Жак Кусто – искал и находил обломки древнеримских кораблей. Подозреваем, что его влекла сюда не только история. Это один из красивейших участков южного побережья Франции. Природа, не испорченная присутствием человека, кристально-чистое море вдали от курортных берегов. Всё дышит поэзией.

Владелец марсельской школы подводного плавания Люк Ванрель тоже погружался в этих местах. Искал на дне обломки более поздней поры: обломки того самолета, в котором погиб Сент-Экзюпери (ибо не все поверили, что браслет – подделка). Всего нашел он около сорока самолетов, а 23 мая 2000 года – и тот самый американский локхид-лайтинг, модель Ф-5, конструкцию которого заранее изучил по чертежам, полученным от специалиста. Полагался он не только на интуицию. Локхид-лайтингов этой модели и вообще было во время войны на Средиземноморье немного, разбилось же их всего три, и все – в местах, лежащих далеко от предполагаемого места гибели Сент-Экзюпери. Не один Ванрель был убежден, что в день своего последнего вылета Сент-Экзюпери намеренно отклонился от предписанного ему маршрута. А браслет был найден тут...

Погода в день погружения Ванреля стояла безоблачная и безветренная, подводные условия были идеальные, лучи полуденного солнца падали отвесно, не давая тени на дне, и Ванрель прекрасно разглядел свою находку: шасси и двигатель локхид-лайтинга.

По закону обломки кораблей и самолетов считаются могилой тех, кто погиб при их крушении. Без специального разрешения обследовать их нельзя. Зная об этом, Ванрель обратился в министерство культуры Франции. Можно было ожидать, что там заинтересуются и обрадуются – ведь речь шла о прояснении судьбы национального героя. Но вышло иначе. Хотя Ванрель не прикоснулся к обломкам, его обвинили в разграблении могилы. Богатое семейство Сент-Экзюпери (*теперь* богатое; писатель умер в долгах) пустило в ход свои связи в коридорах власти и добилось запрета не только на погружения, но и на рыбную ловлю в этих местах.

Более полутора лет потребовалось министерству культуры только на то, чтобы *зарегистрировать* заявление Ванреля. Между тем другие подводники почуяли сенсацию и, нарушая запрет, начали понемногу подбираться к обломкам. Когда же правительство с видимой неохотой всё же разрешило обследование, фрагменты погибшего самолета начали поднимать на по-

верхность. Прошлой осенью была обнаружена алюминиевая панель с номером 2734 L – номером самолета Сент-Экзюпери. Догадка Ванреля окончательно подтвердилась: писатель-летчик погиб совсем не там, где думали. И погиб странно.

Официальное заявление министерства культуры Франции последовало 7 апреля 2004 года. Собравшимся на пресс-конференцию журналистам сказали, что самолет вошел в воду практически *вертикально* (sic!) со скоростью 804,5 километра в час и что «причина гибели никогда не будет доказательно установлена». Предполагаемая причина – отказ системы подачи кислорода. Почему? Потому что в корпусе самолета не найдено ни одного пулевого отверстия. Майор де Сент-Экзюпери – не был сбит. Мысль о самоубийстве – просто напрашивается.

Сколько времени он летел вертикально вниз, лицом к морю? Принимаем скорость вхождения в воду равной v = 804,5 км/ч (то есть 223,5 м/с). Если пилот выключил мотор, то падал он (t = v/g) 22,8 секунды (с высоты в 2544 метра). Если не выключил, то при крейсерской скорости локхидлайтинга в 483 километра в час (u = 134,08 м/с) получаем (t = (v–u)/g) 9,1 секунды (с высоты в 1628 метров).

СЕМЬЯ И СТРАНА ОЗАБОЧЕНЫ

Благосостояние родственников писателя покоится на его посмертной славе, на изданиях и переизданиях его сочинений, в первую очередь – «Маленького принца», в популярности соперничающего с Библией.

Но наследие Сент-Экзюпери – не только семейный бизнес. Летчик-писатель – национальный герой Франции, одна из самых привлекательных физиономий этой страны, изрядно униженной в войнах с Германией. Французам, в массе своей загнавшим нелицеприятное прошлое в подсознание, нужна патриотическая отдушина, и тут Сент-Экзюпери незаменим. Он лучше де Голля послужил восстановлению «национального величия Франции». (Это величие, к слову сказать, сейчас прочно забыто, но некогда было нешуточным. До возвышения Пруссии во второй половине XIX века французская армия столетиями считалась самой грозной силой на свете, а французский солдат, особенно кавалерист, – самым доблестным. Британия правила морями, Франция – землями. Преобладание Франции на суше никем не оспаривалось до Крымской войны, даже до пирровой победы Наполеона III над Австрией при Сольферино (1859); оно рухнуло только в 1871 году. Герцен пишет о нем, как о чем-то само собою разумеющемся. Стендаль убежден, что даже коалиция европейских держав не в состоянии выдержать более одной кампании против Франции... без английских денег.)

Но если Сент-Экзюпери не был сбит мессершмиттом, а погиб в результате технической неисправности, то, согласимся, его героизм несколько бледнеет. Если же это было самоубийство (версия, тотчас высказанная ис-

тором Марком Бернаром), то дела обстоят еще хуже. Писатель, может, и не проигрывает от такого конца, в котором есть что-то от богемы, – а вот национальный герой-летчик оказывается не на высоте.

Не удивительно, что первые попытки обследования дна у острова Риу встретили противодействие и правительства, и семьи. Племянник писателя, едва прослышав про находку Ванреля, заявил: «Легенды типа Сент-Экзюпери не терпят подновления!»

Точнее не скажешь. Слишком многое поставлено на карту. Особенно сейчас, когда Франция, во всем блеске своего отредактированного национального величия (разве что чуть-чуть омраченного антисемитизмом), отметила перед лицом всего мира 60-летие гибели своего героя.

ПЕРЕД РОКОВЫМ ВЫЛЕТОМ

Можно ли вообразить Антуана Сент-Экзюпери несчастным человеком?

Аристократическое происхождение, безоблачное детство в замке Сент-Морис де Реман под Лионом, обожаемая и обожающая мать... А взрослость? Захватывающая профессия, даже две – это ведь давно отмечено: два увлекательных занятия идут не в ущерб, а в помощь друг другу; одно подпитывает другое... Своевременная, почти моментальная писательская известность. Правда, в промежутке были горькие неудачи, о которых мы наслышаны, но у какого же героя не было неудач? Труднее поверить, что годы признания и славы были для писателя мрачным, даже отчаянным временем.

Летом 1944-го на Корсику, покинутую нацистами, прибыла эскадрилья 2/33 французских ВВС. Расположилась она в портовом городе Бастия, смотрящем в сторону Италии (в хорошую погоду видны острова Эльба и Монтекристо). Своего рода талисманом эскадрильи считался майор Антуан де Сент-Экзюпери, не самый замечательный пилот (ростом был высоковат, комплекцией в последние годы грузен, в движениях неуклюж; в жизни и за штурвалом отличался рассеянностью) и не слишком дисциплинированный офицер, но человек отважный до сумасбродства, любезный и галантный, острослов, весельчак и всеобщий любимец – словом, из тех, что приносят счастье. Он уже известный писатель, автор «Ночного полета» и «Земли людей». «Маленький принц» тоже написан (в 1943-м, в Америке) и издан, но финансового успеха пока не принес – и принесет не автору. Однако сам весельчак, как это нередко бывает, невесел – или, во всяком случае, не выглядит счастливым и основательно прикладывается к бутылке. Даже более того: он – глубочайший пессимист, прощающийся с жизнью.

Основания для этого были самые разные. Одно из двух любимых дел уходило из рук. Ранние авиаторы чувствовали себя птицами – теперь на смену их хрупким аппаратам, где всё зависело от пилота, приходили переусложненные, перегруженные приборами тяжелые машины, оставлявшие куда меньше простора воображению, мечте и поэзии. Сент-Экзюпери не

любил их – и не берег военные машины, за что его, случалось, удерживали на земле. Да если бы и любил – летать в сорок четыре года поздновато, особенно если здоровье подточено ранами (Сент-Экзюпери не раз чудом выходил живым из аварий и крушений). Начальство неохотно отпускало писателя в небо – возможно, не без давления со стороны начальства совсем уж высокого.

Странно вымолвить, но теперешний национальный герой в ту пору представлялся генералу де Голлю коллаборационистом и чуть ли не предателем – ведь книга «Полет в Аррас» вышла в вишистской Франции. Мало того: де Голль был убежден, что Сент-Экзюпери, лично знакомый с Эйзенхауэром, настраивает американцев против него, вождя Сопротивления. Быть может, тут и была доля истины. В частных разговорах Сент-Экзюпери осуждал де Голля за чрезмерные амбиции, утверждал, что тот ставит личные интересы выше интересов родины. А влияние де Голля росло час от часу, и генерал был мстителен, обид не прощал. Он поставил Сент-Экзюпери под негласный надзор. Почту писателя перлюстрировали, его книги были запрещены в освобожденной части Франции. Тут есть, от чего запить.

Говорят, летчику даже мерещилось, что после войны его отдадут под суд и расстреляют как предателя. Было ли такое возможно? Не знаем. Маловероятно. Но примеры поспешных расправ и дикой несправедливости победителей известны. Взять хоть маршала Петена, героя Первой мировой войны. Давно выяснено, что и во Вторую мировую войну он не запятнал честь Франции (поголовно не хотевшей сражаться), а сделал всё мыслимое для ее спасения (ведь номинально Франция так и не капитулировала; вишистский режим существовал на условиях перемирия). Петен принял лично на себя весь позор, который должны были с ним разделить миллионы французов, – и был в возрасте 88 лет приговорен к смертной казни (замененной пожизненным заключением). Де Голль отказался даже принять его представителя, а ведь Петен был *законным* главой государства; генерал же действовал как узурпатор, по праву силы...

Были у Сент-Экзюпери и другие поводы для пессимизма. Первая юношеская влюбленность принесла ему лишь горькое разочарование. Мимолетные связи и жена-сальвадорка, Консуэло Гомес-Карильо, не отвечали запросам быстро старевшего писателя. Брак этот был, что называется, открытый, взаимной верности не предполагавший (соглашение, которое Консуэло использовала, по слухам, на всю катушку), но артистическая разнузданность с годами надоедает, и мужчина, входящий в возраст, обыкновенно спрашивает себя словами Пушкина: «Нельзя ль найти подруги нежной, нельзя ль найти любви надежной?»

Верно: пошлая рутина обыденности (которой, как огня, боялся Сент-Экзюпери) мужу Консуэло не угрожала. Подвижная, артистичная, полностью отрешенная от реальности, она была забавна и соскучиться не давала – уже хотя бы потому, что скандалы между супругами были беспрерывные. Посторонних она не стеснялась. Друзья наблюдали, как Антуан едва успе-

вал уворачиваться от тарелок, которые она в него швыряла. Ложь и мистификация были подлинной стихией Консуэло. Ложью, можно допустить, были и слухи об импотенции писателя, которые она упорно распространяла; но дыма без огня не бывает (другие женщины тоже не в превосходной степени отзывались о любовных доблестях Антуана), и почти очевидно, что обычных радостей, скрепляющих союз мужчины и женщины, не хватало и ей, и ему. Так что и эта составляющая бытия не слишком привязывала Сент-Экзюпери к жизни.

В мае 1944-го, после восьми месяцев просьб и закулисных интриг, Сент-Экзюпери добился разрешения вновь подниматься в воздух. Физически он был мало к этому пригоден. Шея почти не поворачивалась, боли в спине отпускали редко. Летал он плохо, и друзья-соратники всеми правдами и неправдами старались удержать его на земле. Командир эскадрильи, Рене Гавуаль, припоминает, что пилот-писатель намекал ему: мол, пора; в один прекрасный день я исчезну, и лучше бы – при исполнении задания. Сент-Экзюпери передал командиру свои бумаги – с инструкцией, как ими распорядиться после его смерти. Друзьям он писал, что победа (теперь она была уже очевидна) принесет миру не радость, а тошнотворную скуку: к душе человеческой вплотную подступает мир машин, потребительский мир, в котором нет места поэзии. Незадолго до 31 июля он подарил сослуживцам пишущую машинку и любимые шахматы.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

В разведывательные полеты вылетали засветло. Будили летчиков ночью. Но его будить не пришлось. В последнюю ночь Сент-Экзюпери вообще не ложился. До сих пор неясно, не был ли его последний вылет *самовольным*. Допускают, что сесть за штурвал должен был другой летчик – и Сент-Экзюпери вызвался его заменить, не поставив в известность командира. Гавуаль прибыл на аэродром после взлета Сент-Экзюпери – и разразился проклятиями: «Какого черта вы позволили ему взлететь?!»

По многим признакам Сент-Экзюпери мог думать, что этот полет – в том или ином смысле – последний в его военной карьере. Искал ли он смерти? Утверждать этого нельзя. Возможно, лишь призывал смерть; возможно, вылетел без определенного плана, а роковое решение повернуть самолет носом к другой лазури принял в самый последний момент, поддавшись внезапному импульсу. Косвенно он сказал о возможности самоубийства за восемь дней до 31 июля: находясь в воздухе над Турином, он намеренно подпустил к себе германские истребители. Вооружения на его разведывательном локхид-лайтинге не было, немцы знали это, и поведение летчика показалось им таким странным, что они не стали его атаковать...

Полагают, что в 9:30 Сент-Экзюпери пересек береговую линию Франции. Больше о нем никто ничего не слышал. Ванрель, не сомневающийся,

что это было самоубийство, считает, что герой заранее выбрал дивное по красоте место для своей могилы.

ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДИЕ

Что же сказал нам своей смертью Антуан Сент-Экзюпери? И что он сказал своей жизнью?

Завещанием писателя естественно считать не изданную посмертно (и незаконченную) «Цитадель», а «Маленького принца», вещь отнюдь не светлую и жизнеутверждающую, а глубоко пессимистическую, если же приглядеться, то и пустоватую, при всей ее заслуженной популярности.

Пессимистическую потому, что во всей вселенной писателя, не только на Земле, нет ни одного человека, кроме лирического «я» рассказчика, от всех оторванного, ни с кем не связанного. Герой сказки, Маленький принц, всё же не человек, а сверхчеловек. Он и умирает, как Христос: тело его исчезло, вознеслось на небо (но мы-то знаем, что вознесение на небо – другое имя смерти).

А пустоватую – потому, что во вселенной Сент-Экзюпери не хватает Бога (в резком контрасте со сказками Андерсена или Гауфа). От этого чувства невозможно избавиться. Мир холоден и пуст. Герои в человеческом обличье карикатурны и плоски (что вовсе не обязательно для сказки). В лисе и змее больше человеческого, чем в короле, честолюбце или пьянице. Космогония скучная, раздражающая, без полета воображения. В этом и состоит евангелие от Сент-Экзюпери. Человек, очень поверхностно образованный и, решусь вымолвить, неглубокий, он совсем не был мыслителем. Он был чувствователем, одним из первых ощутил наше мировое сиротство – его и выразил. Мы больше не верим. Не можем верить после окопных боев на Сомме и иприта, после газовых камер и Хиросимы. Особенно – после Соммы и иприта. Не вторая, а Первая мировая война перевернула европейское сознание (вторую многие не без оснований считают всего лишь продолжением первой). Не будь Первой – не было бы ни большевизма, ни нацизма. Бог отступился от человечества, от его цивилизованной части. Остался он в своем прежнем статусе только у мусульман мусульманских стран, да и то не у всех. Даже самые пламенно верующие среди нас – не более чем ханжи рядом с теми, кто не пережил, не осознал, не пропустил через свою душу катастроф XX века.

Еще – Сент-Экзюпери сказал нам (своей жизнью и своей смертью), что Бог – это традиция. Нельзя вырывать с корнем то, чем жили родители. Маленький принц – противник самодовлеющего разума, теснящего душу, апостол простых исконных ценностей, всего того, чего в жизни (включая жизнь семейную) писателю катастрофически недоставало. Маленький принц, разумеется, еще и второе «я» автора, ведь поэты не взрослеют.

Говорят, до войны, в Тулузе, Сент-Экзюпери бросил одну из своих воз-

любленных после того, как застал ее за штопаньем носков. Ушел, дескать, даже не простившись. Очень похоже! А читается эта притча вот как: пуще смерти он боялся обыденности. Смерти, как мы видели, не боялся, хотя правы и те, кто в его отваге усматривает нечто от истерики и исступления. Но это ведь и всегда так. Романтическая парадигма – просиять и погаснуть – вот, что было заложено в этом не повзрослевшем ребенке. Старость с ее болезнями и немощью, повседневность с ее носками, часто требующие от человека большего напряжения душевных сил, чем военные подвиги и мгновенная героическая смерть, оказались ему не по плечу.

«Зорко одно лишь сердце – самого главного глазами не увидишь»; «ты в ответе за тех, кого приручил»; «единственная на Земле роскошь – роскошь человеческого общения»... Куча цитат, ставших частью нашей жизни. Сама мудрость, не так ли? Ошеломляющая в своей простоте «мудрость чудака», мудрость поэта. Спасибо ему (хотя и до него говорили; и не афоризмами жива высокая литература). Мировая слава Сент-Экзюпери оправданна; талант его несомненен. Но мы бы услышали всё это иначе, а может, и вовсе не услышали бы, справься Сент-Экзюпери со своей депрессией и переживи 31 июля.

...Россия, часто поднимавшая на щит невесть кого, в отношении Сент-Экзюпери не промахнулась: воздала писателю по заслугам, хоть и с опозданием. Воздает и по сей день. Есть тому не совсем обычное свидетельство: во-первых, в России писателя сделали графом; во-вторых, его имя в русском интернете пишут латиницей самым непостижимым образом. Например, так: Antuan de Sent Exupery. И еще лучше: Antuan Sent-Ekziuperi и Antuan Sent-Ekzyuperi. Особенно умиляет это Antuan, миру за пределами России решительно не известное. (Латиницей Антуан передается как Antoine.) Случается в имени до восьми (!) ошибок. Это ли не свидетельство славы поистине всенародной – когда о тебе не только слышали, но и мечтают, и даже пишут люди вполне безграмотные и безмысленные? Но можно допустить, что сам писатель, посмертно ставший французской мыльной оперой, хотел другой славы и другой аудитории.

В. Барзас

«УЖЕЛЬ ТА САМАЯ ТАТЬЯНА?»*

Она была не тороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязанья на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей;
Все тихо, просто было в ней.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

Влетело же Пушкину за эту любовную «интрижку» от П. К. Губера (1886–1938), исследователя данного вопроса в книге «Донжуанский список Пушкина» (СПб., 1923). А между тем грустная история этой несостоявшейся любви очень напомнила мне историю любви Татьяны Лариной к Онегину. Некоторые черты своей героини, именно «деревенские», Пушкин, несомненно (для меня), писал с Анны Николаевны Вульф, другие, «генеральские», – с А. П. Керн, а третьи, великосветские, как утверждают иные пушкинисты, – с графини Н. В. Строгановой, рожденной Кочубей, и почему не с Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой? Ведь и сам Евгений Онегин тоже «портретная мозаика»: иногда его не отли-

* «Нева». 2004. № 6.

Сведениями об авторе редакция не располагает.

чить от князя П. А. Вяземского, иной раз он – вылитый П. Я. Чаадаев, а подчас – верная копия самого автора... Но, конечно, прав Губер. Онегин вел себя «поблагородней» с Татьяной Лариной, чем их создатель с Анной Вульф. Герой ведь не завлекал героини по чаадаевской вялости своего сердца, она беспомощно увлеклась им, только глянула. Александр же Сергеевич, по горячности своего сердца, и сам увлекался, и других увлекал. Всегда есть за что «взыскивать»...

«С январем и февралем 1826 года связан один из самых нехороших поступков, который мы знаем за Пушкиным, – читаем в книге Губера. – В эти месяцы завязался его роман с Анной Николаевной Вульф, и при всем желании нельзя не признать, что роль его была при этом совершенно предосудительна. Чем руководствовался он, начиная эту интригу? Скукой и праздным, но жестоким психологическим любопытством. Других побудительных причин не могло быть в данном случае у псковского ловеласа. Он нисколько не был увлечен Анной Николаевной. Как женщина она ему нимало не нравилась. Он уже давно потешался над ее слезливой чувствительностью, давно изводил ее своими колкостями. Победа над ее беззащитным сердцем не представляла для него никакого труда и даже не обещала триумфа его самолюбию. И все-таки он не счел нужным отказаться от этой победы. Это был как бы его реванш. Прекрасная и обольстительная А. П. Керн ускользнула от него. Зато бедная Анна Николаевна досталась ему в жертву. Кто знает, быть может, в своем незлобивом смирении она рада была в конце концов даже этой возможности. Анета Вульф... без памяти влюбилась в Пушкина. Он, конечно, не был влюблен ни на мгновение и, однако, настойчиво принялся за нею ухаживать, но зоркая Прасковья Александровна своевременно подняла тревогу и поспешила отвезти дочь к тетке в Тверскую губернию, в село Малинники».

Автор объясняет эту «интригу» поэта, с одной стороны, «скукой и праздным, но жестоким психологическим любопытством», а с другой – «реваншем» за А. П. Керн, то есть, в сущности, местью. Все очень дурные, не правда ли, чувства и побуждения, следственно, и поступок этот «самый нехороший». Нет, господа, спеша в своем анализе с «моральными» оценками, даже самый прозорливый исследователь рискует не понять ничего или очень мало... На мой взгляд, ни «реванша», ни «жестокого психологического любопытства» в романе Пушкина с Анетой Вульф не было. Как сверхчуткий и отзывчивый человек он просто исполнил давнее (вероятно, еще с декабря 1824 года) желание этой некрасивой и пока еще не очень «старой девушки»: погрузил ее в сферу волшебных чувств столь долгожданной ею любви. (Не может быть «благополучной» жизнь девушки без любви.) И ошибка думать, что сам поэт оставался при этом (по Губеру) каким-то холодным экспериментатором. Девушка была некрасива? Вот аргумент! Разве мы не знаем, что любовь, вера, счастье преображают женщин, делают их предельно красивыми, обая-

тельными, притягательными? Так почему же Пушкину в его захолустном уединении и не поддаться было этой любовной магии, не взволноваться самому? Пусть и временно, неглубоко... Если бы у нас была возможность спросить позднее Анну Николаевну, осуждает ли она Пушкина, хочет ли, чтобы этой ее бесплодной и мучительной любви не было, что бы услышали в ответ? Ах, оставьте, – вскричала бы она, как мне отчетливо слышится, – это самое счастье! это самое драгоценное в моей тусклой жизни!..

Оставим, господа, и займемся разрешением других вопросов. Например: какие все же у меня аргументы за то, что Анна Вульф – прообраз «деревенской» Татьяны Лариной? Их несколько. Первое: что она именно жила в деревне, в отличие от той же А. П. Керн, которая туда только наезжала в летние месяцы. Второе: в «Евгении Онегине» есть сцена, когда, гуляя по окрестностям, Татьяна «случайно» оказалась вблизи имения Онегина; хозяин отсутствовал, и она попросила слугу провести ее в его кабинет, чтобы сладко повздыхать там наедине хотя бы с «тенью» любимого. Могла ли такой поступок совершить Анна Вульф? Наверняка да. Г-жа Керн в своих воспоминаниях утверждает даже, что «она часто бывала в доме Пушкина». Это вряд ли. Но один-то разок при отлучке хозяина, кажется, не очень предосудительно и для девицы на выданье. И последнее: как и героиня пушкинского «романа», Анна Николаевна первая написала письмо своему любимому. Уезжая из Тригорского в имение Малинники, она, вероятно, условилась с Пушкиным переписываться, но, снедаемая нетерпеливым чувством, не могла дождаться письма из Михайловского и – нарушила этикет:

«Я долго колебалась, писать ли вам, пока не получу от вас письма; но так как размышления никогда мне не помогают, я кончила тем, что уступила желанию вам написать. Однако с чего начать и что сказать вам? Мне страшно, и я не решаюсь дать волю своему перу: Боже, почему я не уехала раньше вас, почему? Впрочем, нет, сожаления мои излишни, – они, быть может, станут лишь триумфом для вашего тщеславия; весьма вероятно, что вы уже не помните последних дней, проведенных нами вместе... Знаете ли вы, что я плачу над письмами к вам? Это компрометирует меня, я чувствую; но это сильнее меня: я не могу с собой справиться» (8 марта 1826 г.).

Ответное письмо Пушкина (оно не сохранилось), разумеется, совсем не было похоже на чопорно-благоразумное письмо Евгения Онегина Татьяне Лариной. Это можно вычитать даже из других вполне безнадежных посланий нашей героини, которые я предоставляю комментировать своему читателю:

«Если вы получили мое письмо, во имя неба уничтожьте его! Мне стыдно своего безумия, я никогда не посмею поднять на вас глаза, если опять увижусь с вами... Какое колдовское очарование увлекло меня? Как вы умеете притворяться в чувствах! Я согласна с кузинами, что вы

очень опасный человек, но я постараюсь образумиться» (конец марта 1826-го). «Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я пожертвовала бы ею, и вместо награды я попросила бы у неба лишь возможность увидеть вас на мгновение, прежде чем умереть... Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, – пусть даже ценою того, что никогда более не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть... Как это поистине страшно оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мною станется» (11 сентября 1826 г.).

Ах, милая Анета! Все будет прекрасно. Пушкина простят – под условие стать «другим Пушкиным». Он напишет вам еще несколько нежно-иронических, остроумных писем. И вы, по уговору, уничтожите их. Затем ваша переписка прервется. Потом, охладев сердцем, вы выйдете замуж за отважного, израненного в боях за отечество, хромого генерала Какбишева... И вот спустя несколько лет, однажды на великосветском балу Пушкин случайно столкнется с вами и воскликнет восхищенно:

– Ужель та самая Анета?!

Если этого и не было (каюсь, не было: Анна Николаевна Вульф так и покинет этот неуютный мир старой девушкой в 1857 году в Тригорском), то, не правда ли, это хорошо придумано... в «Евгении Онегине»!

Михаэль Дорфман

ЕВРЕЙСКИЕ ФРАГМЕНТЫ ЖИТИЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКИТЫ

Посвящается замечательному русскому ученому и просветителю, одному из крупнейших специалистов XX в. по истории Византии Александру Петровичу Каждану

Автор благодарит московского священника Якова Кротова за ценные критические замечания, помогавшие в работе и заставившие пересмотреть многие устоявшиеся догмы, Элис Мэри Талбот из Центра изучения Византии в Дамбертон-Окс (США) за предоставленные материалы, Марину Островскую (Франция) и Наталью Тышкевич (Израиль) за дружескую помощь.

В «Росписи, или кратком летописце Новгородских владык» святитель Никита значится шестым Новгородским епископом. Никита – один из наиболее ранних святых Русской православной церкви. Его почитание отмечено уже в XII веке. Сведения о его жизни сохранил преподобный Поликарп со слов жившего в XIII веке святого Симона, епископа Владимирского и Суздальского, автора «Сказания о святой чудотворной церкви Печерской

Михаэль Дорфман – журналист, публицист, редактор, телепродюсер, участник Ливанской кампании. Автор более чем 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

Киевской, како создася, украсися и освятися». Святитель Никита чтился и как защитник Отечества, покровитель воинов. Летописец, рассказывая о походе Новгородского князя Мстислава и его победах, замечает, что Мстислав вернулся «в град свой молитвами преподобного Никиты, епископа Новгородского».

Скончался святитель Никита в 1109 г. В 1558 г. были обретены его мощи при царе Иване Васильевиче и митрополите Макарии и новгородском архиепископе Феодосии. Канонизация, называемая в русском православии прославлением святого, сопровождалось исцелением слепых и расслабленных. Во время Ливонской войны святителя Никиту видели на поле брани в архиерейском облачении, он благословлял русских воинов. Доныне цел каменный корпус новгородского архиерейского дома, и в памятниках, и в народном предании известный под именем Никитинского. Это самое древнее из дошедших до нашего времени строений архиерейского корпуса. Новгородский Софийский собор в Новгороде, расписанный по замыслу архиерея Никиты, сохранился по сей день. Иные храмы, возведенные в годы его архиерейства, пострадали во время войны 1941–1945 гг., называемой русскими Великой Отечественной.

Странности в житии святителя Никиты начинаются с самого начала. Вот, что повествуют «Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-миней св. Дмитрия Ростовского с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых», изданное в Москве в 1904 г.:

Преподобного Никона, в бытность его игуменом, один брат Печерского монастыря по имени Никита, начал просить, чтобы он благословил ему подвизаться в одиночестве уединении в затворе.

– Сын мой. Не будет тебе пользы, при твоей юности, сидеть праздно, – ответил игумен. – Будет гораздо лучше, если ты останешься с братией и, работая вместе, не потеряешь награды. Ты сам видел, как брат наш Исаакий-пещерник был соблазнен в затворе бесами и погиб бы, если бы его не спасла великая благодать Божья по молитвам преподобных отцов наших Антония и Феодосия.

Знакомые с уставами и порядками русских православных монастырей знают, что отказ в благословении означает запрет. В таких случаях налагается еще и послушание, чтобы трудом на пользу братии монастыря, покаянием и непрестанными молитвами изгнать неугодные мысли. Тут бы и делу конец, но житие повествует, как, вопреки правилам и уставам, упрямый инок Никита продолжал настаивать:

– Никогда, отец мой, я не соблазнюсь при каком-либо искушении. Я имею

намерение твердо противостоять бесовским искушениям и буду молить Человеколюбца Бога, чтобы Он и мне подал дар чудотворения, как некогда Исаакию-затворнику, который и доселе творит многие чудеса.

Очевидно, авва монастыря обладал ангельским терпением. Даже в относительно либеральных современных американских православных монастырях такая настойчивость инока была бы неуместной. После отказа в благословении игумен еще раз пытается отвести Никиту от избранного пути:

– Твое желание выше твоих сил. Берегись, сын мой, чтобы ты не пал за свое превозношение. Я повелеваю тебе служить лучше братии, и за послушание свое будешь ты увенчан от Бога.

Наконец последовал категорический запрет. Как правило, запрет сопровождался суровой епитимьей для вразумления и смирения упрямства. Инока упрятывали в одиночную келью для длительной молитвы, поста и воздержания, как это случилось со св. Ларионом, тоже просившим у Никона позволения уйти в затвор. Лариона даже услали в другой монастырь. Никита же не послушал наставлений игумена. Дальше происходят удивительные вещи. Мы, действительно, находим Никиту в заключении, в пещере. Только заключил он себя туда сам.

Он не мог победить в себе ревности к затворнической жизни. И он выполнил то, к чему стремился, заключился в пещере, крепко загородил вход и никуда не выходил...

Житие умалчивает, была ли пещера на территории Печерского монастыря. Скорей всего, нет. Трудно предположить, что игумен Никон стал бы долго мириться с подобным своеволием. Вероятно, Никита попросту сбежал из монастыря.

Дальше житие повествует, что вскоре, *«не по мнозех же днех»* Никита не избежал козней. Дьявол быстро соблазнил инока. Прельщенный Никита не предался блуду, пьянству или чревоугодию, не занялся разбоем, лиходейством или лихоимством. Обольщение состояло в том, что бес представился Богом и вместо молитв повелел читать книги, учиться и поучать народ:

– С этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим путем будешь ты беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе.

...Затворник поверил этим словам и, обольщенный, уже не молился, но стал ревностно читать книги... С приходящими к нему он много беседовал на основании Священного писания о пользе души... Он начал даже пророчествовать. О нем повсеместно распространилась слава, и все удивлялись исполнению его предсказаний...

Можно предположить, что среди читателей найдутся верящие в реальность дьявольских козней. Мы же постараемся найти более правдоподобное объяснение описанных событий. Житие не скрывает серьезных идейных расхождений между Никитой и монастырской братией. Ведь православная традиция почитает главными обязанностями верующего молитву, пост, покаяние и смирение духа, а Никита видел главное в учении, придерживался предписаний иудейского закона. Дальше Никита тоже повел себя согласно иудейским традициям:

...при этом никто не мог сравниться с Никитой в знании книг Ветхого Завета, все он знал наизусть: книгу Бытия, Исход, Левит, Чисел, Судей, Царств, все пророчества по порядку... Все книги ветхозаветные он знал очень хорошо, а святых евангельских и апостольских книг он не хотел ни видеть, ни слышать, не говоря о том, чтобы почитать. О Новом Завете он вообще ни с кем не хотел беседовать... Именно это обстоятельство и говорило, что Никита соблазнен диаволом.

Житие повествует:

Когда приходили к затворнику искавшие у него утешения, то бес, почитавшийся им ангелом, сообщал ему все, случившееся с ними... и все сбывалось... [люди] заговорили о затворнике как о пророке и вполне верили ему и князя, и бояре. На самом деле, бес, конечно, не знает будущего, но что он сам и делал, то и возвещал...

Из скупых сообщений жития очевидно, что своими предсказаниями Никита активно влиял на политику, раз ему «вполне верили князья и бояре»:

Послал Никита к великому князю киевскому Изяславу Ярославовичу с извещением «Сегодня убит князь Глеб Святославович. Пошли немедленно сына своего Святополка на княжеский престол в Новгород». Как он сказал, так исполнилось. Спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба.

Речь идет о событиях 1078 г., когда во время неудачного похода князь Глеб Святославович был убит финнами.

Житие святителя Никиты содержит и другие подробности, необычные для житийной литературы. Например, сцена прельщения инока дьяволом. Первого русского юродивого Исаакия-чудотворца дьявол соблазнял около семи лет. Тут же прельщение случилось очень быстро. Само прельщение выглядит необычно для православного, зато вполне в иудейских традициях.

Во время молитвенного пения услышал Никита голос, молившийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам в себе: если бы это был не Бог, то не молился бы со мной, и не было бы здесь благоухания Святого Духа. Он начал еще прилежней молиться, говоря:

– Господи, явись мне Сам осязательно, чтобы я видел Тебя!

На это последовал голос:

– Не явлюсь я тебе, потому, что ты юн и возгордишься и можешь пасть.

Затворник продолжал слепо просить:

– Никогда, Господи, я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям. Но я исполню все, что ты повелишь.

– Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня. Поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с тобой, а ты твори его волю.

И тотчас предстал пред ним бес в виде ангела...

Как усвоил Никита наставления игумена, мы видели выше. Зато сам эпизод очень странен для православного мировоззрения. В русской духовной литературе, в летописях есть много рассказов о прельщении злым духом. «Житие Феодосия Печерского» XI в. рассказывает о черноризце Ларионе, которого черти хватали за волосы, тащили с криком «сюда волоките, придавим его стеной!» Видения часты в православном мире, и многие святые сподобились видений. Говоря старинным языком, они лицезрели, т. е. видели лица святых, ангелов небесных, серафимов и херувимов, Богородицы, Иисуса Христа и всей Святой Троицы. Ничего странного в явлении Бога-Отца для православного человека быть не могло. Бога-Саваофа можно было увидеть изображенным на своде собора. Например, святой Софии в Киеве. Ничего странного для верующего православного не могло быть и в том, что бес принял божественный образ. Упомянутый выше чудотворец Исаакий-затворник соблазнялся бесом, принявшим облик Иисуса Христа. Зато запрет видеть Бога неизменно существует у иудеев. Даже величайший из пророков Моисей не мог лицезреть Бога. Отметим еще, что мотив явления беса в виде ангела – бродячий сюжет, отмеченный еще в Послании к Коринфянам и в талмудических мидрашах.

Так или иначе, но обеспокоенные святые отцы Киево-Печерской лавры поняли, что инок находится в опасном состоянии духовной прелести.

Преподобные отцы пришли к затворнику: Игумен Никон, Иоанн, который был после него игуменом, Пимен-постник, Исайя, бывший впоследствии епископом Ростовским, Матфей-прозорливец, Исаакий-затворник, Агапит-врач, Григорий-чудотворец, Николай, бывший епископом Тмутараканским, Нестор-летописец, Григорий, составитель канонов, Феоктист, бывший епископом Черниговским, Онисифор-прозорливец. Все они, прославленные добродетелями, придя, вознесли молитвы Богу о Никите и отогнали от него беса, так, что Никита уже не видел его...

Остается лишь гадать, для чего на самом деле понадобилось столь авторитетное собрание. Практика изгнания беса известна больше по католическим и еврейским источникам. Менее известно, что восточные ортодоксальные церкви, в частности русское православие, тоже имеют свою тысячелетнюю традицию экзорцизма. Покойный бостонский владыка Константин, считавшийся в Русской православной церкви за границей признанным авторитетом в вопросе об изгнании злого духа, рассказывал автору, что для изгнания беса необходим всего лишь один священник, а присутствие других людей не только излишне, но и вредно и даже опасно. Впрочем, чин изгнания злого духа был введен в русское православие митрополитом Петром Могилой из католического требника лишь в XVII веке, а до того экзорцизм в православии никак не регламентировался и мог проводиться по-разному.

Маловероятно, что все эти иереи собрались для церковного суда, хотя по «Кормчей книге», определявшей деятельность церковных судов, таковому подлежали дела против веры и православной Церкви, а именно: ересь, волшебство, колдовство или уреканье (укоризна) в них. Можно предположить, что если бы речь шла о церковном суде, то и результат такового для Никиты был бы печальным. Православная церковь боролась не только с многочисленными ересями, остатками язычества, конкурирующими религиями, но и с константинопольским патриархом, недовольным тем, что князь Ярослав назначил первым русским митрополитом Илариона. Кстати, именно митрополиту Илариону принадлежит одно из первых антииудейских сочинений на Руси, яркое и страстное «Слово о законе и благодати», утверждающее ущербность «ветхого» иудейского закона перед новой христианской благодатью. Жива была в памяти людей недавняя история первого русича, облеченного титулом владыки в Новгороде, епископа Луки со странным для русского человека прозвищем Жидята. Епископ Лука был оклеветан своим холопом Дудиком, провел последние годы жизни в киевской тюрьме и, отпущенный князем Ярославом, скончался по дороге домой.

Если же предположить, что Никита был евреем, то никакой ереси, естественно, не было, и он не подлежал церковному суду. Зато переход видного деятеля, близкого к князю, в христианство стал бы большой победой для молодой тогда православной церкви.

Продолжим рассказ. После того как по молитвам преподобных отцов бес покинул Никиту, он не мог *«ныне же ни единого слова не свесть»*. Житие рассказывает об одном очень странном обстоятельстве, могущем свидетельствовать о нерусском происхождении Никиты. После избавления от беса Никите пришлось заново учиться грамоте. Весьма нетипичная подробность в житийной литературе. Можно предположить лишь то, что учиться Никите пришлось славянской грамоте.

Дальше житие рассказывает, что постепенно Никита осознал и исповедал свой грех перед святыми отцами:

«...исповеда грех свой и плакася о том горько, дав себе в великое воздер-

жание и послушание, восприем чистое и смиренное житие, яко превзыти ему всех добродетелию». Он наложил на себя особенное воздержание и сотворил многие подвиги, начал вести смиренную духовную жизнь, во многом превзойдя других среди братии. Господь, видя такие труды, принял его покаяние...

В Патерике нет про *«исповеда грех свой»*. Это позднейшая вставка в синодальном пересказе жития. Нет и про то, что *«Господь, видя такие труды...»*. Но тексты неизменно свидетельствуют, что Никита не растерял своих талантов. Житие рассказывает, что ему был присущ дар чудотворения. Он предсказывал будущее и исцелял недужных. Летописи сохранили свидетельства о двух случаях чудесного спасения Новгорода от бедствий: в 1097 году святитель Никита своей молитвой угасил пожар, истреблявший город, а в другой раз, во время губительной засухи, низвел дождь. Очевидно, поэтому он почитается верующими как защитник от пожаров и покровитель земледелия:

Он же паству прият и различными добротами себе наипаче украси, имея бо в себе молчания корень, воздержания ветвь, пощения цвет, смирения плод, любовию украшен, милостынею совершен, чистотою, и целомудрием, и правдою от обоюду, аки стенами, огражден и всеми благими нравы по многу изобилен.

Попробуем теперь изложить нашу версию событий, рассказанных в житии святителя. Если отбросить гипотезу о дьяволе, то можно предположить несколько версий происшедшего.

Вероятно, Никита поначалу не был ни монахом, ни даже христианином. Он был умным и предприимчивым евреем, близким ко двору киевского князя Изяслава. Таких евреев можно было найти в средние века при дворах нормандских королей, арабских калифов, германских маркграфов и даже католических иерархов. Получив еврейское воспитание, по словам Печерского патерика, *«Никита вся книгы жидовскиа сведяше добре»*. Наставлявший Никиту «бес», скорей всего, получал информацию от еврейских купцов, имевших фактории по всему пути «из варяг в греки» и дальше, по «шелковому пути из Китая в Европу».

Еще один аргумент в пользу еврейского происхождения Никиты. В житии отсутствуют упоминания о детстве святого, о его происхождении. Надо сказать, что жития писались по очень строгому канону. Вольности «от своего измышления» были невозможны. Любая частность строго обусловлена агиографическим каноном, который, в свою очередь, основывается на освященных временем религиозных традициях. Канон жития требовал, чтобы там содержались сведения о месте рождения, о родителях, о детстве святого. Исключения делались лишь для язычников, принявших христианство. Для них важно было отметить, когда, где и у кого они крестились. Ти-

пичный пример – житие мученика Иоанна Литовского, родившегося язычником. Повествование начинается с того, как Иоанн с братом приняли крещение от некоего пресвитера Нестора. Вопреки агиографическим канонам, в житии Никиты нет ничего о его рождении. Он как бы возникает из небытия набожным и самоуверенным иноком Печерского монастыря.

Впрочем, когда мы говорим про еврейское происхождение, то полагаем, что Никита мог принадлежать не только к традиционному иудаизму, но и к любому течению тогдашнего иудаизма. Маловероятно, что он был самаритянин. К тому времени под напором византийского христианства, а позже ислама самаритяне уже стали маленькой общиной, сосредоточенной вокруг древнего святилища Иисуса Навина на горе Гризим. Зато вполне возможно, что Никита был хазарином – из иудейского государства кочевников Хазарского каганата, еще за два века до его жизни взимавшего дань с Руси. По всей видимости, в Хазарии иудаизм исповедовали лишь правители и аристократия, да и иудаизм этот был явно не талмудического толка. Хазарские воины были в составе дружин князей Игоря и Мстислава. Русские летописи вспоминают о хазарах в Тмутаракани XI–XII вв.

Возможно, что Никита был караимом. «Чтецы Писания» – караимы – появились в Месопотамии. В 760 г. законный наследник экзилархата, сын главы талмудической академии в Суре, «главы изгнания» из рода царя Давида Аннания бен-Давид отказался почитать Талмуд и авторитет раввинов и книжников. «Они – обыкновенные люди со всеми человеческими недостатками, – заявлял он. – Потому ни сами они, ни их сочинения не могут быть боговдохновенными и иметь для верующих силу закона». Аннания написал «Сефер ха-Мицвот» («Книгу заповедей») с яростными нападками на Талмуд, раввинов и «раввинистов». Знаменитый тезис Аннании – *«Тщательно изучайте Тору и не спрашивайте моего мнения»*. То есть в Торе можно найти ответ на любой вопрос, и для этого не нужны ничьи мнения, ничьи толкования и интерпретации, никакие другие законы и священные книги.

Расцвет культуры караимов продолжался около трех столетий. За это время появился ряд философов, поэтов, составителей молитв (много караимских молитв включено в традиционные еврейские молитвенники), грамматиков и ученых.

Как раз на начало XI столетия приходится одна из вспышек ожесточенной борьбы между караимами и иудеями-талмудистами. В ход шло все – доносы, наговоры, придворные интриги. «Талмудисты» применяли против караимов те же средства, которые использовались при гонении на евреев – изгнание и запрет на священные книги и религиозную службу. К середине XII века противники караимов добились их изгнания из большинства традиционных еврейских центров. Крупные и процветающие караимские общины были разрушены. В Кастилии Йегуда ибн-Эзра, имевший большое влияние при дворе короля Санчо III, добился официального запрета секты караимов и объявления их вне закона. Христианские реконкистадоры уничтожали и изгоняли караимов из Испании. Изгнания из Египта много-

численной и процветающей караимской общины добился знаменитый Маймонид, личный врач и приближенный султана Саладина, сам бежавший из испанской Кордовы, преследуемый фанатиками-мусульманами Альмохадами. Из Палестины караимов тоже изгнали – мамелюки под предводительством Саладина, хотя и крестоносцы их не жаловали. Многие караимы бежали на восток – в Византию, Хазарию, на Волынь, в Крым. Впрочем, несмотря на все запреты, связи между различными течениями иудаизма продолжались. Браки между караимами и «талмудическими» евреями допускались в Восточной Европе до XVII века.

Менее вероятно, что Никита был христианином и, начитавшись Библии, перешел в иудаизм. Примеров перехода в иудаизм можно найти достаточно и в то время и позже. За 100 лет до описываемых событий дьякон по имени Бобо покинул посольство заболевшего чумой французского короля-крестоносца Людовика Святого, объявился в арабской тогда Севилье, принял иудаизм и имя Элиэзер и стал публиковать памфлеты против христианства и вербовать неофитов. В 1096 г. в Венгрию прибыл французский крестоносец Вискунт с двумя сыновьями. Они приняли иудаизм и составили апологетику Талмуда. Один из сыновей – Иосиф стал известным мистическим поэтом. Где-то в начале XI столетия иудаизм принял Висголд, каноник императора Конрада II. Но в таком случае, согласно строгим правилам Никейского и особенно Халкидонского соборов, не быть бы Никите святым, а гореть ему на костре или быть отлученным и проклятым.

Разумеется, говорить о строгом следовании на Руси постановлениям Халкидонского – или любого другого – собора, Византийского канона и Схоластикона не приходится. Незадолго до описываемых событий князь Ярослав, вопреки всяким канонам и, в частности, вопреки постановлениям того самого Халкидонского собора, назначил русича Иллариона (988–1051) митрополитом Киевским. По словам летописи, *«Бог князю вложи в сердце»*. Видать, Бог говорил в то время со многими, нуждающимися в укреплении духа. Возможно, Ярослав, отец франкской королевы Анны и тесть польского короля Болеслава, имел основания сомневаться в верности христианству тогдашнего вселенского патриарха Михаила Керуллария, отлученного в конце концов от церкви в 1054 г. легатами римского престола св. Петра тогда еще единой церкви. Отметим, что отлучение было снято лишь в 1965 г. на II Ватиканском соборе. Через 100 лет князь Изяслав Мстиславович снова самовольно назначил митрополитом русича Климента Смолятича (1051–1147), отказавшегося поминать вселенского патриарха. Символично, что этот митрополит принял имя в честь святого Климента, почти неизвестного в Византии. Предшественник Никиты на новгородской епископской кафедре Лука Жидята и вовсе принял хиротонию в 1055 г. у митрополита Ефрема, который не поминается в истории ни русской, ни византийской церквей. Ниже мы расскажем о киевском митрополите Ефреме, правившем на 40 лет позже описываемых событий. Владимир Святославович, крестивший Русь, принял основное руководство церковной жизни – «Кормчую

книгу», сильно отличавшуюся как от греческих и болгарских канонов Схоластикона, так и от моравской «Кормчей книги».

История Русской православной церкви XI в. века полна загадок и интересных казусов. Об этом написаны многочисленные тома теологической и исторической литературы, доказывающей, что Русская православная апостольская кафолическая церковь – действительно Тело Христово, не только каноническая и легитимная, но и апостольская, т. е. основана христовыми апостолами, и даже кафолическая. «Кафолическая» принято переводить как «вселенская». Интересно, что современный теолог архиепископ парижский Жан-Мари Лустижье толкует термин «кафолическая» не просто как вселенская, а производит его от еврейского слова кагал – *«община, общество, собрание»*, и получается у него «община сынов Израиля и всех, обращенных в веру Христову». В точности, как в славянском «Символе веры» – там «кафолическая» переведено «соборная».

Так или иначе, если Никита был евреем, то никаких обвинений его в ереси в то время быть не могло. Дело происходило в Киеве, где жила богатая и влиятельная еврейская община, пользовавшаяся большой религиозной свободой, по словам летописи, *«их [евреев] всюду в разных княжениях много»*. «Повесть временных лет» сообщает, что всего за 90 лет до описываемых событий князь Владимир серьезно взвешивал возможность принятия Русью иудаизма, подобно хазарским каганам или князю Паулю, военачальнику вестготского короля Вамбе (873–880). Вполне могло статься, что на знаменитом диспуте об испытании вер русская история сложилась бы по-другому.

Далеко не всякий, о ком говорили, что он еврей или связан с евреями, был на самом деле евреем. История знает множество случаев клеветы относительно сношений с евреями или совращения евреями в свою веру.

«Фотий занимался таинственными, запрещенными науками – астрологией и магией, византийский император говорил, что у него "хазарское лицо", а при дворе кружила легенда о том, что Фотий еще в молодости продал душу какому-то еврейскому чародею…» – пишет о Вселенском патриархе Фотии (IX век) Милорад Павич в «Хазарском словаре», опираясь на исторические документы. Каждый раз, когда Фотия свергали с патриаршего престола, а это случилось с ним трижды, и когда его предал анафеме римский папа Николай I, его обвиняли в еврейских пристрастиях, в том, что он скрытый иудей. А ведь Фотий был учителем великих Солунских братьев, Кирилла и Мефодия, изобретателей славянского письма. Скрытым иудеем называли ушедшего в ересь константинопольского патриарха Нестора, основателя восточной Несторианской церкви. Потомком крымских караимов считали русского императора Петра I. В антисемитских кругах России евреем считают патриарха Всея Руси Алексия I, особенно после его выступления перед нью-йоркскими раввинами, когда он сказал: «У нас с вами одни пророки». Впрочем, еврей на патриаршем престоле в Константинополе тоже случился. В 1353–1354 и 1364–1376 гг. Вселенским пат-

риархом был еврей Филофей, известный многими делами и подвигами, яркая фигура, сравнимая по широте знаний и интересов, да и по политической философии с фигурами раннего Возрождения. В русской истории патриарх Филофей связан с канонизацией одного из наиболее известных русских святых Сергия Радонежского.

Отметим, что среди преподобных отцов, молившихся за Никиту, был и летописец Нестор, описавший в «Повести временных лет» эпизод испытания вер. В «Повести» есть интересный фрагмент – так называемая «речь философа», определившая, по словам летописца, окончательный выбор христианства князем Владимиром Святославовичем. Философ ученым языком рассказывает князю Владимиру историю евреев от древних времен до рождения Христа. Христос представляется как ожидаемый евреями Мессия. Адресат «речи философа» явно не языческий князь, а ученый еврей, тоже хорошо знакомый с предметом, и безымянный философ лишь призывает его «сделать шаг» и принять христианство. Обстоятельство это отмечено русским философом Г. П. Федотовым в трактате «Русская религиозная мысль». Интересна гипотеза А. А. Шахматова и А. А. Приселкова, по которой бесследно исчезнувший со страниц истории в 1054 г. митрополит Иларион принял схиму и послушание под именем Никона-летописца. Схима не могла скрыть незаурядный литературный дар монаха. Не смогла изменить и его пристрастия к иудейско-христианской теме, и сейчас, через тысячу лет, волнующей многих иудеев и христиан. Впрочем, существует и церковная версия, по которой в 1055 г. митрополит Иларион принял схиму – монашеский затвор под именем Ефрем, и хиротония епископа Луки Жидяты была проведена им под этим именем. Схима для митрополита – вещь возможная, когда он уходил на покой. Но невероятно, чтобы ушедший на покой митрополит рукополагал епископов. Хотя тысячелетняя история православия знает и неожиданно вернувшегося из «покоя» первоиерарха Русской православной церкви за границей митрополита Виталия, объявившего своего преемника и весь синод еретиками и обманщиками. Знает даже, когда рукополагали священников и епископов засушенной рукой умершего владыки, как это случилось в Украинской православной церкви в США. Все это безобразия века XX, а вот то, что, несмотря на все заслуги, первый русский митрополит Иларион не был причислен к лику святых, остается загадкой века XI. Почему его не прославили в XI–XII вв., можно объяснить тем, что большинство тогдашних русских архиереев были византийскими греками, не простившими «княжьего самовольства». Но почему его не канонизировали, скажем, в XV–XVI вв., когда русское православие искало национальных святых, остается загадкой. Возможно, помнили тогда какие-то обстоятельства, напрочь забытые сегодня.

Историки отмечают былинный характер рассказа об испытании вер и все-

го эпизода крещения Руси в «Повести временных лет». Среди фольклорных мотивов этого сюжета есть и еврейские. Об этом – очень интересное исследование русского историка и фольклориста Г. М. Бараца «Библейско-агадические параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом», изданное в Киеве где-то в начале прошлого века и читанное автором в молодости.

Патрон Никиты киевский князь Изяслав, старший сын Ярослава Мудрого (1024–1078), известен в русской истории своим неудачным правлением. Его неоднократно свергала киевская толпа, он бежал, возвращался с иностранными наемниками и с польскими войсками, снова сажавшими его на престол. В 1071–72 гг. ситуация в Киеве опять накалилась, и горожане бунтовали. Как раз, когда «пророчествовал» Никита, «Летопись временных лет» сообщает:

Больше же всего через жен бесовские волхвования бывают, ибо искони бес женщину прельстил, она же мужчину, потому и в наши дни много волхвуют женщины чародейством, и отравою, и иными бесовскими кознями.

В 1072 г. в городе появились волхвы, пророчествовавшие о грядущих катаклизмах и беспорядках. Волхвов, по словам летописи, «унес дьявол», но народ не успокоился. В 1072 г. Изяслав попытался разрядить напряжение и объявил о канонизации князей Бориса и Глеба, погибших в княжеских междоусобицах после смерти Владимира Святославовича. Торжественное открытие мощей не помогло. Летописец сообщает, как гроб Глеба открылся и не хотел проходить в двери церкви.

В 1076 году некий волхв в Новгороде хулил православие и своей проповедью увлек народ от греческой веры. Конфликт разрешился просто. Князь Глеб велел народу разойтись. Те, кто за христианство, чтобы отошли к князю, а те, кто за язычество, – к волхву. Дружина собралась вокруг князя, а народ вокруг волхва. Князь, спрятав под плащом топор, подошел к волхву поговорить:

– *А знаешь ли, что будет с тобою сегодня?*

– *Чудеса великие сотворю,* – ответил ничего не подозревающий жрец.

Князь вынул припрятанный топор и одним ударом посрамил провидческий дар язычника. *«И пал он мертвым, и люди разошлись. Так погиб он телом, а душою предался дьяволу»,* – записывает летописец.

В 1078 г. Никита предсказывает гибель того самого новгородского князя Глеба и советует Изяславу послать на княжение сына Святополка. Скорей всего, Никита тогда играл значительную роль при дворе князя Изяслава Ярославовича и пользовался доверием его сына Святополка II Изяславовича (с 1078 – князя Новгородского, а с 1093 по 1113 г. – князя Киевского).

Заметим попутно, что рассказ о еврее, предсказывающем княжескую,

королевскую или императорскую корону, – это бродячий сюжет, известный как в европейском фольклоре, так и в легендах и сказках народов Кавказа, Передней и Средней Азии. Один из наиболее ранних вариантов этого сюжета – предсказание талмудическим мудрецом и ученым Йохананом бен-Закаем императорской короны римскому полководцу Веспасиану.

Святополк II был известен своей веротерпимостью, неоднократно осуждавшейся церковными писателями. В частности, житие святого Прохора-лебедника повествует, как Святополк продал еврейским купцам монополию на соль, чем вызвал возмущение простых людей. Святой Прохор прославился тем, что чудесным образом превращал пепел в соль и раздавал ее простым людям бесплатно, за что навлек на себя гнев и преследования и принял мученическую смерть. Знаменательно, что после смерти Святополка зимой 1113 г. в Киеве началось народное восстание, сопровождавшееся первым известным в истории России еврейским погромом. Русский историк В. Н. Татищев (1686–1750) пишет: «Киевляне... жидов многих побили, и их домы разграбили, за то, что сии многия обиды и в торгах христианам вред чинили, множество же их собрався к их синагоге, огородясь, оборонялись, елико могли прося времени до прихода Владимирова... Владимир... пришел в Киев в неделю 20 Апреля (1113 года)... Мятеж же престал, однако ж просили его всенародно о управе на жидов, что отняли все промыслы Христианам, а при Святополке имели великую свободу и власть, чрез что многие купцы и ремесленники разорились; они же многих прельстили в их закон, и поселились домами между Христианы, чего прежде не бывало, за что хотели всех побить и домы их разграбить. Владимир же отвечал им: понеже их всюду в разных княжениях много, то мне не пристойно без совета князей, паче же и противно правости, что они допущены прежними князи, ныне на убивство и ограбление их позволить... Когда же князья съехались на совет и у Выдобыча по долгом разсуждении уставили закон таков: "Ныне из всея Русския земли всех жидов выслать и со всем их имением, и впредь не впушать, а есть ли тайно войдут, вольно их грабить и убивать... С сего времени жидов на Руси нет..."».

Татищев лукавит, подменяя понятие Русь Великороссией. В XI в. Суздаль, Новгород Великий, Рязань, Галич, Новгород-Северский, Полоцк, Чернигов не считались Русью. Русь была Киевская, Белая, Червоная (Галиция), отошедшая к Великому Княжеству Литовскому, тоже русскому государству, терпимо относившемуся к своему разноплеменному населению. Русью называлось Закарпатье, отошедшее к Венгрии. Во всех этих русских землях еврейское присутствие продолжалось в течение тысячи лет. Нет ничего необычного, если одним из этих «имевших свободу великую и власть» был Никита. Ученые считают, что восстание подготовил Мономах, желавший завладеть княжеским столом в русской столице. Но описанные события произошли после смерти Никиты.

Вернемся к нашей истории. В 1078 г. князь Изяслав умирает. Летописец характеризует его: *«прост умом, не было в нем подлости, и не платил злом за зло»*. На киевском престоле восседают его враги. Как раз на это время и приходится «раскаяние» и «обращение» Никиты. Можно предположить, что он водил знакомство с монахами Печерского монастыря и раньше. Ведь монастырь был основан Изяславом и неизменно пользовался его покровительством. Можно предположить, что монахи укрыли у себя Никиту. В другом месте Патерик рассказывает, что примерно в то же время в стенах Киево-Печерского монастыря спасался другой чужеземец – грек, любимый вельможа Изяслава (Патерик называет его боярином), ставший киевским митрополитом Ефремом почти одновременно с получением Никитой епископской кафедры в Новгороде.

Разумеется, если Никита – еврей, некрещеный и не монах, то никаких разговоров с монастырским аввой Никоном об уходе в затвор не могло быть. История ухода инока Никиты в затвор и прельщения дьяволом невероятна не только с рациональной точки зрения, но и необычна для жанра жития святого. Вероятно, житие святого, вслед за рассказом Киевско-Печерского Патерика, меняет последовательность событий. Никита сначала проповедовал из Ветхого Завета, пророчествовал и творил чудеса, был доверенным «князьям и боярам», и лишь потом, после смерти своего покровителя-князя, спасался в монастыре.

Если непослушание инока наставлениям монастырского аввы кажется невероятным, зато вполне возможно, что описанные в житии беседы игумена с Никитой передают отзвук каких-то споров, происходивших на самом деле. Вспомним «речь философа» из «Повести временных лет». Отметим еще, что духовной пищей для русской теологии неизменно было сравнение Ветхого и Нового заветов, «закона» и «благодати», иудейской и христианской религий. Этот вопрос православной теологии разрабатывался русскими авторами с никогда не ослабевающим вниманием – от «Слова о законе и благодати» первого русского митрополита Илариона (XI в.) до «Гонения на Израиль» о. Сергия Булгакова (XX в.). Вероятно, дискуссии между учеными евреями и христианскими священниками были часты в то время, как и позже. Хотя бы потому, что их неоднократно запрещали христианские каноны, многочисленные постановления церковных соборов и иудейские *галахот* и респонсы. Юрий Нагибин как-то писал, что мир домонгольской Руси больше напоминал раннее Возрождение, был значительно более открытым, а боровшееся с Константинополем молодое русское православие более терпимым, чем потом, попав в мертвящие объятия московского клерикализма. Как красивые и веселые украинские русалки-мавки отличались от сидящих в ветвях мрачных, лохматых, злобных мертвенно-бледных русалок русского фольклора.

Похоже, в Печерском монастыре Никита принимает христианство. Вероятно, вынужденно, а возможно, и искренне. Как и многие евреи после него. Как польский еврей Аарон Лустигер, которого приютил и спас от на-

цистов католический монастырь, ставший кардиналом Жаном-Мари Люстижье, архиепископом Парижским.

Менее вероятно, что инок Никита мог впасть в какую-то ересь, отрицающую евангельскую традицию. Ереси на Руси XI столетия были распространены – арианство (омиусианство), против которого направлены богословские труды «Изборника Святослава» 1073 г., монофизиты, патарены, кельтская ересь Пелагия, богомилы. Интересно, что в начале рассказа об основании Печерского монастыря говорится, что причиной создания монастыря стало то, что вернувшемуся с Афона св. Антонию Печерскому не понравился ни один из русских монастырей. Не из-за свободных порядков, а, скорей всего, из-за различных версий христианства, исповедовавшихся на Руси.

Главная идея ирландской ереси пелагианства – утверждение совершенства человека, отрицание первородного греха, утверждение свободы воли как главного предназначения человека. Пелагий учил, что первородный грех несправедлив, поскольку делает человека заведомо виноватым. Смысл земной жизни Иисуса пелагиане видели в примере праведного жизненного пути. Все это похоже больше на знаменитое «Поучение» Мономаха или на идеи Кирилла Туровского, чем на то, что произошло с Никитой.

Более близко к воззрениям Никиты могло быть монофизитство, распространенное в Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Согласно учению основателя учения Евтихия, Иисус Христос не имел человеческой природы и был только Богом, слиянным с Богом-Отцом. Эту идею переняли и исповедуют многие восточные церкви: армянская, коптская, эфиопская, сирийская (ассирийская). Заметим, что среди молившихся за Никиту старцев был Агапит-врач. Все житие Агапита состоит из истории борьбы его врачебного искусства, основанного на молитвах и простой растительной пище (зелья), с «земным» искусством врача-армянина. Врач-«лечец» побеждает своего противника чудесами и яростно заявляет:

– Почто смел еси внити [войти] и осквернити келию мою и держати за грешную мою руку? Изыде от мене, иноверне и нечестиве!

Кончается все мирно. Врач-армянин, обращается в православие и даже, подобно Никите, постригается в монахи Печерского монастыря.

Заметим, что ни одна ересь не отрицала Евангелий. Да и житие бы не состоялось, если бы речь шла о ереси, а не об обольщении дьяволом.

Впрочем, история христианства на Руси полна загадок. Почему-то первого киевского митрополита Михаила Никоновская летопись называет Сириным (Сирийцем, из еретической, с точки зрения православия, Сирийской монофизитской церкви), в других источниках – Болгарином. Не говоря о св. Антонии Римлянине, основателе Антониевого монастыря Богоматери в Новгороде, приглашенном епископом Никитой.

Откуда взялась совершенно чуждая Византии латинская традиция содержать церковь на десятину от княжеских доходов? На десятину построен

первый киевский собор, знаменитая Десятинная церковь, поддержавшая противника Ярослава, «окаянного» князя Святополка I. Еще более удивительно, что о крещении Руси молчат византийские хроники. И зачем понадобилось повторное освящение этой церкви первым греческим митрополитом Киева Феопемтом, назначенным лишь в 1036 г.? Непонятна история крещения Владимира за три года до крещения Руси в окруженной готами-арианами и, очевидно, имевшей болгарскую (орхидскую) или сирийскую (ассирийскую) церковную иерархию Корсуни (Керчь–Херсонес). Удивительно молчание летописей о крещении западных и южных русских племен. И откуда в русском языке латинские церковные термины «пастор» или «крест»? И откуда на Русь пришла знаменитая колокольная традиция, неизвестная грекам, зато аналогичная ирландской. Даже славянское слово «клакол» – кельтского происхождения. Да и расширяющиеся на концах, вписанные в круг кресты на монетах и древних могильниках Русской земли – от вологодского Болтова до Подгорец на Львовщине, – больше напоминают кельтские, нежели византийские.

Не удивительно, что большое количество православных в Великобритании в середине XX в., открыв для себя мир первых кельтских святых и подвижников, с удивлением обнаружили их поразительную близость русским житиям. Даже отличающаяся своим консерватизмом и приверженностью ко всему русскому Русская православная церковь за границей без особых проблем признала своим св. Патрика. Это позволило православным американским детишкам участвовать в веселых парадах в День св. Патрика, ставших одним из национальных праздников современной Америки. Впрочем, братия Печерского монастыря, в котором подвизался Никита, неизменно была верна константинопольской патриархии.

Еще менее вероятно, что Никита в монастыре был в заключении, как случилось с монахом Адреяном, *«укоряше бо сей церковныя законы, и епископы, и пресвитеры, и иноки...»*, заключенным митрополитом Леонтом в 1004 г. Или со «злым еретиком Дмитре», попавшим в темницу при митрополите Никите в 1123 г. Ведь святитель Никита считается если не одним из основателей, то одним из первых принявших обет в новом монастыре. Да и местами заключения монастыри на Руси стали значительно позже. Отметим попутно, что рассказ о длительной схиме Никиты в монастыре может быть данью агиографическому канону, требовавшему, чтобы святитель провел какую-то часть жизни в условиях сурового послушания, искушаемый Врагом рода человеческого.

По какой-то причине у Никиты не было бороды. Так его запечатлела иконописная традиция. Русские святые, как правило, с бородой. Обычно без бороды на русских иконах лишь ангелы небесные, а из людей – лишь греки: великомученики Пантелеймон, Стефан или Дмитрий Солунский,

Георгий-Победоносец и другие. Такой порядок в жестком иконописном каноне – дань греческим традициям. Одной из возможных причин могло быть то, что Никита был скопцом, о чем и сказано в житии: *«наложил на себя особенное воздержание»*. Скопчество было распространено в XI веке в Константинополе, хотя и не поощрялось официальной церковью. Скопцом был упомянутый еретик Адреян. В православии скопчество не получило распространения, хотя греки-евнухи Иоанн II и упомянутый уже Ефрем занимали престол Киевской митрополии как раз при жизни Никиты. Сведения о митрополите Ефреме противоречивы. Тот же Ефрем упоминается при освящении храма св. Михаила в Переяславле в 1091 г. как митрополит Переяславский, хотя на Руси в то время была всего лишь одна митрополия – в Киеве. Известны и епископы-евнухи: видный церковный и государственный деятель, смоленский владыка Мануил (1138–1147), прозванный Кастратом, владимиро-волынский владыка Феодор (1136–1147). Интересно, что все скопцы были не русичами, а пришлыми из Византии.

Скопчество также было широко распространено среди болгарских богомилов, учение которых привлекало сердца духовенства, но не получило признания в народе. Богомилы верили, что спасение души достигается путем постепенного освобождения человека от материальной зависимости посредством аскетизма. Некоторые исследователи полагают, что под бунтом волхвов подразумеваются как раз богомильские волнения, сопровождавшиеся жесткой критикой церкви, подобные волнениям на Балканах. Похоже, что и «укорение» скопцом Адреяном всей церкви идет от богомилов. На Руси были в ходу антибогомильские болгарские сочинения, такие, как «Беседы трех святителей» или «Беседы пресвитера Косьмы». Не похоже, впрочем, что Никита впал в богомильскую ересь, поскольку богомилы не признавали святости большинства книг Ветхого Завета, а в Новом Завете наибольшее значение для богомилов имели Евангелие от Иоанна и Апокалипсис. Впрочем, существует более поздняя икона московского письма «Покровители русского воинства св. Сергий Радонежский и Никита Новгородский», где Никита с бородой. Наверное, не смог иконописец смириться с таким нарушением канона – безбородый архиерей.

Так или иначе, но после воцарения в Киеве князя Святополка Изяславовича в 1093 г. Никита вновь вернулся к активной жизни и вошел в ближайший княжеский круг. Отметим, что среди иерархов, молившихся за Никиту, был черниговский владыка Феодосий, вместе со Святополком Изяславовичем сыгравший решающую роль во время борьбы Мономаха против князя Олега за Чернигов. Наверное, не случайно Никита был поставлен епископом Новгородским в 1096 г. в старую вотчину князя, которому он предсказал княжение. Скорей всего, Никита принимал участие в съезде в Любече в 1097 г., где уцелевшие в кровавой гражданской войне наследни-

ки Ярослава целовали крест и клялись в «устроении мира». Никита проявил себя мудрым государственным мужем, рачительным хозяином и хорошим пастырем. На фоне кровавой истории княжеских междоусобиц он остался в памяти народной светлым образом Богосвята, чудотворца и врачевателя милостью Божией, доброго, милосердного верующего человека. Его почитали святым уже в XII в. О Никите преподобный Поликарп, архимандрит Печерского монастыря (1164–1182), в связи с его избранием на кафедру Новгородскую, говорит:

...много чудеса сотвори... и ныне со святыми чтут святого и блаженного Никиту.

Вероятно, рассказ о еврейском происхождении святителя Никиты раньше содержался в его житии. Уж очень характерные есть детали, совершенно не похожие на стандартные подвиги русских православных святых. Да и каноны агиографического жанра были очень строги, и отступления от них, если и делались, то в исключительных случаях. В прологе к житию св. Евфимия, архиепископа Новгородского, дословно повторенном и в житии Моисея Новгородского, церковный писатель Пахомий Логофет создал образец жития русского святителя. По канону, святители (святые, имевшие епископский чин) «освящены от чрева матери» и «от Бога почтены архиерейством». То есть рассказ о детстве должен присутствовать обязательно.

Возможно, для большей аккуратности и соблюдения правил источниковедения необходимо было бы обратиться прямо к тексту Патерика, а не к позднейшим его пересказам. Показать разницу между древнерусским, старославянским и церковнославянским языками... В любом случае один момент необходимо прояснить. До XVI–XVII вв. в русском языке не существовало слова, обозначающего *жизнь* в современном значении. В ходу было два слова *животъ* и *житие*. Животъ означало бренную, земную жизнь. «Животъ положить», погибнуть можно было и за благое дело, но обязательно земное, светское. «Житие» – жизнь духовная, духовный подвиг, посвященный Богу. Лишь позже появилась необходимость в общем, более абстрактном определении жизни, как бренной, физической, так и духовной. Понятно, поэтому, что литературный жанр жития ни в коем случае не репортаж или биография, так же как икона – не портрет. Житие являло собой описание духовного подвига, посвященного божественному, и все факты приводились в соответствие с этой идеей.

Отметим еще, что 25-е Слово в Киево-Печерском Патерике, впервые описавшее духовные подвиги святителя Никиты, не является, строго говоря, житием. Житие св. Никиты написано позже. Киево-Печерский Патерик представляет собой сборник рассказов о монахах Киево-Печерского монастыря и включает рассказы о 30 святых и предания монастырской истории. Патерик написан по образцу распространенных в восточном христианстве патериков – групповых житийных описаний святых. Он сложился в XIII в.

на основе переписки епископа Владимиро-Суздальского Симона (ум. в 1226 г.) и монаха Печерского монастыря Поликарпа. Затем несколько раз – в XIV–XV вв. и в 1460–62 гг. – выходили различные редакции его с включением иных текстов и сказаний из летописи. Рассказы («слова») Патерика написаны для нравоучения и подтверждения различных теологических доктрин. «Слово» об искушении Никиты, как и другие рассказы о святых, по мнению Г. М. Федотова, выражают страх печерских старцев перед затвором и монашеским уединением, доктрину о невозможности в одиночку преодолеть дьявольский соблазн, о пользе общежития, утверждение древнего монашеского принципа «один за всех и все за одного». К таким рассказам надо относиться так же, как и к рассказам о чудесах, содеянных святыми. Попутно заметим, что в XII–XIII вв. страх перед затвором исчез, и в Печерском монастыре появились такие святые, как Феофил и Иоанн, сумевшие победить беса.

Вероятно, во время прославления святого в царствование царя Ивана Грозного рассказ о детстве Никиты или о его происхождении был изъят и уничтожен, как это было с сотнями документов Киевской Руси и Новгородской республики. Даже знаменитая конституция «Правда Ярослава», данная Новгороду в 1016 г., была уничтожена московскими дьяками. Из сохранившихся цитат и фрагментов известно, что «Правда» распространяет княжескую защиту на весь дружинно-торговый класс вне зависимости от племенной принадлежности – «аще изгой будеть, любо словенин». Все это не подходило для угнетенной террором державы царя Ивана Васильевича, где даже знатнейшие люди, обращаясь к царю, называли себя холопами.

Во время канонизации святителя Никиты в 1558 г. еще живы были очевидцы публичного сожжения так называемых жидовствующих: в Москве – дьяка Ивана Волка Курицина, в Новгороде – архимандрита Юрьева монастыря Касьяна с братом, помещика Н. Рукавова и других. Невестку царя Елену спасло лишь то, что она была матерью единственного законного наследника престола царевича Дмитрия. Даже почившему 500 лет назад святому быть евреем в Московской державе стало негоже.

Рассказ о непростой судьбе святителя можно закончить фразой из изданного стараниями Союза русской православной молодежи в Мельбурне «Житий святых мужей», предваряющей пересказ жития Никиты:

Более других заслуживают уважения те воины, кто ведет борьбу с врагом не в общем строю, но поодиночке. Их Господь никогда не оставляет без благодатной помощи, но укрепляет их и делает непобедимыми.

Замечание верное для людей любого вероисповедания, для атеистов, агностиков и даже скептиков.

Александр Кустарев

ЭТОГО НЕ МОГЛО БЫТЬ

The probability theory not only allows the coincidence, it absolutely insists on it.

McAndrew

Согласитесь, что нет ничего более возбуждающего наше воображение, чем случайные совпадения. Иные совпадения круто меняют историю. Другие – всего-навсего чью-то жизнь. Еще другие ничего вообще не меняют. Они просто забавны и напоминают нам о неистощимой фантазии природы. Совпадения многозначительны и загадочны. За ними чудится какой-то обширный план, недоступный нашему узкому кругозору и необозримый за то время, которым мы располагаем. Совпадения выглядят как чудеса. Чудеса же это некоторым образом казусы, анекдоты. С анекдота и начнем.

Как-то раз я сидел у телевизора и лениво смотрел дурацкий фильм ужасов. В какой-то момент сюжета злодей велит отрубить другому персонажу руку. Руку укладывают на колоду, заносят топор, приближается маленький климакс-катарсис, то есть то, ради чего мы и смотрим ужастики. Обычно я наблюдаю подобные сцены с некоторым вялым возбуждением, но в этот

Александр Кустарев (литературный псевдоним) – социолог, писатель и публицист, сотрудник российского Института научной информации и Института русской истории. Живет в Англии.

раз мне почему-то вдруг стало неприятно, и, чтобы на видеть этого зверства, я переключил телевизор на другую программу. На той другой программе выступал фокусник. И что он делал? Он развлекал публику тем, что отрезал себе руку.

Такие совпадения оживляют наше чувство юмора. Они же напоминают о том, как обширна сфера случайного. Если это было случайно. Потому что я все-таки не могу отделаться от мысли, что за этим совпадением стоит судьба. Можно понимать дело так, что в тот момент мне было суждено наблюдать отсечение чьей-то конечности, и судьба не дала мне от этого увильнуть. Вот это я и имею в виду, когда говорю, что совпадения вообще ничуть не случайны, а есть следы какого-то безупречно последовательного и гармоничного плана; мы просто не имеем возможности увидеть его целиком, а видим только кратчайшие его фрагменты. Представьте себе, что вы находитесь в полной темноте. И вдруг короткая вспышка молнии. И вы видите некоторую картину. И потом все опять исчезает. Я сравнил бы подобные озарения еще и с остатками погребенного ландшафта. Вот чистое поле, и на нем лежит огромный камень. Откуда он взялся? Он здесь не на месте, он выглядит нелепо. Угрожающе, если хотите. Комично, если хотите. Какая дикая случайность его сюда занесла? Но это не случайность, друзья мои. Это просто вторжение одной реальности в другую. Мы ведь живем не в реальности, а на их пересечении.

Трудно удержаться ввиду всего этого от размышлений. Не я один размышляю в этом роде. Недавно я видел очень недурной, хотя и избыточно живописный фильм под названием «Destination point» («Место назначения»). Там американские школьники усаживаются в самолет, чтобы лететь на каникулы в Париж. Пока все усаживаются, один парнишка засыпает. Ему снится, что самолет взлетает и тут же взрывается. Он в ужасе просыпается и закатывает истерику. Начинается небольшая свалка, и всю веселую компанию ссаживают с борта. Они сидят возбужденные и расстроенные в зале ожидания, и у них на глазах этот самый самолет взлетает и... взрывается. У всех, натурально, отвисает челюсть.

Значит, надо понимать так, что невропатическое визионерство нашего парнишки спасло полдюжины балбесов от гибели. Казалось бы, радоваться надо. Но не тут-то было. Нетрудно сообразить, что это была только присказка. А сказка – впереди. Дальше постепенно выясняется, что школьники некоторым образом обманули судьбу, но на самом деле это они так думают. Человек предполагает, а располагает известно кто. Судьба продолжает на них охотиться. И один за другим они погибают в разнообразных несчастных случаях. От судьбы не уйдешь. А вы говорите – случайность. Так-то оно вроде так...

Я думаю, что знаю, как идея фильма пришла в голову его авторам. Несколько лет назад произошла история, настолько причудливая, что она, кажется, обошла все газеты. Случилась она с польской королевой красоты Агнешкой Котлярской. Она погибла от руки отвергнутого ею ухажера. Ка-

залось бы, обычное, житейское дело. Но нет. Были интересные осложнения. Обреченная Агнешка имела в кармане билет на обреченный же самолет TWA, летевший из Нью-Йорка в Париж (совершенно как в только что пересказанном фильме!) и рухнувший в Атлантический океан сразу после взлета. За день до рейса Агнешка раздумала лететь и вернула билет. Случайность спасла ей жизнь, но ненадолго. Несколько позже отвергнутый любовник настиг ее и убил. Так сказать, кому суждено сгореть, тот не утонет.

Это уже не забавно. Но это не предел. Случается кое-что и похуже. Недавно в газете я увидел такое сообщение. Хулиганы пырнули ножом насмерть молодого человека шестнадцати лет. Незнакомые хулиганы. Он попался им совершенно случайно. Такая необязательность события уже способна настроить нас на мрачный лад. Пройди несчастный юноша через этот перекресток минутой раньше, и ничего с ним не случилось бы (хотя, как мы только что видели, не кажи гоп). И все-таки в этот раз, по крайней мере, ничтожное изменение его маршрута или скорости его хода привели к чудовищно несоизмеримым последствиям. Именно эта несоизмеримость так нас возбуждает. Трагические несчастные случаи всегда вызывают у нас удивление и протест. Кажется, что они бросают вызов здравому смыслу и несправедливы. Любые несчастные случаи. Но тот, о котором я сейчас рассказываю, был даже еще чернее, чем вы можете себе представить. Дело в том, что за три года до того старший брат упомянутого юноши проходил мимо того же места, и с ним случилось то же самое. То есть его тоже пырнули и тоже насмерть. Там же. Невероятно. Но факт.

Подобные происшествия несут в себе огромный информационный и концептуальный заряд и встречают с нашей стороны острый чувственно-умственный отклик. Поэтому их так любит искусство, прежде всего, конечно, повествовательное искусство – литература и кино. Один фильм мы в этой связи уже упомянули. Вспомним теперь еще несколько ярких образцов.

Одна из самых душераздирающих историй – «Поликуша» Толстого. Неужели с одним человеком, действительно, может произойти подряд столько всего ужасного? Подобная череда несчастных случаев выглядит совершенно неправдоподобно. Зачем Толстому понадобилось такое нагнетание ужасов? Надо полагать, что он хотел внушить нам глубокую жалость к несчастному простому человечку. Ему казалось, вероятно, что простое воспроизведение полунищей деревенской реальности на нас не произведет впечатления. В некотором смысле падающее «домино» несчастий в этом рассказе Толстого – гротеск. Это почти концепт. Толстой не столько реалист, сколько модернист.

Другое дело Глеб Успенский. Он обходился без преувеличений. Может быть, Толстой (барин, граф) просто не располагал достаточным материалом о той жизни, которую он хотел нам показать по моральным соображениям так, чтобы поразить нас и растревожить нашу совесть. Поэтому Толстой прибег к способу, которым теперь пользуется реклама, чтобы загнать сильное влечение к товару поглубже в наше сознание или там подсозна-

ние. Если на сам товар надежды мало, реклама его сопровождается чем-то таким, что уж точно проникнет нам в душу. Происходит контаминация, и нас купили.

Несчастный случай это только самый крайний вариант резкой перемены в рутине. Случай не обязательно может быть несчастным сам по себе. Но всего лишь одно не вовремя (или вовремя) совершившееся событие освещает весь мир иным светом и напоминает нам о том, как зыбко и хрупко то, что кажется нам нашим естественным и заслуженным благополучием.

Таков дидактический смысл знаменитой пьесы Пристли «Опасный поворот». Пристли использовал исключительно простой и эффективный прием. На сцене компания друзей, собравшись на вечеринку, ведет разговор. Случайно брошенная кем-то фраза вызывает чей-то недоуменный вопрос. И разговор поворачивается таким образом, что поток неожиданностей уже не остановить. Напряжение нарастает. Обнаруживается, что все благополучие милой компании построено на лжи; правда упорно лезет на поверхность; удержать ее не удается – все в ужасе, и неотвратимо надвигается трагическая развязка.

«Опасный поворот» был бы всего лишь упражнением в сюжетном диалоге, пусть и виртуозном, но не более того, если бы Пристли не ввел в действие один добавочный элемент. Он нашел техническое средство объединить в одном сценическом действии две версии его развития. Все, что мы узнали на протяжении пьесы, оказалось лишь возможностью. На самом деле разговор персонажей в критической точке поворачивается несколько иначе, правда так и остается неизвестной для всех участников разговора, и они продолжают безмятежно существовать.

У пьесы «Опасный поворот» два моралите. Банальное: мы живем во лжи и лицемерии, ах, как это нехорошо. Другое моралите неконвенционально и намного острее: в нашей жизни все висит на волоске; одна неосторожная фраза, и земля разверзнется у нас под ногами. Идем по проволоке. Эфемерность нашего благополучия и даже самого существования продемонстрирована в пьесе Пристли с ошеломляющей наглядностью. Эмоциональный эффект пьесы очень силен. При этом он элегантно оттенен суховатой схематичностью и условностью действия. После шока зритель быстро приходит в состояние несколько грустного и иронического скепсиса. Этот двойной эффект так приятен, что я ходил смотреть «Опасный поворот» трижды, когда он с успехом шел в ленинградском Театре комедии в середине 50-х годов.

Иначе сделана новелла Шницлера «Игра на рассвете». Тут все взаправду. Жизнь персонажа на самом деле поворачивает в опасном направлении, и персонаж кончает самым роковым образом. Главный персонаж новеллы – молодой офицер, погруженный в комфортабельную рутину службы мирного времени и мелких удовольствий. Однажды он видит из окна своей квартиры, как во дворе болтается, вроде бы бесцельно, какой-то человек в черном. Присмотревшись, он его узнает. Это бывший его сослуживец, разжало-

ванный в свое время как будто бы за какие-то дела, недостойные офицера. Кажется, он на самом деле игрок, и ходили слухи, что он позаимствовал деньги из полковой казны – что-то в этом роде. Пока главный персонаж все это вспоминает, оказывается, что человек в черном болтается по двору не просто так. Он долго не решался, но вообще-то он хочет поговорить с главным персонажем. Естественно, оказывается, что ему нужны деньги, что же еще? Персонаж объясняет, что денег у него нет, но он готов пойти в казино и сыграть за человека в черном. Если он выиграет, то отдаст ему искомую сумму. Это предложение – почти шутка и что-то вроде пародии на вызов судьбе. Черный человек соглашается. Как бы ни было смехотворно предложенное ему предприятие, другой возможности добыть денег у него нет.

Они отправляются в казино, где главный персонаж неожиданно легко и крупно выигрывает. Он отдает выигрыш черному человеку, и они прощаются. Литература существует, разумеется, не для того, чтобы рассказывать такие простые истории. Естественно, что только тут все и начинается. Действие делает поворот, опасный поворот, и с этого момента жизнь главного персонажа стремительно движется в новом направлении – к роковому концу.

Обреченный, но еще не знающий этого персонаж сперва бредет к себе домой, но вдруг, по какому-то импульсу, поворачивает обратно. Почему бы не сыграть еще? Он никогда в жизни не играл, но теперь, пожалуй, не прочь. Только что получилось неплохо. Попытаем счастья еще раз, на худой конец – развлечемся.

Этот поворот еще предсказуем. Воображение умеренно опытного читателя здесь еще вполне следует за воображением автора. Понятно, что предстоит проигрыш и какие-то очень неприятные последствия. Но по-настоящему хорошей литературе этого мало. Воображение Шницлера богаче. Простую историю об игроке, случайно втянувшемся в игру против своих привычек, Шницлер не стал бы и рассказывать. Он существенно усложняет эту фактуру.

Как и в «Опасном повороте» Пристли, непредусмотренный поворот в жизни персонажа приводит к тому, что он узнает правду. Происходит это так. Чтобы уплатить карточный долг, он пытается достать денег, обратившись к старым связям. Это заводит его в прошлое его семьи, и то, что он узнает про свою семью, оказывается столь ужасным, что он теряет над собой контроль и совершает самоубийство. Внешне все выглядит так, будто он покончил с собой из-за невозможности заплатить карточный долг. Но на самом деле его самоубийство – эпизод совсем другой действительности; эта действительность лишь пересеклась с той, где он проигрался в карты, выйдя, так сказать, из «другого измерения». Новелла Шницлера прямотаки виртуозна. Идеал повествовательной поэзии. Кажется, теперь так не находят нужным писать. Прием в литературе теперь сильно отделился от смысла. Жаль.

В раньшие времена первоклассные писатели были весьма чувствительны к поэзии маловероятного, особенно – случайностей, имеющих роковые

и непропорционально внушительные последствия. Разумеется, что может быть внушительнее, чем смерть. Поэтому где случайность, там и смерть.

Смысловое богатство комбинации случайности и смерти эффектно драматизировано в фильме Георга Слейзера «Исчезновение» («The Vanishing»).

Схема фильма выглядит примерно так. Молодая пара из Голландии едет на юг Франции. Они останавливаются возле оживленной бензоколонки. Девушка отправляется купить банку кока-колы и исчезает навсегда. Молодой человек после тщетных попыток понять, что случилось, отправляется домой. Мы, однако, знаем, что случилось. Потому что параллельно нам показывают, как некий маньяк готовится к похищению. Мы знаем, как совершается похищение, но куда он девал похищенную девушку, мы тоже еще не знаем. Это, так сказать, первый акт драмы.

Проходит несколько лет. Молодой человек как будто бы нормально живет и работает, у него другая подруга. Но на самом деле постигшая его некогда таинственная катастрофа не дает ему покоя. Он опять отправляется в те места, где все это случилось, и там, выступив по телевидению, напоминает местным жителям о таинственном исчезновении своей невесты несколько лет назад. Нет, говорит он, я уже не так переживаю свою потерю – время прошло. Но, говорит он, я не могу никак успокоиться из-за того, что не знаю, как и что, собственно, произошло. Неизвестность – вот, что его терзает. Естественно предположить, продолжает он, что его подругу похитил какой-то маньяк. Но как? И что было потом? Это единственное, что он хотел бы узнать. Если виновный меня сейчас слышит, то пусть знает: я готов ему все простить, но пусть он сообщит мне, что он сделал с моей невестой.

Маньяк откликается. Он даже сам приходит к молодому человеку и обещает ему показать, как было дело, если молодой человек согласится поехать с ним вместе. Тот соглашается. Они приезжают к той самой бензоколонке, где исчезла подруга. Тут маньяк предлагает молодому человеку кофе. Он, в сущности, даже не скрывает, что в кофе подсыпано снотворное. Пусть молодой человек выпьет кофе. Тогда он узнает, что произошло с его подругой. Сперва молодой человек смеется, называет маньяка маньяком и уходит. Но через несколько шагов он задумывается и, вопреки всякому здравому смыслу, возвращается и принимает предложение...

Он просыпается в гробу, похороненный заживо. Маньяк сделал с ним то же самое, что с его невестой. Газеты публикуют сообщения о втором исчезновении в том же самом месте. Очевидно, что два исчезновения связаны друг с другом. Персонаж-то знает, как именно. Мы тоже знаем. Как участники расширенной (виртуальной) ситуации. Но весь остальной мир – не участник этой ситуации. Разве может кто-нибудь догадаться, что скрывается за такого рода совпадением?

Я изложил самый скелет фильма и теперь добавлю две важные детали. Во-первых, молодая голландка попала в лапы маньяка совершенно случайно. В его плане все было тщательно предусмотрено. Кроме одного: жерт-

вы. Ему было все равно, кого убивать. Голландка оказалась вдвойне случайной жертвой. Потому что маньяк начал не с нее, но у него никак не получалось залучить кого-нибудь к себе в машину. Перед тем как на него нарвалась голландка, у него сорвалась еще одна попытка. Буквально за несколько минут до того. Голландка попросила его что-то ей показать, он на удачу сказал ей, что подвезет ее, открыл дверцу машины, она села на минуту в машину, и он успел дать ей хлороформ.

Во-вторых, оба персонажа – голландец и маньяк – действуют вопреки всякой логике. Про голландца я уже рассказал. Голландец ведет себя импульсивно-абсурдно. А мотивация маньяка абсурдна фундаментально и стратегически. Пока они едут в машине, маньяк рассказывает голландцу эпизоды своей биографии. Однажды в ранней юности у него возникло неодолимое желание прыгнуть с балкона. Зачем? А просто так. Это была даже не тяга к самоубийству. Ему просто хотелось попробовать: а что будет? Он испытал судьбу и прыгнул с балкона. Остался жив. Потом, уже в зрелый период жизни, ему довелось спасти двух тонувших в канале детей. И в этом случае он бросился в воду исключительно из духа противоречия, а вовсе не человеколюбия или желания славы. По идее он сам должен был утонуть. Но не утонул. После этого эпизода он доразмышлялся до того, что ему надо бы еще совершить безнаказанное убийство, чтобы окончательно выяснить свои отношения с судьбой.

В фильме еще много всякой другой оркестровки, благодаря чему его смысловая информативность достигает головокружительных высот. Трудно представить себе более содержательную трактовку столь тривиальной темы как «жизнь и смерть». Пессимизм фильма неслыханно глубок. Я не вполне понимаю, каким образом кто-то вообще решается продемонстрировать публике подобный пессимизм. Мне кажется, что если бы такая схема пришла мне самому в голову, то я не решился бы признаться в этом. Вероятно, тут нужна некоторая доля эксгибиционизма и надежда на то, что, поделившись своим пессимизмом с другими, можно до некоторой степени от него излечиться.

Однако, что одному лекарство, то другому отрава. «Исчезновение» Георга Слейзера подорвало силу моего духа на пару недель. Страшная история. Примем теперь противоядие, обратившись от трагической версии случайности в ее комическом варианте. Об этой истории рассказывали по телевидению – в программе Би-Би-Си. Они там, как и я, интересовались невероятными событиями и собрали небольшую коллекцию. Самой интересной в этой коллекции показалась мне нижеследующая ошеломительно невероятная история.

Мэри и Джон работали в одной фирме, торговавшей недвижимостью. Однажды Джон уже ушел, а Мэри еще оставалась на работе. Позвонил потенциальный клиент. Ему была нужна важная и срочная информация. Этой информацией располагал только Джон. Мэри не хотела упускать клиента. Она обещала перезвонить клиенту и стала искать Джона. Она прикинула,

что к этому моменту он уже должен был прийти домой. Но тут оказалось, что у Мэри нет под рукой домашнего телефона Джона. Мэри стала рыскать по столам в поисках списка телефонов своих сотрудников, но, как назло, список телефонов куда-то запропастился. Наконец, она обнаружила в одном из столов список сотрудников, и против каждого имени там стояло число. Ну, скажем, против имени Джона такое число: 256 18 54. Не иначе как телефон, подумала Мэри и тут же набрала этот номер.

Между тем Джона дома не было. В этот день он, прихватив жену, отправился на посиделки в местную пивную. По дороге в пивную стояла одинокая телефонная будка. Когда Джон с женой проходили мимо нее, в ней зазвонил телефон. Такое бывает. Прохожие, которым пришлось воспользоваться автоматом, часто потом просят своего собеседника перезвонить им, если не хотят платить или когда у них просто нет монеты в кармане для продолжения разговора. Но в будке никого не было. Кому понадобилось звонить в пустую, заброшенную посреди большого города телефонную будку? Набрали неправильный номер? Или?

Услышав телефонный звонок в будке, мимо которой он проходил, Джон слегка поколебался и, повинуясь инстинкту любопытства, зашел в будку, снял трубку и сказал «алло». На том конце провода была Мэри. Это ты, Джон, спросила Мэри. Это я, отвечал Джон. Между ними состоялся короткий разговор. И тут им пришла в голову естественная мысль: а как, собственно, Мэри узнала, что Джон в этот момент проходит мимо этой телефонной будки, и откуда она знала номер телефона в этой будке?

Натурально, оказалось, что ничего этого Мэри не знала. Она думала, что звонит Джону домой, набирая цифры, стоявшие против имени Джона в списке, который она нашла в ящике одного из рабочих столов в конторе. Как потом оказалось, эти цифры вовсе не были телефонным номером. Это был номер досье Джона для каких-то бухгалтерских целей. Иначе говоря, Мэри набрала совершенно случайную комбинацию цифр. Эта комбинация, однако, совпала с номером уличного таксофона, мимо которого шел по своим делам адресат звонка. Но телефонный звонок, сделанный наугад, нашел того, кого искал. В сущности, бутылка была брошена в море. И угодила прямо под ноги тому, кому предназначалась. Более невероятное событие невозможно себе представить. Но именно это событие и произошло.

Теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что подобные события оказываются возможны не просто потому, что две линии, если они не параллельны, обязательно рано или поздно пересекутся. Нужно еще, чтобы кто-то эти линии провел. Хотя бы одну из них. Чтобы кто-то принял определенное решение. В рассказанном случае ключевой фигурой была Мэри. Мне самому довелось быть ключевой фигурой в подобном случае. О нем я теперь и расскажу.

Я просыпаюсь очень рано. Даже когда мне не надо на работу. И если мне не надо на работу, я иду с утра пораньше гулять в расположенный по-

близости большой парк. Главная аллея идет вдоль зоосада. Некоторые вольеры открыты в сторону аллеи, так что можно видеть кое-какое зверье прямо с аллеи, не заходя в зверинец. В таком вольере, например, живут волки.

Так вот, однажды я шел мимо этого вольера. Было очень рано, часов семь утра. Погода стояла отличная. Волки, штук пятнадцать, все сидели на задних лапах и, вытянув морды вверх, настойчиво и монотонно выли. Я с любопытством послушал некоторое время этот почти, можно сказать, стилизованный вой. Потом подошел к забору, взялся обеими руками за железные прутья забора и безо всяких эмоций произнес в уме фразу: «Сейчас же перестаньте выть». В ту же секунду волки перестали выть и, поджав хвосты, понуро разбрелись куда-то, очевидно, по своим норам.

Я был поражен. Другой на моем месте мог бы решить, что волки каким-то образом услышали команду и подчинились. Вздор, конечно. Даже если допустить, что коммуникация состоялась и сигнал был понят, с какой стати волкам меня слушаться? У них было гораздо больше оснований послать меня подальше. Нет, тут было что-то совсем другое. А именно то, о чем я все время и толкую, – совпадение. Возможно, впрочем, еще одно объяснение. Я мог (не знаю как) почувствовать нутром, что волки сейчас разойдутся, и у меня возникло шальное желание примазаться к естественному и уже предусмотренному ходу событий. Тут возникает вопрос: а какого черта мне было примазываться? Этот вопрос не остается совсем без ответа. Быть может, я на самом деле хотел проверить возможность совпадения. Учитывая мой интерес к теме, это вполне реалистический ответ, хотя в тот момент все произошло слишком быстро, чтобы я успел сообразить, чего именно хочу. Я хорошо помню, что взялся руками за прутья забора, чего мог бы и не делать. В этой искусственной детали моего поведения можно усмотреть некоторую имитацию научного эксперимента.

Так или иначе, имело место редкостное и впечатляющее совпадение. Настолько невероятное, что я, признаться, проявил слабость духа и решил все-таки проверить якобы научную теорию, предусматривающую волевую коммуникацию между мной и стаей волков. Несколько позже я застал волков в Риджентс-парке за тем же занятием еще раз. Я повторил свой эксперимент. Ни хрена не произошло. Казуист, конечно, скажет, что двух наблюдений недостаточно для обобщений. На это мне нечего ответить, кроме того, что одного наблюдения тем более мало, чтобы делать противоположное предположение. То, что такое невероятное событие все-таки произошло, должен признаться, волнует меня гораздо больше, чем какие-то физические возможности, расположенные далеко за пределами нашей способности заметить их, если они вообще есть.

Если физика имеет место, то как раз там, когда совпадение иллюзорно. Вот еще один случай из моего собственного опыта. Несколько лет назад пришло время умереть моей матери. Она жила очень далеко. У нее случил-

ся инсульт. Я навестил ее в больнице и уехал, оставив ее на попечение старых друзей. Было ясно, что долго она не протянет.

Прошло около двух месяцев. Однажды я проснулся очень рано; даже не рано, как обычно, а, можно сказать, посреди ночи. Я выпил чашку кофе, почитал немного и присел в уголок дивана еще немного подремать. Я действительно заснул, хотя, кажется, не очень глубоко. Тут раздался телефонный звонок. Я снял трубку и узнал голос приятельницы, присматривавшей за моей матерью. Приятельница сообщила мне, что И. Г. умерла. Я что-то ей ответил и... проснулся. Оказалось, что это был сон. Через полчаса раздался настоящий звонок. Он был полным повторением предыдущего. Я спросил приятельницу: а когда мама умерла? Она ответила, что пару часов назад.

То, что мне приснился телефонный звонок, извещавший меня о смерти матери, я вовсе не нахожу удивительным. Все ждали ее смерти. Это ожидание лежало на самой поверхности моего подсознания; спал я некрепко; что еще мне могло присниться. Но ведь телефонный звонок приснился мне, считай, в тот самый момент, когда мать умирала. Один специалист по такого рода явлениям сказал мне позднее, что ему все ясно: конечно же, у меня с матерью было общее биологическое поле или там аура, я точно не помню. Я, таким образом, принимал участие в ее смерти, и, если угодно, в некотором смысле умер вместе с ней. Красиво. Но мой приятель-скептик машет на это рукой и уверяет, что это на самом деле объясняется гораздо проще. Этот телефонный звонок, уверяет он, на самом деле снился мне неоднократно, но я этот сон, как часто бывает со снами, тут же забывал. А в последний раз я его не забыл именно потому, что сразу же за этим ожидаемое событие действительно произошло. Редкий случай, когда психологическое объяснение выглядит намного более убедительно, чем физическое, а, в сущности, парафизическое объяснение. Но должен признаться, что и оно меня не очень устраивает. Я предпочитаю упрямо считать, что имело место совпадение.

О принципиальной возможности невероятных совпадений и событий нас предупреждает теория. Теория предупреждает, а практика подтверждает. Мы узнаем об этих событиях задним числом. Они происходят. Некоторые уже произошли. И тут интересно спросить: а что это означает для более вероятных событий? Происходят ли маловероятные события вместо более вероятных или невероятные события остаются лишь избыточными деталями на фоне реально происходящего вероятного и предсказуемого? Лишними в смысле полного отсутствия последствий такого события? И лишними даже в том смысле, что они ничего нам не дают для понимания происходящего? И даже лишними в том смысле, что сами по себе не имеют никакого смысла. То есть не представляют собой пусть и краткой, но законченной действительности – я не знаю, как более по-философски это высказать. Волнующие, очень волнующие вопросы. Пойдем дальше.

Как-то раз на службе я сидел и лениво прослушивал одну радиопрограмму, приготовленную к рождеству. Это была детская программа. И вот я слышу, как мальчик рассказывает другим детям, что, дескать, ехали через пустыню три короля и увидели в небе звезду. И этих королей звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Про что это все, вы и без меня знаете. Даже лучше, чем я, как сейчас сами убедитесь.

Когда я это услышал, у меня в голове что-то щелкнуло. Эге, сказал я сам себе, а ведь я эти имена где-то уже слышал. Сперва я никак не мог вспомнить, но через некоторое время меня осенило: я же сам использовал эти имена в повествовании, которое как раз в это время сочинял. Персонаж по имени Каспар занимал там выдающееся место. Персонаж по имени Мельхиор – поменьше, но тоже не такое маленькое. Бальтазар же появлялся в повествовании мимолетно, но все-таки присутствовал. Можно было думать, что я упомянул Бальтазара исключительно для комплекта. Спохватился в какой-то момент, что два короля в повествовании упомянуты, а третий забыт. И исправил ошибку.

Это была бы правдоподобная версия, если бы я хоть что-нибудь знал до этого про трех королей и как этих заслуженных монархов звать. Если бы меня кто-то спросил, как зовут трех королей, я пожал бы плечами и ответил, что не знаю. Я даже не помню, читал ли я когда-нибудь источник. Да если бы и читал, толку было бы мало. Как мне сказали компетентные люди, имена этих королей упоминаются не в первоисточнике, а в одной из немецких версий более позднего легендария.

Одним словом, произошло поразительное совпадение. Настолько поразительное, что я никак не мог успокоиться и долго потом думал, как же такое могло произойти. Я все-таки, в конце концов, эту тайну раскрыл. Дело было так. Я очень люблю две большие поэмы Генриха Гейне и время от времени их перечитываю по-немецки в поисках потенциальных эпиграфов и просто для удовольствия. Так вот, в «Германии» в одном месте три короля названы подряд. Пока я писал свое повествование, я три-четыре раза перечитывал «Германию». Оттуда эти имена я и заимствовал.

Я открываю секрет, и тем самым демистифицирую эту историю и лишаю ее блеска. Но даже после этого в ней кое-что остается. Имя Каспара попало в мое повествование само по себе в связи с совершенной другой реминисценцией. Насчет Мельхиора я не вполне уверен. А Бальтазар, конечно, все-таки был использован для комплекта. И я это сделал совершенно бессознательно.

Имеет ли эта реминисценция какое-то значение для моего повествования? Понятия не имею. Обычно более поздние комментаторы, если им удается увидеть аллюзию, приписывают ей многозначительность, главным образом ради того, чтобы сделать многозначительной собственную наблюдательность. Современные авторы часто таким комментаторам подыгрывают. Я не из их числа. Хотя, конечно, подобные феномены никогда не бывают совсем уж бессмысленными.

А вот гораздо более интересная фактура, связанная с моим злополучным повествованием. Этот эпизод относится вообще к странной категории событий, которые на самом деле не произошли, но при этом сохраняют статус события.

Дело было так. Мне позвонил один приятель и сказал, что собирается в Пермь. В Перми кто-то надумал провести конференцию по европейскому консерватизму, и его пригласили туда рассказать про английский консерватизм. Я обрадовался и сказал, что тоже хочу туда поехать. Сама конференция была достаточно интересной. Но главное было в другом. Дело в том, что я провел счастливые детские годы в Перми и в Соликамске. Мне давно хотелось хотя бы еще разок глянуть на места моего счастливого детства. Неожиданно подворачивалась удобная и дешевая возможность сделать это. Я позвал секретаршу, чтобы попросить ее сделать все нужные шаги для моей поездки. Она пришла, я открыл рот и тут же осекся.

Пожалуй, мне было что-то вроде видения. Вот я приезжаю в Соликамск, отправляюсь на свое любимое место, где посреди светлого соснового бора бьют из-под земли мощные чистые ключи, а рядом стоит (стояла когда-то) заброшенная еще полвека назад до того водяная мельница, я нагибаюсь к воде, пью чудесную воду, ложусь на травку и смотрю в небо.

Я сказал, что это было видение. Не совсем так. На самом деле я вспомнил заключительный эпизод моего повествования. Там персонаж возвращается на то место, откуда началось его долгое странствие. С ним происходит все то самое, о чем я только что рассказал, и поскольку круг завершен и после этого уже ничего не может произойти, персонаж умирает.

Сообразив, что, собственно, я вспомнил, я не на шутку перепугался. В сущности, мне представлялась возможность полностью слиться с моим персонажем и помереть. Особенно пугающим оказался образ мельницы. Придумывая концовку своего повествования, я вспомнил именно заброшенную мельницу в лесу под Соликамском. Она в повествовании и существует, тоже, если угодно, в роли персонажа. Все эти соответствия не напугали бы меня так сильно, если бы не два дополнительных обстоятельства. Во-первых, я был в то время так сильно болен, что мог помереть в любую минуту. И, во-вторых, последний эпизод своего повествования я написал буквально за пару дней до того, как передо мной замаячила поездка в Пермь.

Конечно, от своих сентиментальных планов я отказался. Я совершенно убежден, что если не отказался бы, то сейчас меня уже не было бы в живых. Кроме шуток.

И надо же такому случиться, что как раз когда я подошел к этому месту своего рассказа, я набрел в журнале «Знание – сила» на статью В. Н. Комарова, где прочел следующее: «Как известно, земная жизнь – углеродная

жизнь. А углерод образуется в недрах звезд. Однако для синтеза углерода необходимо одновременное столкновение трех ядер гелия. Как показывают расчеты, подобные события в ядерной "топке" звезды чрезвычайно маловероятны. Но возможен и другой путь: при столкновении двух ядер гелия сперва образуется ядро бериллия. А затем оно, в свою очередь, столкнувшись с еще одним ядром гелия, может образовать ядро углерода. Но это возможно только в том случае, если ядра бериллия и углерода "настроены в резонанс". И тут обнаружилось поразительное совпадение: оказалось, что величина тепловой энергии в недрах типичной звезды как раз такова, что обеспечивает этот резонанс!»

Вот это, я понимаю, совпадение. Или это чье-то сознательное решение? Пока не доказано противоположное, надо все-таки думать, что совпадение. А если так, то дух захватывает. Похоже, что все сущее совершенно случайно и как таковое висит на волоске. Но это также значит и другое. А именно: редкость маловероятных событий иллюзорна. На самом деле только маловероятные события и случаются. Или иными словами: что не маловероятно, то и не событие вовсе. Действительность случайна.

Такой случайный мир не очень-то заслуживает того, чтобы существовать. Да он и не существует. Он случайно возникает на почти незаметную долю секунды и сразу уступает место другому, столь же случайному и необязательному. Только сугубая ограниченность нашего опыта позволяет нам не заметить, что никаких нас нет. Вам когда-нибудь это приходило в голову?

Спокойной ночи, малыши.

Бенедикт Сарнов

ОГОНЬ С НЕБА*

А вот еще один, пожалуй, даже еще более печальный эпизод из истории «бодания теленка с дубом».

Был у Александра Исаевича такой знакомый – Саша Горлов. Молодой кандидат наук, физик. Собственно, был он, если не ошибаюсь, знакомым солженицынской тёщи – Екатерины Фердинандовны, а уж через нее познакомился и с самим Александром Исаевичем, чьим он был, как легко догадаться, большим поклонником. И вот однажды А. И. попросил этого молодого человека съездить в «укрывище» (так он называл свой маленький садовый домик в селе Рождество) и что-то там сделать с его машиной: то ли перегнать ее в Москву, то ли привезти ему какую-то ее деталь (Саша был опытный автомобилист).

Прибыв на место, Саша увидал, что дверь «укрывища» не заперта, а внутри, в домике, кто-то есть. Поначалу решив, что это воры, он попытался их разогнать, но «воров» оказалось слишком много для одного, даже очень решительного человека: чуть ли не более десятка. И вели они себя весьма нагло. Сашу схватили, скрутили, кинули на землю и, как следует отмутузив, поволокли в лес. Он сопротивлялся, кричал, звал на помощь. На крик прибежали соседи. Но тут один из «воров» (как видно, бывший у них за главного) предъявил красную книжечку, и соседи отступились, поняв, что «воры» – совсем не воры, а – *имеют право*. Сашу же, избитого, окро-

* Окончание. Начало см. в № 4 «NB».

Бенедикт Сарнов – критик и литературовед, автор множества книг и статей о российской прозе и поэзии. В числе недавно изданных книг – «Пришествие капитана Лебядкина», «Наш советский новояз», «Каждому по вере его». Живет в России.

вавленного, в разодранном костюме запихали в машину и повезли в милицию. Там его заставили написать «объяснительную записку» и отпустили, предварительно потребовав дать *подписку о неразглашении*.

Дать такую подписку Саша решительно отказался, и тогда, отпуская его, главный кагебешник сказал ему:

– Ну, гляди! Если расскажешь обо всем Солженицыну, с тобой будет кончено: никакая докторская тебе уже не светит (Саша как раз собирался защищать докторскую диссертацию), с работы уволят. Подумай о жене, о детях. А в случае чего, если понадобится, и посадить можем.

Несмотря на эти угрозы, вернувшись в Москву, Саша обо всем, конечно, рассказал. (Может быть, не самому Исаичу, а Екатерине Фердинандовне.) Скрыть то, что с ним произошло, он, конечно, не мог, и не собирался. Но реакция Исаича, хотя, зная его, ее легко можно было предугадать, явилась для Саши полной неожиданностью.

Не только не спросив у него разрешения и – хотя бы для виду – с ним не посоветовавшись, но даже не поставив его об этом в известность, он сразу шарахнул «Открытое письмо министру госбезопасности СССР Андропову» с подробным изложением всего случившегося. Чуть ли не в тот же день это «Открытое письмо» передавалось по всем вражеским голосам.

Сашу об этом своем шаге А. И. уведомил (уже, так сказать, постфактум) короткой записочкой, в которой писал: «Когда-нибудь Вы поймете, что этим своим поступком я защитил не только себя, но и Вас».

В книге «Бодался теленок с дубом», рассказывая об этом эпизоде, Солженицын мимоходом роняет, что Сашу гебешники непременно убили бы, если бы он не догадался выдать им себя за иностранного подданного, «а такого нельзя убивать без указания начальства». А о самом Саше он там пишет так:

> Он мог бы смолчать, как требовали от него, – и ничего б я не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага (Письма Андропову. – *Б. С.*) он не ждал, даже дух захватило, а это было – спасенье для него одно. Я лежал в бинтах, беспомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило – в письме Косыгину я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили, высмеяли.
>
> Так взорвался наружу один подкоп и, кажется, дёрнул здорово, опалил лицо самому Андропову.

Вот какой молодец!

Опалило лицо самому Андропову или не опалило – это, как говорили герои Зощенко, еще вопрос и ответ. А вот у Саши Горлова, как это вскоре выяснилось, «дух захватило» не зря.

Все данные ему обещания кагебешники выполнили. С работы его уволили, докторскую защитить не дали. Посадить, правда, не посадили, но из страны выдавили.

В 1990 году, оказавшись в Бостоне, мы с женой были у него в его американском доме. (Наш друг Эмка, давно уже живущий в Бостоне, с ним приятельствует, и нас к нему привел.) Дом – даже по американским понятиям – великолепный: на родине Саша о таком не мог бы и мечтать. Да и с родиной отношения в то время уже как будто стали налаживаться: Саша рассказал, что его настойчиво приглашали на Дальний Восток, до зарезу там вдруг понадобилось нам построить электростанцию, работающую от морских приливов, проект которой он, Саша, разработал. Его просили приехать хоть на полгода. На мой вопрос, согласился ли он, ответил, что да, конечно, – если приглашающие его дальневосточники смогут выплатить ему ту зарплату, которую здесь, в Бостоне, он получает за семестр: 80 000 долларов.

Из этого можно заключить, что вынужденная эмиграция оказалась для Саши счастливым выигрышем. Если не считать того, что вскоре после приезда в США неожиданно покончил с собой его сын – подросток.

Конечно, это могло случиться и не в Америке, а дома тоже. Но – кто знает?

Как бы то ни было, эту свою американскую судьбу Саша выбрал себе не сам: на нее обрек его Александр Исаевич в процессе своего героического бодания с дубом.

Мало ли таких «камешков» попадалось тогда на его пути, через которые ему приходилось переступать. Взять хоть несчастную Воронянскую, хранительницу его «Архипелага», повесившуюся после допроса в Большом Доме.

> Мне рассказали, что, когда весть о жуткой ее смерти дошла до Солженицына, он сказал: «Она обманула меня – она наказана». (*З. Б. Томашевская.* О смерти Елизаветы Денисовны Воронянской // Звезда. 1994 (6). С. 81)

А вот что написал об этом Александру Исаевичу бывший его друг Лёва Копелев:

> ...твое отношение к ее гибели было бесчеловечным – где уж там христианским! После моего звонка из Ленинграда ты написал столь же сердито, сколь и безрассудно («ты думал, что я на похороны поеду?!»). А ведь звонил я только, чтобы скорее известить тебя об угрозе, о беде.
>
> Твое отношение к Сергею Маслову, к Ефиму Эткинду, которые понеслись в Москву предостерегать тебя, хотя у них-то не было ни Нобелевской премии, ни мировой известности, выявляло все новые черты твоего «многогранного» нравственного облика.

Того, о чем тут говорит Лёва, я тогда, конечно, не знал, и этот «многогранный» нравственный облик Александра Исаевича мне тогда еще не открылся.

Но кое-что я чувствовал, кое о чем догадывался.

Да и как было не догадаться, когда в его книге «Бодался теленок с дубом» я прочел:

> ...должны ж они олединиться, что такая публикация (т. е. «Архипелага». – *Б. С.*) почти смертельна для их строя (строй бы – черт с ним, для их кресел!). Должны ж они искать – не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как остановить эту книгу прежде ее появления? Может быть, они и не допускают, что я осмелюсь? А если допускают? Я видел для них такие пути:
>
> 1. Взятие заложников, моих детей, – «гангстерами», разумеется. (Они не знают, что и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не остановим ни за что.)

Прочитав про это «сверхчеловеческое» (правильнее было бы сказать – *нечеловеческое*) решение, я содрогнулся. Но в то же время – нет, не восхитился, конечно, на это я был неспособен, но – изумился несгибаемой силе этого стального характера.

И – в разговорах с негодовавшими (негодовали главным образом женщины) – продолжал защищать его. Как защищал раньше, когда «новомирцы» жаловались, что он готов их предать, отдав какой-то очередной свой опус в другой журнал или, не посоветовавшись с ними, в театр «Современник». (Там я прямо на стенку лез: да почему, собственно, он должен считаться с «Новым миром», да хоть бы и с самим Твардовским! Что он – подписал с ними контракт на вечные времена?! Да и не обязан он – упавший к нам с неба – делать разницу между мелкими нашими групповыми разногласиями – «Новым миром» и, скажем, «Молодой гвардией». Оттуда, с того неба, с которого он к нам упал, эта разница не больно видна. Да, по правде говоря, не так уж и существенна.)

Помню еще разговоры о том, что в своем обращении «Жить не по лжи» он призывал студентов из принципа не сдавать зачеты и экзамены по «Основам марксизма-ленинизма».

Многие за это тоже его осуждали. «Ну, хорошо, – говорили они. – Допустим, откажутся – не все, но хоть лучшие из лучших – сдавать эти зачеты. Их исключат из институтов. И кто тогда в нашей несчастной стране будет, спустя годы, учить детей в школах? И кто будет лечить – тех же детей и стариков, да и просто больных, заболевших, скажем, воспалением легких?»

Но я и тут защищал его. Говорил, что пророк – он на то и пророк, чтобы призывать к несбыточному, невозможному. Сколько лет прошло со времен библейских десяти заповедей. А люди, как ни в чем не бывало, продолжают убивать друг друга, и мужчины по-прежнему желают жен своих ближних. Никакие заповеди не отвратили их от этого. Так что же, зря, значит, Моисей принес нам с Синая эти свои скрижали?

А когда Александра Исаевича арестовали...

Но об этом, наверно, стоит рассказать подробнее.

Мы сидели втроем – Володя Войнович, Володя Корнилов и я – и, как почти каждый вечер тогда (в этот раз это было у Корнилова), то ли играли в шахматы, то ли пили чай, а может быть, и что-то покрепче чая – «за успех нашего безнадежного дела».

Раздался резкий звонок в дверь, и в корниловскую квартиру ворвалась моя жена.

– Вот! – начала она прямо с порога. – Вы тут сидите! А только что по радио передали: арестован Солженицын!

– Арестован или задержан? – спросил я. Будучи по природе оптимистом («не верит тело»), я еще надеялся, что Александра Исаевича только пугают.

Но жена даже не поняла тонкого юридического смысла моего вопроса, по обыкновению решив, что я сморозил какую-то очередную глупость.

А друзьям, даже если они меня и поняли, было уже не до этих юридических тонкостей.

Наскоро одевшись, мы втроем выскочили на улицу и ринулись к метро.

Адрес Александра Исаевича мы знали хорошо. А лучше всех знал его я, поскольку жил он тогда в том самом дворе, где прошло мое довоенное детство, – в соседнем с моим подъезде того же старого Бахрушинского дома, где до недавнего времени жили и мы с женой, а сейчас жила моя мама, к которой я старался хоть на минутку заскочить – если и не каждодневно, так хоть раза четыре, а то и пять на неделе. Кстати, мама незадолго до того рассказала мне, что однажды – в их районной поликлинике, сидя в очереди к врачу, – она разговорилась и познакомилась с очень милой пожилой дамой, которая оказалась тёщей Александра Исаевича – Екатериной Фердинандовной.

Мы позвонили в дверь, и нам сразу открыли. Первым, кого я увидал в прихожей, был Юлик Даниэль.

– Ну, что? – глупо спросил я.

– А то, что Александр Исаевич арестован! – отрубил он, и в резкости этого его ответа было что-то похожее на интонации моей жены, когда она ворвалась к нам с этим своим – «Вот, вы тут сидите!..»

И я опять вылез с тем же моим уточняющим вопросом:

– Арестован или задержан?

И так же раздраженно (мол: «А у вас еще были какие-то сомнения?») Юлик отрезал:

– Арестован!

В коридоре, где мы топтались, кроме Юлика и нас, был еще один человек, как будто не принадлежащий к членам семьи: высокий, массивный, с крупно вылепленным, несколько даже тяжеловатым лицом. Как оказалось, это был Игорь Шафаревич. Нас познакомили, и мы обменялись рукопожатиями.

Вот какие были времена.

Пробыли мы в солженицынской квартире недолго. Нам коротко рассказали, как все произошло. Сейчас я уже не могу отделить то, что услышал тогда, от того, что потом прочел в «Теленке». Из услышанного запомнились некоторые особенно тронувшие меня подробности: взял с собой свой «тю-

ремный мешочек», где едва ли не самой важной для него вещью были самодельные «наглазники», специально изготовленные им на тот случай, если придется засыпать в камере при не выключенной на всю ночь электрической лампочке. А ночным сном он дорожил, помимо всего прочего, еще и потому, что, как оказалось, уже тогда начались у него нелады с давлением.

Выслушав все это и повздыхав, мы ушли. Выйдя из подъезда, с детства знакомым мне проходным двором выскочили на Тверскую и плюхнулись в первую попавшуюся машину с шашечками. Фокус с проходным двором, однако, не помог: как только наше такси тронулось с места, за нами следом тотчас же двинулась другая машина с тремя или четырьмя легко узнаваемыми гавриками.

В двух кварталах от нашего метро сидящий рядом с водителем Войнович быстро с ним расплатился и остановил машину. Мы выскочили и «огородами, огородами» – то есть переулками и дворами – слегка петляя, чтобы сбить со следа возможных преследователей, вернулись в корниловскую квартиру, из которой вышли тому назад каких-нибудь полтора часа, – а казалось, что целую вечность.

Весь этот войновичевский маневр был чистейшей воды озорством: никакого практического смысла в этом «убегании от преследователей», конечно, не было. Но нам это внушило некоторое чувство довольства собой и на какое-то – увы, очень короткое – время слегка улучшило наше настроение.

Разошлись мы поздно, и ночью я (наверно, не один я) долго не мог уснуть. Тревога за Александра Исаевича (что-то теперь с ним будет?) слилась воедино с тревогой за Войновича и Корнилова, которые в то время уже вступили на путь диссидентства, – да и не только за них. Я чувствовал, что арест «Исаича» – это начало какого-то поворота в общей нашей судьбе. Каким-то образом он (сам факт его существования, его неуязвимости) защищал, охранял «от них» всех нас. И теперь, без него, мы словно стали стократ беззащитнее: если уж они решились взять ЕГО, так с нами со всеми и вовсе не станут чикаться.

С той ясностью, с какой выражаю сейчас, я этого тогда, наверно, не сознавал. Но что-то подобное, безусловно, чувствовал. Хотя чувство это было где-то на периферии моего сознания (может быть, даже и подсознания). Главная же тревога была за него: на что они все-таки решатся? Что с ним сделают? Неужели посмеют, после всего, что он уже пережил однажды – в ТЕ ВРЕМЕНА, – заставить пережить его это еще раз, снова?

Наутро, когда указ о «выдворении» был объявлен, у меня прямо камень с души свалился.

Среди появившихся в тот же день в печати лакейских откликов на это событие наших литературных корифеев слегка выделялся (а может быть, мне это показалось?) отклик Валентина Катаева.

Начинался он как-то так: «С чувством огромного удовлетворения я узнал...»

Прочитав это, я подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казен-

ным способом выразил то, что чувствовал на самом деле. Мне даже сейчас мерещится, что там было сказано: «С чувством огромного облегчения...» А поскольку «чувство огромного облегчения» было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А. И. уже в Германии, у Бёлля, – мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это.

А может быть – кто знает! – так оно на самом деле и было?

5

Солженицын-идеолог давно уже был мне чужд, даже враждебен. Особенно после его «Письма вождям Советского Союза».

Отвратило меня уже самое начало этого письма, в котором он давал понять нашим «вождям», что сохраняет некоторую надежду на успех своего обращения к ним, потому что, как бы там ни было, а ведь все-таки они с ним «одной крови»:

> Я желаю добра всем народам, и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас – тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице – где уродился, там и пригодился, а глубже – из-за несравненных страданий, перенесенных нами.
>
> И это письмо я пишу в предположении, что такой же преимущественной заботе подчинены и вы, что вы не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, что вы – не безнациональны.

Точно так же, помню, поразило меня в «Теленке», что, когда возникло у него намерение написать письмо в правительство, попытаться найти с ними если не общий язык, так хоть компромисс, сомнений насчет того, к кому именно из «них» стоит обратиться, у него не было:

> А – кому послать, колебания не было: Суслову! И вот почему. Когда в декабре 1962 года на кремлевской встрече Твардовский представлял меня Хрущеву, – никого из политбюро близко не было, никто не подошел. Но когда в следующий перерыв Твардовский водил меня по фойе и знакомил с писателями, кинематографистами, художниками по своему выбору, – в кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым удлиненным лицом – и уверенно протянул мне руку, очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своем крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», и тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал, а Твардовский мне укоризненно вполголоса: «Михаил Андреевич...» Я плечами: «Какой Михаил Андреич?..» Твардовский с двойной укоризной: «Да Су-услов!!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частень-

ко подводит – вот я и не узнал. Но вот загадка: отчего так горячо он меня приветствовал? Ведь при этом и близко не было Хрущева, никто из политбюро его не видел – значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? Законсервированный в политбюро свободолюбец?..

Это у мертвяка Суслова «весьма неглупое лицо»... Это Суслов – «законсервированный в политбюро свободолюбец»...

Ну, ладно, на всякого мудреца довольно простоты. Ну, купился Александр Исаевич на сусловские похвалы его «Ивану Денисовичу», на радостное трясение Михаилом Андреевичем его руки... Может быть, и в «Письме вождям», когда он выражал надежду, что те, к кому он обращается, «не безнациональны», вспомнилось ему «неглупое лицо» и пылкое рукопожатие М. А. Суслова.

Но та программа действий, та модель спасения отечества, те, тогда еще не шибко развернутые, но уже достаточно ясно выраженные идеи насчет того, «как нам обустроить Россию», изложенные в его обращении к вождям, отвратили меня даже еще больше, чем выраженная в его начале надежда на их «небезнациональность».

Всё это в нашем (увы, довольно узком) кругу, конечно, обсуждалось. И образ недавнего нашего кумира не то чтобы потускнел, но изменился, обретя черты не только комические, но и, по правде сказать, отталкивающие.

Говорили мы об этом между собой только в наших кухнях: о том, чтобы выступить с критикой солженицынских идей публично, разумеется, не могло быть и речи – ведь это значило бы присоединиться к государственной, кагебешной травле главного борца с ненавистной нам советской властью.

Помню, однажды, когда мы в какой-то компании обсуждали это самое солженицынское «Письмо вождям», один из самых резких его критиков, с которым я был, в общем, согласен, заключил свою речь такой фразой:

– Короче говоря, если бы у нас сейчас были свободные выборы, за Солженицына я бы голосовать не стал.

На что я тут же отреагировал:

– Ну да, вы бы голосовали за Брежнева.

Вот таким «амбивалентным» было тогда мое отношение к Исаичу.

Природа этой амбивалентности в значительной мере, конечно, определялась тем, что любая – даже справедливая – критика Солженицына неизбежно смыкалась с государственной его травлей, которая не прекращалась чуть ли не до конца 80-х. Ну, а уж тут, когда так называемая наша «перестройка» вошла уже в полную силу, я, наконец, позволил себе более или менее откровенно (хоть и не поставив все точки над i) публично высказаться на эту щекотливую тему.

Я вел тогда в новом, «перестроечном», коротичевском «Огоньке» постоянную рубрику: «Из запасников русской прозы XX века». Публиковал там Зощенко, Бабеля, Замятина, писателей-эмигрантов – Шмелева, Ремизова, впервые в послереволюционной России напечатал отрывки из «Уеди-

ненного» и «Опавших листьев» В. Розанова. Естественно, захотелось вернуть читателю и Солженицына. Пришлось выбрать не шибко мне нравившийся «Матренин двор». Собственно, никаких других вариантов и не было. Я бы предпочел «Случай на станции Кречетовка», но этот рассказ не мог быть напечатан в «Огоньке» просто по объему: не вмещался в отведенные для моей рубрики журнальные страницы.

В небольшой заметке, предваряющей рассказ (я каждую публикацию предварял таким коротеньким предисловьицем), вспомнив историю появления «Ивана Денисовича» на страницах «Нового мира», отдав дань Твардовскому и коротко сказав о том, каким огнем, упавшим с неба, было для нас явление Солженицына, я далее написал следующее:

> Пока еще тлела, догорая, хрущевская оттепель, Солженицына скрепя сердце терпели. Вынуждены были терпеть. Но эпоха застоя обрекла автора «Ивана Денисовича» на открытую конфронтацию с властью.
>
> Травля Солженицына, начавшаяся вскоре после отставки Хрущева и завершившаяся выдворением писателя из страны, имела двоякие последствия.
>
> С одной стороны, она привела к тому, что фигура Солженицына разрослась до гигантских размеров, заслонив собою весь горизонт. Его стали сравнивать с Толстым, с Достоевским, с протопопом Аввакумом, с библейскими пророками... Создав ему репутацию чуть ли не самого опасного и влиятельного врага могущественной ядерной державы, эта травля – и сила его противостояния этой травле – обеспечила Солженицыну неслыханную мировую славу.
>
> С другой стороны, эта травля велась такими гнусными средствами, о Солженицыне писали в таком чудовищном тоне, на голову его обрушили столько лжи и клеветы, что это почти совершенно исключало для многих не только возможность какой бы то ни было критики Солженицына, но даже полемики с ним, ведь такая полемика неизбежно рассматривалась бы как соучастие в травле.
>
> Это уродливое, искусственное, ненормальное положение сохраняется до сего дня.
>
> До тех пор, пока книги Солженицына не опубликованы в нашей стране, его деятельность художника, идеолога, публициста, по существу, остается у нас вне серьезной критики. А это, естественно, создает почву для возникновения *культа* Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа.
>
> Публикуя рассказ «Матренин двор», мы делаем первый шаг к тому, чтобы покончить с этой ненормальной, уродливой ситуацией. Надеемся, что вслед за этим первым шагом последуют другие.

Предваряя публикацию «Матренина двора» этим предисловием, я, конечно, не ждал, что все прочитавшие мою заметку будут с нею согласны. Предполагал даже, что наверняка найдутся и недовольные ею. Но на ту реакцию, которую она – эта заметка – вызвала, признаюсь, не рассчитывал.

Во всяком случае, у тех, кого привык считать людьми, так сказать, нашего круга, а значит, единомышленниками.

Первую жесткую отповедь я получил от Вячеслава Кондратьева, к которому я относился хорошо, да и он ко мне, вроде, тоже.

Я знал, что Солженицын хвалил и даже как-то поддержал его «Сашку». Знал, что он истовый и преданный поклонник Александра Исаевича. Но ведь я как будто ничего худого про его кумира и не сказал. Напротив, отдал ему должное, и даже – первый – озаботился тем, чтобы вернуть его прозу читателю.

Сейчас я уже не помню, что именно Слава мне говорил. Помню только подчеркнуто сухой и даже враждебный тон, каким было сделано мне его суровое порицание. И еще помню, что выражал он мне это порицание не от себя, и даже не от «группы товарищей», а как бы *от всех*. Я очень хорошо помню, что это слово в той его речи упоминалось чаще всех других: «всех покоробило», «все считают», «все возмущены»...

Ну, а что касается смысла его отповеди, то его легко можно восстановить, поскольку разговором со мной Слава не ограничился, а вскоре высказался на эту тему печатно.

22 октября 1989 года в «Московских новостях» была опубликована беседа с ним, озаглавленная «Чужие свои: судьба эмиграции».

И вот что там говорилось:

> ...Солженицына принимают все. Это национальный писатель, русский не только по происхождению, но и по духу, который любит Россию так, как, возможно, никто из нас. Поэтому время для критики его произведений просто не наступило, а может, и не наступит.

Так прямо и было сказано (напечатано): «и не наступит». Для критики Шекспира, Сервантеса, Гоголя, Толстого такое время наступило. А для Солженицына даже и не наступит.

А с пламенной Люшей (Еленой Цезаревной) Чуковской я чуть было совсем не рассорился. В статье, появившейся в «Книжном обозрении», она в запале даже сравнила меня с бывшим председателем КГБ Семичастным, какой-то мемуар которого был напечатан в том же номере «Огонька», что и «Матренин двор» с моим предисловием.

Не обошел вниманием эту мою заметку и сам Александр Исаевич.

> Тут, пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич (столько налгавший обо мне в «Советской России» в брежневское время) из моих гонителей сметливо перекинулся в непрошеные благодетели – и в начале июня 89-го напечатал в «Огоньке» «Матренин двор». (С ядовитым предисловием Бена Сарнова, что, начав печатать, открываем наконец-то, наконец-то и «дорогу критике» этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались.) Сорвал-таки Коротич первоочерёдность «Архипелага», было у меня

смурное чувство, хотя же: в трёх миллионах экземпляров потекла «Матрёна» к массовому читателю. (*А. Солженицын.* Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть четвертая (1987–1994). Глава 14. Через непродёр // Новый мир. 2003. № 11)

Было ли мое предисловие ядовитым, о том пусть судит читатель. А вот все остальное тут требует некоторого комментария.

Сперва о Коротиче.

В тогда еще недавние советские (брежневские) времена Виталий Алексеевич и в самом деле был деятелем вполне законопослушным и даже сервильным. Помню, однажды мы сидели с ним в его «огоньковском» редакторском кабинете, разговаривали, и он довольно резко осуждал – сейчас уж точно не помню, кого, кажется, Володю Максимова – за сервилизм, за шашни с Кочетовым, за еще какие-то темные пятна на его общественной репутации. Помня, с кем разговариваю, я не шибко откровенничал, занимал примирительную, отчасти даже соглашательскую позицию. Сказал что-то в том смысле, что не стоит никого судить так строго, такое уж было время.

И тут он довольно резко меня оборвал:

– Бросьте! Вот мы с вами ведь этого не делали!

«Ну, ты-то, положим, делал», – подумал я.

Так что насчет того, что в брежневские времена Коротич вполне мог оказаться – и наверняка оказывался – среди гонителей главных тогдашних диссидентов – Сахарова и Солженицына, у меня нет никаких сомнений. Тут Александр Исаевич прав на все сто процентов. А вот то, что, «пронюхав всю обстановку, ловкий Коротич» из гонителей Александра Исаевича «сметливо перекинулся» в непрошеные его благодетели, – на правду уже не похоже.

Во-первых, обстановка для того, чтобы начать печатать Солженицына, тогда была еще не вполне благоприятная. Чтобы сделать это первым, нужна была все-таки известная смелость. А во-вторых – и это главное, – Коротич вовсе не хотел печатать Солженицына. Не скрывал, что Александр Исаевич и по человеческим своим качествам, и как идеолог, мягко говоря, не больно ему симпатичен. В общем, сопротивлялся нашему натиску, как мог. Но, в конце концов, он уступил (конечно, сыграло свою роль и тщеславное желание и тут быть первым). В общем, мы его уговорили. («Мы» – это отчасти я, но главным образом Олег Хлебников, заведовавший тогда в «Огоньке» отделом литературы.)

Немало смущала Коротича и юридическая сторона дела: авторские права Солженицына в СССР представлял Дима Борисов, о котором А. И. упоминает в этом своем «Непродёре» и с которым он потом вдрызг рассорился из-за каких-то финансовых то ли недоразумений, то ли вольностей, то ли махинаций последнего. (В махинации я решительно не верю, Диму я знал – человек он был, как мне кажется, чистый и, во всяком случае, ни на какие махинации не способный.)

С Димой мы решили свои планы не согласовывать (он бы наверняка пуб-

ликовать «Матрёнин двор» нам не разрешил, блюдя твердое указание Исаича не печатать ничего, пока не решится вопрос о публикации «Архипелага»). Потом оказалось, что поступили мы не слишком опрометчиво, поскольку перепечатка уже напечатанного в периодике юридически не возбранялась.

Но, по правде говоря, обо всех этих юридических тонкостях мы тогда даже и не думали. Нами двигал азарт: страстное желание напечатать – после двадцатилетнего запрета – Солженицына в журнале с трехмиллионным тиражом. А там – хоть трава не расти! Как видите, и сам Исаич тоже признал (хоть и сквозь зубы), что все-таки был рад, узнав, что «в трёх миллионах экземпляров потекла "Матрёна" к массовому читателю». Что ж, и на том спасибо.

Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать в этом своем комментарии к процитированному мною абзацу из этого солженицынского «Непродёра». О вскользь – в скобках – брошенной им фразе: «...открываем наконец-то, наконец-то и "дорогу критике" этого Солженицына, – как будто 15 лет чем другим на Западе занимались».

На Западе критикой Солженицына действительно занимались, и начали – действительно – лет за пятнадцать до того, как я посмел робко заикнуться о том, что такая критика необходима. Так ведь это – на Западе! А наш российский читатель о тех идеях, которые высказывал Солженицын уже там, «за бугром», и о критике – не официозной советской, кагебешной, а свободной, либеральной – этих глубоко реакционных его идей – мало что знал. Да и как мог он о том узнать через вой глушилок и непроницаемую ограду железного занавеса!

Знали об этом у нас, да и то в далеко не полном объеме, очень и очень немногие.

Среди этих немногих был и я.

6

После «выдворения» Солженицына я перестал читать советскую литературу.

Вряд ли тут была какая-то причинно-следственная связь. Просто так совпало. Накапливалось давно, постепенно. А тут вдруг – как отрезало. Я не мог взять в руки не то что «Знамя» или «Октябрь», но даже «Новый мир». (Который, правда, уже не был «Новым миром» Твардовского.)

Всё это мне теперь заменил ТАМИЗДАТ.

Ближайшие мои друзья – Войнович и Корнилов, ставшие, как это тогда называлось, диссидентами, а также Борис Биргер, который диссидентом в точном смысле этого слова тогда еще не был, постоянно общались с иностранными корреспондентами, а иногда и с дипломатами. И те щедро снабжали их этим самым Тамиздатом. Вот так и вышло, что и ко мне тоже тёк, не иссякая, ручеек зарубежных русскоязычных изданий, и место «Нового

мира» и других советских журналов в моем ежедневном домашнем обиходе заняли «Континент», «Время и мы», «Страна и мир», «Грани».

Кроме журналов, были, конечно, и книги. Ну, а кроме Тамиздата был еще и Самиздат, так что чтения хватало.

Благодаря друзьям-диссидентам, я тут был в безусловно привилегированном положении. Но Тамиздат и Самиздат были доступны и рядовым читателям тоже: была бы только охота.

На этот счет ходили даже разные анекдоты.

Вот один из них.

Бабушка перепечатывает на пишущей машинке «Войну и мир». У нее спрашивают: зачем? Не сошла ли она, часом, с ума? Нет, говорит, не сошла. Просто внук читает только то, что перепечатано на машинке. А всё, что издано типографским способом, даже в руки не берет.

Это я к тому, что, видно, не я один так остро ощущал тогда разницу между подцензурной и – не подцензурной, свободной литературой.

Однажды, помню, я столкнулся в своем подъезде – у лифта – с Борей Слуцким. Я решил было, что он идет ко мне, но оказалось – не ко мне, а к Фазилю. (Тот жил тогда в точно такой же квартире, как моя, но – этажом выше.) В руках у Бориса был внушительных размеров сверток. Он сказал, что это рукопись искандеровского «Сандро из Чегема», которую он только что прочел и вот, собирается вернуть автору.

А как раз в это самое время в «Новом мире» был напечатан сильно сокращенный и сильно изувеченный журнальный вариант «Сандро», который я, конечно, читать не стал (зачем, если я читал полный?), а Борис, как оказалось, прочел.

– Ну и как? Велика разница? – спросил я.

– Разница, – медленно начал Борис, видимо, стараясь подыскать как можно более точную формулировку, – как между живым хуем и муляжом означенного органа, сделанным из папье-маше.

Слегка смутившись (не оттого, что прибег к ненормативной лексике, а потому, что, зная мои близкие отношения с Фазилем, пожалел, что высказался с чрезмерной откровенностью), он тут же добавил:

– Только вы ему, пожалуйста, этого не говорите.

Говорить об этом Фазилю я, конечно, и не собирался (зачем его огорчать?), но формулировке Бориса в душе обрадовался: вот, даже и он, «наш советский Слуцкий», тоже понимает, каким ублюдочным становится всё, что выварено в семи щелоках советской цензуры.

Итак, я зачитывался Тамиздатом, не последнее место в котором занимали тогда, конечно, и книги Солженицына. Не только «Узлы» и не только «Архипелаг», но и публицистические – или, лучше сказать, историософские его сочинения. И вот они-то как раз больше всего меня и поразили.

Вот прочел, например, такое:

> Россия перед войной 1914 года была страной с цветущим производством, в быстром росте, с гибкой децентрализованной экономикой, без стеснения жителей в выборе экономических занятий, было положено начало рабочего законодательства, а материальное положение крестьян настолько благополучно, как оно никогда не было при советской власти. Газеты были свободны от предварительной политической цензуры (даже и во время войны), существовала полная свобода культуры, интеллигенция была свободная в своей деятельности, исповедание любых взглядов и религий не было воспрещено, а высшие учебные заведения имели неприкосновенную автономность. Многонациональная Россия не знала национальных депортаций и вооруженного сепаратистского движения... Александр I был с войском в Париже, – и не присоединил к России и клочка европейской земли... (*А. Солженицын.* Чем грозит Западу плохое понимание России)

Всё это провозглашалось, как говорится, «на голубом глазу». Словно не было в той благословенной России ни черты оседлости, ни дела Бейлиса, ни полувековой национально-освободительной войны народов Кавказа. Словно генерал-губернатор Трепов не приказал выпороть студента. Словно Александр I на Венском конгрессе не оторвал с кровью герцогство Варшавское и не присоединил его к России под именем Царства Польского, после долгих препирательств и угроз, чуть не кончившихся новой войной, уступив Познань Пруссии и Галицию Австрии. Словно русский император не именовался потом целое столетие Царем Польским и Великим Князем Финляндским. И это называется – «ни клочка европейской земли»!

Но даже и это еще не стало крутым переломом в моем отношении к Александру Исаевичу. А стал таким переломом, казалось бы, уже совершеннейший пустяк. Прямо как в сказке: дед бил-бил – не разбил, баба била – не разбила; мышка пробежала, хвостиком махнула – яичко покатилось и разбилось.

Этим «мышкиным хвостиком» оказались два факта, о которых я узнал из статьи Андрея Синявского «Солженицын как устроитель нового единомыслия».

В 1983 году, рассказывает в этой статье Андрей Донатович, в Париже вышла брошюра Н. Дронникова (скромного русского художника). Называется: «Статистика России 1907–1917». Статистика такая: сравниваются низкие цены на леща в Одессе в 1913 году с высоким процентом евреев, проникавших в сердце России. Тут же – о добросердечии Гитлера, который вскоре после прихода к власти в 1933 году пожертвовал крупную денежную сумму на построение православного храма в Берлине. Тут же приводится из этой книги такая цитата:

> Пора перестать считать русскими большинство писателей, художников и профессоров здешних университетов, только оттого, что они родились в России и говорят и пишут на русском языке, окормляясь вокруг русского вопроса.

А на обложке этой «охотнорядческой», как (судя по всему, справедливо) именует ее Андрей Донатович, книги – жирным шрифтом такая рекомендация:

> От души желаю Вам успехов в отстаивании истины о нашей заплеванной родине. Жму руку.
>
> *31. 1. 84. А. Солженицын.*

Но еще более сильное впечатление произвел на меня другой факт, сообщаемый тем же А. Д. Синявским в той же его статье. На этот раз речь идет о другой книге, другого автора – некоего Петра Орешкина. Называется она «Вавилонский феномен» (Рим, 1984).

Этот Петр Орешкин, если верить пересказу Андрея Донатовича, совершил множество чудесных открытий. Он, например, установил, что первоязыком всего человечества был древнеславянский язык, и потому все языки мира, все культуры, мифы, письмена и рисунки (включая Японию, древнюю Мексику, Индию, остров Пасхи, египетские иероглифы и даже пещерные изображения) следует переиначить по-русски.

Далее в статье Синявского следует ряд цитат из книги этого Орешкина, из которых я приведу лишь самые выразительные:

> Уже само имя «этруски» дает основание говорить, что были они древнеславянским племенем руссов – «Это-руски».
>
> Римская Курия – это всего лишь «курилка», а философ Эпикур – переосмысленное опий куре.

А вот как объясняется происхождение слова «Прованс»:

> Прованяси, что, вероятно, объясняется «пикантным» запахом продуктов, изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста «провансаль» и т. п.

Все это, конечно, не заслуживало бы особого внимания (мало ли такого приходилось нам читать уже в те времена, а чем дальше – тем больше), если бы на обложке и этой книги тоже не красовалась рекомендация Александра Исаевича:

> Из письма 17. 10. 1980.
>
> Многоуважаемый Петр Петрович!
>
> Могу представить себе Ваше отчаяние от предложения Вашей работы западным «славянским» специалистам. Еще независимо от истины – само направление Вашей трактовки им отвратительно и является одним из самых осудительных, что только можно придумать в современном мире.
>
> Ну, во всяком случае, это очень дерзко и несомненно – талантливо.
>
> Желаю Вам не приуныть, но преуспеть!
>
> *Александр Солженицын.*

Прочитав эти две «рекомендации» Александра Исаевича, я вспомнил обращенную к нему Борей Заходером – тогда еще скорее в шутку, чем всерьез – знаменитую отповедь Белинского Гоголю:

> – Апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия – опомнитесь! Что Вы делаете!

Теперь эти слова можно было обратить к нему уже не в шутку, а всерьез. И с полным на то основанием.

7

В своей книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», в той самой её главе «Через непродёр», которую я однажды уже цитировал, рассказывая о новой волне травли, обрушившейся на него уже в новые, перестроечные времена, Александр Исаевич еще раз упоминает мое имя:

> А уж радио «Свобода» – там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, и иже – о несомненном антисемитизме «Красного колеса», – вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну. (Новый мир. 2003. № 11)

Не могу сказать, чтобы я так-таки уж надрывался, разоблачая антисемитизм «Красного колеса», но – что правда, то правда – раза два, выступая по «Свободе», затронул эту щекотливую тему.

У меня давно уже не было никаких сомнений в том, что антисемитизм, безусловно, входит в систему взглядов писателя Солженицына как весьма важная её составляющая. Правда, настоящим – то есть зоологическим – антисемитом я Солженицына тогда не считал. Но не надо было обладать особой проницательностью, чтобы увидеть, что антисемитизм *как некая идея* составляет неотъемлемую часть всей выстроенной им идеологической конструкции.

Вот, например, на последних страницах «Ленина в Цюрихе» он дает краткую биографическую справку: «Революционеры и смежные лица». Из справки этой мы узнаем, что настоящая фамилия Сокольникова была Бриллиант, а Ганецкого – Фюрстенберг. Что Григорий Евсеевич Зиновьев на самом деле был Апфельбаум (кстати, на самом деле настоящая фамилия Зиновьева была Радомысльский), а Лев Борисович Каменев – Розенфельд. Юлий Осипович Мартов в девичестве был Цедербаум, а Парвус (Гельфанд), именовавший себя Александром, на самом деле звался Израилем Лазаревичем. Что Радек был – Зобельзон, а Рязанов – Гольденбах, да к тому же еще и Давид Борисович.

Кроме этих хорошо всем известных имен, мелькают в этом списке и

другие, гораздо менее, а то и совсем неизвестные. Вот, например, – Равич Сарра Наумовна, или Герман Грейлих, или Моисей Бронский. Зачем тут эти «смежные лица», если не для того, чтобы увеличить процент евреев, повинных в постигшей Россию катастрофе?

Ну, а уж читая главу об убийстве Столыпина, несколько искусственно вставленную Солженицыным в его «Узел первый» (книга называлась «Август четырнадцатого», а Столыпин был убит в 1911-м), сомневаться в безусловно антисемитской её направленности было уже совсем невозможно. И дело тут было даже не в том, что убийцу Столыпина Дмитрия Богрова, которого с детства – в семье – звали Митя (и последнее, прощальное свое письмо родителям, написанное перед казнью, он подписал: «Целую вас много, много раз. Целую и всех дорогих и близких и у всех, у всех прошу прощения. Ваш сын Митя»), автор упорно – на протяжении всей главы – называет Мордко.

Существует несколько версий, объясняющих причину, по которой Богров решил убить Столыпина. Он был эсером, и убийство могло быть задумано им и совершено по воле партии, к которой он принадлежал. Он был агентом охранки, и убийство премьера могло быть запланировано в недрах этого ведомства. Царь, как известно, Столыпина не любил, даже на похороны его не пришел, а В. Н. Коковцеву, объявляя ему о назначении на освободившийся пост премьера, сказал: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня, как это делал ваш предшественник». Возможна наконец и третья версия: поскольку товарищи Богрова по эсеровской партии знали о его связи с охранкой и даже вынесли ему смертный приговор, он мог совершить этот отчаянно смелый террористический акт, чтобы доказать им, что он – не предатель: был и остался революционером. (Тем более что терять ему было уже нечего: все равно казнят – не царь, так бывшие друзья-однопартийцы.)

Солженицын решительно отметает ВСЕ эти версии и предлагает свою, не имеющую с ними ничего общего.

У него Богров убивает Столыпина *как еврей*. И не по каким-нибудь конкретным, обусловленным тогдашними событиями еврейским побуждениям (скажем, мстя за дело Бейлиса или погромы), а потому, что толкает его на это убийство «трехтысячелетний зов» еврейской истории. И выбирает он в качестве жертвы именно Столыпина, потому что главная, сокровенная его цель состоит в том, чтобы *выстрелить в самое сердце России*. Столыпин выбран им как самый крупный человек тогдашней России, единственная, последняя её надежда. Роковым своим выстрелом именно он, Богров, обрек страну на все будущие её несчастья. Две пули, выпущенные из его пистолета в 1911 году, изменили ход истории, предопределили и февраль, и октябрь 17-го, и гражданскую войну, и сталинский ГУЛАГ – всё, все было заложено и предопределено уже тогда, этим богровским выстрелом.

Вот об этом я и говорил в той передаче на радио «Свобода», которую отметил в своем «Непродёре» задетый ею за живое Солженицын.

При том что все точки над i в той передаче были уже поставлены, отно-

шение мое к Александру Исаевичу и тогда еще оставалось двойственным, о чем может свидетельствовать такой – хорошо запомнившийся мне – разговор.

Когда передача была записана и уже прошла в эфир, я стоял в коридоре радиостанции с несколькими ее сотрудниками. Зашла речь о Солженицыне, и кто-то из них (кажется, Матусевич), обращаясь ко мне, сказал:

– Здорово вы вчера ему выдали!

Меня этот комплимент отнюдь не обрадовал, скорее смутил. Во всяком случае, я хотел сказать, что на самом деле не все с ним так просто. И, не очень ловко пытаясь это выразить, пробормотал:

– Что ни говори, а человек он крупный.

– Он? Крупный?! – искренне изумился мой собеседник. – Да знали бы вы, какой это мелкий человек! Как он интриговал, чтобы мы не взяли на работу Шрагина!

Реплика эта – хоть, как видите, я ее и запомнил – большого впечатления на меня не произвела.

Не то чтобы я ей не поверил. Поверил. Ни на секунду не усомнился, что так оно, наверно, и было. Но все равно остался при своем. И вот почему.

Слова «крупный» и «мелкий» вообще-то говоря – антонимы. Но в данном случае дело обстояло иначе. Вся штука тут была в том, что мое «крупный» и его «мелкий» лежали в разных плоскостях.

Как бы ни выглядел Александр Исаевич во всех этих ихних эмигрантских дрязгах, я – тогда – не мог думать о нем как о мелком человеке.

Да, он демонизирует убийцу Столыпина Богрова, изображая его чуть ли не главным виновником всех бед, обрушившихся на Россию в XX веке. Да, он написал в своем «Архипелаге», что истинным создателем системы сталинских лагерей был не «лучший друг чекистов», а Нафталий Аронович Френкель, турецкий еврей, родившийся в Константинополе и некоторое время наслаждавшийся там «сладко-тревожной жизнью коммерсанта». Но «какая-то роковая сила влекла его к красной державе». Свой портрет этого мрачного демона ГУЛАГа Солженицын заключает такой фразой: «Мне представляется, что он ненавидел эту страну». Вот, значит, какова была природа той «роковой силы»: тайная ненависть к России, сладострастное желание как можно лучше послужить делу ее гибели.

Чушь, конечно! Фантастический антисемитский бред!

Но мало ли и еще более крупных людей были фанатичными антисемитами? Разве не написал Достоевский, что «Бисмарки, Биконсфильды, Французская республика и Гамбетта и т. д. – все это, как сила, один только мираж. Господин и им, и всему, и Европе один только жид и его банк... А когда погибнет все богатство Европы, останется банк жида, Антихрист придет и станет на безначалии».

Как мог я считать Солженицына мелким человеком? Ведь при мне, на моих глазах он в одиночку сражался с могущественной ядерной державой. Он прошел войну, лагерь, одолел смертельную болезнь и сумел открыть

миру правду о кошмаре сталинского ГУЛАГа. А какой это великий труженик! Даже не найдя в себе силы прочесть все эти его «Узлы», я не мог не изумляться одному только количеству написанных им страниц.

И вот этот титан, этот гигант, этот новый Давид, победивший Голиафа, – мелкий человек?

Нет, я не мог это принять. Не мог с этим согласиться. Не мог в это поверить.

В 90-м году мы с женой оказались в Нью-Йорке. Встречались там с разными своими знакомыми, с которыми уже и не чаяли встретиться на этом свете (когда они уезжали, и мы, и они были уверены, что расставание наше – навсегда).

Одной из таких нечаянных встреч была встреча с Вероникой Туркиной, которая вместе со своим Юркой последовала за Солженицыным в Америку.

Веронику мы посетили в учреждении, где она работала. Учреждение же это (туда ее пристроил, конечно, Исаич) занималось распространением русского Тамиздата, может быть, даже и пересылкой этих книг в Россию. Так или иначе, мы узнали, что в этой Вероникиной конторе можно поживиться (разумеется, на халяву) разными интересными книгами, которые в нашем, уже начавшем перестраиваться отечестве были для нас все еще недоступны.

Какие-то книги Вероника нам, хоть и не очень охотно, но выдала. В мою сторону она при этом старалась не глядеть, издали даже показала мне кулак.

Объясняя свое поведение моей жене, она дала понять, что предельно возмущена моими нападками на Исаича, которые она слышала по «Свободе». Сказала, что никак не ожидала, что я – именно я! – окажусь в числе его врагов.

Жена, не очень ловко стараясь меня защитить, сказала:

– Он не любит антисемитов.

И тут Вероника очень горячо и очень искренне воскликнула:

– Так ведь он как раз НЕ!

В безусловной искренности ее убеждения, что Александр Исаевич никакой не антисемит, я не усомнился. Больше того! Подумал, что и он сам – в душе – конечно же, тоже не считает себя антисемитом.

Однажды он даже довольно откровенно высказался (я где-то прочел) на эту тему. Сказал, что антисемит в его понимании – это тот, кто «облыгает» еврейский народ. А тот, кто говорит о евреях правду – пусть даже самую нелицеприятную, – антисемитом отнюдь не является.

При такой схеме получалось, что какая-нибудь расхожая антисемитская формула – скажем: «евреи умеют устраиваться» – на самом деле ничего антисемитского в себе не несет. Да, может быть, встречаются отдельные ев-

рейские чудаки, нарушающие этот общий закон, но это – «белые вороны», и погоды они не делают: исключение только подтверждает правило. Точно так же обстоит дело и с другими антисемитскими стереотипами, скажем: «евреи не воевали». (Так далеко, впрочем, А. И. в открытых своих рассуждениях на еврейскую тему тогда еще не заходил.)

Уже нимало не сомневаясь в том, что наш дорогой А. И., конечно же, самый что ни на есть настоящий антисемит, уже не пытаясь даже определить границу, отделяющую его «идеологический» антисемитизм от «нутряного», – над искренней репликой, вырвавшейся у Вероники, я все-таки задумался.

Если она, перед которой Исаич вряд ли стал бы таиться, искренне не считает его антисемитом, если даже сама мысль, что кто-то может так скверно о нем думать, приводит ее в негодование, так, может, и он сам, Александр Исаевич, тоже не лукавит? Может быть, он искренне верит, что в душе никакой он не антисемит?

Но неужели человек – и неглупый как будто человек – может так искренне заблуждаться на собственный счет?

Ответ на это мое недоумение пришел неожиданно. И исходил он от человека бесконечно от меня далекого, не больно мне симпатичного и даже, по правде сказать, откровенно мною презираемого. Это был довольно известный в то время поэт – Василий Федоров.

Когда-то, сто лет назад, мы с ним вместе учились в Литературном институте, так что в лицо друг друга знали (институт у нас был крошечный, и в лицо все знали всех). Но отношений никаких не было. Даже не здоровались. Я знал про него, что он автор «лирико-философской», как именовали ее критики, поэмы «Проданная Венера», в которой довольно убогим стихом доказывалось, что «Венера» Тициана, проданная Сталиным и Кагановичем за цену двух паровозов, была продана не зря, а во имя народного счастья. Не вызывала сомнений и принадлежность его к «патриотическому», то есть черносотенному крылу отечественной словесности.

И вот однажды этот самый Вася Федоров в Малеевке, войдя в столовую – сейчас уже не помню, то ли к обеду, то ли к ужину, – как обычно, пьяный в драбадан, прямо с порога громогласно провозгласил свое жизненное кредо. Без всякого повода, – видимо, мысленно продолжая какой-то разговор, а потому, как всем нам показалось, совершенно невпопад, но для него самого, наверно, очень логично – он объявил:

– Если ты уехал в Израиль – ты мой лучший друг! Но если ты остаешься здесь, – он погрозил кому-то пальцем, – ты мой злейший враг!

Притом, что высказано это было сильно заплетающимся языком и вроде как даже вполне бессвязно, это его кредо по проклятому еврейскому вопросу было им сформулировано с предельной, кристальной ясностью.

А для меня это был, как говорится, момент истины.

Вот так же, наверно, подумал я, мыслит и чувствует Александр Исаевич.

Езжайте себе в свой Израиль и живите там счастливо! От души желаю

вам всего самого лучшего. Но не суйтесь в наши русские дела! Не лезьте, как сказал Блок Чуковскому, своими грязными одесскими лапами в нашу петербургскую боль!

Вот поэтому-то, подумал я, он и не считает себя антисемитом. Он ведь искренне желает добра всем евреям, считающим себя евреями. Ну, а что касается тех из них, кто полагает себя русскими, – тут уж извините, подвиньтесь...

Придя к такому заключению, я был уверен, что теперь он мне открылся *весь, что после этого «момента истины»* вряд ли уже откроется мне в Александре Исаевиче еще что-то новое, чего я о нем не знаю.

И как же я был наивен!

8

Прочитав «Двести лет вместе», я подумал, что участвовать в обсуждении этого сочинения мне ни в коем случае не надо. Что тут обсуждать? Всё ясно. Охотников поучаствовать наверняка и без меня найдется немало. Ну, а как только я представил себе, сколько пошлостей будет высказано в неизбежной дискуссии – что с той, что с другой стороны, – тут меня и вовсе затошнило. (Теперь, задним числом, могу сказать, что тошнило не зря.)

В общем, я твердо решил на этот раз промолчать.

Но – не удержался.

Вот уже, наверно, лет десять я веду на «Радио России» рубрику, для которой – не сразу – подыскал название: «Новости прошлого». Два раза в месяц в этих своих, уже ставших постоянными радиобеседах я рассказываю о книгах, в которых открыл для себя нечто новое о нашем советском прошлом. Это – либо новые, тщательно скрываемые и лишь недавно ставшие известными факты. Либо – новое, только в наши дни ставшее возможным осмысление давно и хорошо известных фактов и обстоятельств.

Разговор о книге Солженицына «Двести лет вместе» в такой рубрике, вообще-то говоря, был неизбежен, и мое стремление такого разговора избежать сильно смахивало на поведение страуса. Ну, а уж коль я все-таки решился этот разговор начать, надо было сперва сказать о главном: о том, про что эта книга, и как я к этому – главному в ней – отношусь.

Начал я с признания, что по мере того как я терпеливо листал страницы этой книги, обещавшей стать сенсацией, интерес мой к этому новому сочинению классика угасал, а на смену ему приходили совсем другие чувства: грусть, горечь, стыд. Главным образом стыд. Стыдно было от сознания, что так низко уронил себя человек, которого вот уже сколько лет называют совестью нации, совестью России.

А потом я прочел знаменитое стихотворение Бориса Слуцкого – «Про евреев»:

Евреи хлеба не сеют.
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они – солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я всё это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»

Дочитав это стихотворение до конца, я сказал, что горькая ирония этих стихотворных строк, к сожалению, нисколько не устарела. А теперь вот даже обрела новое звучание, новую силу. Потому что всё это, звучавшее раньше из подворотен, шепотком, сквозь зубы, теперь сказано громко, вслух, и не кем-нибудь, а человеком, к голосу которого – по инерции – привыкли прислушиваться еще многие.

Из главы солженицынской книги о сталинских лагерях мы узнаем, что евреям и там было лучше, чем другим. А из военной главы – что евреи, если и воевали, то не так, как надо было бы им воевать. И не в первом эшелоне – больше военврачами, да замполитами, – не на передовой. И вообще – не своя, не кровная для них была эта война. Ссылаясь на свой личный опыт, Солженицын мимоходом даже роняет такую фразу:

> Я видел евреев на фронте. Знал среди них бесстрашных. Не хоронил ни одного.

Процитировав ее, я сказал, что готов поверить: может, так оно и было. Ну не случилось ему хоронить евреев. Что поделаешь?.. Но неспроста ведь тут эта фразочка. Получается – точь-в-точь как у Слуцкого:

И пуля меня миновала,
Чтоб знали: молва не лжива.
Евреев не убивало.
Все воротились живы.

Не буду перечислять ни приводившихся мною примеров, ни всех пришедших мне тогда на ум неопровержимых доказательств очевидного – и самого темного – солженицынского антисемитизма. Этого не стоит делать хотя бы потому, что и до и после меня обо всем этом – и с еще большей не-

опровержимостью, чем я, – сказали уже многие. Но главное тут даже не это соображение, а – другое, более простое: я ведь пишу здесь не про Солженицына, а про себя – про то, кем он был для меня и кем стал. Поэтому сразу перейду к выводу, к итогу тех нескольких моих радиобесед.

Заключая их, я привел слова Войновича из только что вышедшего тогда его антисолженицынского «Портрета на фоне мифа».

О книге Солженицына «Двести лет вместе» он в этом своем «портрете» подробно говорить не стал. Сказал только, что с избранной им темой – действительно очень больной и сложной – автор не справился, потому что ему для этого не хватило совести, ума, логики и таланта.

Сочувственно процитировав этот вывод и даже дав понять, что полностью к нему присоединяюсь, я сказал, что сам все-таки выразился бы несколько иначе.

На мой взгляд, сказал я, причина краха, постигшего автора этого двухтомного труда, в идеологии. В той самой национальной идее, которая владеет душой Александра Исаевича. Именно она, эта национальная идея, эта националистическая идеология подмяла под себя, подчинила себе, с потрохами съела и совесть его, и ум, и логику, и талант.

На этом как будто можно было бы поставить точку.

Но уже после того как все выводы были сделаны и все слова – самые нелицеприятные и даже жесткие – были сказаны, неожиданно явилось на свет до времени припрятанное, а тут вдруг всплывшее на поверхность еще одно солженицынское сочинение, прочитав которое я увидел, что в действительности дело обстояло даже еще хуже, чем я думал и чем об этом сказал.

Казалось бы, уж куда хуже? Хуже того, что уже было сказано, вроде и быть не может.

Но оказалось, что может.

Незадолго до выхода в свет первого тома «Двухсот лет вместе» некий Анатолий Сидорченко обнародовал раннюю работу Солженицына «Евреи в СССР и в будущей России». Опубликовал он ее в своей собственной – откровенно черносотенной – книге, как труд союзника и единомышленника. Сделал он это, разумеется, для того, чтобы укрепить свои антисемитские позиции авторитетом громкого солженицынского имени.

Когда первый том двухтомного солженицынского исследования появился в печати, Виктор Лошак – тогдашний главный редактор еженедельника «Московские новости» – взял у Солженицына интервью, в котором, между прочим, задал ему вопрос и об этой загадочной публикации. И задал его так, словно ответ на него был ему уже заранее известен. «Ваше авторство, – скорее в утвердительной, нежели вопросительной форме сказал он, – просто фальсифицируют!»

А. И., как и следовало ожидать, с этим утверждением согласился, но в какой-то неясной, я бы даже сказал, уклончивой форме:

> Это хулиганская выходка психически больного человека. В свою пакостную желтую книжицу он рядом с собственными «окололитературными» упражнениями влепил опус под моим именем. Ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля, что исключает какой бы то ни было комментарий, а от судебной ответственности этого субъекта спасает только инвалидность.

Понимать это можно было по-разному. «Влепил опус под моим именем» – значит, вроде, не его, а чей-то чужой опус. С другой стороны – «ситуация настолько вываливается за пределы цивилизованного поля», что он не считает для себя возможным даже входить в обсуждение этого вопроса. То есть, что означенный «опус» сочинил не он, а кто-то другой, впрямую так и не сказал.

Джинн, однако, уже был выпущен из бутылки. Многочисленные оппоненты и критики «Двухсот лет вместе» напропалую стали его цитировать. А тут еще первая жена Солженицына Наталья Решетовская сообщила, что работа такая Александром Исаевичем действительно была написана. И один ее экземпляр, оказавшийся у нее, она отдала на хранение в отдел секретных рукописей Пушкинского дома.

Оттуда ли он попал в руки Сидорченко и каким путем – дело совсем уже неясное. Но после этого заявления бывшей жены настаивать на прежней своей формулировке Александру Исаевичу было уже трудно. И в ответе своим оппонентам (*А. Солженицын.* Потёмщики света не ищут // Комсомольская правда. 2003. 22 окт.) обвинил одного из них в том, что тот

> ...смеет обсуждать воровскую публикацию – с ее сквозным хулиганским изгаженьем и грязной фальсификацией – выкраденных моих черновиков 40-летней давности.

Сквозь зубы, но все-таки признал, значит, что «опус» – не чужой, а его собственный. «Черновой», так сказать, вариант нынешнего капитального труда.

Что касается меня, то я, прочитав этот «опус», ни на секунду не усомнился в авторстве Александра Исаевича. И не только потому, что большие куски из этого своего «черновика» – лишь слегка их отредактировав, – он, не мудрствуя лукаво, включил в «беловик». Сама стилистика «опуса», все индивидуальные особенности мышления и слога его автора с несомненностью свидетельствовали, что автором этим мог быть только он – никто, кроме него.

Но если это так, если концепция «черновика» и «беловика» полностью совпадают, почему же тогда этот семидесятистраничный солженицынский

«опус» задел меня не в пример сильнее, чем двухтомник? Чем-то, значит, он от «беловика» все-таки отличается?

Отличается только одним: откровенностью. Почти полным отсутствием того, что нынче зовут «политкорректностью», с требованиями которой в нынешних обстоятельствах А. И. не мог не считаться. Ну, а если называть вещи своими именами – отсутствием того лицемерия, которым насквозь пронизаны оба тома «Двухсот лет вместе».

Вот как откровенно высказывает он в «черновике» свой взгляд на участие евреев в нашей большой войне:

> Вопрос: если евреев в нашей стране процента полтора (по переписи 1959 г. – 1,1%, но вероятно многие записались русскими), то эти полтора процента были ли выдержаны в Действующей армии? На тысячу фронтовиков приходилось ли 15 евреев? Сомневаюсь. И если даже да, то, ***как распределялись они*** между боевыми частями – и штабами, и вторыми эшелонами?..
>
> А среди забронированных от мобилизации? А в тыловых учреждениях? Там полтора процента были выдержаны? Думаю, что ой-ой-ой с какой лихвой! Но статистикой этой (как и всякой другой) никто у нас не занимался и не займется. Вот рассказ рязанской парикмахерши: «В 1 школу приехал к нам госпиталь из винницких врачей, ***все до одного евреи, и сестры тоже***. Наняли только русских: коменданта, сестру-хозяйку да меня. Но и нас выжили. Среди раненых был еврей-парикмахер, его вместо меня поставили».
>
> Этот рассказ – ***не доказательство***. Но – ***народное чувство наверняка***.
>
> А вся паническая многоэшелонная эвакуация 1941 года? Из евреев – наполовину или больше? Скажут: понятно, русским не угрожало уничтожение, а евреям угрожало; и те западные области особенно евреями и были населены. А все-таки: сколько там было евреев-мужчин с медицинскими справками или броней? И это *бесстыдное* безоглядное, опережая запрос, ***швыряние денег, которые вдруг у стольких евреев оказались пачками, пачками?***
>
> Народному чувству не прикажешь: осталось у русских, у украинцев, у белорусов ***тягостное ощущение, что евреи прятались за их спину...*** (Здесь и далее все выделения жирным шрифтом принадлежат Солженицыну. – *Б. С.*)

У меня этот рассказ рязанской парикмахерши вызвал особое недоверие, потому что мое военное детство (эвакуация) прошло рядом с Полоцким эвакогоспиталем, среди врачей и медсестер которого была одна-единственная еврейка – моя мама. Впрочем, я не исключаю, что «народное чувство» какой-нибудь местной парикмахерши всех «выковырянных», приехавших в уральский город Серов вместе с Полоцким госпиталем – и русских, и поляков, и украинцев, и белорусов, и мало ли кого еще, – воспринимало как евреев.

Что же до причин массового уклонения евреев от фронта, то здесь концепция Александра Исаевича как раз не совпадает с «народным чувством» – во всяком случае, с тем, которое отразил в своем стихотворении «Про евреев» Борис Слуцкий («Они солдаты плохие...»). Вопреки этому расхожему мне-

нию, А. И. считает, что евреи как раз солдаты очень хорошие. (Ведь доказали же они это у себя в Израиле.) Но – не расчет им был воевать за Россию:

> Но отклоняю свое сомнение! – пусть 1,5% были выдержаны безупречно. Однако эта война должна была быть для евреев особой, «газаватом»: не Россию предлагалось им защищать, но – скрестить оружие с самым, может быть, страшным врагом всей еврейской истории. Не мобилизации следовало ждать, но ***толпами добровольцев ломиться*** в военкоматы! Но освобожденным по болезни – «зайцами» цепляться к фронтовым эшелонам. (И одновременно – какая возможность возвыситься во мнении русских, укрепить свое положение в России!)
>
> Но – не видели мы такой картины. Того массового львиного порыва, как при защите Израиля от арабов – не было. Наверняка.
>
> Но враг – безусловный и страшнейший! Но выдающееся военное мужество евреев доказано шестидневной войной! Что же помешало?
>
> Какая причина?..
>
> ***Расслабляющий расчет: страна здесь – не наша***, кроме нас – много Иванов, им все равно воевать, они и за нас повоюют с Фрицами, а нам ***лучше сохранить*** свою выдающуюся по талантам нацию, и без того уже вырезанную Гитлером.

Это до такой степени противоречит всему моему опыту, что заведомую и очевидную чушь такого объяснения у меня даже и не возникла потребность опровергать. Тем более что картину, которую А. И. почему-то не случилось наблюдать (толпы еврейских мальчиков, добровольцами ломившихся в военкоматы), я видел и на примере своих старших братьев (двоюродных – родных у меня не было), и на многочисленных примерах близких друзей.

Может быть, это и не глубокое и даже не искреннее убеждение Александра Исаевича, а чисто умозрительная «рабочая гипотеза»? Не знаю, не берусь судить. Но в чем он, безусловно, искренен, так это – в реплике о «выдающейся по талантам нации».

В этой иронической фразочке у него *прорвалось чувство*.

Миф о пресловутой еврейской талантливости почему-то особенно его волнует. А в том, что это – именно миф, у него нет и тени сомнений:

> В литературе – ***повально талантливы*** – а где ***великие писатели?*** В музыке ***сплошь талантливы*** – а где ***великие композиторы?*** Для такого несравненного народа – достаточно ли в философии – одного Спинозы? В физике – Эйнштейна? В математике – Кантора? В психоанализе – Фрейда?

Пассаж этот совершенно замечателен. Но – не тем, что для подтверждения пресловутой еврейской талантливости ему недостаточно в музыке – Бизе, а в физике – Эйнштейна. (Таких, как Эйнштейн, кстати сказать, во всей мировой физической науке было – раз, два и обчелся: он да Ньютон.

Только эти двое изменили наше представление о Вселенной.) Не мыслью – неважно, верна она или абсурдна – поразил меня этот солженицынский абзац, а – опять! – *бурным выплеском чувства*, с необычайной силой искренности вырвавшимся в нем *личным отношением* к раздражающему его мифу о несравненной талантливости иудейского племени.

Многие историки сомневаются в том, что Сталин был антисемитом: предполагают, что антисемитизм для него был не более чем орудием в его сложной политической игре.

Даже про Гитлера рассказывают, что он будто бы однажды то ли сказал, то ли написал, что настоящим антисемитом он никогда не был: просто политическим гением своим понял, что зло должно быть персонифицировано, и лучшей персонификации мирового зла, чем евреи, ему не найти.

Не знаю, может, оно и так.

Но насчет Александра Исаевича у меня сомнений нет. Теперь я уже точно знаю, что его антисемитизм – самый что ни на есть настоящий, искренний, «нутряной».

Даже физический облик еврея вызывает у него омерзение. И, будучи натурой как-никак все-таки артистичной, художественной, он не может этого утаить:

> В лагерной баньке стояла ванна, украденная зэками со строительства, в ней мылось вольное начальство, теперь разрешили и единственному из заключенных – Бершадеру. Шумная бригада зэков, неожиданно запущенная, застала его там. Не помню более неприятной мужской наготы. Бершадер лежал в ванне, поджав ноги, и казался круглым жирным комом пудов на шесть. Как свисали у него жирные щеки со скул, так свисали дальше волосатые мешки грудей, и жирные мешки на ребрах, и волосатый огромный живот.

Наверно, этот лагерный кладовщик Бершадер и в самом деле был омерзителен. Но в самой этой его омерзительности Солженицын видит – и подчеркивает – именно еврейские черты:

> ...с хищным носом и взглядом, толстыми похотливыми губами...

А с какой нескрываемой, почти детской радостью вываливает на нас Александр Исаевич целую коллекцию собранных им высказываний о еврейской ущербности, духовной и творческой еврейской неодаренности. И уж совсем особенное удовольствие, особый, так сказать, кайф он получает, когда удается ему сыскать такие суждения, исходящие от самих евреев:

> Аполлоний Мелон, например, еще 2 тысячи лет назад упрекнул евреев, что ***они неспособны к самостоятельному творчеству, а всегда – подражатели.*** Отто Вейнингер, которого уж не обвинишь ни в личной, ни в национальной зависти, пишет: «Еврей беден тем внутренним бытием, из которого

только и может вытекать высшая творческая сила». «У еврея нет глубокого чувства природы. И потому он не понимает земельной собственности». «Еврей не хочет оставить трансцендентного, он не чувствует, что непостижимое придает цену существованию. Он хочет представить мир возможно плоским и обыкновенным». «Евреи с жаром ухватились за дарвинизм, за смехотворную теорию происхождения человека от обезьяны. Они обнаружили ***почти творческую*** способность в качестве основателей того экономического понимания человеческой истории, которая вовсе устраняет из нее – Дух». Он отмечает «подвижность» еврейского духа, великий талант к журнализму, расположение к сатире и лишенность юмора, высокую степень в образовании понятий (отсюда – юриспруденция). И – отсутствие *благочестия*, «лишающее его возможности воспламениться высшим восторгом». Нет чувства демиурга.

И другой еврейский автор, С. Лурье – в тон ему: недостаток евреев – «неумение воспламеняться стройной связью явлений и красотой форм в природе и искусстве... ***Эстетическая ограниченность... Отсутствие сердечного жара***».

(Может быть, это отчасти объяснит нам черты современного беспредметного искусства?)

Последнюю догадку А. И. высказывает уже от себя. И тут, вишь, евреи виноваты.

Высказав тьму таких вот догадок и соображений, Солженицын ставит, наконец, главный вопрос: как нам (то есть – русским) с ними (то есть – с евреями) быть?

Не сейчас, разумеется, а – завтра. Когда Россия станет свободной.

Трудность в том, что ***ни в ту, ни в другую*** сторону до конца сдвинуть этого вопроса нельзя: ***большинство евреев и не уедет в Израиль*** (когда отпадут нелепые, глупые нынешние ограничения) и не ассимилируются до конца (это для них – национальное самоубийство!) – они ***желают*** остаться непременно среди нас, но постоянно помня о своем двойном подданстве, двойной лояльности.

Говорят иногда: «да мы хотели бы забыть считать себя евреями, перестать отличать себя от русских». Это неискренне, это неправда. Они хотят считаться русскими, да, но главная боль и главная любовь у них будет все-таки – ***Израиль и «мировой еврейский народ»***.

Это желание евреев «остаться непременно среди нас» представляет – по Солженицыну – для России, для русских смертельную опасность. Не потому, что евреи сознательно хотят ей (России) зла, а потому что такова их природа. Иначе они не могут, – даже если бы хотели.

Ведь и без мирового центра, и, не сговариваясь нисколько, они отлично всегда понимали друг друга, действовали слаженно и однонаправленно.

Замкнутое множество со своей отдельной сердечной болью, со своим ощущением ***рода*** выше, чем индивидуальности, общееврейского возвышения выше, чем своего собственного – ведь они не по дурному умыслу, не по заговору против нас, они просто ***механически и физиологически*** никогда не смогут отказаться от предпочтительной тайной взаимовыручки, которая ***делает евреев как бы тайным обществом, подпольной партией.***

Выходит, хрен редьки не слаще. Есть ли мировой еврейский заговор и мировой еврейский центр, как сообщалось нам в «Протоколах сионских мудрецов», или нету такого центра и такого заговора – всё это не имеет никакого значения.

Нет, если вдуматься в эту солженицынскую мысль, дело обстоит даже еще хуже, чем если бы такой заговор существовал. Хрен, оказывается, не только не слаще, а горше редьки. Если бы дело шло о сознательном заговоре, я или, скажем, другой какой-нибудь русский еврей мог бы из этого тайного общества, из этой подпольной партии выйти, заявив о своем несогласии с ними. А тут у меня – по определению – такого выхода нет и быть не может, поскольку предполагается, что я не сознательно примкнул к заговорщикам, а – механически и физиологически, то есть сам того не желая, к ним принадлежу.

При таком понимании существа дела Солженицын уже не мог не предложить новой, будущей России свой план «окончательного решения еврейского вопроса». Не в мировом, правда, а только в российском масштабе.

В общих чертах план этот («на второй день будущей России») выглядит так:

1) свободный выезд в Израиль всем желающим;

2) для всех остающихся и заявляющих себя ***русскими евреями*** – полная религиозная свобода, культурная автономия (школы, газеты, журналы, театры). ***Ни в чем не мешать им ощущать себя нацией!*** Но в занятии высших государственных должностей – примерно те ограничения, что и сегодня;

3) а для тех, кто остается и заявляет себя ***не евреем***, и не двоеподданным, а искренне, без оглядки, ***по душе – русским***?

Вот такому человеку простая проверка: если наше русское внутреннее (и особенно – деревенское) разорение, бревна прогнившие, дороги искалеченные, и наша неученость, и запущенное воспитание, и развращенный дух ему ***больней***, чем отсутствие еврейских имен в государственном руководстве; если он испытывает истинное тяготение к русскому быту, к русским пространствам и русской боли – что ж тут возразишь? Исполать! Но этого всего не докажешь на московском паркете и на невских набережных – надо нырять самому в тот наш внутренний вакуум, может быть, и на северную глушь, и ***практической работой скольких-то лет доказать***, что верно, ты именно чувствуешь так. И тогда ты – *полный* гражданин этой новой России.

Слов нет, программа хороша. Но многое в ней все-таки остается неясным. Сколько все-таки лет должен будет промыкаться в северной глуши

этот бедолага-еврей, искренне считающий себя русским, чтобы стать полноправным российским гражданином? И кто это будет решать? Наверно, совет старейшин какой-нибудь?

И потом: а как быть с полукровками? С ними ведь тоже всё ох как не просто!

> Тут сразу вопрос: а дети от смешанных браков? (А смешанных браков все больше сейчас.) Очевидно и перед ними, перед каждым ляжет один из трех перебранных путей. Надо заметить, что дети от смешанных браков чаще бывают и ***по наружности больше евреи и по настроениям***. Я не раз наблюдал. Такая молодежь очень обижается на угнетение евреев и ***совершенно спокойна к попранию русского духа***. (Да что там! – русские жены целиком перенимают еврейскую точку зрения, и даже особенно ревностно)... К. И-в наполовину мусульманин (и от очень знатного отца), наполовину еврей – в момент ближневосточной войны безоговорочно был на стороне Израиля, а не мусульман.

«К. И-в» – это, наверно, Камил Икрамов, «знатный» отец которого (расстрелянный по бухаринскому процессу первый секретарь ЦК Узбекской ССР Акмаль Икрамов) был, кстати сказать, не мусульманин, а – коммунист. Но для А. И. он – мусульманин, а сам Камил – наполовину мусульманин, наполовину еврей. Никакой идейный отход от веры отцов не смоет, не соскребет с мусульманина его мусульманства, и уж тем более – с еврея его еврейства.

И даже в голову не пришло Александру Исаевичу, что во время той арабо-израильской войны толкнула Камила «болеть» за Израиль не еврейская его «половинка», а естественное чувство справедливости: весь стомиллионный арабский мир обрушился тогда на только что созданное после двухтысячелетнего еврейского рассеяния крохотное еврейское государство, и оно – устояло.

Ходил тогда по Москве такой анекдот. (Выдаваемый, конечно, за действительный случай.) Входит в автобус здоровенный, сильно поддатый мужик, медленно обводит глазами всех пассажиров. Наконец мутный взгляд его останавливается на маленьком щуплом еврее. Подойдя к нему вплотную и дыша прямо ему в лицо перегаром, алкаш грозно спрашивает:

– Еврей?

Еврей, вжав голову в плечи, испуганно молчит.

– Я т-тебя спрашиваю: еврей? – еще более грозно вопрошает алкаш.

– Ну, еврей, – в конце концов признается тот.

И тогда «старший брат», схватив руку бедолаги-еврея и радостно пожимая ее и тряся, возглашает:

– М-молодец!

Может быть, у этого русского парня из анекдота тоже была какая-то еврейская «половинка»? Или четвертинка? Или восьмушка?

Не стану врать: все эти, раньше тщательно Александром Исаевичем скрываемые и теперь вдруг открывшиеся мысли и чувства, сильно меня задели. И они, конечно, тоже немало способствовали тому, чтобы я снова – не в первый раз, но теперь уже навсегда – круто изменил свое к нему отношение.

Но главным толчком для этой перемены были все-таки не они – не сами по себе эти темные его мысли и чувства, о которых я узнал из этого его сочинения, а – как ни странно! – короткий, совсем крохотный, заключающий это сочинение абзац:

> Эта работа по своему языковому строю, да и по окончательности формулировок и сейчас, конечно, ***еще не вполне завершена***. Я положу ее на долгие годы. Надеюсь перед выпуском в свет еще поработать. Если же не судьба мне к ней прикоснуться до той минуты, когда приспеет ей пора – ***я прошу ее напечатать в этом виде и считать мои взгляды на вопрос именно такими.***
>
> Когда эта работа увидит свет – может быть очень нескоро, может быть после моей смерти, – ***я надеюсь, что русские не усмотрят в ней гибели нашей нации.***
>
> *1-я редакция – декабрь 1965 г.*
> *2-я редакция – декабрь-сентябрь 1968 г.*
> *Рождество-на-Истье.*

Приводившиеся мною многочисленные цитаты из этой его «работы», а также многие другие его высказывания, процитировать которые у меня не было возможности (пришлось бы переписать всю «работу» от первой до последней страницы), кое-что в Солженицыне, прежде нам не известное, конечно, прояснили. Но, строго говоря, всё, что всплыло в этом «черновике», есть и в главном, двухтомном, действительно капитальном его труде. Только там он все это обложил ватой, припудрил, причесал, переложил дипломатическими реверансами из репертуара кота Леопольда, уговаривавшего мышей жить дружно.

Так что, если что по-настоящему новое и выявилось после появления на свет Божий «черновика», так разве только – ложь и лицемерие всех этих его дипломатических реверансов: сам ведь – черным по белому, да еще нарочно выделив черным, чтобы заметнее было, – написал: «Прошу считать мои взгляды на вопрос именно такими».

По-настоящему же новым, действительно потрясшим меня, во всем этом его «черновике» для меня стал вот этот самый заключающий его абзац.

Ведь этот абзац – он что, собственно, значит?

Ведь это же – его духовное завещание! Главное из того, что хочет он сказать соотечественникам – пусть даже после своей смерти.

И особенно красноречивы тут – даты: 1965–1968. Это ведь те самые годы, когда он вступил на тропу войны с могущественной ядерной державой. Когда всерьез опасался, что его могут убить (и могли!). Когда закрадывалась

даже мысль, что «они» могут выкрасть, взять в заложники его детей (и к этому он тоже был готов!). И вот в это самое время одну из самых неотложных, главных своих жизненных задач – может быть, даже наиглавнейшую – он видит в том, чтобы написать и на годы вперед запрятать – для будущего, для новой, свободной России – этот МАНИФЕСТ РУССКОГО ФАШИЗМА!

Вот, оказывается, для чего Господь закалял этот свой меч! И вот зачем в те незапамятные времена автор «Теленка» молил своего Отца небесного, чтобы Тот не дал ему переломиться при ударах или выпасть из руки Его.

Сколько лет должно было пройти, пока мы, наконец, узнали, на какую такую «нечистую силу» этот меч был отточен и заговорён, чтобы «рубить ее и разгонять».

Недавно один журнал («Панорама») обратился ко мне с просьбой ответить на несколько вопросов. Первый вопрос этой журнальной анкеты был такой:

– Какие новые книги в последнее время Вам запомнились?

И я опять не удержался. Ответил так:

«Запомнились многие. Перечислять их не буду. Но об одной, которая не просто запомнилась, а больно задела и даже стала для меня тяжелым личным переживанием, скажу. Я имею в виду книгу А. Солженицына "Двести лет вместе".

Я давно уже разочаровался в идеологе Солженицыне и в Солженицыне-художнике. Но такого сгустка злобной глупости, фальши и прямой лжи, такого гнойника темных чувств и неправедных мыслей, какой скопил в своей душе и теперь выплеснул наружу этот наш классик, не ждал даже от него.

И дело тут не в антисемитизме. Во всяком случае, не только в нем. Со спокойным интересом читал я антисемитскую книгу В. Шульгина "Что нам в них не нравится". Люблю, постоянно читаю и перечитываю гениальную прозу Розанова.

Но насквозь лицемерная книга Солженицына – это другое.

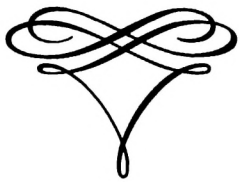
Постыдно заканчивает свою жизнь этот человек».

Этот ответ прочитал (в компьютере, еще до того, как я отдал его в журнал) мой сын. И сделал одно замечание: в последнюю фразу перед словом «жизнь», сказал он, надо бы вставить – «литературную».

Я согласился, что да, пожалуй, так будет правильнее. И вставил. И в журнале, наверно, так и будет напечатано. И я об этом не жалею – так оно и в самом деле корректнее.

Но наедине с собой я думаю и чувствую именно так, как это у меня написалось.

Постыдно заканчивает свою жизнь этот человек.



Григорий Бакланов

КУМИР*

Интересный разговор произошёл однажды между Солженицыным и Варламом Шаламовым. Они познакомились в редакции журнала «Новый мир», где была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», имя Солженицына гремело, слава его была ещё не всемирной, но уже всесоюзной, да и высшей властью он в ту пору был пригрет, выдвинут на Ленинскую премию, от которой, ненавидя Ленина, отказаться не стремился. И вот ему-то Шаламов отдал свои рассказы для передачи Твардовскому. В сущности, Шаламов повторил то, что до него сделал сам Солженицын. Ведь в «Новый мир» повесть «Один день Ивана Денисовича» не Солженицын принёс, ему помогли. Был разработан план: по договорённости с Копелевым, с которым Солженицын вместе сидел в шарашке, жена Копелева Раиса Орлова доверительно передала повесть своей близкой знакомой Асе Берзер. Анна Соломоновна Берзер не занимала большого положения в редакции, но Твардовский доверял ей. И вот, минуя отдел прозы, минуя Дементьева, первого заместителя главного редактора, который наверняка стал бы на пути рукописи (он ещё будет отговаривать Твардовского печатать её), Ася Берзер, прочтя, отдала повесть из рук в руки

* Избранные части из новой книги.

Григорий Бакланов – один из крупнейших прозаиков военного поколения (повести «Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли», «Июль 41 года» вошли в золотой фонд произведений о войне), с 1986 по 1994 год был главным редактором журнала «Знамя». В последние годы вышли книга повестей и рассказов «Мой генерал» и книга воспоминаний «Жизнь, подаренная дважды». Живет в России.

Твардовскому. Таким образом достигались две цели сразу: рукопись без задержки попадала к тому, кто решал, а на случай, если бы вдруг дознался КГБ, Солженицыну оставляли возможность отпереться: ничего, мол, я в редакцию не относил, ничего не видел, не слышал, ничего не знаю. Лагерный опыт: в повести «Один день Ивана Денисовича» рассказано, как зэки воруют на стройке рулон толя, чтобы заслонить от ветра проём окна: хватится охрана, мы ничего не знаем, ***так было***. Вот и Шаламов, обратился к недавнему сидельцу, к собрату: дело-то общее – рассказать миру о сталинских лагерях. Он только не догадывался, в простоте душевной, что Солженицыну совершенно не требовалось, чтобы в сильном прожекторном свете славы, уже направленном на него и только на него, появился ещё чей-то силуэт, пусть не рядом, пусть в отсвете, сбоку где-то, но – мученик, отсидевший 19 лет в самых страшных лагерях и в ссылке, да ещё талантливо об этом написавший.

Вот разговор, записанный Шаламовым (теперь это вместе с неотправленным письмом к Солженицыну опубликовано в книге «Воспоминания» – М.: АСТ, 2003):

«Для Америки, – быстро и наставительно говорил мой новый знакомый, – герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчёт [этого], потому ни один книгоиздатель американский не возьмёт ни одного переводного рассказа, где герой – атеист или просто скептик или сомневающийся.

– А Джефферсон, автор Декларации?

– Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло (каково Шаламову было слышать это оскорбительное: не прочёл, а ***просмотрел бегло.*** *– Г. Б.*) несколько ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим».

Прервёмся. Кант писал: «Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем вовлекать надежду на него ни в какие свои дела».

Продолжим. «Небольшие пальчики моего нового знакомого, – пишет Шаламов, – быстро перебирали машинописные страницы.

– Я даже удивлён, как это Вы… И не верить в Бога.

– У меня нет потребности в такой гипотезе, как и у Вольтера.

– Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.

– Тем более.

– Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, всё равно – эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе».

Потом они познакомились ближе, Солженицын даже пригласил Шаламова к себе в гости, в Солотчу, и оттуда, послушав и увидев его близко, Шаламов бежал на второй день, до завтрака, тайком. В дальнейшем, в тетради 1971 года Шаламов записывает: «Деятельность Солженицына – это деятельность дельца, направленная на узко личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности».

Возможно, в этих резких определениях есть доля личного. Но поразительна по прозрению и глубине мысль в неотправленном письме Солжени-

цыну, выделю её: ***«Я знаю точно – Пастернак был жертвой холодной войны, Вы – её орудие»***.

Книги Шаламова, его потрясающие «Колымские рассказы», разумеется, изданы в Америке, рекомендации не потребовалось.

Вышли в свет два тома Солженицына «Двести лет вместе». Как историческое исследование книга совершенно ничтожна и не заслуживает подробного разбора, да у меня на это и нет времени, тем более – желания. За две тысячи лет изгнания и рассеяния евреев написаны тонны книг, скрыто и открыто клеймящих «проклятую эту расу». Имена большинства авторов забыты, на некоторых так и осталось клеймо позора. Ну, прибавилась ещё одна книга, ещё один автор прославился несмываемо. Но вспомнились мне герценовские «Былое и думы». Время – царствование Николая I. Император повелел призывать в армию евреев, выдёргивать их из-за черты оседлости. Брали и 12–13-летних детей, хватали и восьмилетних и гнали этапом, и были это в основном дети бедноты, кто побогаче – откупался. Один такой этап встретил Герцен по дороге в Вятку, куда он был сослан. За чашкой чая в избе он спросил этапного офицера:

«– Кого и куда вы ведёте?

– И не спрашивайте, индо сердце надрывается; ну да про то знают першие, наше дело исполнять, не мы в ответе, а по-человеческому некрасиво.

– Да в чём дело-то?

– Видите, набрали ораву проклятых жиденят с восьми-девятилетнего возраста. Во флот, что ли, набирают – не знаю. Сначала было их велели гнать в Пермь. Да вышла перемена, гоним в Казань. Я их принял вёрст за сто; офицер, что сдавал, говорил: "Беда, да и только, треть осталась на дороге", – и офицер показал пальцем в землю. "Половина не дойдёт до назначения", – прибавил он.

– Повальные болезни, что ли? – спросил я, потрясённый до внутренности.

– Нет, не то, чтоб повальные, а так мрут, как мухи… ну, покашляет, покашляет и в Могилёв. И скажите, сделайте милость, что это им далось, что можно с ребятишками делать?

Я молчал.

– Вы когда выступаете?

– Да пора бы давно, дождь был уже больно силён… Эй ты, служба, вели-ка мелюзгу собрать!

Привели малюток и построили в правильный фронт; это было одно из самых ужасных зрелищ, которые я видал… Мальчики двенадцати, тринадцати лет ещё кой-как держались… но малютки восьми, десяти лет… Бледные, изнурённые, с испуганным видом, стояли они в неловких, толстых солдатских шинелях со стоячим воротником. Обращая какой-то беспомощный, жалостный взгляд на гарнизонных солдат, грубо ровнявших их; белые губы, синие круги под глазами – показывали лихорадку или озноб. И эти больные дети без уходу, баз ласки, обдуваемые ветром, который беспрепят-

ственно дует с Ледовитого моря, шли в могилу. И притом, заметьте, что их вёл добряк-офицер, которому явно жаль было детей».

Разумеется, такого свидетельства в «равновесном» историческом исследовании Солженицына мы не встретим, а встретим, например, статистические данные, процентное соотношение количества евреев в армии в 1903 и 1904 годах. В 1904 году ***их*** в армии стало меньше: началась война с Японией, не хотели, мол, идти на войну, защищать родину. И будто невдомёк исследователю, что 1904-му предшествовал страшный Кишинёвский погром 1903-го года. Но то, что непонятно, а верней, сознательно обойдено нашим историческим мыслителем, понимал, например, герой Первой мировой войны русский генерал Брусилов. В книге «Мои воспоминания», впервые полностью изданной у нас в 2001 году издательством РОССПЭН, Брусилов пишет: «Несколько слов также о еврейском вопросе в войсках. Думаю, что эти слова будут безусловно нелицеприятны, ибо у меня нет пристрастия к этому племени ни в хорошую ни в дурную сторону, а во время войны я их как воинов всесторонне изучил... Во время стояния на Буге, при объезде мною позиций, в одном из полков мне был представлен разведчик-еврей, как лучший не только в этом полку, но и во всей дивизии. Он находился в строю с начала кампании, доблестно участвовал во всех сражениях, три раза был ранен и быстро возвращался в строй без всякого понуждения, брался за самые рискованные и опасные разведки и прославился своей отвагой и смышлёностью. В награду получил 4 георгиевские медали и 3 георгиевских креста, заслужил также и георгиевский крест 1-й степени, но корпусной командир мне доложил, что ввиду запрещения производства евреев в подпрапорщики он не рискует представить его к этой высокой награде, так как она сопряжена с обязательным производством в подпрапорщики. Хотя по заслуженным им наградам этот разведчик давно должен был бы произведен в унтер-офицеры, но всё ещё состоял рядовым... Понятно, что я обнял и расцеловал его перед строем и тут же, хотя и незаконно, произвёл его прямо в подпрапорщики и навесил ему крест 1-й степени». Приводит Брусилов ещё и другой подобный пример, и хотя и пишет, что «большая часть евреев были солдаты посредственные», общий вывод боевого генерала таков: «Из этих двух примеров видно, что евреям, в сущности, не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой».

За двести лет, избранных Солженицыным, если верить ему, евреи-шинкари споили русский народ. Ну, а раньше на Руси не пили? Издав в 1700 году указ праздновать Новый год с 1 января, Пётр I предупреждал строго: «...пьянства и мордобоя не учреждать, на то есть другие дни». И дней этих было так много, что в 1648 году в Москве, а потом и в других городах вспыхнули кабацкие бунты, войска вызывали на подавление. А содержали кабаки православные люди, целовальники, никаких шинкарей тогда не было, они крест целовали на том, что, беря торговлю водкой на откуп, торговать будут честно, и вскоре треть населения была у них в долгу. Несли из домов последнее, под Москвой забросили огороды, переставали пахать

землю. Царь Алексей Михайлович вынужден был созвать в 1654 году собор, который так и назывался: собор о кабаках. И учредили: православным пить не больше 180 дней в году, чарками, и вместимость чарок была отмерена, а в остальные дни не пить. Но казна требовала денег, и через семь лет всё это забылось. А пьяные бюджеты советских лет?! А в наши дни, при Ельцине, когда церковь, став в один ряд с афганцами и спортсменами, добилась себе права беспошлинно ввозить в страну водку и табак, спаивать и травить зельем свою паству?!

Всё это Солженицын знает, невозможно представить себе, чтобы настолько не знал он историю России, но где умолчанием, а где и с возмущением горестным подплёскивает керосинцу в огонь нетленный. И метод избрал изощрённый: чужими руками. Выбирает из двух энциклопедий, из журнала «22», из прочей публицистики всё то плохое, что евреи сами про себя пишут, оставляя себе возможность вроде бы даже поразиться и укоризненно покачать головой – ай-ай-ай! – да комментариями соответствующими направить мысль читателя в нужное русло.

Если из великой русской классической литературы повыбрать нужные места, страшная составится картина. А тот же «Матрёнин двор», написанный Солженицыным, когда он ещё был художником. Или так, например: если бы «Пышку», где представлено всё французское общество в разрезе – аристократы, буржуазия, церковь святая в лице двух монашенок, а людьми-то среди них оказались на поверку только проститутка, судомойка да немецкий солдат-оккупант, если бы всё это написал не француз Мопассан, а, скажем, капитан Дрейфус, это бы пристегнули к его обвинительному заключению.

А ещё Солженицын любит цитировать выкрестов. Я имею в виду не тех, кого насильственно окрестили, и для верующих отступничество стало мукой на всю жизнь, а тех, кто продался, добровольно пошёл служить. Вот уж кто ненавидит свой народ, вот уж кто, зная по себе, способен вывороти наружу все его пороки! И ненависть эта понятна, иначе как же ты, предатель, очистишься? Вот и в эту войну самыми жестокими карателями были полицаи.

И всё же самое постыдное, что Солженицын оправдывает погромы: если, мол, разобраться беспристрастно, то жертвы сами вызвали на себя гнев народный. И высчитывает и выискивает по разным источникам, что не столько-то было убито и изнасиловано, как сообщалось, а меньше, вот столько-то, а при вот этом погроме вообще только одноглазому еврею выбили гирькой второй глаз. Всего лишь.

Человек, который в наши дни, после того, как фашистами был учинён вселенский погром, в ходе которого уничтожено полтора миллиона детей, способен после этого оправдывать толпу, жаждущую крови, идущую безнаказанно убивать и грабить тех, кто и защититься не может, такой человек – вне морали.

В ноябре прошлого года отмечали 40-летие с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». О редакторе «Нового мира», о Твардовском, а это он её напечатал,

не упоминалось, называли другие имена. Дело известное: у победы много отцов, поражение – сирота. Впрочем, в одной из газет всё же было сказано: 11 ноября Твардовский подписал в печать номер журнала. Как о техническом работнике: ему поручили, он подписал. Ещё 20 лет назад в интервью Би-Би-Си Солженицын говорил: «Совершенно ясно: если бы Твардовского не было как главного редактора журнала – нет, повесть эта не была бы напечатана». В этом же интервью он признавал, что и «Архипелаг ГУЛАГ» не был бы написан, если бы не появился и люди не прочли «Один день Ивана Денисовича»: «Он в моей биографии сыграл ту большую роль, что помог написать "Архипелаг". Из-за того, что я напечатал "Ивана Денисовича" – в короткие месяцы, пока меня ещё не начали гнать, сотни людей стали писать ко мне письма. А некоторые и приезжать и рассказывать ещё. И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя, – только благодаря "Ивану Денисовичу". Так что он стал как бы пьедесталом для "Архипелага ГУЛАГа"».

Но прошло ещё двадцать лет, и Твардовского в его судьбе как не бывало.

Итак, в общей сложности минуло 40 лет. Это значит, между прочим, что те, кому сейчас сорок, в ту пору только родились на свет. А те, кому пятьдесят, кто уже нет-нет да и о пенсии начинает подумывать, тем в ту пору было только десять лет. Не ими то время пережито, откуда им что знать? Но автор повести, который в дальнейшем стал за неё лауреатом Нобелевской премии, а в ту пору – никому ещё не известный писатель, он знает и помнит, как всё было, как в дальнейшем за эту повесть травили Твардовского, раньше срока свели в могилу. Но теперь, спустя ещё двадцать лет, Солженицын промолчал о Твардовском: его вспоминать, себя умалять. Зачем? И молчанием своим удостоверил всю эту ложь. А ведь именно он, Солженицын, говоря уродливым современным языком, бросил слоган: «Жить не по лжи».

Достоевский говорил: мы не прощаем не тех, кто нам причинил зло, кто перед нами виноват, мы не прощаем тех, перед кем мы виноваты. Вот их не прощаем. Да и вообще, долго носить в душе благодарность, делиться с кем-либо славою, обременительное это дело. Иван Денисович из одноимённой повести, не философствуя, а по своему голодному лагерному опыту рассуждал просто: «Брюхо-злодей добра не помнит».

И вот – повесть «Один день Ивана Денисовича». Твардовский прочитал её за ночь. И решил: голову положу, но напечатаю. Писатель, если это не ремесленник, а художник, не может не написать то, что в нём родилось и зреет и само просится на свет. Талант сильнее страха, он превозмогает. Да, бывали случаи, когда художник, поддавшись соблазнам, задавливал в себе своё дитя, и в нём погибал и художник и человек.

Твардовский был редактор, гражданин, но, прежде всего, он был художник. Он знал: ни руководство Союза писателей, ни в ЦК, ни на одном из этажей, где решалось всё и вся, его не поддержат. Скорей – утопят. Он на-

писал предисловие к повести, тем самым прикрывая её своим именем, и обратился к Хрущёву через его помощника Лебедева, постучался, как сам говорил, в те двери, которые менее всего для этого отверзаются.

Из дней нынешних, когда целый пласт истории забыт, всё это может показаться удивительным: а чего, собственно говоря, было опасаться? После доклада Хрущёва на XX съезде, после разоблачения «культа личности» такая повесть была Хрущёву как раз в масть. Но это – из дней нынешних, мы все умные и смелые потом. А на дворе был ещё только 62-й год, всего девять лет минуло со дня смерти Сталина, мёртвый ещё крепко держал в закостенелом кулаке души живых, а соратники его были расставлены повсюду, сидели на своих местах. Сегодня Хрущёв разоблачает «культ», а завтра, созвав, так называемую, творческую интеллигенцию, стучит кулаком по столу и, налившись кровью, кричит: во всём я ленинец, а в отношении к искусству – сталинец! Да что там говорить, когда свою речь на XX съезде Хрущёв не решился – или не дали ему – напечатать. А после XX съезда за шесть лет сложилась и окрепла оппозиция, уже время начало двигаться вспять. И вот в такую пору Твардовский, прикрыв собой, посылает ему повесть Солженицына.

В «Рабочих тетрадях» Твардовского, которые сейчас печатают, рассказано, как тянулись дни и месяцы ожидания, как вдруг позвонил на дачу Лебедев, сказал: повесть разрешена. И Твардовский кинулся к Марии Илларионовне, жене своей и сподвижнице, а она слышала весь разговор по другой трубке, и расцеловал её, не сдержав слёз. Дорогого стоит, когда человек способен радоваться за другого, как за самого себя. Но страшны люди, не ведающие благодарности. Особенно те, кто в мессианском своём сознании уверены: все живущие уже за одно то должны быть благодарны им, что осчастливились жить в одну с ними пору.

Помню, прочёл я в «Новом мире» повесть «Один день Ивана Денисовича» и был заворожён силой таланта. И тогда же написал о ней, это была первая рецензия в «Литературной газете». Потом мне это припомнят. А тогда встретил меня случайно Твардовский в Доме литераторов и говорит: конечно, рецензия ваша не сильна аналитическим анализом, но – спасибо. В дальнейшем, когда ветер переменился, и глава Союза писателей беспартийный Федин заколебался вместе с линией партии, Твардовский стыдил его несколькими фразами из той моей рецензии. Это есть в его собрании сочинений.

Повесть Солженицына буквально произвела взрыв в общественном сознании. Верней сказать так: общество созрело, ждало, и в этот-то момент она явилась. Но пока её хвалили у нас, и вслед за журналом срочно выпустили книгой, а ещё и в «Роман-газете» – тиражом в несколько миллионов экземпляров, за границей отнеслись к ней весьма сдержанно. Но вот согнали Хрущёва с поста, оставив под надзором заниматься огородом на отведённой ему даче, а во главе партии стал Брежнев. И развернулась травля Солженицына, травля «Нового мира» и, разумеется, Твардовского.

Финский издатель Ярль Хеллеман, он году в шестидесятом издавал мою повесть «Пядь земли», в дальнейшем мы подружились, так вот он рассказывал, как они первоначально издали «Один день Ивана Денисовича» пробным тиражом в 3 тысячи экземпляров, и половина этого тиража, не раскупленная, осталась лежать на складе: это для вас, говорил он, – новость, а у нас про всё, что здесь рассказано, давно известно. Но тут вы нам помогли: начался шум в газетах, и мы сразу переиздали её тиражом в 20 тысяч. И всё раскупили. То же самое рассказывал мне шведский издатель Пэр Гедин, он издавал две мои книги.

Наша пропаганда, бессильная в своей ярости, бессильная потому, что вылетел птенчик из гнезда – вышла в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», очень и очень наша пропаганда помогла Нобелевскому комитету совершить свой выбор. И это не впервые. Великого поэта Пастернака выставляли и раньше на Нобелевскую премию, но дали премию только после романа «Доктор Живаго», который у нас подвергся изничтожению. А выйди он спокойно книгой, ровным счётом ничего бы не сотряслось. Поэты вообще редко пишут хорошую прозу. Речь, конечно, не о Пушкине, не о Лермонтове. «Герой нашего времени» – это начало психологической русской прозы.

Твардовский умер от рака. Известнейший немецкий онколог и хирург Райк Хамер, обследовав более 20 тысяч больных разными формами рака, пришёл к выводу, что у всех этих людей незадолго до начала заболевания имел место какой-то сильный стресс, эмоциональный конфликт, который им не удалось разрешить.

Тем не менее, когда чета Солженицыных вернулась из Вермонтского поместья на родину, встреченная с величайшим энтузиазмом, раздалось вскоре из семьи: а что, собственно говоря, «Новый мир» сделал для Солженицына? Напечатал три рассказа. И то название одного из них пришлось изменить, потому что Твардовский не ладил с Кочетовым: назывался рассказ «На станции Кочетовка», а пришлось назвать «На станции Кречетовка». Выходит, ещё и пострадали. И это сказано было вслед уже ушедшему из жизни Твардовскому. Недавно младшая дочь Александра Трифоновича Оля сказала мне: «Я всё думаю: за кого отец взошел на костёр…»

Итак, прошло сорок лет с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», сыгравшая такую роль в судьбе Солженицына. Как художественное произведение это – лучшее из всего, что им создано. Да ещё, пожалуй, – написанный с натуры «Матрёнин двор». И опять сошлюсь на Достоевского, он писал: «Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной». В рассказе «Матрёнин двор» – правда действительная, в маленькой по размеру повести «Один день Ивана Денисовича» автор смог подняться до высоты правды художественной. И потому она останется. Конечно, останется «Архипелаг ГУЛАГ». Не вина автора, что сегодня у этой книги немного читателей, в ту пору, в пору хо-

лодной войны, она сыграла свою роль, да и написана сильно. Безразмерное «Красное колесо», главный труд его жизни? Рассказывают, вернувшись в Россию, автор, заявил: эта книга должна лежать у каждого на столе. Не знаю, насколько это достоверно, хотя самооценке и характеру автора соответствует. Но вот покойный ныне Владимир Максимов писал: это не просто провал, это сокрушительный провал. Я читал первый «узел», «Август четырнадцатого года», в рукописи, когда там ещё не было тех 300 страниц об убийстве Столыпина и обо всём, что с этим в его трактовке связано. И после «Ивана Денисовича», дышащего живой жизнью, показалось мне всё это натужным, очень литературным и просто скучным. Но когда в годы перестройки труд этот был у нас издан, я стал читать его заново. Нет, не художник писал это и не историк, а грозный судия, на каждой странице – перст указующий: быть посему! Истории отныне быть такой, как я начертал и всем вам знать предписываю. Впрочем, кто только не насиловал историю, кто ни пригибал её в свою сторону, по каким лекалам её ни кроили. И пока медленно продвигался я от «узла» к «узлу», всё мне бессмертный Гоголь нет-нет да и вспомнится: как въехал Чичиков в губернский город NN, и «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся более к экипажу, чем к сидевшему в нём. "Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" "Доедет", – отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" – "В Казань не доедет"»...

В недавней своей статье «Потёмщики света не ищут» (кто – потёмщики? кто – свет?) Солженицын писал озабоченно: «Но вот сейчас явно избранно: опорочить меня как личность, заляпать, растоптать само моё имя. (А с таимой надеждой – и саму будущую жизнь моих книг?)». О личности разговор ещё продолжится, а что касается книг... Ему ли не знать, что это невозможно. Весь пропагандистский аппарат второй сверхдержавы мира был брошен на то, чтобы растоптать маленькую его повесть «Один день Ивана Денисовича». И что, каков результат? И книга, и автор всемирно прославились, автор был удостоен Нобелевской премии. И сейчас, когда прошли десятилетия и времена переменились, книга жива, потому что она талантлива, она включена в школьные программы, наряду со многими запрещёнными при советской власти книгами. Разумеется, политическое значение её, эхо того взрыва отлетело, если бы сегодня постучались ею в дверь Нобелевского комитета, очень может быть, дверь приоткрылась бы на цепочку, не более: «Вам кого?» Будущая жизнь книг неподвластна ни «сверхусильному напору» *(выражение Солженицына)* авторов, ни суждениям современников, ни властителям, она во – власти Времени. И только Времени.

Роман «Раковый корпус» я читал в рукописи, т. е. напечатанный на пишущей машинке, на тонкой бумаге, через один интервал. Запрещённая рукопись, которую дают тебе на ночь, максимум – на две ночи, имеет особую силу притяжения. Но не скажу, чтобы «Раковый корпус» поразил меня, с

«Иваном Денисовичем» равнять его было нельзя. Но уже разворачивалась травля Солженицына, собралась секция прозы Московского отделения Союза писателей, я пришёл на заседание, назвал позором, что книгу эту не разрешают печатать, сказал Солженицыну (он сидел за маленьким столом президиума, я стоял рядом), что какие бы гонения ни ждали его впереди, ему ещё многие позавидуют. Хотел ещё что-то сказать, да забыл. «Говорите, говорите!» – попросил он.

В годы перестройки, будучи редактором журнала «Знамя», я хотел напечатать «Раковый корпус», вспомнив всё это, но Солженицын отдал его в «Новый мир» Залыгину, который в годы гонений подписал то палаческое письмо в «Правде» против него и Сахарова. Чем руководствовался автор романа, не знаю, возможно, обнаружилось родство душ.

И совсем по-другому читал я роман «В круге первом», произвёл он сильное впечатление. Но вот – перестройка, роман издан. Помню, пошёл я на почту, достаю журнал и не удержался, раскрыл, прочёл тут же первые строки: «Кружевные стрелки показывали пять минут пятого. В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной».

Да у Чехова – тень мельничного колеса, и блестит в ней осколок бутылки, вот и вся она зримо – лунная ночь. Классическая русская литература – прекрасная школа. И всё равно, как точно, кратко написан замирающий декабрьский день. Но чтоб не портить впечатления, закрыл журнал – прочту дома. И шёл-спешил. Но чудо не повторилось – чем дальше читал, тем больше поражался: да это же соцреализм, типичный по всем приёмам соцреализм, хотя содержание совершенно немыслимое для соцреализма. И вообще, возможен ли роман без женщины, без любви? Ах, какие женщины в русской литературе! Правда, что «есть женщины в русских селеньях». Не будем касаться Льва Толстого, это совсем другое измерение: Наташа Ростова, Анна Каренина, Элен Безухова… Но Аксинья, Дарья, Ильинична в «Тихом Доне» – в совершенно другую эпоху и в другой среде. А у Булгакова! Да что говорить… Впрочем, какие женщины, когда – «шарашка», когда корпус, где люди умирают от рака. Но у этих людей было прошлое, а на краю жизни ещё сильней, трагичней и ярче вспыхивает любовь, если автор наделён не только даром бытописателя, но и даром художественного воображения, даром сочинителя в самом высоком смысле этого слова. Фантазии Солженицын, к сожалению, лишён, если не касаться его так называемых исторических исследований, там фантазии через край. Роман – не его жанр, этого ему не дано. Итак, минуло сорок лет с тех пор, когда вышла повесть «Один день Ивана Денисовича». Возможно, автору казалось, что это – его начало, главная его книга впереди. А это была его вершина.

Года полтора спустя вышел из печати второй том «Двести лет вместе». Попробовал читать начало, прочёл главу о войне: основная, чуть завуалированная цель – доказать, что евреи если и воевали, то не на передовой, гуще ***их*** обреталось в тылу, а поскольку в народе сложилось убеждение, что основная масса евреев «взяла с бою Ташкент и Алма-Ату», то, назидает он

строго, к этому ***надо прислушаться***. Но убеждения, представления народов друг о друге не сами складываются, их внушают, и книга Солженицына из того разряда, задача её – внушить.

В фашистской Германии внушалось, что злостные виновники всех бед – евреи, и большинство населения это приняло, кто молча одобрял, а кто и с трибун: и погромы, и депортацию, и «окончательное решение еврейского вопроса». ***Надо прислушаться?*** А когда у нас шли процессы над «врагами народа» и тысячи тысяч наших сограждан под барабанный бой пропаганды выходили на демонстрации, неся плакаты: «Уничтожить гадину!» – и к этому ныне ***надо прислушаться?*** А когда брошен был лозунг уничтожить кулаков как класс, и по команде сверху односельчане как могли способствовали, по ходу дела разграбляя и присваивая чужое имущество, к этому мнению народному тоже ***надо прислушаться?*** И десять миллионов человек были высланы на погибель за Урал, на Север, в болота. И тоже лауреат – верней, будущий лауреат Нобелевской премии – Шолохов, освятил всё это истребление своей книгой «Поднятая целина», которую многие поколения покорно изучали и в школе, и в институтах. Повторяю, народы знают друг о друге в первую очередь то, что им внушают. Так было и две и три тысячи лет назад, так точно и сегодня, когда мир, казалось бы, распахнут для всех, кто хочет видеть и знать. Но всё же воевали евреи или, действительно, в основной своей массе «взяли с боя Ташкент и Алма-Ату»? Солженицын пишет: «Советский источник середины 70-х приводит данные о национальном составе двух стрелковых дивизий с 1 января 1943 по 1 января 1944 в соотнесении с долей каждой национальности в общем населении СССР в "старых" границах. В этих дивизиях на указанные даты евреи составляли соответственно – 1,50% и 1,28 % при доле в населении 1,78% (на 1939 г.)». Но если взять, например, национальный состав ополченческих дивизий, «в соответствии с долей каждой национальности в общем населении СССР», скажем, ополченческих дивизий Москвы, Ленинграда, то есть людей, не призванных в армию, а добровольно идущих на войну защищать свою родину, боюсь, Солженицына ждут здесь большие огорчения. Вообще же можно найти две стрелковые дивизии, где евреев было ещё меньше, чем 1,50% и 1,28%, можно найти две стрелковые дивизии, где евреев было значительно больше, можно найти стрелковые дивизии, где призванные из республик Средней Азии солдаты составляли едва ли не половину. Директор музея обороны «Сталинградская битва», военный историк Борис Усик утверждает, что в дивизиях, сражавшихся под Сталинградом, солдаты, призванные из Средней Азии и с Кавказа, составляли более половины. Да разве поверят в это, хоть архивные документы к глазам поднеси, поверят ли те, для кого среднеазиаты – «чурки»?

Солженицын признаёт, что по числу Героев Советского Союза евреи – на пятом месте после русских, украинцев, белорусов, татар. Следует добавить, что половина из них получила это звание посмертно. А если взять ко-

личество Героев Советского Союза на 10 тысяч населения, то евреи – на втором месте после русских. И абсолютное большинство евреев – Героев Советского Союза – это рядовые, сержанты и младшие офицеры (36 человек), главным образом – пехотинцы. А ещё – артиллеристы, миномётчики, танкисты, сапёры, лётчики, офицеры военно-морского флота, в том числе – подводники. Политработников – 12 человек. Это давно опубликовано вместе с портретами и краткой биографией каждого. Всего же призвано было на фронт, по данным Центрального архива министерства обороны, 434 тысячи евреев (а ещё и в партизанах, по разным оценкам, было до 25 тысяч). Погибло – 205 тысяч. То есть – почти половина. В тылу столько не погибает. Кто же эти, погибшие? В. Каджая в статье «Как воевали евреи: по Солженицыну и в действительности» (статья эта есть в интернете) приводит цифры: «Среди воинов-евреев, погибших и умерших от ран, 77,6% составляли рядовые солдаты и сержанты и 22,4 – младшие лейтенанты, лейтенанты и старшие лейтенанты». Тем не менее Солженицын пишет: «...осталось в массе славян тягостное ощущение, что *наши* евреи могли провести ту войну самоотверженней: что на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще».

Антисемитизм неискореним, тем более что для многих он выгоден: на этом строились и строятся карьеры, на этом создавались состояния. С тех пор, как 2000 лет назад римляне победили не покорившихся им иудеев и по дороге от Иерусалима до Рима распяли на крестах воинов-иудеев, а остальное население рассеялось по странам мира, не имея с тех пор своей родины, они, инородцы, повсюду стали виновниками всех бед, в том числе – и гнева природы, вечными козлами отпущения. А ещё и в том были виноваты, что очень часто без них дело не ладилось. Всё отвратительное, всё подлое, что антисемит знает в себе, он приписывает еврею, которого, может быть, никогда и не видел. Чтобы искоренить антисемитизм, нужны не десятилетия, не столетия, нужны тысячелетия. Да вот только отпущен ли людям такой срок? И что тут цифры, когда «осталось ощущение». И оно не только «осталось», у нас оно нагнеталось, это была сознательная послевоенная политика государства.

У моей первой повести о войне было посвящение: «Памяти братьев моих – Юрия Фридмана и Юрия Зелкинда, – павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне». Как же на меня давили в журнале, как вымогали, чтобы я снял посвящение: а то ведь получается, что евреи воевали. Я, разумеется, посвящение не снял. Тогда, в тайне от меня, уже в сверке, которую автору читать не давали, его вымарали. Прошли годы, и в книге я восстановил его. Вот этим достойным делом, абсолютно в русле сталинской политики, и занят сегодня Солженицын. Да, он признаёт, что «пропорция евреев – участников войны в целом соответствует средней по стране». Но тут же – другой счёт: среди генералов Красной Армии евреев, генералов медицинской службы – 26, ветеринарной службы – 9, в инженерных войсках служило 33 генерала-еврея. На этом счёт обрывается, прочтёт несведу-

щий человек, а таких сегодня у нас большинство, и убедится: ни артиллеристов, ни танкистов, ни лётчиков, ни общевойсковых генералов-евреев не было. И – вывод автора: «Но как бы неоспоримо важны и необходимы ни были все эти службы для общей победы, доживёт до неё не всякий. Пока же рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и ещё вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Рядовой фронтовик, оглядываясь с передовой себе за спину, не разглядел бы, где там, в обозе, а потом во втором эшелоне обретался Солженицын. Тем не менее пишет с обидой в статье «Потёмщики света не ищут», что кто-то из журналистов упрекнул его в том, что в добровольцы он не записался. «А я, – пишет он, – как раз-то и ходил в военкомат, и не раз добивался, – но мне как "ограниченно годному в военное время по здоровью велели ждать мобилизации"». Свежо предание, да верится с трудом. Хватило здоровья лагеря одолеть, до восьмидесяти пяти лет дожить, и только идти на войну, где могут убить, здоровья не хватало.

После позорной финской войны по приказу министра обороны Тимошенко гребли в армию всех, окончивших десятилетку. Мой старший брат Юра Фридман как раз окончил десятый класс, а в армию его не взяли: он почти не видел левым глазом. Но началась Отечественная война, и он, студент исторического факультета МГУ, пошёл в ополчение, в 8-ю московскую дивизию народного ополчения, был на фронте командиром орудия и погиб на подступах к Москве. Да разве он один. Тысячи, тысячи шли. Мой дядя, Макс Григорьевич Кантор, коммерческий директор одного из московских заводов (ему подавали машину, мало кому подавали машину до войны), уж он-то мог пересидеть войну в тылу, да и был уже в годах. Но он тоже пошёл в ополчение, служил санитаром в полку и погиб под Москвой. Я вот думаю: был ли от него на фронте какой-нибудь толк? Вряд ли. Но он поступил так, как повелевала совесть. Кто хотел идти на фронт, шёл. Но и дальше в этой статье Солженицын продолжает творить миф о себе: «Из тылового же конского обоза, куда меня тогда определили, я сверхусильным напором добился перевода в артиллерию». И всё-то – ***сверх*** применительно к себе: здесь – «сверхусильным напором», дальше увидим – «сверхчеловеческим решением». А что это была за артиллерия и на каком отдалении от передовой она располагалась, разговор впереди. Но для того, чтобы попасть на фронт, никакого сверхусильного напора не требовалось, могу свидетельствовать. После тяжёлого ранения, после полугода, проведенного в госпиталях – армейском, фронтовом, тыловом, – после многих хирургических операций, я был признан на комиссии негодным к строевой службе, инвалидом, или, как говорили тогда, комиссован. Но я вернулся в свой полк,

в свою батарею, в свой взвод и воевал в нем до конца войны. А вот находиться там, где находился Солженицын, для этого, действительно, требовались определённые качества и сверхусильный напор. Ведь он за всю войну ни разу не выстрелил по немцам, туда, где он был, пули не долетали. Так ты хоть других не попрекай. Нет, попрекает. В одной из своих статей стыдит покойного поэта Давида Самойлова (на фронте Давид Самойлов – пулемётчик второй номер), что тот недолго пробыл в пехоте, а после ранения – писарь и кто-то ещё при штабе. Но сам-то Солженицын и дня в пехоте не был, ни разу не ранен, хоть бы сопоставил, взглянул на себя со стороны, как он при этом выглядит. А выглядел он так: в книге Решетовской напечатана его «фронтовая» фотография: палатка, стол, стул и сам Солженицын стоит около палатки в длинной до щиколоток кавалерийской шинели с разрезом до хлястика, в каких обычно щеголяло высокое начальство. Можно верить и не верить тому, что первая, брошенная, жена пишет про него в этой книге, но фотография – это документ. Мог пехотный офицер или артиллерист (не говорю уж про солдата) стоять вот так в полный рост средь бела дня? В землянке или в окопе – до темноты. И оправлялся пехотинец в окопе, а потом подденет малой сапёрной лопаткой, да и выкинет наружу, рассчитав, чтоб ветром дуло не в его сторону. Да и что пехотинцу или артиллеристу делать в такой показушной шинели, когда он месит грязь по дорогам и бездорожью? Он полы короткой своей шинели и те подтыкал за пояс. А что подстелит под себя в окопе? Шинель. А под голову? Шинель. А укроется? Шинелью. А у этой, сквозь разрез, звёзды видать.

Не по статистике, по своему личному наблюдению, всё-таки почти всю войну я пробыл на фронте не пехотинцем, но с пехотой: там, в пехоте, у командира роты и ближе, в траншее, или на высотке, на переднем её скате, обращённом к противнику, там – место командира взвода управления, корректирующего огонь батареи, так вот, по моему наблюдению, евреев-пехотинцев в процентном отношении ко всему населению было меньше, чем русских. Не удивлюсь, если окажется, что и русских в процентном отношении к населению было в пехоте меньше, чем, скажем, узбеков, таджиков, киргизов, туркмен. Вот же, повторяю, пишет директор музея «Сталинградской битвы», что под Сталинградом солдаты из Средней Азии и с Кавказа составляли больше половины сражавшихся. А ведь немало из них и русского языка не знали, команды, в том числе – в атаку, передавали через переводчика. Таков был и результат. Не потери убитыми и ранеными, а – результат. В пехоту гнали в первую очередь крестьян. И не нация тут решала, а – уровень образования. Талантливых людей, самородков, скажем, в русской деревне было, возможно, не меньше, чем в городах, да вот уровень образования отличался. У немцев танкисты были, в основном, не крестьяне, а рабочие, наши «братья по классу». А у нас к концу 42-го года стали отзывать с фронта сталеваров, в тылу они были нужней, чем на фронте. Исследователь, если он действительно исследует, а не искажает историю, не может не понимать всего этого, не знать.

Теперь – о генералах. В книге английского историка Алана Кларка «План "Барбаросса"», изданной у нас в серии «Вторая мировая война», есть любопытный момент, приведу несколько цитат. Идёт наступление немцев на Москву. Ещё к сентябрю мы потеряли 18 тысяч танков, то есть почти все танки, а было их у нас столько же, сколько у немцев да ещё у всех стран Европы, вместе взятых в придачу. Потеряли 14 тысяч самолётов. Цитирую: «На этой стадии у Жукова оставалась только одна самостоятельная танковая часть, 4-я танковая бригада полковника Катукова… она оставалась единственной ударной группой между Окой и Мценском, в разрыве шириной почти 70 миль. Получив приказ повернуть вокруг Мценска и задержать наступление Гудериана на Тулу, 6 октября Катуков нанёс резкий удар по танковой дивизии противника, заставив её "пережить несколько трудных часов и понести тяжёлые потери"».

Итог: «От быстрого наступления на Тулу, которое мы планировали, пришлось отказаться». Это пишет Гудериан. А через пять дней, «вечером 11 октября, когда авангард 4-й танковой дивизии вступал в пылающий пригород Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за пределами радиосвязи, для Катукова настал момент нанести следующий удар… Русские стремительно и ожесточённо атаковали немецкую колонну, расчленив её на куски, которые подверглись систематическому уничтожению… 4-я танковая дивизия была фактически уничтожена, оборона Тулы получила ещё одну небольшую передышку». Дивизия, как известно, больше и мощней бригады. Катуков же, в дальнейшем – генерал и даже, если не ошибаюсь, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, – еврей. Я этого не знал до последнего времени, у нас, по известным причинам, это не афишировалось. Но вот недавно в Вене проходила выставка, поместившаяся в одной комнате еврейского музея. Называлась она «Заре навстречу». На стенах – портреты евреев Героев Советского Союза. Дважды Героев – трое, среди них – М. Катуков. (Газета «Труд», 17/V–2002 г.) А кавалерийским соединением, героически сражавшимся под Москвой, командовал и погиб под Москвой Лев Доватор, это и школьники знали в своё время. И дважды Герой Советского Союза генерал Смушкевич был не ветеринар, а лётчик. Его в июне 41 года из госпиталя на носилках увезли в тюрьму и в дальнейшем, 28-го октября, вместе с бывшим командующим нашей авиации Рычаговым, который перед войной посмел сказать Сталину, что наши лётчики летают на гробах, за что и был арестован, так вот их обоих и жену Рычагова, спортивную лётчицу-рекордсменку, и генерал-полковника Штерна, Героя Советского Союза, и ещё несколько генералов расстреляли под Куйбышевом. Немцы стояли под Москвой, но сталинская машина уничтожения торопилась уничтожить лучших, самых честных, смелых и преданных.

Я не знаю, сколько в нашей армии было генералов-евреев (впрочем, если много, опять есть повод сказать: вон ***их*** сколько взобралось посылать людей на смерть, а на передовой не видать ***их***), сколько было генералов-та-

тар, армян, никогда этим не интересовался, не делил людей по составу крови. Этим занимались фашисты, с ними шла война. Я даже и во взводе у себя меньше всего интересовался кто – кто, главным было, как он воюет. Вот сейчас постарался вспомнить по фамилиям, да ведь по фамилии, как мы видели, не всегда угадаешь национальность, и вот что получилось: большинство – русские, украинцев – двое, армянин – один, азербайджанец – один, татарин – один, еврей – один, грузин двое, оба из Мингрелии. Одного из них, командира отделения связи Джгунджгия, мы называли «патара камечио» (по-грузински, если точно запомнилось, это – «маленький буйвол»): был он крепкий на редкость, хотя и молодой по годам. Через много лет после войны он разыскал меня и пишет: «Здравствуй мой дорогой фронтовой однуполчану Фридману (Бакланов) Григори Яковлевычу. Из солнечной грузия города Зугдиде от Габриелу (Гаджи) малхазовичу Джгунджгия. Дорогой мой Любимий командир григори Яковлевичу, прошло – 41 лет, что я тебя не мог найти ни где, сколько встреча было по дивизий и бригаду 115-ой Запорожие было встреча 1981 году кому спросил никто мне не мог ответит, 1984 года было встреча г. Кривой Рог, тоже никто не мог сказать от тебе, а 1986 опят пригласила совета ветеранов Нашей бригады 9-го мая тоже спросил всем знакомие ребятам, и вачадзе Архипо дал мне твой Адрес, чут не сумасошол. Заплакал я от радостию, чтобы узнал я что вы жив, моей жизнь Лучшего радост такого ничего небыло, Григорий Яковлевич, меня было твой фото я его в кармане таскал и показывал всем нодо сегодняшнего дня 9-го мая 1986 года я не мог узнат от тебе дорогой Любими григори Яковлевичу, сорок лет прошло мы друг друга невыдали, и не знали… Прошу приехат камне гости Я приму как Радному ещо лучшее. Целую мой хорошие крепко вам и вашего уважаемого семи. Я приехал 10–05–86 года из Кривой Рога и пишу писмо как тебя узнала. Габриел М. Джгунджгия». У Солженицына грузины в лагерях чуть ли не поголовно – в расстрельных командах, расстреливали, приводили приговоры в исполнение. Ну а евреи – на этих и клеймо ставить негде. Зря, зря занялся он этой кровавой арифметикой, она и для его сынов небезопасна.

1-го декабря 1941 года, ночью, в «Волчьем логове», в одной из застольных бесед Гитлер говорил: «Мы не знаем, почему так заведено, что еврей губит народы. Может быть, природа создала его для того, чтобы он, оказывая губительное воздействие на другие народы, стимулировал их активность… Удивительно, что евреи-метисы во втором и третьем поколении зачастую снова вступают в брак с евреями, но природа всё равно в итоге отделяет вредоносное семя: в седьмом, восьмом, девятом поколениях еврейское начало уже никак не проявляется, и чистота крови, по-видимому, восстанавливается».

Сыновья Солженицына наполовину или на четверть, не это суть важно – евреи, жену свою, как писали, он сам крестил, вот такая незадача. Долго, долго ждать придётся, пока природа отделит в их потомках «вредоносное семя». Но для современных наших фашистов, внуков убитых на фронте солдат (дедов убили фашисты, а внуки празднуют день рождения Гитле-

ра!), четвертинки, половинки ничего не значат. Один из их вождей заявил недавно, это было процитировано в газете: жаль, жаль, что мы не пропустили немецкие армии до Камчатки, они бы всех евреев у нас уничтожили. Несомненно, победи Гитлер, он бы евреев уничтожил, как выискивали их и уничтожали фашисты по всей Европе и в наших оккупированных областях. Но смешно думать, что ради этого пошёл Гитлер на Советский Союз, на Россию, это бы решалось по ходу дела. Главным было: «Моя миссия уничтожить славян!» Он возглашал это и писал не единожды, и был разработан детальный план уничтожения славян, превращения славян в рабов немецких поселенцев, продуманы меры, в том числе – медицинские, которые должны были неминуемо привести к вырождению славянской нации. Документы эти и на Нюрнбергском процессе были представлены, об этом написано в сотнях книг на многих языках. Точно так же не для того он вёл войну с Великобританией, строил подводный флот, построил сверхмощный линкор «Бисмарк», который англичане тут же и потопили, не для того готовил высадку в Англию, чтобы уничтожить английских евреев. Не понимать этого, предпринимая «историческое исследование», может лишь тот, у кого неприязнь превыше разума. И Солженицын нет-нет да и подкидывает мыслишку: вас шли уничтожать, а вы не столько на фронте, сколько в тылу сгрудились, там вас было сгущено. Но, следуя его логике, действуя его методами, высчитывая постоянно в процентах, можно и так сказать и отдельной строкой выделить: евреи – единственная нация, в которой в ходе Отечественной войны не было предателей. Не было евреев-власовцев, не было евреев-полицаев, карателей. Так что же они святей и превыше всех? Нет, конечно, всё слишком понятно. Посмотрел немного главу о лагерях. Есть письмо Копелева Солженицыну от 1985 года, оно напечатано недавно в тринадцатом выпуске альманаха «Апрель». Печатать свою переписку с Солженицыным Копелев при жизни запретил. Вот абзац оттуда: «Особую, личную боль причинило мне признание о "Ветрове". («Ветров» – так Солженицын подписывал или должен был подписывать свои донесения, когда в лагере согласился стать стукачом. – *Г. Б.*) В лагерях и на шарашке я привык, что друзья, которых вербовал кум, немедленно рассказывали мне об этом. Мой такой рассказ ты даже использовал в "Круге". А ты скрывал от Мити (Дмитрий Панин, прообраз Сологдина «В круге первом». – *Г. Б.*) и от меня, скрывал ещё годы спустя. Разумеется, я возражал тем, кто, вслед за Якубовичем, утверждал, что, значит, ты и впрямь выполнял "ветровские" функции, иначе не попал бы из лагеря на шарашку. Но я с болью осознал, что наша дружба всегда была односторонней, что ты вообще никому не был другом, ни Мите, ни мне».

Наивный человек! В друзья записался… Да вы, как все прочие, – средство, взобравшись на пьедестал, подпираемый и подсаживаемый всеми добрыми людьми, не грех об них и ноги вытереть. «Моя душа чиста, – пишет о себе Солженицын все в той же статье "Потёмщики света не ищут". – Ни от моих односидчиков на шарашке (ни, кстати, и от Виткевича, там же си-

девшего), ни в Особлаге – я никогда не встречал обиды, упрёка или подозрения, но только полное доверие...» Упрекать человека в том, что, попав в сталинские лагеря, в этот ад кромешный, человек хотел выжить, врал, что в мирной жизни был врачом, парикмахером, кем угодно, лишь бы спастись, упрекать в этом бесчеловечно. Вот свидетельствует солагерник Бадаш: «В бригаде Панина ходил зэк-нормировщик, постоянно с папочкой нормативных справочников, – это был Саша Солженицын... В Степлаге, в Экибастузе, придурком был Дмитрий Панин, который пристроил прибывшего А. С. на должность нормировщика. К моменту нашей забастовки и голодовки зимой 1951/1952 года А. С. был уже на придурочной должности бригадира».

А вот и Солженицын сам пишет о себе (YMKA-PRESS, 1974): «Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь: за кого бы себя на этот раз выдать... Я при перегоне в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву – с порога же, прямо на вахте соврал, что я нормировщик... Младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун... исподлобным взглядом оценил... моё галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо моё с прямодышащей готовностью тянуть службу, задал пару вопросов о нормировании (мне казалось – я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов) – и уже с утра я за зону не вышел – значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня... не нормировщиком, нет, хватай выше! – "заведующим производством", то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров».

Повторяю, нельзя осуждать человека за то, что он спасал свою жизнь, если только не ценой жизни других. И спас, выжил, а не был уничтожен, как миллионы и миллионы, пригнанные на убой. И миру, в итоге, был явлен писатель большого таланта. Но вот – из «Двести лет вместе», из главы «В лагерях ГУЛАГа»: «Вскоре затем прислали и провинившегося в МАДИ Бершадера... Лет пятидесяти, низенький, жирный, с хищным взглядом, он обошёл и осмотрел нашу жилую зону снисходительно, как генерал из главного Управления. Старший надзиратель спросил его: "По специальности – кто?" – "Кладовщик". – "Такой специальности не бывает". – "А я – кладовщик". – "Всё равно за зону пойдёшь, в разнорабочую бригаду". Но... "так уверенно держался новичок, что чувствовалось: за ним сила. Угнетённый ходил и кладовщик зоны Севастьянов. Он два года заведовал тут слитным складом продовольствия и вещснабжения, прочно сидел, неплохо жил с начальством, но повеяло на него холодом: всё решено! Бершадер – "кладовщик по специальности"»!

Да уж не с себя ли это списано, так всё совпадает? «Низенький, жирный, с хищным взглядом» Бершадер, отвратительный во всех своих проявлениях, так и рвётся с языка – жид, и «прямодышащий», «с готовностью тянуть службу» (и согласился служить, дал подписку) Солженицын – «нормировщик по специальности», «...и уже с утра я за зону не вышел». Почему вдруг перед ним оробели? Почувствовали: «за ним сила»? И назначили «не нормировщиком, нет, хватай выше! – "заведующим производством", то

есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров». И тоже кого-то для него согнали с этой должности, кто до этих пор «прочно сидел, неплохо жил с начальством…» С чего бы вдруг? Звёзды ли на небе так расположились или звёзды на погонах чекистов?

Но сказано в «Архипелаге»: «Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее. Не кинь в него камень!» Это пишет грозный судия всех живущих Солженицын. Вот так на десятый день войны перетрусивший Сталин обратился к своему народу: «Братья и сестры…» А потом этих братьев и сестёр – в лагеря за свой позор. Однако, повторяю, не мне, не прошедшему лагерь, допросы, тюрьму, судить. Судить может Шаламов, он прошёл самые страшные лагеря, но там от должности бригадира отказался: быть бригадиром, писал он, означало посылать людей на смерть.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв рассказывал неоднократно и писал о том, как в лагере, на Соловках, он случайно узнал, что ночью отберут на расстрел такое-то количество заключённых, и среди них, в списке этом – его фамилия. И он спрятался в дровах, его не нашли, но цифра – закон, количество смертников было определено, и кого-то в эту ночь расстреляли вместо него. Это сопровождало его всю его жизнь.

С таким же чувством возвращались с войны и доживают свою жизнь многие фронтовики. За всех за нас проникновенно и точно сказано у Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Наблюдавшему войну издалека Солженицыну чувство это неведомо, если судить по его речам и книгам.

Вот тут самое время привести то, что «притекло», как любит выражаться Солженицын, из Брянска. А «притекло» оттуда вот что: статья Ольги Корнеевой, напечатанная в газете «Десница» 16 апреля 2003 года: «Десять лет Николая Дмитриевича». Там она цитирует Дмитрия Виткевича, сына школьного друга Солженицына. Газета малотиражная, но статья есть в интернет-сети, любой человек в любой стране, владеющий русским языком, может прочесть её. Вот что в этой статье говорит Виткевич: «Я не хочу, чтобы имя моего отца упоминалось рядом с именем Солженицына. В одной и той же ситуации они повели себя абсолютно по-разному, и вовсе не к чести последнего». И пересказано об их школьных годах: «Николай особенно подружился с одноклассниками Кириллом Симоняном и Сашей Солженицыным». В автобиографических записях Виткевича, которые цитировал его сын, сохранилась зарисовка, описывающая, как трое друзей подражали любимым героям Дюма. Есть в ней интересный момент. Роли рас-

пределял Симонян, но друзья сразу решили, что д'Артаньяном никто не будет. Так вот Симонян провозгласил: «Ты, Морж (такой была кличка Солженицына в школе), поскольку лицемер, будешь Арамисом. Кока (школьное прозвище Виткевича) станет Портосом, а я Атосом». В нескольких публикациях, где упоминается эта история, слово «лицемер» либо заменено на «хитрый», либо просто отсутствует. И далее в статье: «Фронтовая контрразведка арестовала Солженицына в феврале 1945-го. Виткевич дошёл до Берлина… 22 апреля Виткевича тоже арестовали. Перелистывая изъятые письма (имеется в виду переписка Солженицына–Виткевича), следователь откровенно сказал: "Здесь на 10 лет вполне". Позже он предъявил своему подследственному показания Солженицына, тот сообщал, что Виткевич не только входил в созданную им антисоветскую группу, но и с 1940 года систематически вёл антисоветскую агитацию, разрабатывал планы насильственного изменения политики партии и государства. Знакомый почерк не оставлял сомнений, это писал его лучший друг». Впрочем, Солженицын и сам признался, что вёл себя на следствии недостаточно стойко, есть ему, о чём сожалеть, хотя нет нигде ни слова о том, что к нему применяли какие-либо насильственные меры.

Но – не будем в это вникать. Что КГБ пытался опорочить его любыми методами – несомненно. Гораздо интересней, что пишет Солженицын в той же статье «Потемщики света не видят», в ней он решился ответить на все публикации последнего времени за границей и у нас, якобы порочащие его честь и достоинство: «В Архипелаге, и не только в нём, я не щадил себя, и все раскаяния, которые прошли через мою душу – все на бумаге… В этом ряду я не поколебался изложить историю, как вербовали меня в лагерные стукачи и присвоили кличку, хотя я ни разу этой кличкой не воспользовался и ни одного донесения никогда не подал. Я и нечестным считал об этом умолчать, а написать – интересным, имея в виду множественность подобных вербовок, даже и на воле». Но, тем не менее, умолчал, скрыл от тех, кто считались его друзьями, умалчивал до тех пор, пока КГБ не обнародовал. И вообще, что интересного писать о своём позоре? Не выдержал угроз – да, жизнь спасал – да, но – «интересно»?.. Позвольте усомниться. А то, что сам послал в американскую газету приписываемый – или якобы приписываемый ему – донос на солагерников, ну что ж, это вполне рассчитанный упреждающий ход, кстати говоря, выгодный одному из «жерновов» той холодной войны, которая велась. Однако главное – дальше: «Я цель имел во всей книге, во всех моих книгах показать: что можно из человека сделать. Показать, что линия между Добром и Злом постоянно перемещается по человеческому сердцу. В ЦК и КГБ не только этого уровня понимания нет и не было, но даже нет простого образумления». Нет, не из каждого человека можно сделать что угодно, уж это история человечества доказала. И в то же время, если смотреть не из дней нынешних, а оттуда, из времени страшного, борьба, которую вёл Солженицын с целым режимом, а режима этого, вооружённого ракетами и атомными бомбами, боялась половина мира, эта

борьба требовала не только точного расчёта, но и сердца твёрдого и беспощадного. И, возможно, во имя цели он, действительно, готов был пожертвовать даже своими детьми: его выслали из страны, а трое сынов его маленьких остались здесь вроде бы в заложниках, и он писал «...и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не оставим ни за что». Книга с заглавной буквы, так пишут о Библии, цель и самооценка – грандиозные.

Во время минувшей Отечественной войны немцы взяли в заложники детей одного из партизанских командиров, поставив условие: выйдет он из леса, сдастся, они освободят детей. И девочка, дочь его, с божеской мудростью написала отцу, сумела передать записку: папа, не выходи, они всё равно убьют и тебя и нас. И он не вышел. И детей убили. Скажу сразу: так поступить я бы не смог. Мне понятней и ближе Януш Корчак, который вместе с детьми вошёл в газовую камеру. Это были не его кровные дети, это были его ученики, он имел возможность спастись, ему предлагали, но он не мог оставить детей в час гибели. Это – по-человечески. А сверхчеловеческое оно же нередко и – нечеловеческое.

А теперь – о другом. Год 1991-й. В Москве – путч. Ростропович, всё бросив, написав только завещание, прилетел защищать Белый дом. Солженицын выжидал, чья возьмёт, не вернётся ли прошлое. Ну, хоть бы слово сказал. Он тогда был подобен легенде, слово его тогда много значило. Нет, постыдно отмолчался, живя в Америке. А решалась судьба России. Но он был занят куда более важным делом: «Красное колесо» писал.

А потом спущено было нам «Как нам обустроить Россию». С первого чтения, а особенно по прошествии времени само шло на память известное из «Войны и мира»: «Die erste Kolonne marshirt... die zweite Kolonne marshirt... die dritte Kolonne marshirt...» Но и войны, и жизнь куда сложней измышленных диспозиций и рескриптов и «посильных размышлений». Двое из трёх сыновей Солженицына пока что обустраивают свою жизнь в Америке, где Россия по-английски – Раша. Это не укор, ни в коей мере не попытка кого-то в чём-то упрекнуть. Каждый вправе выбирать, где ему жить, что больше по душе, где лучше востребованы его способности. Но с «посильными размышлениями» (а емкое слово «посильные»: в нём та скромность, которая паче гордости, язык не даёт соврать, обнажает суть) както всё это не вяжется, плохо сочетается: вот наставление, уверенно предпосланное целому народу, огромной стране, а вот она – реальная жизнь.

И ещё о жизни, как она есть, по лжи или не по лжи. О Солженицыне уже снято несколько документальных фильмов. Об одном из них в обзоре (в газете Союза кинематографистов «СК Новости», в октябрьском номере 2003 г.) написано: «Ещё более сложной была задача Сергея Мирошниченко в фильме "Александр Солженицын. Жизнь не по лжи". Картину начинал другой документалист, который не нашёл контакта с писателем, и Солженицын попросил Мирошниченко продолжать работу над проектом. Условия, та-

ким образом, с самого начала диктовал герой. Режиссёр, сознавая оказанную ему честь, масштаб личности писателя и ценность предстоящих съёмок для кинолетописи России, ничего не имел против, но задачей его было создать портрет героя, а не помочь тому написать автопортрет… "Вермонтский отшельник" в собственной стране выглядит отшельником, который живёт в замке за высокой оградой и встречается лишь с высокими гостями (при этом эпизод визита Путина тянет на документальную комедию, а роскошный приём по случаю свадьбы сына словно взят из фильма "Олигарх")».

В своё время, когда Солженицын ещё жил в Рязани и объезжал на велосипеде ближние российские просторы, он писал в одной «Крохотке» (называлась она «Озеро Сегден»), как наткнулся он на заповедную часть леса, куда заложены все дороги, куда «ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя». А живёт там (уточняю: дело происходило ещё при советской власти. – *Г. Б.*) «лютый князь, злодей косоглазый (непонятно только, почему – «косоглазый». – *Г. Б.*)… вон дача его, купальня его…» В мечтах ли это носилось, но писал, как оказалось, про себя будущего? Из рук проклинаемой им ельцинской власти – она Россию разорила – получил он, не побрезговав, поместье под Москвой, некогда принадлежавшее купцам Корзинкиным, потом – палачу Абакумову, а теперь он там, на просторе, и воздвиг вышеупомянутый «замок», и нет туда хода ни пешему, ни конному, ни велосипедисту, и «идти нельзя, и ползти нельзя». Вот такова она, «Жизнь не по лжи».

Еще задолго до юбилея в «Известиях», на двух полосах со многими фотографиями, появилась статья: «Сержант Соломин и капитан Солженицын». Спустя почти шесть десятков лет разыскали в Америке еврея, сержанта Соломина, он во время войны служил в звукобатарее, которой командовал Солженицын: потребовалось засвидетельствовать, что Солженицын благоволил к нему, посылал его в Ростов за своей женой, за Натальей Решетовской, по подложным документам привезти её на фронт, и он, Илюша, всё выполнил. Если статья с определённой целью организована, то приём очень уж стародавний: «Я антисемит? Да у меня вот друг – еврей!..»

О чём же свидетельствует сержант Соломин? Призванный в армию ещё до войны, воевавший с 41-го года, он после ранения попал в начале 43-го года в звукобатарею, которой командовал Солженицын. Но надо разъяснить, что такое была эта звукобатарея и где она находилась. По понятиям фронтовиков, находилась она в глубоком тылу. Соломин указывает: 1,5–2 километра от передовой. Нет, значительно дальше, сам Солженицын признаёт: 3 километра. Вот туда-то «сверхусильным напором» и переместился он из конского обоза. Обычно находилась она при штабе. «Это действительно тогда был очень несовершенный род войск. Координаты, которые мы давали, иногда совпадали, иногда нет, многое зависело от метеорологии, других вещей… Помню, мы ходили в штаб соседней пушечной бригады… Солженицын договаривался, что будет давать наши данные и им – по собственной инициативе. Я потом сам относил в штаб Ткаченко бумаги».

Словом, безвредный, но и совершенно бесполезный, сохранившийся с

довоенных времён род войск, который как-то надо было приставить к делу, вот и ходили предлагать свои услуги командиру бригады ***пешком***, т. е. пули тут не свистали. Я, например, командира нашей 115-й артиллерийской бригады полковника Борисенко не удостоился видеть на фронте ни разу: от нас до него было, как до Господа Бога, впервые увидел его после войны, в Болгарии, там мы тогда стояли. Командира полка нашего видел на фронте. Вдруг вызвали меня с плацдарма днём. Где – ползком, где – перебежками добрался до берега, на лодке переплыл Днестр, а уже на этой стороне – командный пункт командира дивизиона. И здесь же у него – командир полка, полковник Комардин, приехал с поверкой. Навёл он на цель перекрестие стереотрубы: «Рощу "Огурец" видишь? На опушке – немецкая батарея. Три снаряда, открывай огонь!» Была там, в роще «Огурец», или не было немецкой батареи, по моим данным, никакой батареи там не было, но третий снаряд лёг на опушку рощи. Дело это не такое уж сложное: был у меня пристрелянный репер, от него и выводишь снаряд на цель. Плюс – удача. И стало у меня на погонах вместо одной маленькой звёздочки – младший лейтенант – по две: лейтенант. И ещё видел его в Венгрии, зимой, на нас танки шли. А он бежал на пятую батарею, проваливался в снег, падал, снова бежал, грозил издали кулачищем, матерился: почему, мол, медлят открывать огонь… Смелый был мужик, полковник Комардин. Но это – так, к слову. А вот на прямой вопрос, где располагалась солженицынская звукобатарея: ***«Это был ближний тыл или фронт?»*** – Соломин отвечает:

«– В боях батарея участия не принимала, у нас была другая задача.

– Солженицыну выпадало в боях участвовать?

– Я же сказал – у нас были другие задачи. Я не помню, чтобы он непосредственно в боях участвовал, в бою пехота участвовала. А мы – только когда обстоятельства складывались. В окружении, например».

Об этом окружении, из которого Солженицын якобы вывел батарею, и сам он писал, и в прессе писали неоднократно. Послушаем рассказ Соломина, непосредственного участника события:

«В январе 45-го Второй Белорусский фронт сделал стремительный марш-бросок и у Балтийского моря отрезал крупную немецкую группировку, очень крупную. Эсэсовцы там оказались, бронетанковые части… Они перегруппировались и начали пробиваться. А цельная линия фронта ещё не успела сложиться, в результате звукобатарея попала в клещи. Александр Исаевич связался со штабом, просил разрешения отступить. Ответили – стоять насмерть. Тогда он принял решение: пока есть возможность – вывезти батарейную аппаратуру (это поручил мне), а самому остаться с людьми. Дал мне несколько человек, мы всё оборудование погрузили в грузовик. Прорывались среди глубоких, по пояс, снегов, помню, как лопатами разгребали проходы, как машину толкали… Добрались до деревни Гроссгерманафт, там был штаб дивизиона».

Здесь важна каждая подробность, а подробности точны. «Прорывались» сквозь глубокий снег, разгребали его лопатами. Но не из окружения проры-

вались: ни одного немца по дороге не встретили, никто в них не стрелял, ни в кого они не стреляли. В дальнейшем их построили в колонну (видимо, вместе с кем-то ещё) и отправили в штаб корпуса, то есть ещё дальше в тыл. И опять же никаких немцев на пути. Так было ли окружение? Но – дальше: «Добрались мы до штаба корпуса. И там у машины меня вдруг обнял человек высокого роста – я и не понял сразу, что это Александр Исаевич: "Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!"» Это каким же макаром? Солженицыну приказали «стоять насмерть», а он раньше других оказался в глубоком, по фронтовым понятиям, тылу, в штабе корпуса. Естественен вопрос интервьюера:

«– А он где был в это время?

– С личным составом. Мы расстались, когда они занимали круговую оборону. Но потом пришел приказ из штаба дивизиона – выходить из окружения. Как выпутались – не знаю, сам с ними не был. Но Солженицын ни одного человека не потерял, всех вывел».

Соломин вообще о своём командире батареи вспоминает доброжелательно, отмечает его учёность и т. д., но вот этой части рассказа можно верить, а можно и не верить, поскольку ***«не знаю, сам с ними не был»***.

Пробиться с боем из окружения, если это – окружение, не потеряв из батареи ни одного человека, практически невозможно. Целые армии наши оставались в плену, а сколько погибло, прорываясь, – не счесть. Так было ли окружение, повторю свой вопрос?

И что означал этот внезапный эмоциональный порыв, это объятие: «Илюша, я тебе по гроб жизни благодарен!» Фронтовое братство, не знавшее чинов? Но тот же Соломин на вопрос: «У Солженицына с солдатами какие были отношения?» – отвечает: «Я бы не сказал, что он плохо к солдатам относился. Просто Александр Исаевич себя держал так… на отдалении от всех».

Этот порыв у не склонного к эмоциям человека был не случаен. И тут я опять сошлюсь на собственный опыт. Город Секешфехервар в Венгрии мы брали и отдавали и снова брали, бои были очень тяжёлые. И вот по приказу наша батарея, понеся потери, выходила из города ночью, снарядов уже не было. И встретились нам артиллеристы, которых отправили обратно в город. Они оставили свои пушки, будто бы сняв с них замки, они спрашивали нас, где немцы, где немецкие танки? (Частично я написал об этом в повести «Южнее главного удара»). Командир полка приказал их комбату идти обратно и без пушек не возвращаться. По фронтовым законам командир полка мог отдать его под трибунал, но он отправил их туда, где остались их пушки. Они шли почти на верную смерть.

Если бы Соломин не вывез батарейную аппаратуру, то командира батареи, Солженицына, могли отправить под трибунал: сам вышел, а матчасть бросил. Вот отсюда – ***«по гроб жизни благодарен»***. Да что-то эта благодарность ни в одной из его книг до сих пор не прорезалась. Может, потому, что пришлось бы тогда и про себя всю правду рассказать?

Впрочем, есть свидетельство самого Солженицына: его повесть «Адлиг

Швенкиттен»: «о боях в Восточной Пруссии; о выводе моей батареи из окружения в ту ночь», – пишет Солженицын. Подзаголовок – «суточная повесть». Подавали бывало и в харчевнях и в ресторанах суточные щи, знатоки особенно ценили их. Но «суточная повесть»... Это, видимо, какой-то новый литературный жанр, проще сказать – литературная разблюдовка. Ну, да хоть горшком назови... А написана повесть так слабо, так примитивно (но не без изысков: «рыгнуло орудие»), что поверить невозможно, что это писал тот же человек, который когда-то написал «Матрёнин двор». Впрочем, ничего неестественного тут нет. Ещё Голсуорси отмечал: с годами чернила в чернильнице густеют. Этому подвержены многие писатели, исключая, разумеется, гениев. Лев Толстой под конец жизни, уже решив твёрдо не писать «художественное», всё же не смог удержаться, написал повесть «Хаджи Мурат», которой в этом году исполняется столетие. Надо полагать, столетие отмечать не будут: она сегодня ещё более злободневна, чем в ту пору, когда он её создавал. Но у нас не про Толстого речь, совсем не про Толстого: масштабы иные. А для начатого разговора важно не то, что повесть написана примитивно, а то, что написана она не из боя, не непосредственным участником, это сразу чувствуется, а с достаточно большого отдаления от места действия. Потому так всё и не зримо. И никакая звукобатарея там и близко не присутствует, ничего про неё нет. Но вот в списке представленных к награде, который приведен в конце повести, «звуковик», т. е. командир звуковой батареи, тут как тут. «За успешный же вывод батареи из окружения 27 января 1945 года в Пруссии я был представлен и к ордену Красного Знамени, как ещё несколько наших бригадных офицеров – но 9 февраля настиг меня арест – и меня успели вычеркнуть из наградного списка», – пишет он в той же статье «Потёмщики света не видят». Это пишет восьмидесятипятилетний человек, отмеченный всеми мыслимыми знаками отличия, пишет, что за своё присутствие на войне он что-то ещё недополучил...

Соломин случайно оказался свидетелем его ареста: «"Капитан Солженицын? Вы нам нужны". Он к ним подошёл. Дальше какой-то короткий тихий разговор, и потом: "Проедемте на КП бригады". Выходят. Я следом. Во дворе "эмка". Садятся, уезжают. Не знаю, что меня толкнуло, но я почему-то сразу понял: это – СМЕРШ и дело политическое. Побежал к батарейной грузовой машине – знал, что там, в кузове, лежит чёрный снарядный ящик, в котором Солженицын держал свои записи и книги. Ящик схватил, отнёс в лес и содержимое стал быстро перекладывать в свой вещмешок. Вещмешок был со мной всё время, после войны я всё, что тогда спрятал, отдал Наташе».

Ну, знаете, на это не каждый бы решился, СМЕРШ витал над нами, как смерть чёрная, он и учреждён был Сталиным для того, чтобы свои боялись своих больше, чем врага. «Илюша тогда, по сути, спас Исаича. Он успел спрятать (или частично уничтожить) личные записи, книги, в том числе и трофейные, которые Исаич из любопытства подбирал. Если бы это попало в руки следователя, ещё вопрос, как бы всё повернулось». Это свидетельствует двоюродная сестра его первой жены Натальи Решетовской, которой

Соломин отдал после войны вынесенные им и сбережённые бумаги. Бумаги сберёг, себя не уберёг: вслед за своим командиром угодил туда же, в ГУЛАГ.

Естественно, что интервьюер спросил Соломина: ***«В одной книге про вас пишут, что вы были ординарцем Солженицына».***

«– Ординарцем я не был, характер неподходящий. Ординарцем у Солженицына был Захаров, из Ташкента. Он Исаичу и лейтенанту Овсянникову готовил».

Тут только руками разведёшь: с удобствами пребывал на фронте капитан Солженицын. Жену привезли: «Вы же поймите: война, – оправдывает его Соломин, – мужчины четыре года женщин не видят...» Что ели солдаты, он, «отец-командир», не ел, ему ординарец отдельно готовил. Это насколько же надо не считать за людей вверенных тебе солдат, чтобы брезговать есть то, что они едят. А ведь среди них были Иваны Денисовичи, не в книге, в жизни. И они всё это видели, знали. И не стыдно. «Просто Александр Исаевич держал себя на отдалении от всех».

Соломин воевал с первых дней, дважды ранен, брат убит на фронте, мать, отца, сестрёнку немцы уничтожили в Минске, как уничтожали всех евреев. Солженицын призван в армию (повторим: не сам добровольцем пошёл защищать родину, военкомат призвал исполнить долг мужчины и гражданина) аж в октябре 41-го года. Немцы уже подходили к Москве, судьба России решалась, он продолжал преподавать детям математику в школе, в глубоком тылу. И когда под Сталинградом шли бои – там, по нынешним подсчётам, погибло у нас более двух с половиной миллионов человек, – он всё ещё был в тылу, в обозе, во втором или даже в третьем эшелоне. И вот этот человек судит, кто воевал, кто не воевал.

Ну, да хватит. Каюсь: и я поначалу помогал творить из него кумира, хотя, разумеется, главный творец он сам. Я уже и тогда кое о чём начинал догадываться, но гнал, гнал от себя дурные мысли. У Твардовского есть в «Рабочих тетрадях» про то, что я и другую сторону этого человека видел, мы с ним о многом говорили откровенно. Но талант и человеческие качества вовсе не всегда в одном сосуде, и великие в обыденной жизни бывали далеко не ангелы. Если б только об этом речь! Никогда в период гонений я не сказал и не подписал ни единого слова против Солженицына, а вымогали это различными способами. Нет у меня и теперь намерения «опорочить его как личность». Да и никто не способен это сделать так, как делал на протяжении лет и сделал он сам: литература – опасный род занятий, пишешь про кого-то, а сам ты виден на просвет. Интересное совпадение, между прочим: у человека, призвавшего жить не по лжи, в самом корне фамилии – ЛЖЕ. СоЛЖЕницын.

Впрочем, всё это уже – прошлое. Холодная война, будем надеяться, кончилась. Устарело в значительной степени и её орудие.

Борис Хазанов

ЗАПАХ ЗВЕЗД*

Предисловие, написанное сорок лет спустя

Я решаюсь публиковать эту повесть, относящуюся к первым временам моей литературной работы, хорошо понимая, что её тема не вызовет интереса у сегодняшних читателей в России. Кому охота ворошить прошлое. Вопрос, однако, в том, удалось ли это прошлое отменить. «Запах звёзд» не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит задачу разоблачить кого-либо или что-либо. Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притязает на то, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить – если кто-то вообще о ней помнит, – что она была и сплыла. Жизни, о которой всем хотелось бы думать как о более или менее случайном, преходящем эпизоде национальной истории.

Я не хочу здесь касаться вопроса, в какой мере лагерный образ жизни отвечал традициям государства, где классическое крепостное право было отменено всего лишь 140 лет тому назад, чтобы возродиться при советской власти либо в форме колхозного строя, либо в той форме, о которой здесь идёт речь. На ум приходит фраза Толстого о том, что солдат, раненный в деле, думает, будто проиграна вся кампания. Человек, отведавший лагеря, скажут мне, уверен, что это и есть самое главное в жизни народа. Лагерный фольклор зафиксировал эту иллюзию, там го-

* Повесть в первоначальной редакции была опубликована в сборнике под тем же названием, «Запах звёзд», в Израиле в 1977 г. тиражом 150 экз.

Борис Хазанов (литературный псевдоним Г. М. Файбусовича) – прозаик, эссеист, автор десятков книг. Живет в Германии.

товы были считать, что на воле никого уже не осталось. И всё же я думаю, что лагерь представляет собой ядро истории минувшего века. Лагерная цивилизация, какой бы архаичной она ни выглядела, как бы сильно ни напоминала не только времена Грозного или Петра, но чуть ли не Египет фараонов – в такой же степени продолжение традиций, как и принадлежность модерна.

Эта цивилизация не могла бы достичь такого размаха и совершенства в иных географических условиях. Обширность России, её воронкообразная, засасывающая география, словно созданная для того, чтобы превратить наше отечество в обетованную землю принудительного труда, позволили, сохраняя тайну, свозить в лагеря, эшелон за эшелоном, на протяжении полувека, десятки миллионов людей. Само собой, к ним нужно добавить и колоссальный аппарат сыска, и многоступенчатую бюрократию, и охрану. В итоге труд заключённых преобразил страну, воздвиг города и прорыл каналы, проложил железные дороги и создал целые отрасли промышленности; концлагеря размножились повсеместно, а не только в отдалённых районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока; лагерь, как кромка леса на горизонте, стоял везде, маячил немой угрозой, и можно было бы сказать, пользуясь юнгианской терминологией, что архетип лагеря остался неистребимым в коллективном бессознательном народа. Этим и объясняется настойчивое желание не дать ему вновь ожить в сознании.

Однако мы отвлеклись. Ведь никому из сидевших тогда, начисто забытых, наглухо засекреченных и как бы вовсе не существовавших, в голову не приходило, что они находятся на переднем крае национальной истории. Лагерь был новейшей модификацией подземного царства, а в аду, как известно, очень скучно.

Борис Хазанов
Париж, 12 июня 2004

Поезд, идущий на северо-восток, замедлил ход, приближаясь к полустанку, а через минуту уже мелькал в остекленевших глазах вышедшего дежурного и гремел на переезде мимо стрелочницы, которая стояла, выставив перед животом скатанный грязно-желтый флажок. Оба, каждый со своего поста, глядели вслед уменьшающимся красным огням, глохнувшим в белой мгле. Здесь, на полустанке, их разделяла служебная дистанция, не менее реальная, чем расстояние между сторожкой возле шлагбаума, поднимавшегося раз пять-шесть в году, не чаще, и «вокзалом», где дежурный пил чай и слушал унылый стук ходиков; а для мелькнувшего мимо поезда это было все равно что расстояние в несколько миллиметров, и люди на полустанке были для него мгновенными ничтожными мелочами, которые машинист едва успел заметить, словно жикнувших перед глазами мух. Даже на больших станциях поезд, идущий на северо-восток, не задерживался, не стоял ни минуты, а постукивал равномерно на стыках в отдалении от перрона, мелькал там, сзади, в просветах между вагонами застрявших товарняков, и вот уже гудок его, протяжный и затихающий, тускнел вдали, и дым расходился в небе; он шел подряд несколько суток, днем

и ночью, и с тех пор, как начал свой путь, останавливался, кажется, только один раз, чтобы пополнить убывающие запасы угля и воды. И на разъездах поезд не стоял, не ждал, а шел и шел вперед. Сперва ехали через пустынные поля, словно плыли по широкой снежной реке, разлившейся до самого горизонта, и казалось, что поезд вовсе не движется, а стоит на месте, грохоча колесами; кромка леса на дальнем берегу тянулась, стояла перед глазами с рассвета и дотемна; но потом она стала расти, приближаться. Присмотревшись, можно было различить бегущие деревья, стук колес как будто усилился; хоровод деревьев, сцепившись ветвями, побежал назад, в обратную сторону, а позади него другой хоровод понесся вперед наперегонки с поездом. Он шел, загибаясь по узкой насыпи, и с обеих сторон стоял густой лес.

То был поистине целый мир – особенный, чудотворный: каким восторгом, какой нежностью могла бы наполниться душа при виде сих монашеских елей, толпой сходящих к оврагам, и золотистых сосен на пригорках по колено в снегу; дым клубами окутывал их, но, когда он рассеялся, сосны стояли такие же, как прежде, – строгие, радостные, качая верхушками, и времени, казалось, вовсе для них не существовало: и татарская власть, и раскольники, и французы – все было для них одновременно, или, лучше сказать, никогда не было. В ясную погоду снег на опушке блестел так, что глазам было больно, и все-таки тянуло глядеть на него, и хотелось схватить его в охапку, зарыться в него лицом – такой он был свежий и чистый и дышал какой-то древней юностью. Тени сосен в ясный день были голубые и легкие, а к вечеру тяжелели и становились лиловыми; пунктиром пересекали их синие крестики чьих-то следов. В пасмурную же погоду небо над соснами было мутно-молочным, все кругом казалось теснее и ближе и расплывчатее, и снег был не голубого, а белого цвета, как белье, которое забыли подсинить. В сумерках белое небо опускалось на снег, и сиреневая мгла все разбалтывала в сплошную кашу. Но понемногу мутная темень рассеивалась, ночь стекленела, становилась прозрачной, как будто протирали запотевшие черные окна, мороз крепчал, зеленоватое сияние поднималось над снегами. Вдруг из чащи раздавался крик птицы, не злой, не зловещий, просто от избытка сил, наливающихся во сне, снег сыпался неслышно с веток, что-то происходило, завершалось, кристалл ночи становился чище, ярче, совершеннее, высоко в пустом небе горели, переливаясь, звезды. Утром из пелены далеких туч, сопя и тараща заспанные глаза, выбиралось косматое солнце, и винно-розовая заря бежала по рельсам, а с другого конца, на темном, аспидно-сером западе появлялся в разрубе тайги белый дымок, дальний гудок возникал как бы из небытия. Поезд мчался мимо всех лесных событий, ему не было до них никакого дела.

Поезд шел вперед; рельсы, как предначертания судьбы, указывали ему единственный путь – на северо-восток. Города, грязные станции, деревни – все осталось позади. За пустынными равнинами открывались другие, еще шире и пустыннее, за лесами начинались другие леса, гуще прежних. Огромная это была страна, огромная и прекрасная, несмотря на кажущуюся свою несуразность. И, мнилось, не будет ей конца. Но мало-помалу, незаметно и неощути-

мо поезд, который сначала полз по белой равнине, как сороконожка по скатерти, а потом юркнул в тайгу, унося за собой белый дымок, приблизился к иным меридианам и, в конце концов, оказался совсем в другой стране. Он вполз в нее, и никто этого не заметил, даже если бы ждал, когда появится пограничный столб: не было никаких столбов, эта страна была совершенно такая же, как и та, оставшаяся, так что нельзя было понять, где она, собственно, начинается; разве случайно можно было наткнуться на нее, как на дредноут в игре «морской бой», ибо она была невидима, – и все-таки это была совсем другая, особая и непохожая на нашу страна.

Поезд шел в страну, о которой, конечно, все знали, что она существует. Знали, но делали вид, что не подозревают о ней. Молчаливый заговор окружил тайной все, что имело отношение к этой стране, и не требовалось даже специальными постановлениями запрещать упоминать о ней. Ее не было – и точка. Поезд шел в страну, куда никогда и ни за какие деньги не продавали билетов, которая не была нанесена на карты, не упоминалась в справочниках и которую не проходили по географии в школе. Да и вряд ли кому-нибудь захотелось бы повидать ее по своей воле, а уж если кому было суждено туда ехать, тот назад из этой страны не возвращался, как не возвращаются никогда из Страны Мертвых. И о ней старались не думать, забыть, как стараются не думать о кладбище, где лежит столько народа.

Всякий намек на нее был нестерпим, и мысль об этой стране леденила ужасом; появившись неведомо откуда, била под коленки и хватала за горло, и тогда каждый был согласен сделать все, что ни потребуют, отдать добро, предать друзей, отречься от близких, лишь бы отвели от него этот перст. И все же догадывались, что живет там не горстка людей, не сотни и не тысяча, и даже не сто тысяч, а так много, что страшно было представить – все равно что собрать разом всех умерших, хотя бы только за десять лет. Но если мертвых покойников помнят или, во всяком случае, делают вид, что помнят, то этих никто не вспоминал, самая память о них представлялась как бы заразной: их забывали молниеносно, выскабливали из памяти их имена в ту самую минуту, когда эти люди исчезали, а если кто и помнил, то притворялся, будто забыл. И если бы вдруг случилось землетрясение или океанская волна внезапно бы поглотила нашу Атлантиду, то историки, собирая реликты некоего пропавшего народа, не узнали бы, что внутри древнего захлебнувшегося государства существовало еще одно – секретное.

Никто в точности не знал, что именно происходит в стране на северо-востоке. Никому не известно было, какая там погода, идет ли дождь, светит ли солнце и сколько там дней в году, да и считают ли там годы – никто не знал. Поезд особого назначения, следующий по секретному маршруту, шел, торопился из страны живых т у д а, минуя разъезды и пункты контроля, оставляя позади города, станции, проносясь с грохотом мимо безлюдных полустанков и закрытых шлагбаумов. Поезд шел вперед, и белый дым, отдуваемый ветром, стлался за ним и бесследно таял в холодном небе.

И только одно становилось мало-помалу понятным для того, кто еще осме-

ливался размышлять о тайной стране и ее обитателях: что труд, который был объявлен делом чести и доблести и который называли почетным долгом те, кто им никогда не занимался, труд, о котором рассказывали басни, будто он облагораживает человека, есть в действительности то, чем он и был всегда, – проклятье, которое подстерегает каждого, словно дурная болезнь. Что вся сложная система правосудия есть на самом деле машина для насильственного комплектования рабочей силы; что, одним словом, всегда нужен кто-то, кто вскакивал бы в пять часов утра и топал в лес в мороз и дождь и спиливал бы огромные деревья, обрубал сучья, кряжевал хлысты, наваливал, вез, тонул в снегу или в болоте, палкой и криками подгонял выбившуюся из сил лошадь, сваливал, укатывал, воздвигал штабеля, грузил лесом составы или гнил бы заживо в шахтах, в котлованах, в подземных заводах, на урановых рудниках и мало ли еще где. Всегда нужно, чтобы кто-нибудь рыл землю, возил тачки, толкал вагонетки, своими ногтями выкапывал каналы и на своих костях прокладывал бы железные дороги; и если этого не делаешь ты, то, значит, за тебя должен делать другой, и выходит, что любое другое занятие, кроме «грубого физического труда», – это просто хитрая уловка, увиливание, дезертирство.

Не так уж много требовалось ума, чтобы понять это; а непонятливых учила жизнь. Потому что главный урок, который она преподносила, да так наглядно, словно конфетку на ладони, главный урок – скажем это, забегая вперед, – был урок неверия, не какого-то отдельного неверия, а неверия вообще, и в нем-то и заключалась причина таинственности, которою была окружена жизнь в стране на северо-востоке: ибо, освобождая людей от бремени имущества, притащенного в мешках, деревянных сундучках или чемоданах, от теплых шинелей со споротыми погонами, от фасонистых городских пальто, уже подпорченных в тюремной дезкамере, от валенок, еще пахнущих домом и волей, от вязаных носков, последних в жизни, потому что скоро и самое слово это забывалось, исчезало из лексикона, как исчезали, став ненужными, сотни других слов, – словом, от всех шмоток и всего вообще, что у них еще оставалось и что частью выманивали у них обманом, частью отнимали силой, а чаще просто уворовывали и потом без конца проигрывали и выигрывали в карты, – освобождая от всего с в о е г о, кроме собственной многострадальной шкуры, своего тощего потроха, да еще казенной телогрейки, да трухлявых штанов, жизнь в лагере освобождала и еще от кое-чего, именно, от веры, от в е р ы, которая отныне становилась синонимом глупости. Урок жизни, начатый предательством друзей, соседей, однополчан, кого угодно, но только без предательства тут не обходилось, и продолжающийся в таежных лесах страны, о коей речь, в ее синих снегах, так что из приготовительного класса переходишь мало-помалу в старший класс, а оттуда в университет, все продолжающийся. И этот урок отменял все заученное прежде, в других школах и университетах, и все дипломы, полученные там, становились ни к чему, словно листки от календаря давно прошедшего года, словно облигации безвыигрышного займа, освобождал от всего бесполезного и лишнего. Лишней оказывалась вера.

Оказалось – и это было то, что роднило всех, к каким бы нациям, классам,

поколениям они ни принадлежали раньше, до того, как они провалились в люк на глазах у перепуганных родственников и остолбеневших соседей, подняв облако пыли и словно превратившись в эту пыль, – то, что теперь объединяло и роднило их и слило их всех в одну нацию и одно поколение, поколение одураченных, вернее сказать, одурачивших самих себя, – оказалось, что все, что им твердили с детства и что они заучивали чуть ли не с пеленок, повторяли сначала по буквам, потом целыми фразами, а потом уже чесали наизусть целые страницы, – все было ложью и чепухой от начала и до конца, фантомом, липой, мыльным пузырем, и, догадавшись, что их разыграли, они стояли теперь, скребя в затылках и недоумевая, куда же подевался хрустальный дворец, выстроенный джинном за одну ночь. Религии у них тоже не было, потому что Бога отобрали у них еще раньше, уверив, что Бог выдуман помогать поработителям обирать и обманывать народ, но оказалось, что без Бога так же тошно, как и с Ним. Поработители исчезли, а порабощенные остались, и, пробудившись от веры, как от смутного сна, мучительно зевая и озираясь и стыдясь глядеть друг другу в глаза, они поняли мало-помалу, что никакого джинна не было, да и ничего вообще не было, и что все они – безымянное потерянное стадо, плетущееся неведомо куда.

Ночью поезд остановился. Те, кто были в нем, могли догадаться, что снаружи ночь, по щелям задраенных люков, откуда только что к ним сочилось смутное белесое небо, а теперь вагон словно накрыли попоной. Четвертые сутки они слушали ритмичный грохот под полом, похожий на тиканье башенных часов, если бы их поднесли к самому уху; четвертые сутки – а может, и десятые, никто не знал – пол катился под ними куда-то под гору, и бледный свет трижды сочился из щелей, и вот поезд снова въехал в ночь и так и остался в ночи. Они услышали протяжный гудок, железные часы под полом пошли медленнее, раздался скрежет – они качнулись, но пол под ними все катился; вдруг опять они пошатнулись, что-то взвизгнуло, и стихло. Внутри них нарастал, становился ощутимым напряженный до предела звон. Они стояли, насторожив уши, широко раскрыв глаза, ничего не видя, и ждали, когда поезд снова тронется, но он не трогался и не давал предупредительного гудка. Далеко впереди – или позади? – слышалось пыхтение паровоза: пху, пху, пху; потом шипенье пара: ч ш - ш - ш ... ч - ч - ч - ч ! – как вдруг они заметили, что пыхтящий звук стал удаляться, а вагон отцепился, остался в кромешной тьме; они часто дышали, и ничего больше не было слышно, кроме этого дыхания. Вдруг чьи-то шаги прошли совсем рядом, внизу, скрипя по снегу, – прошли и ушли, и снова стало тихо.

Прошло, как им казалось, несколько часов, прежде чем скрип валенок снова приблизился, стали слышны голоса, сиплый мат, кого-то звали, кто-то кашлял и сплевывал. Между тем глаза их, вращаясь в потемках, как потухшие прожекторы, начали прозревать, в щелках задраенных люков забрезжил свет, какая-то мечта о свете, но не свет неба, ведь до утра было далеко, а, скорее, желтоватый, мерцающий, как свеча, и они начали успокаиваться, тревога их улеглась: за стеной были люди, про них не забыли и, по-видимому, не собирались тушить огонь и уходить. Что-то тупо и тяжело ткнулось в стену там, где –

они помнили – была дверь, и они услышали шаги, взошедшие на помост; замок заскрежетал совсем рядом, под ухом. И они поняли, что их сейчас выпустят, и, волнуясь, стали толкаться и переминаться с ноги на ногу.

Там, снаружи, человек в ушанке, в ватной стеганой телогрейке и валенках, поставив у ног фонарь, вынимал из кольца огромный замок, опускал тяжелую перекладину. Внизу ждали остальные, их было человек пять. Густой лес по обе стороны полотна, темное небо; впереди мертво светятся огоньки водокачки; сцепщик идет не торопясь вдоль поезда, мелькает за колесами его фонарь; паровоз ушел к водокачке. В стылом воздухе слышался кашляющий лай собак. Что ж, и в самом деле эта новая страна ничем не отличалась на вид от той, минувшей, откуда только что прибыл поезд.

Те, внутри, запертые наглухо, напряженно ждали. Сомнений не было: это люди здесь, рядом; слышно их тяжелое дыхание. Сейчас их выпустят. Слышно, как переговариваются, переругиваются; шуршат валенки. «Раз-два, взяли!» Вот сейчас откроется дверь. «Е-ще... взяли!»

Дверь поддалась, поехала, визжа заржавленным роликом; люди расступились. Тотчас, не дожидаясь, когда дверь уйдет до конца, из темноты стали высовываться, обдавая паром суетящихся людей на помосте. Мешала перекладина изнутри. Вытащили ее. И, стуча копытами, теснясь и толкаясь и скользя по обледенелому помосту, лошади – живые души, продрогшие, истомленные бесконечной дорогой и ожиданием, робкие и обрадованные, стали выбираться на морозный, пахнущий шпалами и тайгой, чужой и неприютный и все же бесконечно милый Божий свет. Люди, стоявшие внизу, торопясь, считали их.

(Впереди, в голове поезда, тоже шла напряженная работа: солдаты, подняв фонарь, пересчитывали торопливо вылезших с мешками и чемоданами людей.)

Проваливаясь в снегу всеми четырьмя ногами, храпя и вскидывая головы, лошади сгрудились у подножья насыпи, перед заснеженными мостками: должно быть, летом тут был овражек, если вообще когда-нибудь здесь бывало лето. (Но и сейчас они чуяли запах ржавой воды там, глубоко на дне оврага.) Сверху, с насыпи, было видно, как конюх, стоявший перед мостками, закуривал, намотав на руку недоуздок, и лошадиная морда моталась в испуге и вырывала руку с коробком; наконец он сунул спички в штаны, примерился, упираясь руками, и прыгнул, пал плашмя поперек шарахнувшейся лошади, – в эту минуту он был похож на куклу, набитую опилками, – и уселся верхом.

Старший конюх и другие стояли на насыпи.

«Все, что ли», – сказал старший. Оставалось задвинуть дверь пульмана и сбросить помост.

Впереди раздался свисток, чей-то протяжный голос донесся издалека – человек с фонарем стоял у передних вагонов и что-то кричал им. Конюх на помосте, державший наготове замок, напряг было голос, чтобы ответить; в эту минуту внутри вагона раздался стук; все обернулись.

«Мама родная», – пробормотал парень с замком и попятился. Недоруганный мат, как слюна, повис на его губах. Глаза всех уставились в черную пустоту вагона.

Словно увидев перед собой какое-то чудище, манекен, бутафорское чудо-юдо, соединившее разом мощь и немощь, ошарашенные, остолбеневшие, они почти со страхом смотрели на длинные, костлявые ноги в потрескавшихся копытах, которые даже не вышли, а как-то выехали из квадратной пасти пульмана – и медленно, как только позволяли ему достоинство и остаток сил, гигантский конь сошел, как с пьедестала, величаво ступая по дощатому помосту, но у самой земли поскользнулся и, гремя копытами, едва не сел на круп.

Звук столкнувшихся буферов прокатился вдоль поезда, паровоз давал пронзительные свистки. Все лошади стояли, выстроившись гуськом и ожидая команды. В хвосте очереди, подобный белому привидению высился диковинный конь. Старший конюх, водя пальцем, пересчитывал их всех для верности и отправился оформлять документы; он прошел мимо товарных вагонов и других, уже опустевших. Возле станции было безлюдно, но снег под фонарями был сплошь истоптан и изъеден ноздреватыми ямками от мочи. Собачий лай заглох в лесу. Итак, они прибыли.

Наконец-то! В стойле громадный конь не сразу принялся за корм – сено из брикетов, довольно приличное, – не накинулся с жадностью на еду, что было бы естественно при его худобе и что не замедлили сделать другие, так что вся темная конюшня мгновенно наполнилась аппетитным и дружным хрупаньем, а долго принюхивался и присматривался: не видно было ни зги, люди исчезали, и сквозь прорезь под потолком к нему не проникало никакого света; он захватил губами несколько былинок и, мотнув головой, принялся неторопливо перетирать их своими плоскими, стертыми до десен зубами.

Он все еще находился во власти необычайных впечатлений дороги и переживал их, как будто зловещий поезд все еще грохотал под ним стальными колесами; и вот они остановились, умолкли, и вместе со всеми он ждал, когда откроется вагон, и выходил, скользя по обледенелому помосту и шагал по изрытой дороге в лес, загородивший полнеба. Он шел так долго, что начал спотыкаться. Поднимая глаза, он видел впереди равнодушно покачивающиеся, как бы неживые фигуры верховых. Мигнул огонек. Замигало сразу несколько огней. Они плыли поперек дороги, огибая чащу, исчезая и появляясь. Вдруг луч, белый и слепящий, как меч с раздвоенным острием, проткнул ему глаза. Луч бил, разрезая лес, как струя брандспойта. Всадники во главе колонны, все так же качаясь, ушли с головой в слепящий свет, обрисовались в нем, позади них осветились спины идущих одна за другой лошадей. Потом процессия свернула вбок, и чудовище отпустило их, раскаленный добела глаз уставился в сторону – на кого?

Уже все вокруг было тихо, хрупанье смолкло, а он все переминался с ноги на ногу, озирался и нюхал воздух, пытаясь сообразить, что там, за стеной. Запахи были необычны, противоречивы. Вступая в новую жизнь – в который раз за долгие свои годы, – он волновался и от волнения не мог уснуть. Ему чудились шаги, чьи-то возгласы... Понемногу дремота стала одолевать старого коня. Он заснул, отставив заднюю ногу, смежив веки, как бы застыл в глубокой задумчивости, похожий на осыпающийся монумент из замшелого алебастра.

Он не осознал еще в полной мере, насколько ему повезло. Вся жизнь его была цепью неслыханных удач; удачей было уже то, что он доехал, добрался живой до лагерной командировки; удача ждала его и впереди, ибо ему предстояло жить, а не плавать, ободранному и разрубленному и растворенному до полного исчезновения в корытах, в дымящемся желтом омуте, в котором повара, стоя перед раздаточной амбразурой, вращали длинными черпаками, и в этом жесте была заключена вся грация, весь восторг, вся царственная лень и царственная власть их профессии! Белому коню повезло: он стоял на земле, а не стелился паром над черными котлами, не путешествовал по кишкам лагерных доходяг, вернее, по их мочевым пузырям, не пролился дождем в отхожие ямы, в которых давно исчез безвестный одер, чье стойло он занял, и те, другие, плоскими тенями маячившие там, где сейчас бодро хрупали сушеной травкой новички, не ведая, что их ждет. Он устал, но он был жив, ему хотелось лечь, ноги так и просились подогнуть их, преклонить колени и опуститься, смерть манила его, и с каким облегчением он плюхнулся бы на пол и склонил бы к земле свою костлявую голову с глубоко запавшими, вытекшими глазами – и все-таки он стоял.

Издалека донесся унылый звон от удара кувалдой по рельсу, и ночь превратилась в утро. И когда во тьме конюшни под хруст ржавых петель медленно раздвинулся створ осевших ворот, они почуяли запах звезд, которые там, в черной прозелени неба, сверкали, как ртуть, обливая окрестность мертвым сиреневым светом. Лошади всегда чувствуют, как пахнут звезды. Никто уже не спал. Впотьмах то и дело раздавались глухие удары копыт, всхрапыванье, позвякиванье цепочек; рядом с белым конем сосед спросонья истово чесался о перегородку, и все стойло ходило ходуном. Узкие, как щели, окошки под потолком затеплились, замерцали – это двигались по двору фонари; послышался скрип снега под ногами, кашель и первые хриплые ругательства. Люди принесли с собой желтый свет, яркий, ядовитый, от него хотелось чихать; все пришло в движение, столбы и перегородки заколебались, поехали вдоль стен, пугая стоявших в стойлах, пока наконец не угомонились призрачные огни, пристроившись где попало – на перевернутой тачке, на свободных крюках. Кто-то тащил лестницу, полез по лестнице на чердак, и кашель, словно больная птица, забился над головами, сквозь щели потолка посыпался мусор, потом сверху стали сбрасывать солому. Конь, похожий на иссохший памятник, не чувствовал голода, ему хотелось пить. Все же он пожевал из вежливости. Их начали выводить в проход, по одному, очевидно, не доверяя им.

На столбе против каждого стойла, как распятие, висел хомут, для каждой лошади свой, но рассчитаны они были для прежних, уже не существующих лошадей, и большинству новичков хомуты не подходили. Зевая так, что лица у них сходились складками подо лбом и из глаз выжимались слезы, конюхи стаскивали хомуты с лошадиных морд и примеряли другие, выискивая поцелее в куче старого хлама.

Очередь дошла до белого коня – каменный круп его высился за последней перегородкой. Мальчишка-конюх, с черной дырой во рту вместо передних зу-

бов, прошмыгнув у коня под брюхом, стал отмыкать цепочку; ему пришлось для этого залезть на ясли, потому что с полу ой, может, и дотянулся бы вытянутой рукой до груди, высеченной из белого камня, но до шеи нечего было и надеяться: он смотрел на нее, задрав голову. Шмыгая носом, точно всхлипывая, Корзубый расцепил, наконец, цепочку. И тогда с его тусклыми, беспокойными глазками рыси впервые и как бы случайно встретились человеческие глаза коня. Встретились и разошлись.

«Н-но, падла старая, пошел!» – заорал Корзубый, и престарелый конь послушно сдвинул с места каменную громаду своего тела. Он старался соблюдать осторожность, не задавить кого-нибудь сзади, не завалить и медленно пятился, между тем как тщедушный хозяин изо всех сил упирался ему в грудь, в то место, где начинаются ноги, с таким видом, точно он толкал паровоз.

Три месяца назад Корзубый был расконвоирован; срок жизни его в исправительно-трудовом лагере был им отсижен наполовину. Это был небольшой срок, ибо он был не важный преступник. Он происходил из далекого, большого города, и, как все дети, выросшие на задворках больших городов, в темноте и вони подворотен, Корзубый, дожив до тринадцати лет, так и остановился на них. Годы шли, а ему было все столько же: вечный подросток, он на всю жизнь остался хилым и маленьким, с синевой на щеках и желтыми глазами, блеск которых напоминал блеск облизанной дешевой карамели. Отца у него никогда не было, словно и родился он без участия мужчины от непорочного зачатия, а вместо отца у них жил веселый парень в обмотках, «папаня», рыжий и веснушчатый, он приносил матери мыло, крупу и картошку. Один рукав его шинели был пристегнут к карману булавкой, но оставшейся рукой он творил чудеса. Он ехал издалека, из Германии, и куда-то далеко, остановился компостировать билет; компостировал без малого восемь месяцев, потом оказалось, что никакого билета не было. Первое время он уходил ночевать в общежитие к какой-то не то сестре, не то тетке; потом как-то незаметно все втроем стали просыпаться по утрам на широкой материной кровати. Кровать эта, с почерневшими никелированными шарами, занимавшая полкомнаты, в сущности и была их комнатой. На ней раскладывали продукты. Как-то раз папаня ушел и не вернулся, а на другой день к ним явился участковый, он хотел сделать обыск. Но мать уломала его, и с тех пор он часто захаживал, приносил муку и американские консервы «лярд». Синие галифе с подтяжками висели на стуле, а портянки мать развешивала на батарее. В это время Корзубому было уже четырнадцать лет. Он лежал на полу рядом с милицейскими сапогами, и подтяжки касались его лица.

То, что он был невелик ростом, было даже удобно. Однажды он присоединился к компании морячков на Курском вокзале, они повели его с собой, усадили за столик, угощали пивом; до поезда оставалось часа два, они вышли из ресторана и забрали вещи из камеры хранения, но времени все еще оставалось много. Они решили зайти еще в одно место, добавить, как они сказали. Корзубому велели караулить вещи, шинель дали, чтобы не замерз, велели не спать. Он и не думал спать: попробовал один чемодан, но не смог его даже поднять –

матрос вез в нем из Германии часы. Он знал, что там часы, – матрос сболтнул за столом, он даже кулаком стучал по скатерти, кричал: «Я все могу, я всех баб в этом зале могу купить, всех подряд; у меня, может, одних бочат рыжих цельный чемодан!» Чемодан был заперт, он взялся за другой, тоже ужасно тяжелый: приходилось то и дело останавливаться – менять руку. Тем временем моряк, тот, который отдал шинель Корзубому, на вокзальной площади хватился папирос; его отговаривали, совали ему серебряный портсигар с махоркой, но он отпихнул их и пошел через площадь назад за своим «Казбеком». Моряк увидел в зале ожидания свою шинель: она тащилась с огромным чемоданом между скамьями, задевая сидящих и лежащих. Зал был битком набит, и вообще в те годы вся Русь, казалось, была в пути, бежала и возвращалась. Хозяин чемодана рассчитал точным глазомером, сколько тому еще пробираться, и вернулся к ожидавшим корешам. А Корзубый все пробирался. Вдруг кто-то взял его повыше локтя – он скосил глаза, на руке был синий якорь; не раздумывая, кошачьим движением он выпрыгнул из шинели, метнулся к выходу; какой-то старик, лежавший у дверей, занес на него свой костыль – он пнул его ногой в лицо, дед схватил Корзубого за ногу, Корзубый упал. Он вырывал руки, кусался, садился на пол, а его тем временем выволакивали через боковой выход. Зал, потревоженный, зашевелился, люди поднимали головы от узлов, влезали на скамейки, женщины раскачивали плачущих детей, не отрывая глаз от выхода; воры шныряли между скамьями. На дворе – это был задний двор, окруженный кирпичной стеной, – было пусто и холодно, за стеной над площадью стыло лиловое сияние фонарей. Несчастный Корзубый стоял посреди двора, матросы обступили его, тот морячок участливо заглянул ему в лицо и, прищурив глаз, двинул его кулаком, как поршнем. Корзубый отлетел к стене. К нему подошли, подняли; матрос прицелился – и снова он отлетел к стене. И в третий раз повторилось то же. Потом они закурили. Кепчонка Корзубого валялась на земле, ее заботливо подобрали, нахлобучили ему на голову. Похлопали по щекам, усадили на пустынное крыльцо. Они не имели намерения мстить и били вполсилы, но считали, что ему нужен урок, хорошо запоминающийся. Один из них вынул из рюкзака буханку белого, отрезал половину и сунул Корзубому в карман. И все ушли. Он остался один на крыльце, сидел с опущенной головой и расставив ноги, чтобы толстые вишневые сопли, как жгуты, висевшие из ноздрей, не липли к одежде. Собственно, в этот день он и стал Корзубым.

Белый конь, пятясь, вышел из стойла. По-видимому, его не собирались вести на водопой, а вместо этого занялись подбиранием хомута, что было нелегким делом. Корзубый, всхлипывая, притащил пустой ящик и взбирался на него каждый раз, держа хомут, как образ, которым он собирался благословить коня, – и каждый раз хомут падал, как бесполезный хлам, в общую кучу. Белый конь сам изо всех сил помогал, вытягивал голову и вертел шеей так и сяк, пытаясь втиснуться в это подобие круга от стульчака, но, право же, это было все равно, что просунуть ногу в горлышко бутылки. Огромный круп коня загородил проход. Какой-то конек, так называемой монгольской породы, приземистый и густо обросший с ног до головы мохнатой шерстью, оказавшись сзади, восполь-

зовался минутой и больно лягнул его снизу крепкой короткой ножкой. Конь вздрогнул и строго посмотрел на него. Постепенно конюшня опустела, фонари погасли. Через раскрытые ворота видны были в сиреневых сумерках силуэты лошадей, в хомутах и седелках, между ними ходили конюхи, заканчивая последние приготовления. Белый конь, моргая, стоял один. Во рту у него совсем пересохло. Неожиданно сверху на чердаке раздался шум, посыпалась труха, и затем нечто бесформенное и громоздкое свесилось из дыры над лестницей. Покачавшись, оно полетело вниз и с треском грохнулось об пол. Конь, озадаченный, моргал седыми ресницами, глядя на это событие. Показались ноги Корзубого в валенках «бе-у», то есть бывших в употреблении, – он слез, покрытый пылью, и, утирая нос рукавом, потащил за собой через всю конюшню неслыханных размеров изодранный и измочаленный хомут, который годился мамонту. Гужи были такой величины, что он сам мог бы пролезть в них без труда. Со двора на помощь Корзубому пришли двое: верзила в телогрейке, едва доходившей ему до пояса, тот, который все время кашлял, и еще один старик. Втроем с великими трудами напялили на голову коня древнюю руину, перевернули, обдернули, выпростали из-под хомута запутавшуюся седую гриву и подвязали супонь; на спину коню водрузили седелку с торчащим кверху заржавленным арчаком.

Он был готов. Утро едва брезжило. Но ему не дали времени напиться вдосталь из длинного выдолбленного бревна, оплывшего льдом. В полутьме он двинулся мерным шагом по узкому проходу для лошадей, мимо колодца, обросшего сосульками, мимо сараев, вслед за ушедшими, туда, где сияли огни.

Он увидел то, что отныне должен был видеть каждый день: ворота и выходящих из ворот, в длинных ватных бушлатах, по четыре в ряд (надзиратель махал пальцем – считал ряды), увидел сидящих полукругом псов, бодро облизывающихся, возле каждого стоял солдат, приплясывал и хлопал себя по бокам. Два прожектора обливали площадку перед воротами белым металлическим сиянием; и было видно, как четверка за четверкой, вытолкнутые из ворот, подходили к четырем надзирателям, расстегивались и поднимали руки. Те обнимали их и щупали от подмышек до колен.

Выстроилась колонна до самого поворота – до угловой вышки. Очевидно, пора было уже выступать в путь, но начальник конвоя, проваливаясь в снег, пошел вдоль колонны пересчитывать снова, лично – еще раз. Пересчитывание имело глубокий смысл.

Разумеется, никто из них не был настолько тупоумен, чтобы предположить, что кто-нибудь из колонны сбежит во время сложной и канительной процедуры утреннего развода – медленного процеживания из ворот, пересчитывания и выстраивания на дороге по ту сторону ограды, под скучающим взглядом надзирателей и солдат, под умными взглядами собак, под пулемётами на вышках, под неподвижным и ничего не выражающим взглядом начальника лагпункта, стоящего на крылечке вахты и видного всем: бежать было невозможно. И даже тот единственный из тысячи, простреленный автоматными очередями, искусанный овчарками, неукротимый и неисправимый Беглец, тот, для кого не

существовало невозможного, даже он, если бы его вывели с этой колонной, выбрал бы для побега другое время.

Но при передаче человеческого поголовья, всей этой р а б с и л ы, как она именовалась в бумагах, от одного символического владельца другому нужно было, чтобы лагпункт не перепоручил конвою ни одного лишнего человечка, а конвой – чтобы не недополучил ни одного недостающего; строго говоря, никого не интересовала сохранность общей цифры самой по себе, а важно было, чтобы никто ни за что не отвечал, но этого взаимного недоверия было достаточно, чтобы обеспечить должную бдительность и тем самым соблюсти интересы высшего и незримого государства.

Ровно столько, сколько убыло по одной графе, ровно столько же должно было прибыть по другой. Ибо каждый из тех, кто только что был выпущен за ворота, кто вышел оттуда, как на казнь, понурив голову, стараясь как можно дольше растянуть остаток времени до начала работы, как можно меньше торопиться, кому сейчас, совсем как Корзубый своему дохлому коню, кричали то «стой», то «пошёл», то снова «стой», каждый из них был не просто рабочим, одним из неизвестных тысяч и тысяч строителей пирамид, а числился в бумажных ведомостях, ч и с л и л с я, как будто подлинной жизнью было это мистическое существование в качестве палочки или цифры, а земная убогая жизнь – лишь зыбким его отражением. Числился, то есть состоял на учёте в списках, сводках и картотеках, на фанерке у бригадира, на доске нарядчика, на бирке, приколоченной к нарам; числился в столовой, где он состоял на довольствии, в формуляре у начальника спецчасти, в деле у оперативного уполномоченного, и дальше, и выше – в спецотделе Управления лагеря, в архивах тюрем и пересылок, в Главном Управлении Лесных Лагерей и в Управлении Всех Лагерей. И в совсем уже нереальном Министерстве, в заоблачных высях, которые даже не в силах представить себе обыкновенное человеческое воображение, не в силах постигнуть обыкновенный ум, – в катакомбах секретных картотек среди миллионов других имён значилось и его безымянное имя. И все эти дощечки, формуляры, учётные карточки и пухлые, как телефонные книги, следственные дела – они-то и были подлинные цепочки, цепи и цепищи, которыми невольники были нерушимо прикованы к лагерю, то есть, в сущности, друг к другу, – они, а не колючая проволока, пулемёты и автоматы. И если бы даже пожар спалил деревянный частокол вокруг бараков в этой стране Лимонии, если бы часовой-попка уснул со скуки и свалился с вышки вниз головой, а великий начальник повесился в белой горячке в своём кабинете, то и тогда Твердыня Учёта красовалась бы и стояла неколебимо, как Россия; её не в силах было сокрушить ничто и никогда – ни ныне, ни присно, ни во веки веков.

Конь, терпеливо стоявший, стараясь не задремать, не уронить головы, пока не окончится развод, не подозревал, что и сам состоит на учёте вместе со своим хозяином, со стойлом и хомутом, со всем миром своих дум, с памятью о прошлом и чёрной дырой будущего; что за него уже расписались и даже новое имя присвоено ему. Этой клички он никогда не узнал – не узнаем и мы, – потому что к нему, как ко всем этим людям, никто никогда не обращался по

имени. Утро медленно занималось, светлело небо, новички, опустив головы, тянулись гуськом, глядя в хвост один другому; впереди покачивающихся мерно лошадиных крупов шагали два солдата-азербайджанца, глаза их, сверкающие, как антрацит, равнодушно озирали унылую окрестность и казались неуместными здесь, в этой лишенной красок и звуков стране; они шагали, скучающие охотники, по снежной дороге, механически сжимая свои автоматы, дула которых опустились книзу, а еще впереди, шагах в двадцати, покачивались плечи и спины последней четверки заключенных.

В хвосте лошадиной процессии, шествовавшей вслед за людьми, кивая короткой головой, послушно семенил мохнатый монгольский конек, присмиревший от впечатлений. И самым последним, крупно ступая расплющенными копытами, с окоченевшим Корзубым на спине, медленно шел белый конь.

Загон, устроенный перед входом в рабочее оцепление, был забит людьми до отказа. Ждали, когда охрана разойдется по вышкам. Конюхи спешились, их дело было довести коней до оцепления и передать возчикам, в загон же им не разрешалось входить, чтобы не путать счет. Наконец стали впускать в оцепление: первыми пошли возчики, за ними двинулись кони.

Явление гигантского коня, замыкавшего шествие, произвело сенсацию. Все головы из загородки, поворачиваясь, следовали за белым конем, как подсолнухи за солнцем, пока он не скрылся в дощатом сарае, где помещалась кузница. Конь вышел оттуда, подкованный и показавшийся еще выше, кузнец провожал его, глядя на его копыта, а молотобоец, здоровый детина, тоже вышедший проводить, выглядевший щуплым возле белого коня, смотрел на него почти с суеверным благоговением. Стрелки у входа в оцепление и сам начальник конвоя издали глядели на коня. Тут как раз начали выходить из загона; толпа, радостно гогоча, бросилась поглазеть поближе на богатырскую клячу. Что-то сверхъестественное, сказочное и вместе жалкое было в огромной фигуре с седой нечесаной гривой, с выпиравшими под кожей маслаками; конь покорно занял место в конце обоза; и трудно было предсказать, что с ним будет в этот день: он мог, казалось, свезти на себе целый штабель, а мог и рассыпаться при первом рывке, превратиться в громадную кучу костей и ног посреди лесосеки. Загон опустел, и солдаты с закинутыми за спину автоматами задвинули бревна, перегораживающие проход. Властный рык бригадира разогнал работяг. Возчики уселись, выплюнули мат. Обоз двинулся.

Отсюда до лесосеки было километра два. Оцепление, уходившее рядами вышек далеко в обе стороны, опоясывало всю эту землю: кузницу, мастерские, лесосклад с железнодорожной веткой, широкое сумрачное поле и лес, темнеющий вдали. Но даже здесь чуткие ноздри лошадей улавливали едва ощутимый запах гари – дым костров, смешанный с запахом талого снега. Этот запах на всю жизнь запоминал всякий, кто жил в лагере, он отпечатывался у него в мозгу. Так началась жизнь белого коня в лагере, последняя из отпущенных ему жизней.

Но вот край неба, совсем уже светлый, порозовел, приняв цвет неспелого арбуза, и казался таким же холодным, но с каждой минутой зрел и наливался соком и, наконец, зажегся, вспыхнул огнем и зазвенел! Среди звона и света на

снег из-под земли вывалился малиново-рыжий шар солнца. Красный свет побежал по дороге навстречу идущим, отразился на лицах, блеснул на стальных удилах и замерцал в глазах лошадей. День родился и готовился расправить плечи, и старый конь, чуя запах зари своими нервными розоватыми ноздрями, всей кожей ощущая этот морозный огонь, щурясь и моргая, почувствовал, как проклятье ночи сваливается с него наземь, и он переступает через него, словно через презренную падаль. Ничего, сказал он себе, еще поживем; ничего. Бывает хуже.

Белый конь стоял посреди делянки. За ним стояли лесовозные сани, двойные, низкие, связанные цепью крест-накрест, возить которые было, очевидно, сущим пустяком. Особый человек разъезжал по оцеплению с бочкой, которая издали казалась облитой патокой, у лошади хвост был весь обвешан, как бубенцами, сосульками, а сам водовоз, в телогрейке, покрытой спереди стеклянной броней, и таких же стоявших колом обмерзших штанах, сверкал и искрился, как леденец. Целый день он поливал водой санные колеи, поливал старательно, не т е м н и л, потому что дорожил своим местом и держался за него.

Вокруг уже трещали костры и сильно пахло смолой; на опушке раздавалось равномерное стрекотанье, как будто там тренировались в стрельбе из пулемета. (Лошадям, бывшим артиллерийским тяжеловозам, этот стрекот напоминал войну и Германию.) Вдруг сильный треск резанул по ушам коня; он вздрогнул и обернулся. Высокая сосна, прямо и стройно рисовавшаяся на голубом небе, одна впереди всех деревьев, пошатнулась и стала медленно клониться, но не от ветра, потому что осталась прямой и стройной, – и вдруг, затрещав еще ужасней, описывая дугу, она стала падать лицом вперед и грохнулась, разбросав на снегу свою пышную крону. Ветки были еще живые, качались и вздрагивали. Белый конь был поражен: он считал деревья бессмертными. Тайная догадка о великом преступлении смутила его. Быть может, он даже, подобно многим его собратьям, обожествлял деревья. Событие это, однако, ни на кого не произвело впечатления. Возчик, занятый приведением в порядок цепи, даже не поднял головы. Люди облепили со всех сторон убитое дерево: сучкорубы взмахнули топорами, сучкожоги, проваливаясь в снегу, потащили к костру охапки ветвей. Моторист, краснолицый здоровый мужик, взвалил на плечо пилу и, волоча за собой черный кабель, полез большими шагами по снегу, подбираясь к золотистому обнаженному стволу, и стал резать его на части.

Конь ждал. Навальщики, с коричневыми от загара лицами, пыхтя и орудуя вагами, катили вверх по каткам толстые баланы. Бревно за бревном валилось с катков к нему на санки, и все было мало. «Еще давай, еще», – повторял озабоченно возчик, видимо, возлагая большие надежды на необыкновенного коня. Здесь все работали дружно, выкладывались до конца, и никому, по-видимому, даже в голову не приходила мысль взбунтоваться, плюнуть на план, сойтись всем вместе... А ведь начальство было далеко, и бригадира не было среди них.

Бригадир с помощником вместе коротали время на складе, в инструменталке, где, сытые и в тепле, они играли в домино, лениво отрыгивая матерную брань; авторитет их как руководителей производства был несовместим с работой. Здесь же каждый работал, зная, что работает «для родины», то есть ни для кого. Ни, тем более, для себя. Но каждый тащил свою ношу и знал, что и завтра будет тащить, и послезавтра. Он тащил ее, потому что справа от него тащил свой жернов другой, такой же, как он, а слева третий. А те тащили, потому что он тащил.

Возчик рванул вожжи, и конь, склонив шею, толкнулся вперед могучей грудью. Но воз не сдвинулся – казалось, он примерз к колеям, пока стоял. Возчик снова дернул, и снова конь толкнулся; сани не шелохнулись. Белый конь стал топтаться на месте, качаясь вправо и влево, возчик бросился искать корягу, дрын, что-нибудь, необходимое, по его мнению, чтобы разбудить ветхого одра и воодушевить на труд... Конь по-прежнему топтался, не обращая внимания на угрозы: он знал, что перегруженный воз нужно прежде расшатать, чтобы он сдвинулся с места; посмотрим, думал конь, еще посмотрим – и все качал и качал плечами оглобли. И вдруг он дернул, упершись в землю всеми копытами, напружив шею и широко раскрыв набухшие кровью глаза, дернул – и сани тронулись. И вместе с ними, шумно дыша, кивая костлявой головой, вбивая в землю копыта, двинулся вперед огромный конь. Он шел, таща за собой скрипучий воз выше себя и раза в три длиннее, а сзади, поскальзываясь в колеях, торопился, бежал за ним возчик.

Лес расступился и выпустил их. Среди снежного поля, под расплывшимся в бледном небе желтым и туманным солнцем, оба сразу уменьшились, уничтожились – лошадь ростом с мышь, равномерно печатающая шажки по узкой полоске санного пути, воз в три спичечных коробка, груженный карандашами, и семенящий следом крохотный человек в кукольных лохмотьях. Игрушечные вышки, воткнутые в снег через равные расстояния, стояли справа от дороги. Это была граница их мира.

«Но-о!» – скомандовал возчик, погруженный в свои мысли, автоматически, как только прекратился скрип саней; он чуть было не уперся грудью в торцы, продолжая идти за возом: сани стояли как вкопанные. «Чего стал, н-нэ!» – повторил возчик. Он обошел воз, увязая в снегу. Белый конь, мокрый, как мышь, с остановившимся взглядом, странно перебирал на одном месте дрожащими ногами, и худые бока его со слипшейся потемневшей шерстью раздувались и опадали, словно меха.

Он сам не понимал, как это случилось, – сани остановились точно по своей воле. Нет, это проклятые ноги остановились, не спросившись у него, а ведь тут был длинный подъем, больше половины еще оставалось впереди, и он обязан был выложить все, что у него было, всю силу и упорство, и любой ценой допереть доверху; и вдруг стал. Словно глыба гранита свалилась сверху на его воз, вдавив его на полметра в землю.

Ноги дрожали, и невозможно было унять эту дрожь. «Сейчас, – сказал он молча, про себя, – сейчас...». Там, сзади, бесновался и размахивал руками обросший щетиной человек. «Ну?» – спросил он у своих ног, и ноги пробормота-

ли: «Попробуем». «А ты?» – спросил он у шеи. «Я-то ничего, – отвечала шея, – а вот плечи?»

Он расставил ноги, укрепил их попрочнее и, согнув дугой костлявую шею, дернул, но сани даже не шелохнулись. Он переставил ноги, дернул. Сани и тут не двинулись. Сейчас же что-то увесистое стукнуло его сбоку, ниже крестца. Человек кричал на него. А что ему еще оставалось делать? Он прав, подумал конь.

Но раскачивать воз он не решался, потому что, хотя уклон был небольшой, сани все же свободно могли поехать назад, и тогда уж их не удержишь. «Эй, вы», – скомандовал он, а себе он сказал: «Держись», – и подобрался весь; и вот, нащупав упор, вдавившись в землю четырьмя ногами, вобрал в себя воздух и рванулся изо всех сил. Но сани не сдвинулись. Он опять дернул, потянул изо всей мочи. Они не сдвинулись. «Глупо, – подумал белый конь, – это уж совсем глупо». Возчик, который помогал ему, как умел, по-видимому, успел утомиться и тяжело дышал ртом, опустив дубину. «Спокойно», – сказал конь; внезапно, бешеным рывком, царапая лед копытами, он бросился вперед: передние санки скрипнули, воз качнулся – и не двинулся. Теперь он весь дымился, пот, не успевая превращаться в иней, стекал по его бокам извилистыми ручейками. Он решил покачать осторожно. «Только не сразу», – предупредил он и выбрал на всякий случай ямки для упора, если глыба поползет назад. «Ну?» – спросил он главным образом для бодрости. Плечи молчали. Он подождал полминуты, потом глубоко задышал, закивал большой головой, затоптался, думая только об одном: как бы не потерять свои точки упора. И обледенелые оглобли запели и затрещали внизу, в тех местах, где они были прицеплены к крюкам в полозьях. Ему удалось качнуть передние санки («Балуй у меня, сволочь, затанцевал!» – закричал возчик), и каждую минуту он со страхом ждал, что сани поедут назад; они не поехали; между тем он выбирал момент: весь смысл этого приема состоял в том, чтобы, раскачав, сразу дернуть, чтобы воз не успел остановиться. Он раскачивал все сильнее, теперь уже не только оглобли – весь воз за спиной у него стонал и пел на все лады. Раз, два – возчик схватился за оглоблю, конь кивал головой все сильнее... три! – рванул! И что-то сдвинулось. Рванул! – на вершок сдвинулись тяжелые сани, – рванул!.. Но больше они не двигались. Примерзли. И он стоял, уронив голову, в глазах пошли зеленые круги, колени колыхались.

«...П о д х в а т ! » – заорал, вдруг спохватившись, возчик. «Подхват, подхват!» – взывал он в отчаянии, в страхе и надежде, потому что не сваливать же с воза: бригада живьем сожрет за погибшие проценты, да и не под силу одному разгрузить. «Подхва-ат!..» – и голос его бессильно повис в пустоте, а в полусотне метров, на вышке, солдат-азербайджанец, скучая, притоптывал толстыми валенками, смотрел на него и пел тягучую песню.

Что-то показалось из лесу, это трусила лошадь. Подхватчик подъехал, подпрыгивая, как мешок на ухабах, – он скакал без седла. Он был тощ и бледен, только большие перепончатые уши, вылезшие из облезлой ушанки, надетой задом наперед, сильно краснели. Свалившись со своего коня, подхватчик пустился отплясывать чечетку – грелся. Белый конь тотчас узнал его лошаденку:

это был давешний лохматый конек, утренний приятель; возчик схватил его под уздцы – конек оскалился, замотал головой и начал мелко рыть снег передним копытом. Возчик молча отвесил ему рукавицей по короткой морде. Конька поставили впереди, подвязали постромки. Сзади белый конь из своих оглобель смотрел на него сверху вниз спокойным безнадежным взглядом.

Ушатый сидел на снегу и тер, кряхтя, свои уши – точно чесался. Старик возчик гаркнул команду: «...твою мать!» – воздел руку с дубинкой, и началась эта бесконечная глупая маета, бессмысленность которой была ясна заранее каждому, и только люди этого не понимали: в десятый, в двадцатый раз, надсаживая горло и то хватаясь за оглобли, то отбегая назад, чтобы упереться в бревна, и снова подбегая, ломая свои устрашающие орудия о спины лошадей, старик гнал их вперед и чем больше выбивался из сил, тем становился упрямее. Все было напрасно, хуже того, бесцельно – уже потому, что не было слаженности у старого коня, теперь едва державшегося на ногах, и конька, что один раз даже чуть не грохнулся на снег и, вертясь под ногами, махая грязным хвостом, в сущности, только мешал.

«Эх, – сказал Ушатый, сидя на снегу, – батя... Охота тебе. Да мать их в рот и с ихней работой!»

Возчик как будто не слыхал его слов: он что-то делал там, за санями, – сопя, разгребал снег. И вот, поднявшись и подняв над головой своей то, что он откапывал из-под снега – обледенелую доску, – бросился вперед с новой и невиданной яростью, словно это были не лошади перед ним, а нечто мерзкое и ненавистное, олицетворявшее его собственную мерзкую жизнь. Несчастный конек заметался в постромках, сам белый конь, сильно обеспокоенный, мотал головою и пятился, хомут с дугой стал налезать ему на голову; но все это продолжалось недолго. Доска сломалась, возчик с отвращением отшвырнул обломок и сел с размаху на снег, хватая ртом воздух.

«Ну, чего я говорил, – заметил укоризненно Ушатый. – Кончай, батя, в рот их...».

Возчик ничего не ответил, по его лицу стекал пот. Семь лет назад он был приговорен отбывать двадцать пять лет в невидимой стране за что-то, чего он и сам уже не помнил; но теперь он об этом не думал, как не думал вообще о своей прежней жизни: она была ампутирована, ее просто не существовало. Он думал о том, что и у него, и у этого полуцветного ублюдка, сидящего на грязном снегу, один общий враг – план. Возчик думал о работе. Не было ничего на свете ненавистнее работы. «На х... нам этот лес – мы его не сажали!» – изрек Ушатый.

Вдруг он вскочил. «Подлюки! – закричал он. – Едут. Торопются, хады. Чего торопются – срок большой!»

Повернув голову, возчик тупо посмотрел в сторону леса: оттуда показался следующий воз. Дорога одна – с колеи не своротишь...

Ушатый заволновался.

«Ты, але, батя... Ты давай сваливай. Вот что. Дорогу надо освобождать».

«А ты-то на что, – отвечал, насупясь, возчик. – Я буду разгружать, а ты гузно греть?»

Ушатый открыл черный рот, воззрился на старика. «Ишь т-ты! – сказал он. – Фашист! Не хочешь работать, падло?..» – «Э-гей, п о д х в а т ! » – раздался со стороны леса истошный голос. Потом снова: «...а - а т ! » Ушатый прищурился и смачно сплюнул на старика. «Отпрягай!» – приказал он. Возчик не шевельнулся. Тогда Ушатый сам отвязал свою лошадь, уселся верхом и поскакал к лесу, подбрасывая локти. Старик равнодушно смотрел ему вслед.

Но Ушатый не остановился у застрявшего на опушке воза, а объехал его и скрылся в лесу. Спустя немного он показался снова на дороге, и усердно кивающая, короткая голова монгольского конька стала увеличиваться навстречу неотрывно смотревшему старику. Ушатый что-то вез. Он спрыгнул и полез по снегу в своих опорках, щурясь от дыма и даже не взглянув на старого коня, который с любопытством повернул к нему голову. Он хотел посмотреть, что там делает Ушатый. Ушатый с озабоченным видом подбирал вожжи одной рукой, все так же щуря глаза и отворачиваясь от едкого дыма...

Опомнившись, возчик вскочил на ноги. Но было уже поздно. С непостижимой быстротой Ушатый подцепил обеими вожжами репицу, и хвост приподнялся. В ту же минуту Ушатый, высунув язык, подскочил и воткнул тлеющую головню под хвост белому коню. Конь вздрогнул, как от удара током – запах горелого мяса пронесся в воздухе, – конь рванулся отчаянно вперед, сани затрещали и тронулись.

Возчик побежал за санями.

«П о д х в а - а т ! » – донеслось к ним из леса...

Белый конь стал привыкать к своей работе; потянулись дни; работа каждый день была одна и та же. Она уже не казалась ему невыполнимой. Возчик узнал его лучше и нагружал ровно столько, сколько он мог вытянуть при максимальном напряжении сил, но не больше. На большом циферблате года, где один день был лишь малой частью самого маленького деления, со скрежетом передвинулись стрелки. Малиновое солнце снегов закатилось – вместо него взошло ржавое, желтое солнце болот, и навстречу ему из разбухшего снега высунулись бурые кочки, выставили плешивые головы старые пни, засверкали лужи, и огромные, обреченные на смерть березы беспомощно заплакали светлыми слезами. Дорога почернела, поднялась и стала проваливаться под копытами; мокрые сани скреблись об нее полозьями. По-прежнему рослый конь тащился со своей поклажей, словно козявка, посреди широкого поля; но оно уже не казалось, как прежде, пустым и безжизненным. Чуть ли не вдвое увеличилось расстояние от делянок до штабелей лесосклада, и кругом на необозримом пространстве расстилалось кладбище пней.

В мае перебрались в новое оцепление, над которым подготовительная колонна трудилась целых четыре месяца: в густом лесу, где снег в лощинах был по грудь, прорубили широкие, в пятьдесят метров, просеки. Сверху, если бы кто-нибудь пролетел низко на самолете, это выглядело как грубо вырезанный квадратный остров на краю таежного океана; сейчас же вдоль четырех просек начали ставить вышки, построили заборы и проволочные заграждения. После этого дорожные бригады с разных сторон врезались в чащу, они построили

там, во тьме и сырости, лежневые дороги, от которых загибались по сторонам усы – ответвления к делянкам; новый ломоть тайги размером четыре квартала был отрезан, оцеплен проволокой, обставлен вышками и разбит на участки, и уже заранее было подсчитано, сколько добычи можно увезти с каждого участка, и эту цифру в управлении лагеря умножили на два, и это и был план. И план этот, для того чтобы начальство получило премию, должен был быть перевыполнен. Птицы, вернувшиеся из южных стран, в испуге разлетались куда глаза глядят, звери панически бежали, заслышав стук топоров, жужжание пил и глухой шум падающих деревьев, и стрелки на вышках автоматными очередями били скачущих через просеку лосей и зайцев – скорее, от скуки, потому что некому было их подбирать.

Она была короткой, эта весна, и таким же коротким было лето, которое здесь встречали и провожали, не снимая ватных телогреек, только вместо стеганых вислозадых штанов обитатели тайной страны нарядились в портки из синей диагонали, которая тут же слиняла, оставив чернильные пятна на ягодицах и коленях; и были розданы новые портянки, белые и чистые, которые в первый день весело выглядывали из ботинок, а остальные триста шестьдесят четыре дня были уже как прежние – черные и заскорузлые. Новые башмаки, как ни крепились, к вечеру превратились в старые; утром перед разводом бригадники заботливо мазали их солидолом. Утро теперь начиналось рано; но еще до рассвета белому коню, дремавшему в своем стойле, чудилось чавканье башмаков по навозной жиже: они шли, эти башмаки, за ним, по его душу, неумолимый звук приближался, и он поднимал свою каменную голову с пустыми черными глазницами – на дне их, как пробудившиеся существа, оживали его глаза – и, пятясь, он выбирался из тесного стойла. В урочный час громадный конь, мерно переступая расплющенными копытами, выходил и покорно становился в оглобли.

Уже у него был запал – неизлечимая эмфизема легких. Искривление передних ног, называемое козинцом, которое и раньше было у него, теперь стало особенно заметным. Но рост его не уменьшился. Худой и костлявый, с выпирающими ребрами, он казался еще выше и страшнее. Он проработал в летнем оцеплении всего две недели, упал на лесосеке и был списан с производства в хозобслугу.

Примерно к этому времени исторические предания относят политический переворот, происшедший на лагерном пункте, хотя сам по себе случай, послуживший его причиной, не представлял ничего необыкновенного. В одно прекрасное утро растворились ворота, выпуская работяг, из-за ограды, как всегда в это время года, раздавалось жестяное громыхание самодеятельного оркестра, и под звуки бодрого марша, следом за первыми бригадами, в тусклых солнечных лучах, пятьдесят заключенных вымаршировали ряд за рядом за зону, одетые в кальсоны и больше ни во что. Должно быть, их воодушевила надежда, что начальство, увидев такое бедствие, задержит, начнется разбирательство – там возня с каптеркой, с бухгалтерией, а тем временем развод кончится, ворота закроют, и удастся п р о к а н т о в а т ь с я в соответствии с народной мудростью: «день канта – месяц жизни». Но никто не среагировал, начальник

конвоя равнодушно поглядел на них – явления в исподнем случались после игры в карты, правда, не целой бригадой, – и п с а р н я , не моргнув глазом, пересчитав, выпихнула их к остальным в колонну. Оттуда раздался великий хохот. Но было холодно. Голос с мусульманским акцентом прокричал обычное наставление: за неподчинение законным требованиям, попытку к бегству конвой применяет оружие. Затем прозвучала команда, колонна двинулась. И их тощие ягодицы, обтянутые ветхой тканью, задвигались в такт, и желтые пятки, по четыре пары в ряд, зашлепали по жиже.

Впереди шагал, придерживая кальсоны, бригадир, он был мрачен. Это он первый заметил, проснувшись от холода, раму, вынутую целиком из окна, которая виднелась снаружи, прислоненная к стене барака. Его койка стояла напротив окна. Вся секция была, что называется, подметена под метлу, не осталось и пары рваных башмаков, и со всех сторон, наверху и внизу, с нар свисали, сиротливо почесываясь, босые ноги. Когда же бригадир, заглянув под койку, единственную во всем бараке, посмотрел туда, где накануне вечером стояли вымытые дневальным его резиновые бригадирские сапоги, его гордость, символ власти и благоденствия, то только и смог пробормотать: «Ну, с-суки!..» – но в голосе его прозвучал отдаленный гром. На другой день после марша был плановый выходной, подарок начальника, и какой-то праздник – в столовой, украшенной лозунгами, выдавали премии лучшим производственникам: кусок мыла и двести пятьдесят граммов хлеба; а когда стемнело, толпа, вооруженная кольями, молча двинулась в секцию полуцветных. Песни и пляски и беззаветное шлепанье себя по обтянутому диагоналевыми портами заду под гитарный звон – все смолкло, когда в сенях раздался топот ста башмаков; дверь распахнулась: на пороге стояли работяги, держа наготове то, что составляло чахлый палисадник, ограждавший главный трап. Мрачный голос гаркнул: «Под нары!» – в одно мгновение все очутились под нарами, несколько старших блатных сидели на своих местах, глаза их бегали. Потом вдруг погасла лампочка, и во тьме послышалось что-то вроде хриплого лая.

Спустя несколько времени маленький, щупленький, незаметный работяга, из тех, чьего имени никто никогда не помнит, войдя в столовую, где уже окончилась торжественная часть и началась самодеятельность, пробрался между рядами и, толкнув фельдшера, сидевшего на почетном месте позади начальства, сообщил кратко: «Заберите», но когда фельдшер с лепилой, ворча и бранясь, явились все же в барак, понуждаемые профессиональным долгом, то могли лишь увидеть впотьмах, что забрать «это» не только четырьмя, но и двадцатью руками невозможно.

Нескольких человек похоронили. Утром унылая процессия покидала зону: одни ковыляли, обмотанные тряпками и бинтами, опираясь на руку товарища, другие тряслись в телегах: их переводили в другое место, большинство держало путь на б о л ь н и ч к у. И умный белый конь, влачивший дроги во главе траурного обоза, размышлял о бренности власти, о недолгой славе земных владык.

Привалило работы уполномоченному и стукачам. Оживилась переписка инстанций. Пятьдесят дел в новеньких синих папках было заведено – на всех

членов бригады, дождавшейся-таки отдыха: ибо все пятьдесят сидели в кондее. Но олигархическая власть цветных была свергнута. Ближайшим результатом этих событий было то, что по всей стране Лимонии издан был строгий приказ убрать палисадники со всех лагпунктов.

С августа начал лить дождь. Однажды начавшись, он уже не мог, не имел права в силу какого-то установления остановиться и лил, не иссякая, до октября, когда ему надлежало превратиться в снегопад. Стрелки года завершали свой круг, из долгих сроков вычиталась одна костяшка, а белому коню казалось, что уже целую вечность он взирает на длинные нити дождя, струящегося из облаков. Бог весть, с каких пор он идет-плетется по разбитому ступняку, среди тусклой равнины, проваливается в грязь, вылезает – и все тащит за собой двойную, соединенную цепью крест-накрест вагонку. На вагонке стоял ящик. Она катилась, поскрипывая, по еловым лежням, и, когда подъезжали к яме поглубже, конь становился копытами на скользкие лежни, словно выполнял сложный цирковой номер. Некому было аплодировать! И таким способом, вытянув шею, работая лопатками, перебирался мелкими шажками над бездной, волоча вагонку. Дождь желтыми ручьями, как по желобам, стекал у него между ребрами, капал с челки и длинной, похожей на старые водоросли гривы. В ящике, за высокими бортами, раскачивался мокрый картуз Корзубого. Он тоже был переведен в обслугу.

Следом за ними тащились под дождем еще две подводы. Когда подъехали к складу, длинному навесу, наспех построенному между рыжими холмами опилок – здесь была раньше пилорама, – когда нагрузили все три ящика доверху осклизлыми, черно-желтыми кочанами капусты, расписались на фанерке у бесконвойного сторожа и перепрягли лошадей, то есть отцепили оглобли от передних крюков, перевели коней назад и снова прицепили, то уже начало смеркаться. Теперь вагонка Корзубого оказалась последней.

Решили напоследок погреться у костра. Сторож жил возле навеса, в какой-то щели из досок; здесь был расстелен его отсыревший тулуп. Целые дни он проводил в одиночестве, отдыхал вволю, а в зону являлся только за сухим пайком. Все кругом, казалось, пропиталось водой, все протекало и хлюпало, но зато – не работать!.. Квартал был пустынный, заброшенный с тех пор, как в нем не осталось больше ни одного дерева, и не верилось, что полгода назад на месте желтой, залитой водою равнины стояла лесная чаща, темная как ночь. Остались только холмы опилок, разбросанные повсюду щепки и чурбаки, клетки штабелей, утонувшие в болоте, и пни, пни до горизонта; да еще провалившаяся насыпь от узкоколейки, по которой укатило все это лесное царство, а взамен него, в уплату, привезли сюда черную капусту.

...И они упали, эти деревья-гиганты, но не так, как падали их предки, помнившие Сусанина, и прапрапредки, которым летевшие с юга птицы, усталые и возбужденные, рассказывали, как с восхода, из Азии – они видели – поднялась туча пыли, оранжевые облака закрыли небо, и тогда услыхали донесшийся из желтой тьмы глухой дробный топот – это неслась конница татар.

Нет, они упали не от старости, как те, кто раньше рос на их месте, и не для того, чтобы уступить его молодым, – а рушились одно за другим, валились,

круша подлесок, под зычные возгласы повальщиков на родные мхи, откуда сто лет назад они поднялись тонкими стебельками у подножья отцов. И сейчас же люди обступали их со всех сторон: обрубщики рубили им руки, раскряжевщики пилили на части их тела, сучкожоги стаскивали в кучу и жгли их богатый убор. А там уже навальщики, покрякивая, катили смолистые бревна по гнущимся от тяжести каткам, которые каждый раз подпрыгивали, когда балан валился на повозку. И лошадь вздрагивала и поворачивала голову каждый раз. А там маркировщики метили древесину черной краской по торцу, контролеры отбивали баланы молотками, и перепачканные смолой укатчики накатывали их в штабеля, высокие, как дома; ночью, в сиянии прожекторов, грузчики, хрипло вскрикивая, грузили их на платформы и в полувагоны. Из паровозной будки выглядывал бесконвойный машинист, и бесконвойный стрелочник переводил стрелку. Лес уезжал – на волю, как думали люди.

Лес этот предназначался для шахт и оставался там, под землей, исчезал весь, сколько бы его ни привозили. Но и под землей смолистый непобедимый дух был так силен и опьяняющ, что тамошним заключенным казалось – дерево пахнет волей. А другие составы направлялись на север. Они прибывали в порт. Здесь все: и железная дорога, и город, раскинувшийся вокруг, – было построено заключенными, и у тех, кто грузил лес в трюмы, были тоже вместо паспортов формуляры. И для них эти литые, желтые, как масло, кругляки пахли не потом человеческим, даровым, не Указом и Пятьдесят восьмой, а зеленой чащей, соком земли – волей... И пароходы, уходящие за море, приветствуя родину прощальными гудками, увозили запах воли в чужие страны.

Дождь, как старческая слеза, сочился с неба, но Корзубый, сидевший на кочанах, знал твердо, что не следует торопиться, иначе погонят еще в один рейс. Он отстал от передних подвод – хоть и те не спешили – и под конец вовсе потерял их из виду, так что когда впереди показались в мутных пеленах дождя какие-то дроги, он понял, что передние уже успели миновать стрелку – единственное место, где можно было разъехаться встречным. «Подождать не мог, сука», – выругался Корзубый. Встречный экипаж оказался бочкой, и человек, стоявший на передке с вожжами, был известный всему лагпункту усатый дед, или Ус, как называли кратко тех, у кого хватало терпения возделывать под носом у себя эту растительность. Грязная, пахнущая его специальностью куртка старика, брюки, стоявшие колом, и выставленные вперед руки с вожжами, такие же черные, как длинная ручка ковша, торчавшая за его спиной из бочки, – все это, неумолимо приближаясь, двигалось навстречу белому коню как бы само собой, собственной силой, подталкивая некое существо с кривыми дрожащими ногами и нелепо висевшей между ними большой головой – чахлого и облезлого одра, навсегда, казалось, утратившего интерес к жизни. Белый конь, моргая, с трудом узнал в нем монгольского конька, такого бойкого и задиристого в эпоху их первого знакомства. Теперешняя их встреча была подобна встрече на канате: одноколейная лежневка была единственной твердой почвой посреди широкой и мертвой равнины с торчащими

из воды пнями. Лошади остановились, возчики спрыгнули в грязь и стали кричать и махать руками.

С высоты своего роста белый конь с болезненным участием смотрел на товарища. Тому все было безразлично. С полузакрытыми глазами, точно спящий, он сошел с лежневки – старик тащил его под уздцы – и поплелся, бессильно переставляя ноги, между кочками. Следом тележка нехотя соскочила с жердей, бочка качнулась, плеснув коричневой жижей, нырнула вбок и съехала в трясину; ковш гремел и болтался в ней, как ложка в стакане. «Пошел!» – Корзубый тронул своего коня. Конь шагнул вперед и остановился; ящик с капустой зацепился углом за бочку. Пока, отцепив оглобли, переводили громадного коня назад, цепляли и оттаскивали обратно вагонку, пока перецепляли снова и, погружаясь башмаками в грязь, кряхтя, поднимали соскочившие с жердей деревянные колеса, пока бранились и пререкались, прошло не меньше часа.

Корзубый, уезжавший, свесив ноги с ящика, быстро потерял из виду бочку и ассенизатора, хлопотавшего возле своего оцепенелого коня, тщетно понукая его так и эдак втащить тележку обратно на лежни. Все затянуло паутиной дождя.

Белый конь шагал в глубокой задумчивости, привычно глядя себе под ноги, хотя помнил наизусть все ловушки – топкие места и покрытые водой ямы. Но с тех пор как пошли дожди, дорога разрушалась с каждым днем. С досадой вспоминал он о далеких временах, когда глаза его одинаково зорко видели днем и ночью. Несколько раз он споткнулся, вызвав неудовольствие седока, а один раз даже завяз копытом в расщелине между ступняком и шпалой – толстой плахой, к которой приколочены были лежни. Оба – конь и возчик – мечтали только о том, как бы скорей добраться.

Он дошел до стрелки, той самой, где усатый Ус разминулся сколько-то времени тому назад с передними возами. Сейчас ее едва можно было различить в густеющих сумерках. Возчики, должно быть, уже давно доехали до лагпункта. Задремавший под равномерное чавканье копыт Корзубый пробудился и заорал сверху. Конь не двигался, и, свесившись с ящика, Корзубый разглядел, что стрелка не то что не переведена, а разрушена вовсе: одна лежня, измочаленная, валяется в стороне, другой совсем нет. Он спрыгнул и полез вокруг, ища недостающую лежню, выдернул ее из топи и положил какую-то другую жердь; сморщился, харкнул команду – конь недоверчиво покосился и тронул копытом дно. Помедлив, тронулся; в ту же минуту раздался треск, тонкая жердь сломалась. Ящик сразу осел одним боком. Белый конь стоял по колено в воде, раздумывая, попробовать ли ему протащить вагонку вперед в расчете, что она проскользнет по обломкам на крепкую лежню, или обождать, пока Корзубый что-нибудь придумает. Корзубый придумал: он притащил полено, сопя, стал подсовывать под увязшее колесо. Он долго возился там, поругиваясь вполголоса, наконец, выпрямился и, не спуская глаз с утонувшего колеса, тронул вожжи. Конь нажал грудью. Колесо показалось из воды, стало налезать на полено, сейчас же полено ушло вглубь, за ним колесо, беззвучно, как рыба в воду. «Сука, хад!» – выкрикнул Корзубый. Он бросился подкладывать обломки ступняка, колья и коряги под тонущие колеса. Белый конь стоял, погрузившись всеми че-

тырьмя ногами в трясину, оглобли и дуга вздыбились над ним, хомут, туго засупоненный, давил ему снизу на шею. В полутьме сквозь нити дождя смутно белел его огромный круп, ящик, казавшийся длиннее и выше, темнел, как катафалк. Слышалось озабоченное шмыганье Корзубого и захлебывающееся чавканье его башмаков. Он отцепил оглобли, конь, с трудом вытаскивая ноги, выбрался из трясины, и вдвоем они отправились вокруг по кочкам, путаясь в вожжах и волоча оглобли, – в обход воза, тянуть его задним ходом. Не тут-то было. Белый конь хотя и стоял теперь на прочном более или менее ступняке, но стоило только дернуть, как передние колеса, увязшие первыми, вместо того чтобы вылезти, опустились еще глубже, увлекая за собой опорную крестовину; идея Корзубого вытянуть сзади была ошибкой; ящик накренился, как гибнущий корабль, вилки капусты посыпались в грязь. Корзубый плюнул, сошел с лежневки; качаясь и растопырив руки, добрался до ящика, отцепил правую оглоблю. «Давай, давай, ну!» – приговаривал он, упершись руками в мокрое бедро коня и стараясь столкнуть его вбок. Белый конь, недоумевая, сошел с дороги. Тотчас ноги его ушли в топь. Он, наконец, догадался: Корзубый хотел вытащить правые колеса за левую оглоблю, но и это было ошибкой. Конь понимал, что это ошибка. Но люди никогда не считались с его мнением. «Но!» – скомандовал Корзубый. «Н-но, х-хад, подлючий потрох!» – озлившись, крикнул он медлившему коню, и пришлось подчиниться: он дернул, и случилось то, чего он опасался. Колеса поднялись на мгновение из воды, воз качнулся и сейчас же, громыхнув, осел другим углом – соскочили левые колеса. Теперь катафалк медленно опускался, погружаясь в трясину всеми колесами.

Было слышно, как шелестит дождь. Конь стоял неподвижно в грязи. Корзубый, сидя на мокрой лежне, плакал. Корзубый поднял голову. Он поглядел на светлую полосу над горизонтом, но у него уже не было надежды: старик, если бы он возвращался этой дорогой, был бы давно здесь. Старика не было. Старик поехал на кладбище опорожнять свою бочку: туда, где среди желтых луж торчат колья с дощечками, много кольев – до самого края. На каждой дощечке чернильным карандашом – номер формуляра. Номера расплылись, и колья покосились в разные стороны. И тяжкое зловоние над всем полем... Время позднее. Он давно уже вернулся по другой дороге, если сам не потонул. Бросил его старик. А сам Корзубый разве не бросил тогда усатого старика одного – а ведь старик уступил ему дорогу. Вот так везде и всюду, везде и всюду закон один: ни на кого не надейся. Не жди добра ни от кого. Кому ты нужен?..

Послышался всплеск – сосущий, хлюпнувший звук, как будто вытащили руку из теста: это конь, озябнув, переступил онемевшими ногами. Потом, тряся гривой и фыркая, боком, с усилием выбрался из болота и стал на лежневку. Одна оглобля осталась неприцепленной.

И тогда Корзубый медленно поднял глаза. В темноте они встретились с другими глазами. Взгляд коня был глубокий, влажный. Во тьме глазниц он как будто мерцал и светился; конь смотрел на него, словно собрался, наконец, сказать ему свою длинную, страстную речь, и Корзубому стало не по себе. Но это длилось недолго. Ярость охватила его, внезапно и целиком, как огонь охватывает со-

лому: он увидел своего врага, виновника всех несчастий. Он затрясся, подскочив к коню, пнул его ногой, схватил конец оглобли, лежавшей на земле, зацепил его за крюк, спрыгнул с лежневки, с необыкновенной силой выхватил откуда-то из-под низу рогатую, чудовищной толщины корягу и стал с размаху рубить по чему попало – по крупу, по холке, по вскидывающейся ошалелой морде, пока не изломал и не искрошил свою дубину. Обломки рогов полетели в грязь. Колеса выпахали трясину, так что она превратилась в бездонную чашу, до краев полную черной жижей, – вся передняя часть похоронной колесницы ушла туда. В темноте раздавалось тяжелое дыхание человека. Белый конь, облитый жарким потом, не чувствовал дождя. Глаза его, вылезшие из орбит, медленно моргали. Из раскрытого рта вывалился язык. «Ну и х... с тобой, – пробормотал Корзубый, – околевай, сволочь...» Он повернулся и, пошатываясь, побрел прочь, мимо ящика и едва белеющих разбросанных и разбитых вилков капусты. Конь остался стоять, опустив голову; дождь шелестел, не усиливаясь и не убывая.

Он почуял человека. Открыл глаза: Корзубый держал его под уздцы. Оглобли были отцеплены. Вдвоем, увязая в болоте, они обогнули ящик, взобрались спереди на лежневку. Они оказались слишком впереди, пришлось пятиться. Задние ноги коня опустились в трясину. Он не обращал внимания. Другого выхода не было: надо было браться и тянуть – в десятый, в пятидесятый раз собираться с силами и тянуть вперед. Впереди была лежневка, твердая земля.

Однако зацепить оглобли за передние крюки оказалось непростым делом. Все утонуло в грязи, ящик съехал вперед, закрыв собой колеса, – не на что встать. Корзубый погрузился по пояс в холодное месиво. Он нащупал в глубине крюк, другой рукой он тянул к себе оглоблю, и конь, в грязи по самые заплюсны, осторожно переступал ногами, чтобы не примять маленького человека, копошащегося под самым его хвостом. Корзубый прицепил сначала одну, затем другую оглоблю и вылез. Грязь стекала с него, как варенье.

«Ну», – просипел он.

Гигантское костлявое тело зашевелилось в оглоблях. Конь пригнул шею, задвигал крупом, ища опоры задним ногам.

«...давай, давай», – шептал Корзубый, точно молился.

И конь наддал. Он нажал грудью, выгнув шею и уставившись в одну точку мерцающими в темноте глазами. Ящик вздрогнул, но сейчас же ноги коня стали уходить еще глубже. Он отпустил, переждал с полминуты, не больше, переступил где-то там, на зыбком дне. Вновь набрал полную грудь воздуха – и нажал. Внутри у него, он чувствовал, звенела и дрожала высокая струна. Он отпустил, тяжело дыша. Рядом тяжело дышал Корзубый. Потом губы его снова зашевелились. Но белый конь не стал нажимать еще раз. Вместо этого он неожиданно весь ослабел, обмяк, голова начала опускаться, отвисли губы – вот-вот упадет, – и вдруг, широко раскрыв сверкнувшие глаза, он бросился вперед. Он хотел застать злую силу врасплох.

Но она была начеку.

Ах, вот как, подумал конь.

Он снова прыгнул, разбрызгивая грязь, и сразу порвал все струны. Мысли погасли. Какие-то птицы с красными клювами пронеслись перед глазами.

Он прыгнул. И потом опять прыгнул. И еще раз рванулся. А потом покачался и снова ринулся вперед, как зверь. Упал, опять поднялся.

«Стой! Стой!» – кричал ему возчик.

Огромное тело билось, вздымая фонтаны грязи, и все глубже уходило в трясину, путаясь в упряжи, увлекая за собой сломанные оглобли. Остановившимися глазами, пятясь и отступая в болото, Корзубый глядел на торчавшую из черной бездны гигантскую голову с хомутом, налезшим на глаза, которая все еще рвалась вверх и кусала воздух оскаленными зубами.

Он заметил, что это были вожжи. Вожжи, которые он не догадался отцепить, и теперь они запутались за передние ноги и тянули вниз захлебывающуюся голову. Суки!.. Он весь вытянулся, стараясь дотянуться до кольца, до хрипящей пасти. Да нет, куда там. Надо лезть туда, к нему, и там вместе с ним. Это удалось ему после долгой борьбы, но, когда, почувствовав, что ноги неожиданно освободились, обессилевший конь, не веря сам в свое спасение, стал выбираться из топи, он задел впотьмах, в черной каше, копытом что-то мягкое и подвижное, копошившееся вместе с ним.

Он и потом не верил и не понимал, как это могло случиться, когда стоял, весь облепленный грязью и полуослепший, в изумлении и горе уставясь на черную пропасть, где исчез Корзубый.

Он стоял, возвышаясь на темном небе, уже вовсе не белый, а черный, как призрак, и все ждал, не покажется ли оттуда знакомый рваный картуз. Но хозяин ушел, ушел навсегда, и он не мог последовать за ним, потому, должно быть, что сам он был бессмертен, хоть и не знал этого. Дождь перестал, и запах звезд, тонкий, неуловимый, коснулся его ноздрей. Конь заржал, но никто не услышал его плач. Черным видением приблизился и встал над болотами лагерь, и на вышках зажглись прожектора.

1965

Товарищ У.

ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ*

Который ноябрь по-настоящему, 07.11.2003, если быть точнее. Хряпнут по чарке мужики, завоняет в своих газетенках интеллигенция, выйдут на серые улицы упрямые нацболы и анпилы, ностальгически задумается в офисе посткомсомольский буржуй, отколупывая от стенки евроремонт, семипудовые тети устроят сеанс борьбы сумо в пригородном автобусе, вывозя последнюю летнюю утварь со скорбных дач своих в халявный выходной. Безнадежно просравшая завоевания Октября, массивная и слабосильная народечь будет натужно иронизировать и прыскать в кулак при упоминании о Великой Красной Дате. Смейся, паяц, над разбитой судьбою...

Соотечественники! На кого вы похожи, соотечественники?

Мы идем на гавно... мы идем на гавно... мы идем на гавно... – Владимир Владимирович, переверните страницу! – Мы идем но*га в но*гу с передовыми демократическими странами.

«Восемьдесят лет тирании! Архипелаг ГУЛАГ!» – заверещит ископаемый либерал, выживший из ума фанат Булата Окуджавы, некогда режиссер фильмов о красноармейцах, заслуженный мастер спорта по держанию кукиша в кармане. А ты когда-ни-

* «Топос». 7.11.2003.

Товарищ У. – псевдоним главного редактора сайта Краткое Всемирное позорище, или Малый Феатрон. Живет в России.

будь получал демократизатором по горбу, придурок? Как бы ты назвал нынешнюю эпоху, если бы тебе заплатил кто-нибудь другой?

«Ошибочный вектор развития...» – грузно засопит, утирая пот со лба, вчерашний капеэсэсовец, многолетний сотрудник журнала «Коммунист». О том, что нынешний вектор развития устремлен прямо ему в задницу, он скромно и толерантно промолчит.

«Не все было так плохо и в Советском Союзе... – привычно ужаснувшись собственной смелости, промолвит член прогрессивно-реакционной партии, озираясь по сторонам. – В семидесятом году мы с женой купили холодильник...». Старайтесь, в дветысячидесятом купите домашний кинотеатр.

«Жиды во главе с Ульяновым–Бланком умучили Государя Императора, но русский Сталин с ними покончил и сам захотел короноваться на светлейший престол, однако обрезания делать не захотел, тогда они умучили и его, накормив отравленной мацой. Жида Хрущмана умучил жид Брежман, жида Брежмана умучил жид Горбман, а жида Горбмана – полукровка Эльцин...» – горячечно затараторит писатель-деревенщик, дергая вас за рукав. Лечиться, лечиться и лечиться.

«Это была неправильная революция, – тряся патлами, заявит шизоидный левак с несчастным Геварой на майке. – И вообще это не была революция. Это был госкапитализм». Профессор, снимите очки-велосипед... Или утрите с губ молоко.

«Жили, небось, без жевачек, – крепко сжав морщинистый кулак, захрипит ветеран труда. – И неплохо жили! За Родину, за Сталина в бой шли, а не за энти ваши презервативы!» Отстал, отец – ни Родины, ни Сталина, а презервативы жмут.

«Не знаю, касатик, ничего не знаю, – слабо махнет ручкой бабуля в платочке. – Што ты у меня, у старухи, спрашиваешь? Все одно помру скоро». Прости, голубка дряхлая моя.

«Неактуально, – ухмыльнется рыжий, нечестный, наглый. – Скоро мы уже все доворуем». Трудно сомневаться.

«Какой там октябрь, жрать неча, – заворчит сипло пролетар, наливая, однако, по этому поводу стакан. – Все они, блядь, одинаковы, мягко стелют, да жестко спать». Как насчет стелить самому себе и вытирать самому себе попу самостоятельно? Власть Советов отучила или кишка тонка?

«Чапаев – утонул, Ленин – гриб, Сталин – сорт конопли», – концептуально выскажется благополучно-фуршетный нонконформист с проплешинами на лбу. Не есть ли сам он в таком случае, к примеру, унитаз? Что такое унитаз во времена великой русской трагедии?

«Ну, эта... Кароче, случилась там у них заварушка, у Ленина с его братвой... – почешет бобрик на бычьем затылке браток. – Ладно, я полез, а ты на шухере постоишь».

И тэ дэ, и тэ пэ... Соотечественники! А можно я не буду поздравлять вас с праздником?

Федор Шелов-Коведяев

МЕГАПРОЕКТ ДЛЯ ЛЕВАНТА: ЭСКИЗ МОДЕЛИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ*

В середине горбачевской перестройки в России была издана книга воспоминаний британского профессора Фрая, произведшая в ученом сообществе эффект разорвавшейся бомбы. Сенсация заключалась в том, что автор до того был широко известен по английским публикациям как великолепный специалист по истории Древнего Востока и эллинизма, талантливый археолог и исследователь античных текстов. И вот оказалось, что вся эта блестящая карьера представляет собой всего лишь хобби, хитроумное прикрытие виртуозного разведчика.

Во введении к своим мемуарам он привел один эпизод из своей богатой научно-шпионской практики, который заслуживает подробного изложения. Осенью 1945 г. он прибыл с очередной «исследовательской» миссией в Палестину. Однажды утром он впервые за свои многочисленные визиты сюда не обнаружил на территории лагеря двух казенных грузовиков, которые каждый день доставляли его сотрудников к месту раскопок. Местные водители, обычно ночевавшие в машинах, теперь спали под тентом мертвецким сном. Факт хорошо подготовленной и прекрасно осуществленной кражи имущества Короны ни у кого не вызвал сомнения, поэтому быстро было принято решение, чтобы начальник экспедиции (а им был сам Фрай), свободно говорящий на арабском и иврите, на единственном нетронутом джипе отправился на переговоры к лидерам двух недалеко расположенных общин, через чьи территории пролегала пара грунтовых дорог, по которым, судя по следам от покрышек, только и могли быть угнаны автомобили.

Ближе оказалось ехать к евреям. Времена были не менее суровые, чем теперь. Сначала пришлось преодолеть три пояса автоматчиков, затем подождать, пока после неоднократных подробных расспросов, результаты которых передавались

* «Космополис». Зима 2002/2003. № 2.

Федор Шелов-Коведяев – бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ, политолог, публицист, общественный деятель.

каждый раз по команде, со всеми формальностями препроводят в дом седого длиннобородого патриарха. Как известно, на Востоке гостю неприлично сразу заговаривать с хозяевами о волнующих его проблемах. Три часа, под легкое, но обильное угощение, ушло на детальное обсуждение здоровья собеседников, их близких и дальних родственников, планов и видов на урожай и т. п. Когда добрались до цели визита, то был получен примерно такой ответ: ну, зачем нам уводить у вас авто, вы же видите, наши люди и так оснащены всем по последнему слову техники. Подобное могли сделать разве что арабы, их кочевье стоит нынче как раз неподалеку, однако вряд ли, мы и наши предки сотрудничаем между собой многие сотни лет, это очень честные и порядочные люди; едва ли, но попробуйте.

Неспешно попрощавшись, англичанин двинулся дальше. Не буду повторять, что он вторично подвергся той же процедуре – преодоления трех колец автоматчиков и расспросов. Только вместо домов были шатры бедуинов, а кипы на головах сменили тюрбаны. Эффект от разговора, с учетом национальной специфики, был тот же: к чему нам грузовики, – говорили арабы, – мы передвигаемся на конях и верблюдах, разве что евреи, их селение неподалеку, хотя вряд ли, мы взаимодействуем с незапамятных времен, это очень честные, надежные и порядочные люди. Но попытайтесь, может, они что-то слышали.

Вывод Фрая был таким: эти прохвосты явно знали, кто из них вор, подобное событие не заметить невозможно; весьма вероятно, они провернули операцию вместе, но они ни за что не донесут друг на друга. Завершая рассказ, он восклицает: такую идиллию скоро разрушили – кому это было надо? Разведчик, конечно, слукавил: кто-кто, а он-то уж точно должен был ясно сознавать сугубо риторическое содержание заданного им вопроса. Как показывает остальная книга, он хорошо представлял себе роль игры великих держав в эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Чего стоит один только широко обсуждавшийся в диаспоре, да и не только в ней, британский план выделения иудеям новой Земли обетованной в Уганде?

Спору нет, идеи левых сионистов, вдохновлявшие значительную часть народа Израиля в рассеянии накануне Большой алии, были во многом утопичны. Во всяком случае, в той их части, где провозглашалось: евреи придут к своим братьям арабам, раскрыв объятия, принесут с собой современное производство, создадут рабочие места, образуют и разовьют дехкан и кочевников, откроют им новые перспективы, поднимут и сделают процветающим этот отсталый край; и, исполненные благодарности за нежданно и быстро обретенное светлое будущее, они счастливо заживут вместе в одном общем доме. Действительность, что неудивительно, оказалась намного жестче.

Впрочем, справедливость требует подчеркнуть, что арабы – граждане Израиля пользуются всеми правами на развитие своего языка (второго государственного в стране), веры, образования, культуры, СМИ… И живут они намного лучше своих соплеменников во многих мусульманских странах. Как и друзы, черкесы, бедуины и иные этнические и религиозные меньшинства. Так что

свою часть пути репатрианты в этом смысле прошли. Иначе представители названных мною общин, находясь на военной службе, не защищали бы (и с честью, замечу) еврейское государство от посягательств извне.

В истории арабо-израильских отношений мы реально сталкиваемся с одним из редчайших случаев подлинно цивилизационного противостояния. Я, должен признаться, вообще не любитель модных сейчас теорий Хантингтона. Тем более что он всего лишь повторяет давно известные идеи Данилевского, Шпенглера, Тойнби. Так подтверждается знаменитое «правило Арнольда»: открытие всегда называется именем не первого, а последнего из тех, кто его совершил.

Но сионисты наивно полагали, что поскольку они каждый раз платили деньги, и немалые, за землю и воду для своих поселений, да плюс к тому развивали промышленность, плоды которой равно полезны и евреям, и арабам, то их позиция по законам Божеским и человеческим не может стать предметом конфронтации. И совсем не стремились проверять заверения местных феодалов о том, что полученные ими средства пойдут не только им в карман.

Евреи как городские, в основном, жители искренне не понимали, что для арабов-палестинцев, преимущественно ориентированных в тот период на «простой продукт», принципиально важны, прежде всего, не деньги и блага цивилизации, а первичные природные богатства. Каковых у тех, с многократным возрастанием алии, становилось все меньше. И плевать они хотели на валюту и работу в промышленности и не жаждали становиться горожанами. Мы и сейчас видим, как тесно многим из них в этой обстановке – спустя уже много лет.

Поэтому арабская агрессия против только что созданного Государства Израиль вызвала столь сильное потрясение в еврейском мире и такую отмашку со стороны самих израильтян: столкнулись абсолютно противоположные цивилизации денег и почвы, которые, впрямь, не умеют понимать друг друга. Отмечу, что семьи хасидим, никогда не уходившие в диаспору, намного тоньше чувствуют эту ситуацию, чем вернувшиеся граждане Израиля, западники по преимуществу. Оттого-то в периоды наибольших обострений именно они, наряду с миссиями РПЦ*, служили единственными каналами прямых связей израильтян с арабским миром. Как раз по этой причине, а вовсе не только в силу наличия общего бизнеса с арабами, исчисляемого уже тысячелетиями, представители этих семей и не посылают своих детей в армию.

Это, так сказать, история вопроса. Ныне же находиться в плену цивилизационных моделей, думаю, опасно. Арабская патриархальность крепко надломлена и никогда в прежнем виде уже не вернется. Да и репатрианты тоже стали не вовсе чуждыми традиционным восточным ценностям: Голаны не хотят отдавать в том числе и потому, что там истоки Иордана – единственной полноводной артерии в регионе.

* Русская православная церковь.

Самое время обратиться к мере ответственности тайных участников и вдохновителей кровопролития в Палестине.

Россия/СССР – родина большинства влиятельных сионистов XX века. И самое интересное здесь – вовсе не русские корни виднейших политиков Израиля: от Хаима Вейцмана, Менахема Бегина, Давида Бен-Гуриона, Голды Меир и Моше Даяна до Шимона Переса и Ариэля Шарона. Существеннее здесь помнить о влиянии русской социал-демократии на взгляды идеологов возвращения, таких, как Жаботинский и Членов, чьими именами названы улицы в каждом израильском городе. Их концепции формировались под непосредственным воздействием русских левых социалистов.

Следовательно, Россия несет свою долю моральных обязательств за романтизм левого сионизма, а значит, и за саму возможность возникновения конфликта цивилизаций на Ближнем Востоке, ставшего реальностью. И поэтому наши усилия должны быть многократно более содержательными, чем просто увещевания Арафата и его арабских союзников.

Перейдем к более, как ни странно, очевидному – интригам великих держав. В их развертывании удобно, применительно к целям настоящей статьи, выделить два крупных этапа.

До образования Государства Израиль и очень короткое время сразу после этого Советский Союз поддерживал его создание. А позиции Великобритании и Франции в данном вопросе были подвержены периодическим колебаниям.

После же возобладания в советской политике антисионистских и антисемитских тенденций США и их союзники Лондон и Париж встали на защиту израильтян. Что это значило для развития арабо-израильского конфликта, который к тому времени уже шел полным ходом?

Поскольку параллельно набирала обороты холодная война, то Левант если и не стал в полном смысле слова разменной картой в соревновании двух систем, то уж, во всяком случае, превратился в арену их противоборства, в один из театров, на которых они мерялись силами. Фактически Левант попал в положение заложника их неуемных амбиций.

В соответствии с такой логикой СССР накачивал деньгами и оружием арабских экстремистов, заодно обучая их диверсионному делу и прочему. А Штаты подкручивали правые и ультраправые настроения в израильском обществе, затрачивая тоже немалые на то средства. По сути дела, оба «спонсора» решали свои проблемы руками арабов и евреев соответственно.

Результат оказался ужасен. Израиль все еще весьма чувствителен к уровню внешних дотаций. А на палестинских территориях мерилом успеха почти исключительно остаются владение оружием и готовность его немедленно применить. Без преувеличения можно сказать, что именно «благодетели» в лице Советов и США так быстро довели израильтян и арабов до столь высокой степени взаимного отторжения. В конце концов, в периоды разрядки Тель-Авив

многократно доказывал свою способность договариваться о добрососедстве с любыми бывшими военными противниками.

Пора по-настоящему выводить регион из глубочайшего военно-политического и экономического кризиса. Для этого великие державы должны начать с себя, выдержав три предварительных условия.

Во-первых, открыто и без экивоков на обстоятельства (которые, по большому счету, сами они и создали) заявить о понимании своей негативной роли в развертывании на протяжении многих десятилетий арабо-израильской конфронтации.

Во-вторых, принять на себя львиную долю ответственности за нынешнее ее состояние. Речь не идет о показном покаянии за порочную практику прошлых лет, но о глубоком осознании и искреннем признании своей вины.

В-третьих, аккумулировать фонды, необходимые и достаточные для того, чтобы заплатить за утверждение разоружения, мира и созидания на Ближнем Востоке – в разы, а то и на порядки большие, чем в свое время ими были потрачены на войну. Нужно выработать прозрачный для независимого общественного контроля механизм распоряжения этими ресурсами.

Следует подойти к задаче, как к инвестиционному проекту. Притом средства налогоплательщиков должны, как обычно, только пробить брешь для многократно превышающих их объем частных вложений.

Здесь сразу встает вопрос о реципиентах денег: чтобы они ушли в экономику, а не в кубышку. До сих пор спонсоры ближневосточного процесса только откупались – миллиардами долларов и Нобелевской премией – от Арафата и персоналий из его ближайшего окружения. Им придется отказаться от пошлой покупки отдельных лиц как основной статьи расходов по урегулированию. Эта практика доказала свою неэффективность. Да и отдано, в этом смысле, уже довольно.

Главный упор предстоит сделать на создании рабочих мест, инфраструктуры и т. п. Как Израиль сделал на Синае. Объектом приложения средств должны стать любые легально хозяйствующие субъекты не только автономии, но и стран палестинской диаспоры – территории, как их ни развивай, не в состоянии принять обратно всех многократно умножившихся за годы изгнания беженцев. Надо обеспечить капиталам политические и стратегические гарантии, в том числе мерами доверия и контроля. Повторю, условия для такого разворота ближневосточной политики уже есть. Арабская партиархальность взломана. Нужно, чтобы всем стало ясно: на мире можно заработать больше, чем шантажом и войной.

Распорядителем финансов следует выступить специально сформированному многостороннему комитету. Вероятно, независимому, но санкционированному решением ООН или другой авторитетной международной организации.

Именно на этом пути международное сообщество получит реальную возможность превратить Левант из непрерывно кровоточащей раны в процветающий регион мира и благоденствия, этнического и культурного равновесия. Безусловно, это грандиозный проект. И очень дорогой. Но что дороже стабильности, устойчивого развития и безопасности? Гармония вообще штука уникальная. За эксклюзив-то и платят по-особому. С этим никто не поспорит.

Ведь только кажется, что Палестина, Ливан, Иордания, Сирия, Египет... расположены в отдалении от Европы, почти в сказочном далеке. На самом деле Средиземное море давно никого ни от кого не отделяет и не защищает. Недаром вдумчивые западные аналитики уже не спорят с тем, что средиземноморское пространство – мягкое подбрюшье Большой Европы. Не менее, чем постоянно напоминающие о себе вулканическими раскатами Алжир, Ливия или Марокко.

Если Россия признает себя частью европейской цивилизации, то и мы не можем остаться тут сторонними наблюдателями. Но обязаны принять активное участие в реконструкции Востока.

Она не должна стать акцией альтруизма. Я в него не слишком и верю. Во-первых, все надлежит скрупулезно просчитать и выверить сам инструментарий. Во-вторых, план, о котором я говорю, – настоящий прорыв проекта глобализации к самой широкой аудитории. Удобный случай аннигилировать «дикий» антиглобализм. Это – огромный резерв для «золотого миллиарда»: показать, что его забота об обеспечении спокойной эволюции в планетарном масштабе – не риторика, а серьезный настрой. Он способен объединить все значимые на сегодня капиталы, как «западные», так и «восточные», распределяемые в основном через одни и те же рынки «большой восьмерки». Нужно дать всем и каждому выиграть по-своему. Истинный шанс для человечества доказать – Божьи уроки все-таки пошли ему впрок.

Неужели проект, который я в общих чертах попытался нарисовать, утопичен? Как сказать. Понимание того, что главный ресурс прогресса в XXI в. заключен не в технологической и даже не в информационной, а в интеллектуальной и культурной интеграции, должно, наконец, перейти из области философских построений в практическую плоскость. Я, например, убежден, что рано или поздно наиболее развитые нации придут к уверенности, что у них просто нет другого выхода в плане разрешения этого рокового для человечества конфликта. И России следовало бы оказаться среди них.

Напомню, что когда-то, в теряющиеся в ностальгической дымке 60-е гг., Бейрут называли ближневосточным Парижем. В его развитии принимали участие тоже ведь не одни арабские шейхи или иные мусульмане. Так почему бы теперь, когда уровень мирового богатства вырос по экспоненте, дружно, если угодно, соборно, не взяться за более широкий проект?

Михаил Блюменкранц

ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ*

Сегодня все чаще из уст специалистов можно услышать утверждение о конце постмодернизма. Никто в точности не знает, что за пациент скрывается за этим именем, но уже готовится медицинское заключение о его кончине. Можно быть горячим приверженцем или страстным обличителем этого направления в современной культуре, но нельзя не признать, что постмодернизм явился всего лишь лакмусовой бумажкой духовных или антидуховных тенденций, присущих нашей цивилизации.

Возможно, что он возник как аллергическая реакция на бессовестную спекуляцию сверхличностными ценностями и жестокую систему ложных иерархий, заданную тоталитарными режимами. Но аллергия – это не только болезненная реакция отторжения, но часто и тяжелое заболевание, иногда заканчивающееся летальным исходом.

Мы успешно прошли три стадии деконструкции: смерть Бога, смерть Автора, смерть Читателя – и, похоже, теперь переживаем четвертую стадию – смерть Деконструктора. Кого еще мы могли бы похоронить?

---

* Альманах «Вторая Навигация». 2004. № 4.

Михаил Блюменкранц – канд. филол. наук, историк философии и культуры, автор книги «Введение в философию подмены» (1994) и статей по культурологии и литературоведению, переведённых на несколько языков. Составитель и редактор альманаха «Вторая Навигация». Живет в Германии.

О заслугах и недостатках покойного будет произнесено немало надгробных речей, но уже сейчас встает вопрос о преемнике. По этому поводу один из моих коллег высказал предположение, что на смену постмодернизму должна прийти эпоха тотальной тактильности. Мне представляется, что подобная смена означала бы лишь следующую ступень, еще более тяжелую стадию той же болезни. Знаменитые брейгелевские слепцы неплохо иллюстрируют царство тотальной тактильности и перспективы такого пути.

Тем не менее эта опасность довольно реальна, поскольку подобные тенденции развития заложены нашей цивилизацией и уже нашли свое выражение в принципах современной эстетики. В частности, это отметил Ж. Бодрияр: «Изменилась вся парадигма чувствительности, осязаемость больше не является органично присущей прикосновению. Она просто означает эпидермическую близость глаза и образа, конец эстетического расстояния взгляда...»[1]

Продолжение движения в этом направлении означало бы дальнейшую гипертрофию гедонистического начала, заложенную в современной западной культуре, и в итоге обернулось бы ситуацией, которую лучше всего символизирует любимый образ все того же Бодрияра: «Умершие велосипедисты во время гонки вдоль транссибирской магистрали с возрастающей скоростью продолжают крутить педали своих велосипедов»[2].

Дело даже не в том, что гедонистические устремления современного общества запускают технологическую машину уничтожения природной среды обитания, а в том, что гедонизм, как о том свидетельствует история прошлых цивилизаций, – тупиковый путь развития культуры.

Растекаясь в ширину, в поиске все новых и новых наслаждений, человеческая жизнь теряет измерение глубины, без которого становится все более и более бессмысленной.

В то же время и сами удовольствия, получаемые человеком, зачастую напоминают удовольствия нероновского толка. Эрос и Танатос правят бал на всех подмостках нашей культуры – от литературы и музыки до живописи и кинематографа. Пафос тотальной деконструкции приятно щекочет наши пресыщенные скукой потребления души.

В кинематографе эта тема в форме интеллектуальной притчи озвучена в целом ряде эпатирующих фильмов – от «Большой жратвы» Феррери до «Автокатастрофы» Кроненберга.

Особо характерен последний фильм. Потерявшие вкус к жизни герои с маниакальным упорством стремятся пережить ситуацию автомобильной катастрофы. В них говорит не фрейдовский инстинкт к смерти, только при соприкосновении с возможностью собственной гибели они еще способны ощутить себя живыми. От прикосновения к смерти в них рождается мощный витальный импульс, тут же реализующийся в бурных пароксизмах сексуальной страсти. Герои попадают в заколдованный круг: от Танатаса к Эросу и от Эроса назад к Танатасу.

В таком же круге оказываются и участники террористических групп, только их Эрос сублимирован доминирующей националистической или религиоз-

ной идеей. Эрос и Танатос в опустошенной и омраченной душе современного человека способны продуцировать предельные тактильные раздражения. Не случайно эстетика постмодернизма со сладострастием стервятника кружит вокруг этих будоражащих похоть мысли тем.

Анализ современного терроризма, ограничивающийся только социальными и экономическими причинами, замечает лишь верхнюю часть айсберга. Прагматическому мышлению трудно понять, что человек способен действовать вопреки собственной очевидной выгоде, вопреки своим социальным, экономическим и прочим материальным интересам. Террористы, осуществившие чудовищную акцию 11 сентября, были из состоятельных семей, имели высшее образование и возможность пользоваться всеми благами европейской цивилизации. Можно, конечно, подобные инциденты списывать на счет религиозного фанатизма или психической невменяемости, однако даже Великий Инквизитор Ф. М. Достоевского, с его крайне скептической оценкой человеческой природы («малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики»), оговаривался, что «не хлебом единым жив человек», что, кроме хлебов, ему еще нужно знать, во имя чего, собственно, он живет, и без «твердого представления себе, для чего ему жить, человек не соглашается жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы»[3].

Западная демократия имеет целый ряд бесспорных и решающих преимуществ перед другими системами общественного устройства. И, прежде всего, это уважение к правам человеческой личности. Но, парадоксальным образом, сегодня она, похоже, приходит к тому, что в ней под угрозой оказывается само существование личности. Поскольку личность – это духовная характеристика человека. И дело здесь не в секуляризации христианской культуры, а в разрушении сакральных основ бытия, невостребованности духовного измерения человеческого существования в современном постиндустриальном обществе.

Идеалом жизненного успеха в общественном сознании представляется карьера звезды шоу-бизнеса, спортивной знаменитости, высокооплачиваемого киноактера или преуспевающего бизнесмена. Область духовных интересов перемещается на периферию общественной жизни, становится способом проведения досуга, хобби для чудаков или предметом эзотерических штудий для маргиналов. Монополия на духовную жизнь личности переходит в руки церковных или сектантских организаций и вызывает вполне обоснованное отвращение у интеллигентов духом партийной непримиримости и интеллектуального убожества, зачастую царящих там.

Посещение музеев и филармоний является для современных ценителей прекрасного таким же приобщением к культуре, как пребывание египетских фараонов внутри своих пирамид – формой духовной жизни. И то, и другое сохраняется лишь в саркофагах.

Интеллектуалы привычно сетуют на то, что телевидение духовно и душевно калечит людей. Этот факт трудно оспорить. Оно, телевидение, конечно же, умножает убогость сущности сверх всякой необходимости. Но, с другой стороны, телевидение – это не более чем зеркало души современного человека. Что

можно увидеть в зеркале, когда в него смотрится Калибан. Еще неизвестно, кто кому корчит рожу. Склонен предполагать, что господин из преисподней сегодня, как никогда ранее, может почивать на лаврах. Наконец-таки при помощи человека ему удалось утереть нос богу и создать собственные параллельные виртуальные миры. Переселение рода человеческого при помощи последних достижений науки и техники в этот новый прекрасный мир идет полным ходом. Ведь там с человека полностью снимается его родовое проклятие, самая тяжелая из возложенных на него обязанностей – обязанность личного свободного выбора. Т. е. он, конечно же, и здесь выбирает, но уже не себя самого, а всего лишь подходящую кнопку, при помощи которой он свободно парит в виртуальной вселенной. Кто знает, может быть, это средство и окажется эффективнее, чем всемирный потоп?

Невольно вспоминается «Поэма об Антихристе» русского философа Вл. Соловьева. Его антихрист декларирует «установление во всем человечестве самого основного равенства – равенства всеобщей сытости» и главное свое отличие от Христа видит в том, что тот был «исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправленного человечества... Христос как моралист разделял людей Добром и Злом, я соединяю их благами...»[4]

Конечно же, Соловьев умер еще до того, как в XX веке обнаружился целый ряд «исправителей» человечества: от Ленина до Хомейни. Он не подозревал, какой ценой может быть оплачено разделение людей добром и злом. Но само появление на арене истории подобных избавителей, кроме социальных, экономических и прочих, достойных научного внимания причин, было вызвано совершенно не научными, но, тем не менее, вполне реальными факторами, а именно – фантастической причудливостью человеческой натуры, которая, кроме земных хлебов, жаждет иной раз и некого высшего смысла существования, каких-то там сверхличностных ценностей. Это последнее и есть неиссякаемый источник для произрастания «исправителей» и разделителей рода человеческого, которые одни только и знают, как нужно по правде все взять и благоустроить. Но из того, что жажда утоляется из отравленных колодцев, еще не следует, что и сама жажда преступна.

Более того, смею думать, что без этой жажды человеческая история давно бы закончилась эпохой жующей и размножающейся протоплазмы. В качестве иллюстрации опять же отсылаю к фильму Феррери «Большая жратва». Нельзя безнаказанно ампутировать духовное измерение личности. «Свято место пусто не бывает», рано или поздно его заселяют бесы.

Отброшенный к самому себе, безнадежно затерянный в собственном одиночестве, Homo Virtuales, этот вечный кочевник грезящей культуры, лелеет свою заветную грезу о встрече с Другим. Песней сирен звучит его бесконечный монолог, Монолог о ценности Диалога с Другим. Неустанно, на тысячи ладов распевает современный Нарцисс восторженный гимн Другому. Но не дай Бог зазеваться неосторожному аргонавту: «самая искренняя любовь на свете – это любовь к тому, что можно съесть»[5]. Каннибализм – радикальная

форма нашего гостеприимства. Одни нуждаются в Другом, чтобы найти себя, другие – для того, чтобы окончательно себя потерять. Другой – это не более, чем наше «алиби-в-Бытии»[6].

Мне представляется, что дискурс постмодерна в современном мире еще далеко не исчерпан, поскольку основной источник, его питающий, – состояние предельной человеческой отчужденности, остается непреодоленным.

Проекты глобализации человечества, основанные только на принципах экономической и информационной связи, без диалога культур, способствующего духовной консолидации, – это новая разновидность старого утопического мышления. И сегодняшние строители Вавилонской башни завтра с тем же энтузиазмом примутся возводить Китайскую стену.

Как справедливо заметил Антоний Блюм, «настоящее единство создается через уникальность каждого, а не через единообразие всех»[7]. Но человеческая уникальность – это потерянное в нашем мире вертикальное измерение личности. Мы же давно живем, безнадежно врастая в горизонталь.

Дальнейшее акцентирование тактильности как способа бытия-в-мире может лишь усилить наркотический компонент, и без того уже доминирующий в современной как массовой, так и элитарной культуре. Тактильность как единственно возможный способ ощутить Другого – это форма диалога незрячих, последняя роскошь человеческого общения, доступная в обществе мертвых велосипедистов. И, как знать, не явится ли в итоге извращенная демоническая духовность национал-патриотических и религиозно-фундаменталистских движений с Востока реальной альтернативой секуляризованному миру Запада, как манящий мираж вертикали в мире потерянных горизонтов.

1. *Бодрияр Ж.* Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 81.

2. Там же. С. 151.

3. *Достоевский Ф. М.* Братья Карамазовы // Полн. собр. соч.: В 30 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2.

4. *Соловьев Вл. С.* Поэма об Антихристе // Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 253.

5. *Шоу Б.* Письма. М.: Наука, 1971. С. 253.

6. *Бахтин М. М.* К философии поступка. М.: Лабиринт, 1996. С. 104.

7. *Митрополит Антоний Сурожский.* Ответ Синдесмосу // Русская мысль. № 4199. 27 нояб.–3 дек.

Григорий Померанц

ЧЕРЕЗ ЭПОХИ БЕЗУМИЯ*

Академик Бехтерев без колебания поставил диагноз: паранойя. Через короткое время Бехтерев при невыясненных обстоятельствах умер, а Сталин продолжал собирать власть в своих руках. Вскоре он достиг такого могущества, что признан был величайшим гением всех времен и народов. Таким же величайшим гением стал Гитлер. Даже после позорного краха его затей, в 1946 г., большинство немцев считало его величайшим политическим деятелем Германии.

В XX веке Исаак Башевис-Зингер поправил Ломброзо, считавшего, «что гениальность – род безумия. Он забыл добавить, что безумие – род гениальности» (цитирую по статье В. Соловьева в «Еврейском слове», 2002, № 37). По итогам XX века можно говорить об особом роде безумия, за которым шли массы. Безумия, связанного с сатанизмом; и все ж безумия.

Безумцы, совершавшие великие исторические дела, выходили на авансцену истории еще до Р. Х. «Параноидальные черты личности» – диагноз, который можно поставить Шихуанди, неукротимо деятельному и болезненно подозрительному деспоту, одержимому страхом, и постоянно менявшему дворцы, где он жил (совсем как Сталин – комнаты на своей даче), и многим другим. Цинь Шихуанди объединил Китай, утвердил свод законов, заставил выстроить Великую стену. Государство, созданное им, имело только один недостаток: жить там было невыносимо. Никто не был застрахован от пыток и казни, применявшихся с невиданной широтой. Не было ни общих прав, ни личных привилегий; и никаких святынь, кроме блага государства (совпадавшего с волей

*Альманах «Вторая Навигация». 2004. № 4.

Григорий Померанц – философ, культуролог, публицист. Бывший политзэк. Автор многочисленных философских работ и эссе («Квадрильон», «Нравственный облик исторической личности», «Сны земли», «Открытость бездне», «Собирание себя», «Выход из транса» и др.). Живет в России.

государя). Сразу после смерти владыки вельможи не выдержали напряжения. Сын Цинь Шихуанди, Эр Шихуанди, был убит; новая династия, Хань, после некоторых колебаний запретила доступ к государственным должностям сторонникам Фаця (школы государственных законов). В 1965 году, когда я, поговорив о древнем Китае, назвал фамилию Сталина, никто не удивился: тень его все время всплывала в ассоциациях.

Однако в древности трон, по большей части, доставался ординарным принцам. Только в XX веке, после падения великих монархий, появился спрос на диктаторов, и навстречу массам, выбитым из колеи, рванулись одержимые и безумцы.

Судя по опыту Великой французской и великой русской революции, одержимые идеей, но клинически нормальные люди с грехом пополам уживались друг с другом и действовали целой плеядой. Во Франции развитие болезни на этом остановилось. Наполеон был человек трезвый и презирал идеологов. В XX веке дело пошло дальше. Из крупных диктаторов только Муссолини был банальным политическим авантюристом, без вкуса к массовым убийствам. Все остальные обнаруживают разные формы и стадии безумия: idee fixe и паранойи. И все громоздят гекатомбы трупов.

При сравнительно ровном, спокойном течении истории господствуют привычки, обычаи, традиция, в чем-то хорошая, в чем-то дурная. Но когда привычный ход дел глубоко нарушен, наступает время принципов. Чем больше низы плюют на принципы, лишь бы выжить, тем больше сатанеют энтузиасты принципов, и в обществе идет зоологическая борьба принципов, обещающих спасение. В конце концов, если кризис сам себя не исчерпал, одна идея, подобно большой рыбе, пожирает прочих. И тогда она становится подобием бога ацтеков, требующим новых человеческих жертв во имя поставленной цели, а цель заново формулируется так, чтобы оправдать новые жертвы.

Такова буйная форма безумных времен. Но не все народы безумствуют одинаково. Классическая древность оставила нам в наследство две зловещие фигуры: в Китае – Цинь Шихуанди, с его безграничной подозрительностью и безграничной жаждой истребления действительных и мнимых врагов; а в Риме – Нерон, с его безграничной жаждой все более извращенных наслаждений. Одна из ловушек современности – спор демонического извращения власти с демоническим извращением свободы, так что нравственный распад свободного мира кажется спасением от Молоха государственного террора, а государственный террор кажется спасением от нравов Содома. Как иначе нашли бы сподвижников Пол Пот и Бин-Ладен? Откуда бы взялся их пафос борьбы со скверной?

Два пути в пропасть ведут спор, который хуже. И нет ни одного народа с абсолютным иммунитетом. Англосаксы не поддавались безумию утопии (кончавшейся idee fixe и паранойей), но легко втянулись в соблазны Содома. Они готовы стереть с лица земли последних диктаторов – и не замечают, что нравы Запада вдохновляют шахидов и (что еще страшнее) тайные силы истории, беспощадные к гнездам разврата. А Россия мечется между двумя соблазнами.

Однако современниками Нерона были Петр и Павел. Слушало их ничтожное меньшинство. Но я вижу глаза сегодняшнего меньшинства, а не только

глаза Сталина–Вия и усталой Клеопатры «Египетских ночей». Бури XX века вызвали огромное напряжение творческой веры. Не мог митрополит XIX века выступить с призывом укорениться в Боге и мыслить и чувствовать свободно, не цепляясь за решения соборов. Не дошел до этого кризис средневекового мировоззрения. Не мог бы папа XIX в. начать политику обновления (аджорнаменто); не мог бы другой папа покаяться в двух тысячелетиях грехов возглавляемой им церкви. Не мог тибетский римпоче назвать Томаса Мертона природным буддой. Не мог далай-лама комментировать Евангелие на сессии семинара христианской медитации им. Джона Мейна. Мысль о прозрачности границ между верами и вероисповеданиями мелькала и в прошлом, но только XX век начинает видеть в этом выход из нынешнего духовного тупика. Не стирая различий – они неотделимы от богатства ликов культуры, – но перестав использовать различия как оправдание ненависти и недоверия друг к другу. Прозрачность словесных одежд откровения может стать основой мировой солидарности, без которой человечество обречено на гибель.

В румынской коммунистической тюрьме, где священников методически секли розгами, чтобы они отреклись от Бога, один из мучеников веры додумался – дострадался – до простых слов: «Мы поняли, что число наших конфессий можно было сократить до двух: первой из них стала бы ненависть, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других. Другая – любовь, которая позволяет очень разным людям опознать их единство и братство перед Богом... Все чаще случалось, что атмосфера в камере была пронизана духом самопожертвования новой веры. В такие мгновения мы думали, что нас окружают ангелы» (Рихард Вурмбрандт. Христос спускается с нами в тюремный ад // Мученики веры. М., 2002. С.149–150).

Светлое безумие любви идет навстречу черному безумию похоти и ненависти, как пожар навстречу пожару. Так некогда проповедовалось откровение Христа – «для Иудеев соблазн, для эллинов безумие». И чем больше бесновались калигулы и нероны, тем успешнее шла проповедь. Когда побеждал мещанский здравый смысл Веспасиана, оба пожара стихали. Но потом черное безумие вновь вспыхивало – и прокладывало дорогу светлому. Исторические эпохи безумия – это эпохи состязания сверхсознания с подсознанием, ангелов-хранителей человечества с демонами разрушения, светлых и темных выходов за рамки обыденного, признанного нормой в спокойные времена. Привычки, ставшие принципами, трещат и ломаются на крутых поворотах истории.

Благополучие хрупко, ненадежно и толкает поскорее насладиться радостями Содома. Неблагополучие создает мятущееся панургово стадо, несущееся к пропасти вслед за своим безумным вождем. И спасение – только в поисках «Божьего следа», как это назвал Антоний Сурожский: «Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или любых принципах; но сколь бы они ни были истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно ха-

рактерно действие Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью – но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам вглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность – результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает "безумно". Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог» (русский перевод Е. Л. Майданович в журнале «Континент», 1996, № 89).

Но как отличить Божий след от дьявольских подмен? Мефистофель убеждает Фауста, что он служит добру. И временами это выглядит убедительно. А новое зло рождается, как пена на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. Шестнадцатилетняя девушка, взорвавшая себя, чтобы убить как можно больше израильтян, была уверена, что служит Богу.

Дмитрий Кленовский (1893–1976), поэт второй эмиграции, оставил нам хорошее стихотворение о тонких подменах, окружающих наш ум:

Бойся падших ангелов! В толпе Ангелов –
не все к нам благосклонны.
Есть такие, что, как червь в крупе,
Роются в душе твоей смущенной.

Точат потаенные пути
В чистые, заветные глубины,
Чтобы, в пыль их зерна превратив,
Липкую оставить паутину.

Падший ангел – он тебя бедней,
Потому и кормится тобою.
Словно к горлу, к совести твоей
Присосется жадною губою.

Соблазн таится в развитии общества. Общество становится все сложнее, развитие – все быстрее, и мишурный блеск открытий скрывает простое, неизменное, вечное, без которого жизнь теряет смысл. Состояние человеческого духа, описанное экзистенциалистами, – запутанность и заброшенность. Сегодня оно не стало лучше, только острота кризиса притупилась и слабее попытки вырваться из убаюкивающего комфорта – там, где этот комфорт достигнут

(на сколько лет – Бог весть; взрывы живых бомб уже сегодня разрушают чувство комфорта).

Чудовищные образы, возникшие в сознании Даниила Андреева, не находят прямого соответствия в мире фактов. Но воображение создает только формы, только образы демонического. Каково оно на самом деле, мы не знаем, но силы света и силы мрака сражаются почти зримо, и картина смутного времени XVII в., нарисованная поэтом XX в., поражает своей современностью.

Можно взглянуть на историю великих цивилизаций, как на периодическую линьку словесных оболочек откровения. Линька племенных и народных религий открыла дорогу откровениям мировых религий. Линька средневековых мировоззрений открывает дорогу тому, что я назвал прозрачностью границ, на которых остановились областные откровения, названные мировыми.

Одно можно сказать совершенно твердо: одновременное рождение философии в Элладе, Индии и Китае нельзя объяснить в терминах науки, описать как действие познанных и познаваемых факторов. Толчок пришел либо из иного пространства и времени (так думают фантасты), либо из вечности, из бытия по ту сторону пространства и времени. Что из этого вышло, известно. Но для чего? Для развития интеллектуальных производительных сил? Или это развитие в древности – как и новая волна, начавшаяся в XV в., – только побочное явление духовного процесса? И выдвижение на первый план науки и техники – гибельный перекос культуры?

Ветра нет, паруса висят. Команда садится на весла. Древние мореходы называли это Второй навигацией. Платон воспользовался морской метафорой, чтобы охарактеризовать свою философскую интенцию — противопоставить блуждание в мире преходящих вещей созерцанию высшего мира идей.

Альманах мысли, гуманитарного знания и литературы **ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ**, выпускаемый нами на русском языке с 1997 года, не представляет какую-либо отдельную философскую школу или художественное направление. Мы ценим непредвзятый подход к современным проблемам sub specie aeternitatis, мы понимаем философию как школу реальной жизни и жизнь как ученичество у философии. Поиски сопряжения Времени и Вечности определяют цель нашего плаванья.

Авторы альманаха ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ – известные философы, историки, эссеисты и писатели России, Украины, Италии, Германии, Великобритании, Нидерландов.

Дополнительную информацию об издании, издателях и авторах Вы найдете в интернете по адресу:
www.geocities.com/bljumenkranz/index.html

Вы можете заказать альманах, подписаться и уточнить условия пересылки, связавшись с нами по адресу:
e-mail: blumenkranz@gmx.de
или:
M. Blumenkranz
Adolf-Baeyer-Damm 20
81735 München
Tel. +49 089 67976605

NOTA BENE
Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:
POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863
Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:
POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel
Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE
כתב-עת ספרותי פובליציסטי

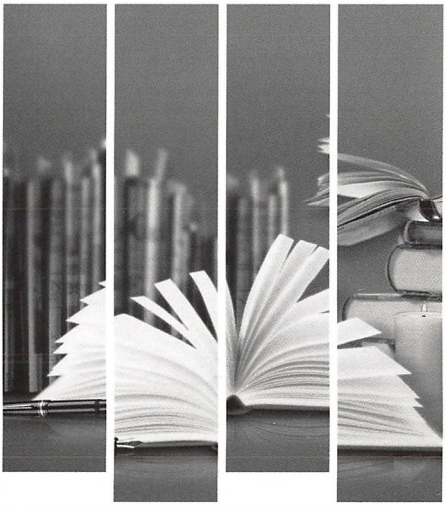
אדוארד קוזניצוב עורך ראשי
רפאל נודלמן סגן העורך
לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית
הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:
ת. ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל
טל: 02-5325931
פקס: 02-5324863
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов

Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

6 номеров, включая доставку

Журнал выходит раз в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	$70

** Цена включает доставку и НДС*

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	$11
В Европе	€ 9
В США	$12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:

■ **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ● «Исрадон», Мерказ «бет»
■ **Бат-Ям:** ● Книжный мир, ул. Бальфур, 49 ● «Исрадон», ул. Бальфур, 39 ■ **Беэр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37 ● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:** ● «Спутник», ул. Соколов, 58 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Престиж», Тахана мерказит, 3-й этаж ● «Спутник», ул. Яффо, 91 ● «Букинист», ул. Яффо, 234 ■ **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит**: ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ■ **Раанана:** ● «Ямб», ул. Элиэзер Яфе, 5 ■ **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161 ● «Исрадон», ул. Ахад-ха-Ам, 9 ■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:** ● «Букинист», ул. Алленби, 71 ● «Миллениум», Новая тахана мерказит ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж, напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Находка», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42, ● «Спутник», ул. Ханита, 40 ● «Исрадон», Кирьят-Элиэзер, Кикар Меерхоф ■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13 ● «Исрадон», ул. Соколов, 65
■ **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com